

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://seminvitaly.ru/> приятного чтения!

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин

– СЕМЕРО В ОДНОМ ДОМЕ –

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Они пили водку, спорили о том, что быстрее пьянит – разбавленный спирт или водка. Говорили, что папироса после водки пьянит сильнее, чем две кружки пива. На них была чистая рабочая одежда. Они только что искупались под душем в саду. Душ этот самодельный. Чтобы наполнить его, надо наносить воды из водопроводной колонки. Воду носить далеко, почти целый квартал, к тому же потом с ведрами надо подняться по приставной лесенке и перелить воду в бочку. Короче говоря, особенно не накупаешься. Руки у них были сыростно-белыми. Такими они бывают, если смыть с них глину, налипшую за целый день. Такую глину смываешь, будто отдираешь кожу, обожженную солнцем, и остается новая кожа, еще не тронутая солнцем. Кто-то из них успел прочитать дневные газеты. В «Известиях» была статья о долголетию. Какой-то польский профессор сравнивал статистические данные смертности мужчин и женщин за несколько веков. Выходило, что во все века женщины жили дольше мужчин. У женщин «смертность», а у мужчин – «сверхсмертность». Во-первых, война, во-вторых, алкоголизм, курение. Или, может быть, во-первых, алкоголизм и курение, а во-вторых, война...

– Он придет с войны, – сказал Толька Гудков, – а у него пять ран. Когда-то они дадут знать.

– Пей не пей, а если пять ран...

Все-таки войну они хотели бы поставить на первое место.

– Мы же ходим по домам, видим, – сказал Толька.

Все они работают в ДПО – добровольном пожарном обществе. Проверяют в новых домах газовые колонки, в старых – угольные печи. Кладут угольные печи, ремонтируют их.

– Бабки в каждом доме есть, – продолжал Толька, – а дедов почти не видно.

– Но вы их можете просто не видеть, – сказал я. – Все-таки вы ходите по квартирам днем, а днем многие деды работают.

– Да что далеко ходить, – сказал Толька, – поднимите руки, у кого есть отцы.

И он посмотрел на сидящих за столом. На Вальку Длинного, на хозяина дома Женьку, на меня, на Валерку. Никто не поднял руки.

– У меня есть, – сказал Валька Длинный, – ты ж знаешь.

– И у тебя считай, что нет. Он же не с тобой живет.

В это время из коридора открылась дверь, и Женькина мать позвала меня.

– Витя, – горячо и раздраженно заговорила она, когда я вышел к ней, – ты им что-то рассказываешь, а они тебе в рот смотрят. А мне завтра к шести часам на работу. И ребенку негде спать. Накурили. Глаза залили. Пусть расходятся. Посидели – и хватит. Скажи им, ты ж все-таки постарше.

В кухне крикнула девочка, и Женькина мать побежала к ней.

– Да ничего я им не рассказываю, – отнекивался я.

Я еще постоял в коридоре – все думал о том, как Толька Гудков попросил поднять руки тех, у кого живы отцы.

Потом пришла с работы Дуся, Женькина жена, решительно распахнула дверь, сказала:

– А ну, ребята, закругляйтесь! Посидели – и хватит. Дитю негде спать.

– Замолчи! – крикнул Женька. – Ребята на тебя целый день пахали, дом тебе

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru строили.

– Знаю, как вы строите, – крикнула Дуська. – Вам лишь бы водки нажраться!

Ребята, обходя Дуську, стали выходить на улицу. Вышел и я. В хате кричали друг на друга Дуська и Женька. Потом раздался звук пощечины, Дуськин крик:

– Унижаешь меня перед своими обормотами, подлец!

– Еще дать? – крикнул Женька и выбежал на улицу. В темноте он почти наткнулся на меня.

– Ты ж сам видел, Витя, – сказал он мне, – ты ж видел! Ребята пахали. Ты сам напахался сегодня. А они с утра еще на работе вкалывали. Кирпич, глина, а после работы ко мне. Плечи же могут полопаться. А она – такое. Ей же строят. Правильно, да? Кто за стакан водки целый день саман таскать будет? Ей все даром делают, а она и тут не может не гавкать!

– Нет, Витя, ты скажи, что мы такого сделали, – подошел Толька Гудков. – Тихо, спокойно сидели. Мы ж не ради водки пришли. А то, что выпили, так это вроде положено. Да? Поработал, ну тебе и поднесли.

– Нет, Витя, ты скажи, в чем я не прав? – спрашивал Женька. – Ну, вот ты так подумай и скажи.

Рядом пытался завести свой «ковровец» Валька Длинный. Мотор мотоцикла не заводился, длинная Валькина нога неуверенно жала на рычаг. Наконец мотор затарахтел, зажглась лампочка, освещающая спидометр, свет от большой передней фары уперся в толстый ствол уродливо остриженной акации – недавно электромонтеры срезали ветки, мешавшие проводам, – высветил кучу глины на углу, угол хаты, в двух комнатах которой совсем недавно жили я с женой и сыном, Женька с женой и дочкой, мать Женьки и моей жены и бабка Женьки и моей жены. Валька Длинный перешагнул через мотоцикл и, как на детский стульчик, уселся на сиденье. Он оглянулся на нас и усмехнулся. Он не считал, что произошло что-то такое, из-за чего стоит так много разговаривать.

– До завтра, – кивнул он.

– А ты никого с собой не берешь? – спросил я.

Длинный оглянулся на Гудкова.

– Нет, – сказал Толька, – он пьян. Пусть сам разбивается на своем драндулете.

Валька усмехнулся. Отталкиваясь длинными ногами, он двинулся мимо акации, обогнул кучу глины и выехал на дорогу. Дорога была немощеной, разбитой грузовиками, мотоцикл вилял, луч прожектора высвечивал проезжую часть дороги от одного темного ряда акаций до другого, но нигде не было видно сколько-нибудь гладкого места.

Валька свернул с дороги на узкий асфальтовый тротуар, газанул, задний фонарик, наливаясь ярким светом, помчался мимо одноэтажных домов.

– Собьет же кого-нибудь, – сказал я.

– Да ничего, – равнодушно сказал Толька Гудков.

– Пусть не ходят, – сказал Женька.

Потом мы провожали Тольку и Валерку, возвращались с Женькой домой. Я мирил Женьку с Дуськой, что-то говорил им, а сам все думал о том, что никто из ребят не поднял руки, когда Толька спросил, у кого живы отцы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В октябре сорок пятого года вернулся домой отец Женькиного приятеля – Васи Томилина. Приехал он часов в десять утра, мать свою послал за женой на работу, а сам, даже не побрившись, сбросив на кровать мешок и шинель, пошел в школу за сыном. В школе было пусто и тихо, он шел по длинному коридору, потрясенный этой

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru тишиной, потрясенный своим счастьем. Он собирался лишь приоткрыть классную дверь, а распахнул ее во всю ширь, щеки его дрожали, когда он, отыскав среди тридцати ребят своего сына, позвал!

– Вася!

Потом он стоял, оглушенный плачем и криком, и не понимал, почему учительница говорила ему:

– Не надо было этого делать...

Какой-то мальчишка, оттолкнув его кулаками, выскочил из класса и побежал по коридору, крича: «А-а!»

Женькина мать работала в школе техничкой, она видела, как Женька бежал по коридору.

– Побежала я за ним, – рассказывала она мне, – Витя, а он выскочил на улицу – и домой. Упал на кровать, бьет кулаками подушку, кричит: «И к Кольке отец приехал, и Петька уже с отцом на рыбалку ходил, и Васька теперь пойдет...» Ну, жалко же его, идиота, скотину.

В «идиотах», «скотинах» Женя ходит давно. С тех пор, как вернулся из армии. Он и сам о себе иногда так говорит: «А вот к вам пришел Женя-идиот».

Он прекрасно понимает, что лучше всего засмеяться над собой первым...

– А ведь я, Витя, не хотела, чтобы он родился. Ирке тогда было уже четыре года. Хватит с меня, думаю, детей. Хиной его травила. По два часа в горячей ванне сидела – ходили мы для этого с Николаем в баню. А потом Николай говорит: «Хватит. Будешь рожать. Не могу я больше на это смотреть». Я и родила. А он родился весь в отца, футболист – четыре килограмма двести грамм. И сразу заорал: «Бе-е!» – Она засмеялась. – Ну, думаю, глотка здоровая, грудь мне оторвет. Николай узнал, что Женька весит четыре двести, говорит: «Завтра побежит в футбол играть». А мы с Николаем познакомились на стадионе. Я Иркой была беременна, живот был большой, а все бегала в баскетбол, пока меня раз прямо на площадке не стошнило. Николай меня увел и говорит: «Чтоб больше сюда ни ногой». Я и до сих пор, хоть и пятьдесят мне, хоть и туберкулезом болела, стойку сделаю лучше, чем Женька. Ирка спортивная, натянет свой купальник, начнет во дворе заниматься, а я посмотрю на то, что она делает, и все повторяю сама. На фабрике во время физкультпаузы наша физкультурница говорит: «Молодые, посмотрите, как Анна Стефановна упражнения выполняет».

Анной Стефановной ее зовут только на фабрике. Дома ее зовут Мулей. Она удивляется.

– Для них, – говорит она об Ирке и Женьке, – у меня другого имени нет. Увидят мою детскую фотографию: «Му-уля стоит!»

Мулей ее зовут и соседи... До войны когда-то это было просто «мамуля». Сегодняшняя Муля с довоенной мамулей не имеет ничего общего.

– ...А Женька попробует стойку сделать – и не может. Ирка над ним смеется, а он стесняется. Слабости своей стесняется. Он и купаться стесняется. Соберется еще мальчишкой купаться, выгонит всех из хаты, окна одеялами занавесит, позатыкает все дырки, а Ирка кричит ему: «А я тебя все равно вижу». Он орет: «Муля, прогони ее!..» Ирка на меня обижается. И всегда обижалась – считает, что я Женьку больше люблю, чем ее. Пусть заведет двоих или троих, тогда узнает, можно ли одного своего больше любить, чем другого. Жалела я Женьку больше, потому что вину перед ним чувствовала. Травила же его, пока он не родился. Он и рос слабым. И мамсиком он был у меня. Ирка – та больше к отцу, и отец к ней. Читать она рано научилась. И вообще самостоятельная. У бабки ее оставишь – она останется. А Женька только со мной. И болел он. Я часто думала, в кого он. Николай здоровяк. Плечи вот какие, грудь борца – борьбой занимался, – бедра узкие. У него только чиряк вскочит или там насморк, а так больше ничего. И я – хоть у свекрови спроси, она меня не любит – подыхаю, а не работать не могу. Совсем уж умирала от туберкулеза, детей ко мне не подпускали, а в кровати почти не лежала, не могла. Полежу немного, а потом вскочу, в комнате убираю, во дворе, пока меня Николай в

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
кровать не загонит. И ничего, выздоровела. Потом рентгеном в легких ничего не могли найти. А ведь в тот год умерли брат и сестра Николая. Ее дочку сейчас воспитывает свекровь. У нас тогда в доме эпидемия была. Старший брат Николая всех заразил. Он был такой... особенный, что ли. Ну, справедливый. Я про таких потом только в книжке читала, а в жизни не видела. В горисполкоме работал, пост крупный занимал. С утра до ночи на работе, по командировкам мотался, а у самого зимнего пальто не было. Он и простудился где-то в командировке и на болезнь не обращал внимания, пока уже смерть не увидел. А у него даже не туберкулез, а скоротечная чахотка. Он и жену заразил, и сестру. Жена выжила, а сестра умерла. Я тогда с Николаем поругалась, Николай не хотел, чтобы я детей к своей матери отправила, боялся, чтобы брат и сестра чего не подумали. А я ничего не боялась, только за детей. А сама болела – не боялась и за больными ходила – не боялась. И вообще я болезни не признаю. Во время войны только и спасались огородом, только и жили с него. А у меня под мышками вот такие нарывы, сучье вымя. Руки носила, как крылья, к бокам прижать не могла. А сама утром на работу, а с работы прибегу – и с лопатой на огород. Сколько нас тогда на этот огород было? Моих двое, да свекровь с внучкой, которая после умершей дочки у нее осталась, да мать свекрови тогда еще жива была, да свекор мой, сумасшедший. Какая от них помощь? У свекрови ноги пухнут, свекор под себя ходит. Ирке тогда одиннадцать лет было. «Мама, я пойду с тобой на огород тебе помогать». Ну, пойдем. Отойдем от города километр: «Мама, я устала». Посажу ее в тачку на мешки. Сидит. Приедем, а она за бабочками погоняется, выдернет две травинки и заснет на грядке. Я ее опять в тачку, впрягусь и привезу домой. Вот и вся помощь.

А Женька с детства был слабым. Сладенькое любил. Ирка и сейчас сладкого не любит и в детстве не любила, а Женька – конфетки, киселек. Это он сейчас грубит, водку пьет, а то был настоящим мамсиком. А сколько раз он помирал! В шесть лет его дизентерия схватила. Полгода на одном рисовом отваре и манной каше сидел. Помирает – и все! Николай одного врача приведет, другого. Профессора какого-то. Диету доктора приписывают, а ему все хуже. И плачет: «Мама, борща хочу». Я не даю, а Николай как гаркнет: «К черту! Видишь же, помирает! Пусть перед смертью съест, чего хочет». Я налила ему борща полную тарелку. Жирный борщ, с кусками мяса. Женька всю тарелку и съел. Я плачу, на Николая обижаюсь – если бы Ирка заболела, он бы так не сказал. А Женька борщ съел, и назавтра ему лучше. – Муля засмеялась. – Поправляться стал.

Она не боится вспоминать и рассказывать страшные истории. И о ком бы она ни говорила – о муже, о сыне, о себе, – всегда в том, что она рассказывает, есть какой-то вызов: «Со мной и не такое было, а это ерунда!»

– ...В сорок четвертом с легкими у него плохо стало. И весь он сделался слабый, доходяга, под ветром шатался. Синий такой, аж прозрачный. Я в больницу, я в военкомат, я в школу. Дали ему место в санаторную школу. Лесной она сейчас называется. Отправила я его туда, и аж легче мне стало. Одного, думаю, пристроила. Два первых дня даже решила к нему не ходить. Тогда в первый же вечер за мной прибегают пацаны, Женькины приятели, стучат в окно: «Тетя Аня, вас Женька зовет». Набросила я пальто на плечи, платок – школа рядом с нами была, это сейчас ее перевели в другой район, – подбегаю к забору, куда мне пацаны показывают, а он раскинул руки, лежит в расстегнутом пальто грудь на снегу и говорит: «Муля, если ты меня отсюда не забереешь, так и буду лежать на снегу». Вот такой зараза был уже тогда.

Муля внимательно смотрит на меня черными, испытывающими, какими-то непрощающими глазами:

– Ничего, что иногда ругаюсь? Я привыкла на фабрике с бабами. Фабрика у нас женская. А бабы без мужиков как соберутся... Только Ирке не говори, а то Ирка у меня принципиальная. Я раньше думала, что лучше моей дочери нигде нет, такая она комсомолка правильная и принципиальная. Аж робела я рядом с ней, аж холодно мне было. Я выругаюсь, а она перестанет со мной разговаривать. Месяц может молчать.

«Ах ты такой-сякой, – говорю я Женьке, – а ну, вставай сейчас же! Ты знаешь, сколько мне стоило выходить тебе путевку в санаторную школу? Человек с ног сбился! Ты знаешь, сколько на это место претендуют? Тебе его дали потому, что на отца похоронная пришла. Отца бы не убило – тебе бы десять лет сюда очереди дожидаться. Дома вон еще сколько людей есть хотят. Ты в школе питаешься, так нам дойти облегчение. Вставай сейчас же, паршивец!» Встал он, а я домой, сварила ему молочный кисель – два литра молока я в тот день как раз достала, сахар у меня

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru был, крахмалу немного, и все на кисель пошло. Принесла ему полную двухлитровую банку. Он мне говорит: «Зачем мне твой кисель? Я домой хочу без твоего киселя». Но банку все-таки взял. Съел он в тот вечер весь кисель. Сначала полбанки, а потом, чтобы кисель не пропадал, остальное. Тошнило его, рвало всю ночь. И скажи ты – до сих пор молочного киселя не ест, а раньше самая любимая его еда была.

Пришлось мне все-таки забрать его из санаторной школы до срока. Каждый день, только с работы приду, уже стучат в окно: «Тетья Аня, идите, Женька вызывает». Прибегаю, а он, паршивец, лежит в снегу: «Забери домой». Или грозится выпрыгнуть из окна третьего этажа.

А потом – не помню уж когда – завел голубей. Загадили весь чердак, и сам, как черт, грязный – в паутине, в перьях, в пыли, в саже. Водить пацанов с разных улиц стал в хату. Я ему говорю: «Продай голубей или я их переведу к черту». – «А я, говорю, хату спалю». Товарищи у него появились – дураки-голубятники по двадцать, тридцать лет. Дела у него с ними – голубей меняют, выкупают друг у друга, если к чужим залетит. Один раз просит у меня пять рублей. «Зачем тебе, Женя?» – «Надо». – «Зачем?» – «Надо!» – «Ты знаешь, как человеку пять рублей достаются? А ты – пять рублей!» – «Я должен». – «А ты скажи тому, кому должен, что мать у тебя уборщицей в школе работает, что у нее таких денег нет и что она не может платить за твоих голубей столько денег. Вот возьми рубль и отдай ему». Он взял у меня из рук рубль да вот так его передо мной на мелкие клочки, а потом все это в кулак – и бросил мне в лицо. «На тебе твой рубль!» Да так по блатному: «Н-на», – говорит. И даже не «на», а «нэ тэбэ». Ах ты, гад сопливый! Все во мне перевернулось. А это на улице было, при людях. Я его по морде, по морде. «Я тебя, говорю, больше знать не желаю. Ты мне не сын и домой не приходи». Он убежал. Весь день и весь вечер его дома не было, а ночью слышу стук в дверь. Выхожу в коридор, спрашиваю: «Кто?» – «Теть Аня, откройте, это мы с Валеркой», – голос Васи Томилина, Женькиного товарища. «Чего вам? От Женьки пришли? Так нам говорить не о чем. Так ему и передайте». Слышу – шепот. Потом Васька опять: «Теть Аня, да вы на минутку откройте, я вам что-то хочу сказать». Приоткрыла дверь, а Женька – раз в щель; пробежал в комнату, забился в угол и сидит. Ну, извинялся: «Муля, я погорячился», обещал учиться на одни четверки, помогать дома.

И правда, помогал, печку топил, смотрел, чтобы горела, пока я с работы приду. А понимать, как деньги достаются, так и не научился. С Ирккой они всё смеются надо мной: «Муля, ты колбасу, как портянку, на метры покупаешь?» – мол, такая дешевая. «Муля, твоими яблоками только мостовую мостить». А какую я могла на свои деньги колбасу им покупать? Только ливерную. Сама я ни кусочка колбасы, ни яблока. Утром встану – еще темно, еще они спят, – приготовлю им завтрак, бабке, матери своей, тоже приготовлю, одному в шкаф положу, другой оставлю на столе, матери – на подоконнике. Напишу на каждой порции записки, а они проснутся, все перепутают и смеются надо мной. Смеются, что у меня погребки, куда я на черный день крупы спрячу, муки, масла. «Муля сама не может найти, куда спрятала». А я и правда не могу. Забита же голова целый день. И то надо, и это. И все для них. Сама я после смерти Коли в одном платье и в одном пальто десять лет проходила. На фабрике, в столовой, надо мной тоже смеются. Как подходит моя очередь, так кассирша говорит: «Знаю, знаю, Анна Стефановна, вы, как всегда, полборща, полкаши и полхлеба». А сколько лет я одной кашей жила! Я и сготовлю – сама не съем.

Во время войны и после, в трудные эти годы, я и менять ездила, и огород держала, и так крутилась. После работы побежишь за Дон к рыбакам, они тебе за пол-литра и накидают ведро рыбы. А я пирожков с рыбой нажарю и на вокзал, к поезду. Один раз Женьку с собой взяла, чтобы помогал нести. Пришли на вокзал, а тут милиционер. Я поставила ведро, говорю Женьке: «Сиди рядом, карауль». А сама бежать. Милиционер ушел, а я вернулась, вижу – ведро стоит, а Женьки нет. Искала, искала его, нашла: «Что же ты целое ведро пирожков бросил?» А он смеется: «Га-га-га! Вот, Муля, ты бежала от милиционера». Смешно ему, как я бежала от милиционера. Даже приседает от смеха...

А голубей его кот передушил. Был у нас такой здоровый кот Васька. Поцарапанный весь. Охотник, вор. Женька его любил. Кот на Женькин голос шел. Спали они даже вместе. Женька увидел задушенных голубей, залез на чердак и плакал там: «Голубчики мои...» А кота с тех пор смертным боем бил. Кот как увидит его, так фырчит. Видеть Женьку не мог.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
И с бабкой, моей матерью, он каждый день дрался. Мать моя, даром что у нее семеро нас было, детей не любит. Я дам Женьке, Ирке по конфете, а она ревнует: «Им даешь, а мне жалеешь!» – «Да это ж дети! Детям же, мама!» – «А что, говорит, душа у нас не одна?» – «Да я ж сама ни одной не съем!» – «Вот и дура, говорит, ешь, пока сама хозяйка, а потом никто тебе не даст». – «А я, говорю, всегда сама себе хозяйка буду. Я никогда на иждивение детей не пойду. И не для них я это делаю, а для себя». Я пока с ней поговорю – из себя выйду. Глухая же, кричать ей надо. Я и ору, надрываюсь. Как в сумасшедшем доме, честное слово. Целый день у нас крик. Женька ее и ненавидел. Она у него конфеты ворует, а он ее дразнит, пакости ей строит. Она во двор выйдет, а он в хате запрется, будто ушел из дому и ключ с собой унес. Это ему цирк. Он хочет посмотреть, как бабка будет в форточку лезть. Под шестьдесят ей тогда уже было, худющая, страшная, а сильная и ловкая! Витя, ты не поверишь! Она ведь, точно, в форточку лазила. А помогать мне дома не хотела: «Голова болит...»

Муля смотрит на меня:

– Грешница я, да? Не люблю свою мать... Но уж если Женька ей в руки попадался, она его своими деревянными ручищами! Видел, какие у нее пальцы? Как пики. Она его, а он ее. Она его руками под бока, по задку, а он ее коленками, зубами, чем придется. А вырвется – чем-нибудь в нее запустит. Он-то все-таки моложе, увертливее. Я приду с работы, а она мне жалуется: «Голова болит, Женька ударил». – «Мама, да он же дитя еще. Вы же в два раза больше его. У вас же и в библии написано про детей, что в них царство небесное или уж я не знаю, как там». Видел, Витя, у нее коричневая книжечка? Переплет от биографии Сталина, а внутри библия? Пошутили над ней или просто так получилось – не знаю.

Она год перед этим у моего однорукого брата Мити жила. Она должна была у него два года прожить, но он не дождался срока, отправил ее ко мне. Митя двадцать лет жил с женщиной, которая лет на десять была старше его. Она умерла, а он женился на молодой. Пишет мне: «Аня, дай хоть последние годы пожить для себя». Бойтся, что молодая жена не захочет жить с бабкой. Ну, жалко его. Он безотказный такой. Руку ему на фронте оторвало, а он и с одной рукой и столяр и плотник. Он еще до войны у первой своей жены на квартире стоял. Она ему готовила, стирала, а потом и окрутила. Он все собирался уйти от нее, да жалко ему ее было. А потом сын появился – он и вовсе о разводе бросил думать. А теперь вот на старости лет женился на молодой. И другие мои братья тоже от бабки открещиваются: негде, некуда, не с кем. Одной Муле есть где и есть куда – вали всех до кучи!

Так вот она от Мити привезла эту библию. Я вначале испугалась, хотела содрать переплет, а потом подумала – да черт с ним! А бабке и вовсе все равно, лишь бы переплет хороший.

Я ей говорю: «Мама, вы же библию читаете, как же вы можете детей не любить? Чего вы с ними деретесь?» Она говорит: «Это Женька. Ира меня не трогает». А Ирка, правда, никогда ее не трогала, хотя бабка и у нее конфеты воровала. Ирка и промолчит. И мне ничего не скажет. А Женька так не мог. Женька лез на рожон. Но и на бабку никогда не жаловался.

А вообще он был не жадный. В сорок четвертом году на вокзале было много беженцев – возвращались домой. Едут-едут из Сибири за фронтом. С детьми, с вещами, без вещей. Голодные, босые – кто как. Кто с билетом, кто без билета. На товарных, на воинских эшелонах, редко кто на пассажирском. Довезет их воинский или товарный до нашего города – они и слоняются по вокзалу, пока их на новый не посадят. Я с пирожками пойду на вокзал, а они пирожки глазами едят. Ну, я кому и раздам. Один раз мы с Женькой ходили, он говорит: «Муля, дай вон той тетке пирожок, у нее дети». А там вшивое такое, грязное, больное. Смотреть страшно. Да не ее, дуру, мне жалко, а детей жалко. «Куда едешь?» – «На Украину». – «На Украину! А детей довезешь?» – «Як бог даст». – «Дура ты, дура!.. Возьмем их, Женька, домой? Пусть хоть ночь переспят?» – «Бери, мать». Привела я их вот сюда, поставила на печку ведро воды, еще кастролю: «Раздевайтесь!» А ей, дуре, и переодеться не во что. Трое суток у нас жили, а потом я ее на вокзал проводила, сама на поезд сажала. Ничего, доехали. Потом года три письма писала.

Жалко-то жалко, а и некогда было жалеть. Себя некогда пожалеть. Испугаться за себя некогда. Немцы, когда в первый раз пришли, народу на вокзальной площади положили – и военных и беженцев! Бабы мне говорят: «Аня, нет ли и твоего Николая там?» Я и побежала. Как увидела эту площадь – боже ты мой! Немец на меня

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
автоматом, кричит по-своему, а мне хоть бы что. Иду от мертвого к мертвому, в
лица им засматриваю. И после страху этого было столько, что я перестала
различать, где страх, а где не страх.

Менять едешь – страху натерпишься. Возвращаешься – еще больше страху: как бы кто
продукты не отобрал. Раз с тремя бабами сели в товарный эшелон, закрылись со
своими мешками в тормозной будке и сидим. На какой-то остановке в окошечко видим
– немец по ступенькам лезет. Поезд тронулся, а он за ручку двери дергает. Я
говорю бабам: «Держи!» Он дергает, а мы держим. Поезд все быстрее, ему там
холодно, он сильнее дергает, думает, забито, а мы держим. Потом я говорю бабам:
«Бросай!» Они бросили, а немец рванул изо всех сил и на полном ходу полетел под
откос.

Приехали мы в город ночью, после комендантского часа, бабы боятся: «Сейчас, Аня,
нас из-за тебя схватят. Немцам уже, наверно, сообщили». Поезд остановился, стали
мы мешки сгружать, а мой снизу худым был, в спешке я его за что-то зацепила –
так вся картошка и поехала на рельсы. Бабы бежать. «Бросай все!» – говорят мне.
А я им: «Куда бежать? Куда вы без тачки свои мешки донесете!» Сбегала по балке к
одной знакомой за тачкой, собрала всю свою картошку, под утро приезжаю домой, а
Женька меня спрашивает: «Муля, ты чего-нибудь сладкого привезла?..» И смех и
грех...

Я и до войны не робкая была. С Николаем поженились, а он, года не прошло, на
работе стал задерживаться. И вином от него запахло. Я собралась и ушла на всю
ночь к подруге. Утром прихожу, он ко мне: «Где была?» – «А тебе какое дело? Ты
каждый вечер где бываешь?» С тех пор он побаиваться стал. После работы – домой.
А во время войны я и совсем бесстрашная стала. Бандитов ходила с милицией в
балку ловить. Тогда по балке трамвай еще не ходил, домов, фонарей не было,
темнота; бандиты и нападали в балке на тех, кто поздно из города шел. А при
немцах бабы меня старшиной квартала выбрали. «Будешь, говорят, нас выручать,
карточек нам добиваться». Я и делала, что могла.

Я и теперь никого не боюсь. На работе к начальнику меня вызовут, бабы говорят:
«Читай, Аня, „живые помощи“». А я говорю: «Мои „живые помощи“ – чистая совесть.
Никакого начальства я не боюсь».

А Женька робким был. Раз лезут к нам ночью хулиганы. Наш же дом угловой, мужиков
нет, забор повален. Стучат: «Откройте!» Я выхожу, спрашиваю: «Кто такие?» –
«Откройте, а то хуже будет. Будем фулиганить». – «Я тебе так пофулиганю – улица
тесной покажется. Сейчас помоями оболью». Вдруг кто-то мимо меня по коридору
промчался. Женька! Я и крикнуть ему не успела, он взлетел на чердак, вылез в
слуховое окно да как закричит: «Караул!» Ну, те покидали камни и ушли, грозились
на следующую ночь прийти.

А чуть вырос – стал от меня отдаляться. В седьмом классе бросил школу.
Учительница меня запиской вызывает. Я пришла в школу, она и спрашивает: «Ваш
Женя на работу идет?» – «Как на работу? Я ж разбиваюсь на работе, чтобы он мог
учиться». – «А он бросил школу, говорит, идет на работу, а учиться будет в
вечерней». – «Не может быть!» Пришла домой, жду его, а он приходит аж поздно
вечером. «Бросил школу?» – «Бросил». – «Уходи из дому». – «Муля, я...» – «Уходи,
ничего слушать не хочу». – «Да ты послушай, Муля! Ты ничего не понимаешь!»

Согласилась я, дура, на свою голову его слушать. А он наплел мне три короба –
мол, это для того, чтобы лучше учиться. Мол, стыдно ему в дневной школе, все
привыкли, что он плохо учится, никогда ему не дожидаться высоких оценок, хоть
разбейся. И времени у него в дневной школе мало, чтобы догнать ребят, и помочь
мне по дому он не может – все время у него занято. «Я ж вижу, Муля, как ты
бьешься. Придешь с работы – и печку тебе топить, и обед готовить, и полы мыть. А
я тебе и печку растоплю, и воды принесу, и пол когда помою». А он не любил воду
носить. Руки слабые. Мужики у нас ведра носят на руках, без коромысла. А он или
на коромысле несет, или одно ведро возьмет и, пока от колонки домой донесет,
раз десять из руки в руку переложит. Слушаю я его, а сама понимаю – не надо
слушать, не надо соглашаться. А согласилась: «Смотри, Женя, учись. Последний раз
тебе говорю. Никаких оправданий больше принимать не буду». С полгода так прошло.
И правда, несколько раз полы помыл, печку топил. В школу я к нему не ходила. Он
сказал: «Если ты в школу пойдешь, я брошу учиться. Это школа взрослых, не позорь
меня». Я и решила не позорить. Думаю, пусть все будет на доверии. А как-то
вечером меня встречает Дмитриевна, соседка: «Аня, а где твой Женька?» – «В

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru школе». – «В школе? А ну пойди на соседнюю улицу, чи не он там с ребятами в карты играет?» Я – на соседнюю улицу, а он еще издал меня заметил – ребята ему на меня показали. «А ну, стой!» – кричу. А он не оборачивается, ходу от меня. Только рожу скорчил, фырчит, как кот. Неудобно ему перед ребятами, что убежать от меня приходится. Вижу – не догнать мне его, поворачиваю – и в школу. Он увидел, куда я иду, да и себе кружной дорогой побежал в школу. Обогнал меня, остановился перед школой, не пускает. Шипит на меня: «Ш-шпионишь? Уходи отсюда, все равно в школу не пушу». И за камень. «На мать?!» Побила я его тогда, а он вырвался – и в школу.

Стала провожать я его на уроки. Несколько раз пошла с ним, а больше времени не хватило. Через неделю соседки мне опять и говорят: «Женька на соседней улице с картежниками сидит. Ругаются. Подойти страшно».

А потом несчастье. Начал он за одной девчонкой ухаживать. Верочка. Хорошенькая такая. Он, даром что слабый, девчонкам нравился. Красивый же! А Верочкин отец увидел их вместе и запретил Верочке встречаться с ним. «Чтоб, говорит, я тебя вместе с тем хулиганом не видел». Женька и пошел к нему объясняться. Да не один пошел, с компанией. С Толькой Гудковым, Валькой Длинным, Валеркой, Васей Томилиным и еще с несколькими оторви-головами. Пришли они, стучатся. А в доме компания. Не то день рождения Верочкиного отца, не то именины, не то просто суббота. Выпивка, в общем. Верочкин отец увидел Женьку, а сам уже подвыпивши, выскочил, кричит: «Мерзавец, негодяй, хулиган, чтоб тебя на километр от моего дома не было». – «Дядя, – говорит Женька, – я с вами по-хорошему поговорить хочу». – «Ты мне еще и угрожать!» Бросился во двор, схватил палку – и на мальчишек. А за ним и мужики, с которыми он выпивал. Свалка там получилась. Женьке голову палкой разбили, а Верочкиного отца ножом кто-то пырнул. Кто пырнул – Женька до сих пор мне не говорит. «Не я, Муля. Поняла? И все». Побили мужики тогда мальчишек, они и разбежались. А мужики опытные – к следователю, на судебную экспертизу, Верочкиного отца в больницу, хоть и порезали его неопасно. Забегалась я тогда. Матери Тольки Гудкова, Вальки Длинного, Томила – все на меня. «Это твой Женька ребят подбил, это из-за него им в тюрьму идти». Я к Верочкиному отцу в больницу: «Заберите ваше заявление из суда. Вы же первый начали, вы Женьке голову палкой проломил. Мальчишка с вами поговорить хотел. Не думайте, что на суде это вам сойдет с рук», – на испуг его взять хочу. А он мне говорит: «Платите три тысячи рублей, и пусть Женька придет ко мне домой извиняться». Три тысячи рублей! Вот ведь, Витя, люди какие. Сам первый начал, Женьке голову палкой проломил – и плати ему три тысячи рублей. «Вы, говорит, на испуг меня не берите. На суде разберутся, кто виноват. Не мы к ним, а они к нам пришли. Мы мирно выпивали, а они вломились к нам. Хотите замять дело – я, так и быть, молодость вашего сына пожалею. Платите три тысячи рублей и пусть придет ко мне извиняться». Я слушаю и прикидываю – прав он. На суде сразу спросят, кто к кому пришел. Побежала я к матери Гудкова, Томила, Длинного: «Давайте соберем три тысячи рублей». Ну, Витя, у кого ничего нет и неоткуда взять, кто мне говорит: «Ни копейки не дадим. Твой Женька зачинщик, ты и плати». Пальто я продала, довоенный материал на костюм я берегла до хороших времен – тоже на толкучку пошел. Отдала я эти три тысячи рублей, а извиняться Женька не пошел. Гнала я его, заразу, а он: «Лучше в тюрьму». Сама я за него бегала извиняться.

Я уж Ирку просила: «Возьмись за него». А она мне: «Ты за него все время берешься, а получается что-нибудь? За меня ты никогда не бралась». А не понимает, что если я к ней в тетрадки не заглядывала, то все остальное за нее делала.

А у Женьки скандал за скандалом. Пристали они с Валькой Длинным к какой-то девчонке, та от них заперлась в хате. Так они что придумали – посрывали со всего огорода, который был около хаты, тыквы и сложили их под дверями хаты. А тыквы зеленые. Весь урожай, подлецы, испортили. Мать этой девчонки увидела – чуть жизни не лишилась. Такая же бедолага, как я, без мужа. На эти тыквы у нее вся надежда была. Она ко мне: «Ты мне заплатишь за все! Где отец? Не уйду отсюда, пока отца не дождусь». – «Не дождешься», – говорю. Она смотрит на меня: «Нет отца?» – «Нет». – «На фронте?» – «На фронте». – «Подружка, говорит, ты моя». Сели мы с ней вдвоем на приступочки, обнялись и наплакались.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

А потом Женька вдруг даже выправляться стал. Ты от нашего дома к реке ходил? Аэродром видел? Он тут, рядом с огородами, давно. Еще мы с Николаем ходили на самолеты смотреть. Весной там красиво – трава, тюльпаны, степь же. Пацаны там и

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru крутятся. В футбол играют, на самолеты смотрят, на велосипедах ездят. Места много, аэродром не огорожен, самолеты учебные. Женька и повадился туда ходить. Как утро – на аэродром. Я вначале боялась – совсем учебу забросит, а потом узнала, что в аэроклуб этот ребят принимают только по справке из школы, что «двоек» нет, что успеваемость положительная. Смотрю, Женька учебники листает, заниматься стал, книжки о самолетах домой приносит, чертежи какие-то. Утром поднимается в пять и бежит на аэродром – полеты у них рано, в шесть часов утра. Мне ничего не говорит, считает ниже своего достоинства. Привык перед ребятами свою самостоятельность показывать. Но и со мной стал чаще разговаривать. Шутками все, небрежно, но вижу, и мне ему хочется показать: «Смотри, Муля, Женя у тебя не какой-нибудь идиот».

А тут Вальку Длинного – он на год старше Женьки – в армию забрали, еще дружок из старой компании. Авось, думаю, пути у них разойдутся. Дядька у Женьки есть, замполит летной части, муж моей сестры. Я ему письмо написала, просила, чтобы он Женьке по-своему, по-мужски, по-военному написал. Тот прислал большое письмо. Хорошее, правильное такое. Мне очень понравилось. Про учебу, про то, как трудно мне было без Николая воспитывать двух детей, что Женька должен мне стать помощником, про то, как надо воспитывать характер, чтобы стать военным летчиком. Я Женьке показала, а Женька, подлец, даже читать не стал. Посмотрел и бросил на стол: «Твоя, Муля, работа? Сама и читай».

Но вообще-то он стал лучше. Ирка в тот год университет кончала, читала много, библиотеку на свою стипендию – Ирка всегда получала повышенную – собрала. Женька ее книжками перед ребятами хвастался – Ирка всегда книжек недосчитывалась. Сам стал много читать. «Войну и мир» прочитал, «Анну Каренину», «Золотого теленка» наизусть выучил. Они с Иркой цитатами разговаривали. Ирка смеется: «Женя, я вижу, вы стали образованный. Следы ваших жирных пальцев на всех моих книгах». Она ему в шутку «вы» стала говорить.

Ирка кончила университет, а Женька получил аттестат зрелости и в аэроклубе экзамен сдал. Принес мне свой аэроклубовский диплом, сует под нос: «Смотри, Муля. На, смотри!» В аттестате у него почти все «тройки», а в аэроклубовском дипломе только «пятерки». И по полетам, и по теории, и еще по чему-то. В военкомате его взяли на специальный учет, чтобы направить в летное училище. Ирка смеется: «Вы, Женя, наша Гризодубова, а также Марина Раскова. Стойку на руках вам, Женя, до сих пор слабо сделать». Я говорю Женьке: «Ты напиши с Иркой несколько диктантов, позанимайся с ней физикой и математикой. Ирка пять лет литературу учит, а всю твою физику и математику знает. В училище же экзамены придется сдавать». – «Не твое дело, Муля». До осени ходил на аэродром, а осенью их, аэроклубовских, собрали в военкомате и дали направление в Сибирь, в летное училище. Военком им сказал: «Вы уже почти солдаты. Приедете в училище, пройдете медицинскую комиссию, сдадите экзамены – и сразу у вас присягу примут».

Проводила я его на вокзал, всплакнула, дура, над его остриженной головой, посадила в поезд, а сама собралась и уехала за Иркой в деревню, куда ее направили работать. Уговариваю себя: все хорошо будет, даже успокаиваться начала. Думаю: поживу в деревне, за Иркой поухаживаю, отдохну, а в хату, на свою половину, квартирантов пушу, на деньги, которые с них получу, мебель отремонтирую. Мебель еще ни разу не ремонтировала. Я уже и со столяром договорилась, сколько он возьмет шкаф пошарбовать и лаком покрыть, этажерку отремонтировать, стулья. До войны шкаф светлым был, а тут будто почернел, закоптился. Как в кузнице живем, честное слово.

Приехала я к Ирке в ноябре, кое-как по распутице добралась – там без резиновых сапог шагу нельзя ступить. Одеядо ей ватное привезла, таз эмалированный, кадушку купила капусту солить, примус. С хозяйкой, у которой мы с Иркой жили, подружилась, учила ее и как пирог слоеный делать, и как наполеон, и отбивные... Месяц так прошел, пуржить начало, ветер со снегом, на улице холодно, почта ходит с перебоями, а от Женьки писем все нет и нет. Ирка говорит: «Нет писем, – значит, хорошо. Было бы плохо – написал». Я сама так думаю, а все беспокоюсь. И добеспокоилась – под вечер кто-то стучится в дверь. Дверь открывается... и на пороге появляется сам Женька. Уши белые, на голове фуражечка, весь скривился и говорит: «Перед вами несчастный Мак». В тужурке, в пиджачке, в брюках, а сам храбрится, острит.

Как я и боялась, засыпался на экзаменах. «Ваш брат, Ира, Женя-идиот засыпался на экзаменах». – «Женя, ты хоть бы шпаргалок приготовил». – «Майор мне сказал,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru шпартгалыщику нельзя доверить новую военную технику». – «А ты, Женя, пытался шпартгалить?» – «Да». – «И тебе дали по рукам?» – «Дали». А у самого слезы в глазах. И замерз страшно. «Как же ты сюда добирался?» – говорю. «На крыше вагона, Муля». Это он из Сибири в такую-то пургу! А домой сунулся – там квартиранты. Он опять на поезд, потом на попутную машину и к нам в деревню. Но самое главное он приберег напоследок – оказывается, он дезертир! Правда, присягу они еще не принимали, но солдатами уже считались. Его и тех, кто засыпался на экзаменах, направили из летного в авиатехническое или авиопарашютное – не знаю уж, как оно называется, – училище, а они – Женька и еще двое оторвиголов – на какой-то сибирской станции пересели с поезда, идущего на восток, на поезд, идущий на запад. Деньги им на дорогу товарищи собрали, но не столько, чтобы на билеты хватило. Вот они и ехали полдороги в тамбурах, полдороги на крыше.

«Что же ты теперь будешь делать?» – спрашиваю. « Попрошу в военкомате направление в другое училище. Буду еще раз сдавать». – «А там ты не мог пересдать? Попросить начальство?» – «Муля, если бы ты там была, в пять минут выплакала бы переэкзаменовку. У них там получился недобор». – «А чего ж ты не заплакал?» – «Гордость не позволила».

Так пренебрежительно говорит: «Ты бы заплакала, а мне гордость не позволила».

Бросила я Ирку, поехала с ним в город. Он пошел в военкомат, а там у него документы забрали и говорят: «Никаких направлений мы тебе не дадим. Судить тебя за дезертирство будем». Он пришел домой: «Готовь, Муля, торбу, суши сухари». Я – в военкомат. Говорю секретарше: «Я такая-то, хочу поговорить с военкомом». Она пошла в кабинет, возвращается: «Его нет». Грубо мне так говорит: «Его нет». – «Как нет?» А я его, Витя, и в лицо знаю, и по голосу могу узнать. Я ж его со времени войны помню, когда приходила к нему узнавать, как погиб Коля, и когда Женьке путевку добывала в санаторную школу, пенсию на детей оформляла. «У него нет времени». – «Пусть найдет». Тут выходит сам военком – услышал, как я кричу. «Мне не о чем разговаривать с матерью дезертира». – «С матерью дезертира не о чем, а с женой погибшего на фронте есть о чем?»

А мы с ним, Витя, уже не в первый раз ругались. В сорок четвертом топить в хате было нечем, я к нему за ходатайством для угольного склада ходила. Так с просьбой к нему лучше не приходи – за человека не считает! Морду воротит, «тыкает»... А я ему тоже, а он еще грубее. «Ты, спрашиваю, где был, когда моего мужа убили? Морду отъедал в военкомате? Ты кого собираешься судить, на ком политический капитал зарабатываешь, бдительность свою проявляешь? Ты его кормил в сорок первом, ты его от голодной смерти спасал, что теперь судить собираешься?» Пошла я на него, а он только отмахивается. Офицеры из других комнат выглядывать стали, женщины какие-то. А я их не боюсь, кричу свое... Может быть, Женьку и посадили бы, да время уже менялось, кончался пятьдесят четвертый год. Добилась я своего. Военком обещал подумать. Потом сказал: «Пусть на свой страх и риск и за свои деньги едет на Украину, там завтра-послезавтра начнутся экзамены для дополнительного набора. А мы документы подошлем».

Купила я Женьке билет, немного денег дала. Говорю ему: «Это Иркины деньги; на обратную дорогу тебе у меня нет. Чтобы больше обратно не приезжал». Опять проводила его на вокзал. Уехал он, а через два дня присылает телеграмму: «Муля, пусть срочно высылают документы». Я побежала в военкомат: «Выслали документы Конюхова?» – «Нет». – «Вы ж обещали выслать». – «Мы не имеем права, запросили облвоенкомат, как там решат». Я – в облвоенкомат. Куда я только не бегала! И в аэроклуб, и в военкомат, и в облвоенкомат. Понимаю, если Женька разорился на телеграмму – значит, положение у него отчаянное. А куда ни прибегу, мне говорят: «Мы не можем решить, придите завтра». – «Да как же завтра, если там уже экзамены начинаются!» Так они мне не говорят «нет». Они говорят: «Вот придет разрешение, мы обсудим и отправим документы». Я в аэроклубе говорю: «Он же у вас был лучшим курсантом, его фотография до сих пор на доске почета, почему вы не поможете ему?» – «Он сам себя наказал. Совершил преступление и теперь расплачивается за него».

Ругалась я с ними, доказывала, а тем временем Женька вернулся. Опять на крыше вагона. Пришла я домой, а он сидит у печки. «Эх, говорит, Муля, не знают они, какого теряют во мне летчика». А у самого озноб, температура. Он неделю ночевал на вокзале, почти ничего не ел.

Он, как туда приехал, пошел к замполиту училища, рассказал ему все: «Разрешите

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru сдавать экзамены, а документы потом подойдут». Тот его внимательно выслушал. Вежливо так. Вместе с ним из училища вышел, прошел с ним квартала два, все расспрашивал. Не спросил только, где Женька ночевать будет. А потом говорит: «У нас все места уже заняты, набор полный, но если твои документы придут вовремя, сделаем для тебя исключение. А если документы не придут, сам понимаешь, никто тебя в такое училище принять без документов не вправе». – «Вы запросите документы», – просит Женька. «Нет, – говорит замполит, – запрашивать документы мы не будем. Ты сам понимаешь, что кругом виноват. Но если документы придут, мы для тебя сделаем исключение». Ждал Женька документы, ждал. Экзамены начались, закончились, а документов нет. Пошел он еще раз к замполиту, а тот говорит: «Ничем не могу помочь, не получилось у тебя на этот раз. Приезжай в следующем году. Буду рад с тобой встретиться». Женька пошел на вокзал, кепку на лоб натянул и подцепился на поезд. Так и приехал домой. «Не знают они, Муля, говорит, какого летчика во мне теряют».

Простудился он сильно, долго болел. В армию его в тот год не взяли, дали отсрочку по болезни, а месяца через четыре медкомиссия признала его для летного училища негодным. Он же с детства был слабым, болезненным, а после этой болезни у него с нервами что-то сделалось, легкие стали плохими, желудок. Взяли его в армию на следующий год, но уже не в авиацию, а в стрелковые части. В военкомате ему предлагали: «Хочешь поближе к самолетам? Направим в части аэродромного обслуживания. Механиком будешь». Не захотел. Унижением для себя посчитал.

К Ирке в деревню я уже не вернулась, опять на фабрику пошла. Кожгалантерейную. Она одна у нас в районе такая, где бабы вроде меня, без специальности, работать могут. У нас во всех цехах бабы. Мужиков раз, два – и обчелся. Механики, слесари-наладчики, местком, завком, партком, директор, а все остальные – бабы. Начальство у нас командует, как хочет. Бабу же, если за нее заступиться некому, легче легкого плакать заставить. Ей что ни скажи, что ни заставь, она утрется платочком и тянет с утра до вечера. Я бабам говорю: «Вы берите пример с меня. Я никому не дам себя обидеть». – «Да, говорят, тебе легко. Ты бесстрашная».

Принимали у нас соцобязательства – соревновались мы с кожгалантерейной фабрикой другого района. Ну, как эти соцобязательства принимали? Составили их где-то там у директора или в завкоме, а нам в цех принесли, чтобы мы проголосовали. «Кто за? Кто против? Никого нет?» Я говорю: «Я против». Они даже не поверили, думали слышались: «Есть кто-нибудь против?» Я говорю: «Я против. У вас там записано снизить себестоимость, на двадцать пять процентов повысить производительность труда... А как повысить? У нас же нет машин. У нас ручной труд. Как вы собираетесь повышать производительность? За счет ускорения ручного труда? Вы запишите: „Обеспечить механизацией повышение производительности труда на сто процентов“ – и я соглашусь на сто процентов». Они мне кричат: «Вы не наш человек!» – «Это вы, говорю, не наши люди». На следующий день вызывают в партком: «Вы говорили, что коммунисты фабрики не наши люди?» – «Это вы – коммунисты?» – спрашиваю. «Смотри, Конюхова, за такие слова! Счастье твое, что теперь не то время. Мы к тебе воспитательные меры применим».

А какие они воспитательные меры ко мне применяют? Заберут выгодный заказ, поставят на невыгодный. С народом ссорят. Я ж, видишь, какая быстрая. Я очень быстро работаю. Организм у меня такой. Я за двоих молодых работаю. На ручном труде какое может быть равенство? Ты здоровый, ты ловкий – для тебя одна норма, для слабого другая. Меня поставят ремешки клепать – я и накидаю за смену кучу, которую двое накидывали. Я, Витя, не могу мало зарабатывать. Женька вернется из армии – ему надеть нечего, бабку кормить надо. И организм у меня такой – не могу я медленно работать. Бабы на меня обижаются, а я им говорю: «Чего вы голосовали за тот договор? Я-то голосовала против! А теперь обижаются, что вам нормы режут».

Не любит меня начальство. Не любит, а сделать ничего не может – в должности не понижишь, некуда, план я всегда перевыполняю. И грубить мне боятся. У нас какой директор? Была у нас в цеху пропажа. Ему ошибочно показали на двух работниц. Он прибежал в цех, орал, топал на них. Бабы плакали, а потом оказалось, что бабы эти ни при чем. Нашелся настоящий вор. Так, думаешь, директор извинился перед теми работницами? Когда ему сказали, он отмахнулся: «Все хороши!» Недавно у нас цеховое профсоюзное собрание было. В цеху плохая вентиляция, плохое отопление, сквозняки – разбитые окна по месяцу не вставляются. Начальнику цеха скажем – никакого внимания. Мы решили позвать на собрание директора. Он пришел, послушал нас две минуты и говорит: «Зачем вы меня позвали? Я думал, у вас тут разговор

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru пойдет по большому счету, о том, как родине дать больше продукции, а вы меня отвлекаете от дела. Работать надо лучше».

Бывало, как на заем подписываться, так по цехам крик. К начальнику цеха таскают, в профком, в партком. Я говорю: «Двадцать пять процентов дать могу, а больше ни копейки». Я, Витя, не против займов. Я понимаю – деньги идут не кому-то там в карман, на строительство новых заводов, больниц – я все это понимаю. И хоть трудно мне, говорю: «Двадцать пять процентов могу дать». А они мне говорят: «Подписывайся на сто процентов». Целый день держат в парткоме, у директора завода. «Подписывайся!» Я говорю: «Вы грамотные? Берите карандаш, давайте считать. На что вы меня толкаете?» – «У нас, говорят, все должны подписаться на сто процентов, а ты нам портишь картину. Подпишись, а мы тебе поможем хорошими заказами». – «Вы люди или не люди? Не могу я подписаться на сто процентов». Тут они мне все припомнят: и про то, как я их ругала, и как голосовала против соцдоговора, и как директору нагрубил: «Мы давно видим, Конюхова, ты не наш человек». Я им говорю: «С мужиком вы так не поговорили бы, мужик фуганул бы вас по-русски, чтоб перья от вас полетели. Смотрите, а то и я вас пошлю подальше». Так и не подписалась на сто процентов.

А Женька мне теперь из армии покаянные письма пишет: «Муля, я все понял, я понимаю, как тяжело тебе. Учусь на шофера, скоро получу права. Приеду домой, буду работать и учиться. Тебе не придется за меня краснеть. Передай Ирке, чтобы она не обижала тебя, а то мы привыкли над тобой хиханьки да хаханьки, а все потому, что, как ты правильно говоришь, нас жареный петух в одно место не клевал».

Два года ему еще служить. Вот ведь как у него получилось. А в тот вечер, когда он приехал к нам в деревню, Ирка ему сказала: «А ну-ка, Женя, продиктуй мне условия задачи, которую вы не могли решить». Женя продиктовал, а Ирка через две минуты сказала ответ. «Женя, Женя, – говорит она ему, – летать вы научились, с парашютом прыгали, а физику выучить силы воли не хватило».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мы с Иркой живем у Мули. Когда год тому назад я вернулся в город и Ирка стала моей женой, оказалось, что мои интеллигентные родители со мной и Иркой в своей довольно большой квартире ужиться не могут.

– А куда вам идти, – сказала тогда Муля, – где вы возьмете деньги платить за частную квартиру? Живите здесь. А ребенок появится – кто за ним будет смотреть? В кино отсюда далеко, в театр, но живут же люди.

Так мы и переехали к Муле в маленький четырехкомнатный домик, который, собственно, принадлежит не Муле, а ее свекрови, Иркиной бабушке – бабе Мане. Бабе Мане семьдесят пять лет, она уже составила завещание, в котором по одной комнате отписала Ирке и Женьке, а две других – третьей внучке Нинке, которую она воспитывает с тех самых пор, как умерла Нинкина мать.

Муля недовольна этим завещанием:

– Получается, Колины дети хуже, чем Любины. Им по одной комнате, а Нинке – две. Вы всегда, мама, Колю меньше любили, чем других своих детей. И детей его меньше любите. Да этот ваш дом давно бы развалился, если бы не я. Я его каждый год обмазываю, белю, сколько глины уже перемесила вот этими руками. За что же Нинке две комнаты?

Баба Маня всплескивает руками:

– Да я-то еще не умерла! Меня-то ты куда денешь? Я-то должна где-то жить? Ты же меня еще не похоронила!

И Муля, на секунду запнувшись, смотрит на нее своими черными глазами. В самом деле, баба Маня должна же где-то жить! Комнат всего четыре, а внуков трое, к тому же дом поделен на две половины.

Когда-то давно, когда этот дом строили баба Маня и её муж, в доме было всего три комнаты, и все они были связаны между собой, однако потом, когда Манин сын Николай женился, когда он привел Мулю, перегородку удлинити, третью большую комнату разделили на две, и дом оказался поделенным на две примерно равные

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
половины. Поставили вторую печку, и Муля – это было сделано под ее напором – получила самостоятельность. И сейчас Муля живет на своей половине, а баба Маня с Нинкой на своей, и ничего уж тут придумать нельзя, и никак дом заново не перекроить. Муля это понимает, но согласиться с этим никак не может.

Двадцать лет она живет в этом доме, пятнадцать лет выполняет все мужские и женские обязанности: мажет хату, белит ее, чинит крышу, перекапывает сад, подпирает кольями, связывает проволокой разваливающийся забор – а места ей в завещании не нашлось. И получается, что живет она не у себя, а на жилплощади детей. Никто ее, конечно, не выгонит из дому, но все же есть во всем этом что-то тревожащее Мулю, поэтому-то она и смотрит на бабу Маню такими пристальными, почерневшими глазами, поэтому-то и возвращается часто к тому, как баба Маня несправедливо поделила дом: две комнаты беспутной Нинке и лишь по одной комнате Колиным детям...

– Вот такая она, Витя, всегда беспокойная была, – сказала мне баба Маня. – Мы, Колюховы, спокойные. Ни скандалов у нас, ни суеты, ни крика. Мужа своего я никогда трезвым не видала, от пьяного вставала, к пьяному ложилась, а тоже спокойный. Так, покричит на меня, чтобы я свое место знала – женился он на мне, когда мне было шестнадцать лет, и сам был на шестнадцать лет старше меня, – а чтоб скандалить, такого не было. Я ж такая – рот замкну и ни «да», ни «нет». Пойду в сарай, переплачу – и все.

А ведь жизнь у меня какая? Ни одного светлого дня... Сиротой рано стала, мать за второго вышла, за железнодорожника, а он ей обо мне: «Отдай ее в горничные». Ну, правда, не отдала, отстояла. Шить меня научила. А как мы жили? В поездку уедет отчим, куски сахара пересчитает. Так мы и жили. А потом вышла за Василь Васильевича. Ну что ж, Витя, и отзывчивый он был, и добрый, и пьяный. Всегда пьяный. Но спокойный. Поначалу только скандалил – испытывал меня...

И Коля у меня спокойный был. И старший Петя, и Люба. Все дети были спокойные. Я утром, бывало, работаю, их не бужу, чтобы не мешали мне, они и спят. Маленькими долго спали. А проснутся – тоже их не слышно. Покормлю – они и занимаются своими делами. И выросли – спокойными остались. И не жадные. Пока вместе жили, все деньги отдавали мне, и потом, когда Петя женился, он деньги мне приносил. Я его ругала: «Ты костюм купи себе». – «А зачем он, мама, мне?» Он, Витя, справедливым был. Я на него смотрю – такие раньше на царей покушались. Он был партийный, пост большой занимал, а квартиры себе получить не мог. Все по командировкам ездил. Он и заболел в командировке, кашлял с кровью, а о себе ему некогда было подумать.

А Аня к нам пришла, и все у нас вот так вот сделалось, честное слово, Колю замордувала. То, чтобы он курить бросил – денег много на табак уходит, – то еще что-то. И как что не по ее – обижается, к столу не идет: «Я не хочу кушать». Василь Васильевич на что уж суровый был, сам пойдет к ней: «Аня, идите обедать, мы вас ждем». – «Не хочу, я сыта». Это уже все знают, что что-то не по ее. И Коля сам не свой – и передо мной ему не хорошо, и без нее он не может.

Вот, Витя, есть такая примета, баба стирку затеяла, белье ей сушить надо, а на дворе солнце, погода хорошая – значит, муж бабу любит. Шуточная это примета, конечно. Но скажи ты, когда Аня стирку ни затеет, погода разгуляется, солнце светит. «Это, – говорит она, – Коля меня любит». И правда, Николай ее любил. Я про нее ничего плохого сказать не хочу, она и красивая была, и работящая. Так, как она работает, никто не может. Себя она не жалеет. И замуж после смерти Николая не вышла, хотя молодая еще была и предложения ей делали. Из-за детей не вышла. И блюла себя. Во время оккупации немцы у нас стояли, так один к ней ночью пришел. Она детей с собой в кровать брала, чтобы ее не трогали, а этот все равно пришел. Она ему лоб, нос, щеки – все лицо расцарапала, крику наделала, детей разбудила. Я днем того немца увидела, смеюсь, говорю ей: «Ты, Аня, посмотри, всю жизнь жалеть будешь». Такой немец был здоровый да красивый... Нет, я ничего плохого о ней не хочу сказать.

А вот беспокойная она. Я с ней не могу. Шумная. Бабка, мать ее, глухая как на грех. Начнут они разговаривать – крик в доме. С Женькой разговаривает – кричит. Дом не так поделили... Жизни она мне из-за этого дома не дает. «Я, говорит, этот дом белила, мазала, ремонтировала». Правильно – ремонтировала, мазала, да ведь строила его мы с Василь Васильевичем. Степь тут была тогда, огороды, а к реке – казачья станица. Василь Васильевич получил этот участок, привез меня сюда: «Вот тут, говорит, хата, вот тут огород». Так ведь каждое ведро глины, каждое

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
бревнышко мы с ним своими руками перещупали. А воду откуда возили? Это сейчас колонка за квартал, и мы считаем далеко, а ведь раньше воду с реки бочками возили. Подъездом бочкой к спуску с горы, поставим бочку, подложим под колеса камни, а сами с ведрами за водой. А гора с версту. Плечи полопаются, пока ведрами бочку наносишь. А потом эту бочку еще по степи версты три везти. И опять за водой.

Я сейчас больная да слабая, а раньше здоровая была, так я вся почернела, пока дом строили. Построили его, а он сырой. Бревна клали сырыми. Они сквозь штукатурку и проступали на потолке во время морозов. Топили мы, топили, пока дом высушили. А сад этот? Василь Васильевич привез из питомника сто пятьдесят корней. Так ведь степь, Витя, надо было лопатой вскопать, деревья посадить да все их полить! А ну-ка! Я уж мужу говорю, куда нам этот дом – а строили мы его, Витя, уже перед войной – есть же у нас хибара, заплатили мы за нее деньги, дети взрослые, разойдутся от нас, а нам на наш век хибары этой хватит. «Нет, говорит, будем строить. Хочу в настоящем доме жить. Детям наш дом достанется». Достался! В один год вынесли два гроба. Это ж подумать только – в один год два гроба! Петя и Люба. А в сорок четвертом и Николай.

У меня уж, Витя, все в душе сгорело. Эгоисткой я стала. Я во время войны санитаркой в больнице работала. Ну все делала: горшки выносила, утки подавала, полы мыла, простыни, грязное белье стирала. Все делала, а сама, как сонная, как не своя. Работать сутками могла – все равно мне было. А если кого на носилках понесут, я думаю: «Не у меня одной такое горе. И у других тоже». Нет, Витя, устала я жить...

У бабы Мани красные, опухшие, перевязанные грязными бинтами ноги. Эти толстые, негнущиеся ноги не дают ей нагнуться, присесть на корточки – не выдерживают тяжести большого рыхлого тела. Ранней весной, летом и осенью Маня ходит по двору босиком. И кажется, что Маня не чувствует своими плоскими ступнями ни холода, ни боли – так равнодушно и подолгу она стоит на мокрой земле или ступает по битому стеклу. Случается, что Маня падает. Падает, спускаясь с низеньких порожков или просто на ровном месте. Падает она тяжело, всем большим телом, и не кричит, не зовет на помощь, хотя сама подняться не может. Ждет, пока кто-нибудь выйдет из дому и увидит ее. «Почему ж вы не крикнули, баба Маня? Что ж это такое?!» Маня молча поднимается и только шепотом про себя причитает: «Ох, боже ж ты мой». В бога она не верит: «Если бы он был, Витя, я бы его ненавидела».

Время от времени ноги ее страшно заболевают. Тогда мы вызываем «скорую помощь». «Скорая помощь» приезжает и неохотно забирает бабу Маню в больницу. Неохотно, потому что болезнь бабы Мани неизлечима, как неизлечим ее возраст, как неизлечимо все то, что она пережила за свою долгую жизнь. И сама баба Маня неохотно уезжает в больницу. Не потому, что ей дома хорошо, а в больнице будет хуже – в больнице баба Маня все-таки отдыхает. Дома Мане приходится смотреть за двухлетней Нинкиной дочкой: «Это ж наказание, Витя, не угонюсь я за ней на своих ногах. Она убегает, а я не угонюсь», – а уезжать в больницу баба Маня не хочет, потому что некому смотреть за Нинкиной дочкой. В ясли дочку Нинка не хочет устраивать: «Пусть Наташка будет дома, пусть старуха смотрит».

Мне кажется, что баба Маня безмерно унижена своей великой любовью к беспутной Нинке.

Вот и сегодня нам через стену слышно, как Нинка истерично ругает бабу Маню. Нинка работает кондуктором автобуса, на смену ей надо подниматься в три часа ночи, она не высыпается, возвращается с работы раздраженная. А баба Маня сегодня постирала ей белье и вышивки. Так зачем она постирала! Она не так постирала!

Распахнулась дверь, Нинка влетела к нам. Растрепанная, в слезах, в коротком халатике, остановилась у спинки кровати – к нам здорово не влетишь, от двери до стола, за которым мы сидим, два шага, вытерла рукой щеку под глазом и сказала плачущим, неискренним, ищущим сочувствия голосом:

– Я ж ей говорила: «Отдыхай! Отдыхай!» Сколько можно! Зачем она за мной подлизывает: «Ниночка! Ниночка!» Когда это кончится!

Муля, не поворачиваясь к Нинке – она сидела к ней спиной, – сказала спокойно, буднично:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Не с... паром, ноги обожжешь.

И Нинка вдруг сразу успокоилась. Еще раз провела рукой по высохшей щеке, взяла стул, запахнула халатик на голых ногах, села к столу и сказала, таращась, – у Нинки, о чем бы она ни говорила, всегда такое выражение, будто она возбужденно таращится:

– Видела Юльку Николаеву. Восемь лет детей не было, а сейчас что-то завязалось.
– Нинка показала на живот, – Муж там свой не свой. Еще бы! Дом выстроили, плитусы, трафарет. Вдвоем там бьются головами о стены.

Муля заинтересованно глянула на Нинку через очки. Удивительно видеть Мулю в очках «моя добрая старая бабушка» – с дужкой, перевязанной ниточкой, с давней трещиной на стекле. Муля надевает очки, когда съезжает при электрическом свете или когда клеит вечерами контрольные талоны, подсчитывает, сколько она заработала у себя на фабрике за неделю. В очках лицо ее становится медлительным, спокойным, и даже нижняя губа как-то раздумчиво и меланхолично выступает вперед.

– Забеременела? Юлька? – переспрашивает она Нинку и на минуту оставляет штопку.

– Забеременела, – возбужденно таращится Нинка и машет на меня рукой: – А ты не слушай, если тебе не нравится.

Потом Нинка поворачивается к Ирке:

– Представляешь, поставила будильник на полтретьего, а он позвонил без десяти четыре. А в четыре надо быть в парке. Я вскочила и бегом. Лифчик как следует застегнуть не успела, похватила, что увидела: сумку, косынку – и на автобусную остановку. Бегу: «Ну все – опоздала». Если дежурный автобус прошел – час ждать. Смотрю – идет, добежала – сердце лопается. Влезла, а там только наши, парковские. Показывают на меня пальцем и смеются. Животы надрывают. А я как на ночь накрутила волосы, локоны тряпками навязала, так с тряпками в голове и в автобус влезла.

Нинка что-то вспоминает, вскакивает, выбегает из комнаты и возвращается с белым свертком в руках.

– Хотела посоветоваться. Вчера встретила отца. Он и говорит: «Что ж это никто на день рождения мне и пол-литра не поднес?» А я и забыла совсем. Думаю, что бы ему подарить? Может, эту рубашку? Как ты думаешь, мужчина?

Я пожимаю плечами.

Нинка почти не жила у отца. После того как умерла Люба, Нинкина мать, Нинка жила на два дома – у бабы Мани и у мачехи. А потом баба Маня и совсем забрала ее к себе. Отец вернулся после войны домой и не стал отбирать Нинку у Мани. Так они и живут с тех пор. Нинка изредка ходит к отцу; с мачехой она дружна и уже несколько раз прибежала ко мне с просьбой оборонить мачеху от отца. Когда отец пьян и буен, Нинка ненавидит его, грозит свести со света, бесстрашно бросается на него с кулаками, называет «идиотом», грозит, обещает, что я через газету отниму у него пенсию и вообще заклею. Когда отец трезв, Нинка забывает о своих угрозах, ходит к нему «смотреть телевизор», разговаривает с ним, но никогда не просит у него совета или помощи. К отцу она равнодушна.

– Да ты посмотри, – говорит мне Нинка и разворачивает рубашку. – Ничего? Белая, правда? Стоит девятнадцать рублей. Подарить?

– Как хочешь.

– Да ты посмотри.

Нинка надевает рубашку поверх халата. Широкая мужская рубашка свисает на ее узких плечах, рукава она долго закатывает. В комнате нет большого зеркала, а Нинке хотелось бы сейчас посмотреть на себя в зеркало. Она делает движение бедрами, как будто смотрится в зеркало.

– Муж скоро из армии вернется, а ты перед мужем сестры задом крутишь, – говорит Муля.

– Ничего, от него не убудет, – отвечает Нинка и вдруг решает: – Жалко отцу такую рубашку дарить. Подарю ему пол-литра. Или и так хорош будет. Пашка вернется, спросит, где рубашка? Он ее уже раз надевал. Или продать ее? Деньги нужны. Продать? – И неожиданно решает: – Подарю или продам. Белая же! Что я ее буду каждый день стирать?!

Нинка уходит, а минуты через две ей на смену приходит Маня. Тяжело садится на стул, поджимает губы и молчит. Молчим и мы. Ирка предлагает:

– Баба Маня, чаю?

Баба Маня молча отрицательно качает головой. Муля вздыхает:

– Деточки! Черти своих не узнали да нам подбросили.

Я говорю.

– Маня, вы бы поели.

У бабы Мани одышка, так она тяжело переживает Нинкины оскорбления. Она говорит:

– Витя, мне умереть хочется! Если б ты знал, как хочется умереть.

Несколько дней назад я зачем-то зашел к Мане. Маня была одна, она лежала на кровати и плакала.

– Что с вами? – испугался я. – Ноги опять болят? «Скорую помощь» вызвать?

– Умру я скоро, – сказала Маня. – Не ем ничего. Сил уже ни на что нет. Разве это я ем? За два дня крошку в рот взяла и насильно проглотила. Нет, Витя, даже на еду сил.

– Вам бы надо отдохнуть, – сказал я, пораженный этими слезами бабы Мани. Бабы Мани, которая пережила и своего мужа, и всех своих детей и от которой я столько раз слышал, что ей хочется умереть. – Вам надо бросить все и уехать в дом отдыха. Мы с Иркой достанем вам путевку. Что вы, отдыха себе не заработали, что ли?

– А кто Наташку будет смотреть? – безнадежно сказала баба Маня.

– Пусть Нинка ее в ясли устроит. Она же жена солдата. Ее ребенка обязаны взять в ясли в первую очередь.

– Не хочет она, Витя.

– Да что значит не хочет! У вас что – своей воли нет?

У бабы Мани не было своей воли, если чего-то хотела или не хотела Нинка. Вот и сейчас бабу Маню сотрясает одышка, руки у нее дрожат, она ждет от нас сочувствия; говорит мне: «Вот, Витя, думала, детьми успокоюсь, а дети умерли. Думала, внуками успокоюсь – и на тебе», – а начни я ругать Нинку, и Маня станет мне чужой. И не только мне, но и Ирке и Муле.

Муля говорит:

– До Пашкиного возвращения еще два года.

– Ой, не дай мне бог дожить до этого дня, – отвечает Маня. – Приедет пьяница, совсем я тут буду лишняя.

Тогда я все-таки не выдерживаю и начинаю ругать Нинку. Я говорю, что она неблагородный, неблагодарный человек, что она думает только о себе, что баба Маня сама виновата – она своим попустительством разлагает Нинку.

– Говорит же вам Нинка: «Не подлизывай». Вот и не подлизывайте. Пусть сама все делает. Пусть покрутится без бабы Мани.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
И тут баба Маня вдруг говорит:

- Слабая она. Жить ей недолго.
- Кому? – не сразу понимаю я.
- Нинке, – говорит баба Маня, – грудь у нее слабая.
- У Нинки?! – изумляюсь я. – А у вас?

Но баба Маня уже замкнулась, говорить не о чем. Когда-то я собирался просто разрешить спор между Маней и Нинкой.

– Бросьте вы свою Нинку, – сказал я Мане. – Сколько можно! Есть же у вас и еще внуки. Ирка, например.

До сих пор стыжусь этого, как одной из самых больших глупостей, которые мне пришлось совершить.

Было это больше года назад, когда Нинка завоевывала своего Пашку. Мы с Ирккой только что поселились у Мули. Вечерами мне приходилось много работать, я добивался тишины и невзлюбил Нинку уже за то, что она всегда говорила громко, подолгу болтала с Мулей, ни на какие намеки не реагировала, а если я прямо просил ее помолчать или уйти к себе, она переходила на громкий, еще более раздражающий меня полусшепот и жаловалась Ирке так, чтобы слышал и я:

– Вот муж у тебя невоспитанный.

А поздно вечером, иногда за полночь, когда мы с Ирккой ложились спать, в ставню нам начинали стучать. Стук был настойчивый. Так не могли стучать мои или Иркины знакомые, так не могли стучать к Муле или к бабе Мане, и, единственный мужчина в доме, я выходил к дверям и говорил каким-то мрачным, нагловатым ребятам:

- Окна Нины выходят во двор. Стучать ей надо со двора.
- Ты, – говорили они мне. – позови Нинку.

И я понимал, что неуважение к Нинке распространяется и на меня. Я стучал к Нинке:

– К тебе!

А Нинка шепотом спрашивала меня из-за двери:

– Это длинный, да? В белой рубашке? С золотым зубом? Скажи, что меня дома нет.

Вначале я соглашался вступать в переговоры с длинным в белой рубашке, и с другим в вельветовой куртке, с лошадиным лицом, и еще с третьим, а потом я говорил Нинке:

– Иди сама.

Нинка затаивалась за дверью и высылала вперед Маню. Маня кричала на ребят:

– Уходите отсюда! Никакой Нинки здесь нет.

А из-за двери продолжали свое:

– Открой, бабка! Нам надо с Нинкой потолковать.

Опять выходил я, требовал, чтобы ребята перестали стучать, а мне отвечали:

– А ты нам не нужен. Мы не к тебе пришли.

Утром баба Маня горестно поджимала губы и отводила в сторону глаза, Муля кричала на Нинку:

– Когда ты перестанешь водить кобелей?!

– Не вожу – сами ходят, – яростно таращась, отвечала Нинка, – а ты завидуешь. Ты даже своей дочке завидуешь. Тебе самой здорового кобеля хочется.

Мулины черные глаза начинали непримиримо полыхать. Ирка кричала:

– Сейчас же прекратите!

А Нинка плачущим голосом объясняла ей:

– Ты же знаешь, Ирка, я сейчас отшиваю всех ребят. Я только с Пашкой. Я ж не виновата, что они ходят.

Этого Пашу я видел раза два. Ничего особенного: нос уточкой, голубые смущающиеся глаза. Рост немного выше среднего, плечи спортивные. Приятный парень, но, повторяю, ничего особенного. А ведь должно было быть особенное, потому что Нинкина любовь развивалась катастрофически. До встречи с Пашкой Нинка работала продавщицей в «гастрономе» – Нинка окончила торговые курсы, – потом ее с позором выгнали из магазина, и она устроилась автобусным кондуктором. До встречи с Пашкой Нинка не скандалила так истерически с бабой Маней и Мулей, не ссорилась с Иркой. Еще ничего не зная об этом Паше, мы с Иркой стали догадываться о его существовании, предчувствовать его появление, потому что у Ирки из шкафа стали исчезать ее платья и белье, а у меня пропала, и притом навсегда, книжка о боевых приемах самбо, книжка, которой я очень дорожил. Ирке не было жаль своего белья, она сочувствовала Нинке и говорила мне:

– Ты напрасно так ее не любишь. Нинка с детства обделена вниманием. Она просто заискивает перед теми, кто хоть как-то хорошо к ней относится.

Домой Нинка стала приходить поздно ночью, утром не могла подняться на работу.

– У нас сегодня санитарный день, – говорила она Мане. – У нас сегодня переучет.

Маня вздыхала, ходила с горестно поджатыми губами, отказывалась есть, когда Муля или Ирка приглашали ее обедать, – скрывала, что Нинка перестала приносить домой деньги и продукты. Все раскрылось в тот день, когда Маня остановила почтальона и спросила, почему пенсия в этом месяце так задерживается.

– Как задерживается? – удивилась почтальон, – Ваша Нина расписалась, можете проверить по ведомости.

Маня собралась и поехала в Нинкин «гастроном». Там ей сказали, что Нинка уволена. Когда Маня вернулась домой, у Нинки началась истерика.

– Чтоб вы сдохли, – кричала она Мане, Муле и Ирке. – Жить вы мне не даете!

Маню, оскорбленную, оглушенную, увели к Муле, Муля спросила:

– Мама, что вы думаете делать?

– Ой, Аня, мне жить не хочется, а ты меня спрашиваешь, что я думаю делать. Ничего мне не хочется, ничего я не хочу делать. Я хочу, чтобы мне дали возможность дожить спокойно.

Попробовали на следующий день разыскать Пашу, говорили с ним, пытались пристыдить, но ничего из этого не вышло. Паша сказал, что он ни к чему Нинку не принуждал, она сама за ним бегаёт, не даёт проходу, а он кончает техникум и уезжает из города навсегда.

Он и правда уехал. Ирка, которая не вмешивалась во всю эту историю, сказала Нинке:

– Разве это мужик? Принимал у тебя вино, подарки? И это мужик? Ну, хорошо – принимал, а спрашивал, откуда у тебя деньги? За таким я убиваться просто бы не могла.

– Разве я убиваюсь, Ира, – сказала ей Нинка, – у меня все перегорело! Дура я, дура! Ничего у меня к нему не осталось.

А через месяц Нинка села на поезд и укатила в город, в который Паша получил направление. Вернулась она месяцев через десять, когда Пашу призвали в армию. Победила-таки его. Приехала успокоившаяся, рассказывала:

– Ехала к нему, послала телеграмму: «Встречай!» А он встречать не вышел. Я с вокзала к нему в общежитие, а комната его заперта, и ключа нет – не оставил. Соседи говорят: на работе. А у него уже женщина была, с которой он встречался, ей и сказали, что я приехала и сижу на чемодане у него под дверью. Она ко мне: «Девушка, вы к Павлику приехали? Учтите, мы с ним уже месяц встречаемся». А я ей сразу: «Вы с ним месяц встречаетесь, а я с ним два года сплю». Она и пошла от меня по коридору. А Пашка с работы вернулся: «Ниночка, Ниночка!» Куда там... В армию уходил, все беспокоился, чтобы я ему тут не изменяла...

На работу в автобусный парк Нинка устраивалась так. Дала отцу денег, тот пошел к каким-то своим знакомым, пил с ними, еще с кем-то пил, и наконец Нинку зачислили. Я удивился:

– Зачем тебе это было нужно? Без выпивки тебя б кондуктором не приняли?

– А как же, Витя! – удивилась Нинка. – А приняли, так, думаешь, давать не надо? Диспетчеру не дашь – загонит на плохую линию. С шофером не поделишься – плана никогда не выполнишь. А плана не дашь – с автобуса снимут, в мойщицы переведут. Тут напсихуешься, пока десятку заработаешь, а потом и раздашь.

Нинка меня всегда потрясала тем, что была насквозь своя в мире, с которым я по своей профессии обязан был воевать. Если бы я сказал: «Во всех магазинах воруют» – это было бы трагическим признанием того, что все усилия учителей, газетчиков вроде меня, писателей, самой высокой государственной власти – всех тех, кто учит тому, что такое хорошо и что такое плохо, ничего не стоят. Нинка утверждала: «Во всех магазинах воруют» – не испытывая ни горечи, ни разочарования. Она жила в этом мире. Не лучше и не хуже других. И все. Напсихуйся, а десятку заработай.

Работать Нинке тяжело. Особенно трудно приходится ей в ночных сменах, когда она возит пассажиров в наш окраинный район. Каждый день какое-нибудь приключение. Пьяный приставал, хулиганы хотели кого-то ограбить или обидеть.

– Вчера везу двоих – парень и девушка. Смотрю, они уже вторую туру не вылазят, а около них трое парней, фиксатые, в пиджачках – ну я их сразу вижу. Ждут, пока эти двое встанут. Я смотрела, смотрела, говорю этим троим: «А ну вылазьте! На карусели будете кататься, а тут автобус». Один ко мне подходит: «Молчи, сука!» А я прикидываю – до цементного завода ни одной остановки с милиционером. Я ему говорю: «Какая я сука? Ты сам похуже суки. Ты, говорю, не на ту напал. Я таких, как ты, видела-перевидела. Скажу шоферу, чтобы двери запер и к милиции ехал, так сразу вашу вшивую компанию и сдам». Кричу шоферу: «Петя, тут приבלытанные пристаю!» Петя взял монтировку – а на автобусах мужики подобрались здоровенные, – остановил машину: «А ну, говорит, выметайтесь!» Те упираться. Грозятся: «Мы тебя встретим!» А потом вылезли. А через две остановки и эти двое встали: «Спасибо», говорят.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Так мы и живем семеро в одном доме. Шесть женщин: баба Маня, Муля, Мулина мать, Ирка, Нинка, Нинкина дочь Наташка – и я. Утро у нас начинается в пять часов. Первой начинает хозяйничать Муля. Последний месяц Муля почти не спит – караулит доски, бревна, мешки с цементом, которые лежат у нас во дворе. Дело идет к осени, а мы пристраиваем к нашей половине дома тамбур. Вернее, комнатку-тамбур. Дом, поставленный бабой Маней и ее мужем, перестроенный Мулей и сыном бабы Мани, мы переделываем еще раз. На нашей половине мы ломаем перегородки – увеличиваем комнаты за счет коридора. Когда мы закончим перестройку, у нас будут две комнаты по двенадцати метров да еще комнатка-тамбур, в которой мы поставим печь и которую сделаем тепловым барьером против осенних ветров и зимней пурги.

Вся эта спешная работа начата под давлением Ирки. Когда-то она мне сказала: «Надо, чтобы маленький у нас появился летом. Дом старый, сырой, сплошные сквозняки, если он у нас появится зимой, мы его насмерть простудим». Но оказалось, что он у нас все-таки появится зимой. Когда Ирка это поняла, она стала смотреть на меня отчужденно и оценивающе, как в тот день, когда мы с ней пошли в загс и она бесстрастным голосом сообщила, что оставляет за собой свою

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru фамилию. Она стала с запозданием отвечать на мои вопросы, а в день моего рождения забыла меня поздравить. Она ждала, что я что-то решу. Она даже знала, что я должен решить, она могла подсказать мне это решение, но почему-то хотела, чтобы я сам его нашел. А я упирался, я не понимал. Я просто не чувствовал важности и значительности того, что чувствовала она. Трагические Иркины предчувствия меня раздражали.

Из последних пятнадцати лет половину я провел в бараках и думал, что заслужил право пренебрежительно относиться ко всяким бытовым удобствам. К тому же квартиры мне все равно никто бы не дал. Работал я тренером в спортклубе большого завода, вечерами писал, мои заметки стали изредка появляться в печати, и я считал, что делаю все, что могу. И вообще ни о каких квартирах я еще думать не мог.

– Понимаешь, – убеждал я Ирку, – не в этом главное. Мы с тобой не какие-нибудь одноклеточные. Надо что-то делать. Надо же для чего-то жить!

Раньше Ирка даже с некоторым энтузиазмом слушала меня, теперь она молчала.

– Ну, хорошо, – говорил я, – ты же знаешь, что я не столяр, не плотник. Я никогда не жил на окраине, я не умею того, что должен уметь человек, живущий в таком доме. Я же честно ношу воду, таскаю уголь, рублю дрова, копаю землю в саду, наконец. Но если я возьмусь исправлять нашу дверь – я загублю ее. Ничего не могу тебе обещать, но, кажется, меня, могут взять на работу в газету. Тогда что-нибудь у нас изменится к лучшему. Во всяком случае – это шанс...

Шанс этот был вот каким. Однажды я зашел в редакцию журнала, в котором уже напечатали мой очерк и где мне начали давать маленькие задания.

– Хотите, – сказал мне мой редактор, – я вас устрою в газету? Открывается новая городская газета, а главный в ней будет мой хороший знакомый. Решайтесь быстрее, он сейчас сюда придет.

Потом в кабинет вошел человек, которого я должен был бы узнать с первого взгляда, потому что от него зависело, работать ли мне в новой городской газете.

– Александр Яковлевич, – сказал ему редактор, – тебе нужны люди? Могу тебе порекомендовать вот этого парня. Он тебе и рецензию и очерк напишет. Он у нас уже несколько раз печатался, и всегда удачно.

Александр Яковлевич присел к столу и спросил меня:

– На что вы рассчитываете?

На что я рассчитываю? Я даже не понял вопроса. Меня ни разу в жизни об этом не спрашивали.

– Места заведующего отделом у меня нет. Мне нужны люди, которые умеют бегать. Столоначальники мне не нужны. Шесть столоначальников – (пренебрежительный жест), – у меня уже есть. Мне нужны пишущие люди. Я хочу, чтобы мои журналисты писали. Читатель должен знать людей, которые работают в газете. У вас какое образование?

– Литературное.

– Мне нужен очеркист при секретариате. По штату нам в городской газете такая должность не положена, но я хочу по-новому построить работу. Вы областную газету читаете?

– Читаю... иногда.

– Нравится?

– Не нравится, – честно сказал я.

– Я и хочу, чтобы не нравилась. Я хочу, чтобы читатели сразу уловили разницу между нашей газетой и областной. По-другому, по-другому надо строить работу. У меня будут работать только молодые. Средний возраст – ниже тридцати лет. Пожилые только я и мой заместитель.

– А кто зам? – спросил редактор.

– А, – ревниво отмахнулся Александр Яковлевич и не ответил. – Запишите мой домашний телефон, – сказал он мне. – Пока у нас нет постоянного места, звоните мне домой.

– Я работаю на заводе физруком, – замялся я. – Мне увольняться?

– Сколько вы там получаете?

Я сказал.

Александр Яковлевич что-то прикинул и кивнул:

– Много я обещать не могу, но рублей на триста больше вы будете иметь. Через месяц увольняйтесь.

Он пожал мне руку, закрыл блокнот, в который записал мой адрес, имя и фамилию, и ушел, оставив меня в растерянности. Я был обязан рассказать ему о своей биографии. Но у меня не хватило духа это сделать. Когда человек так по-человечески с тобой разговаривает, жмет тебе руку, задает вопросы – всегда трудно остановить его и сказать: «Понимаете, все это хорошо, но я хотел бы, чтобы вы раньше ознакомились с моей анкетой». Это все равно, что сказать грубость. Поставить в неудобное положение доброжелателя. Тут всегда надо быть начеку и разговор о собственной анкете заводить раньше, чем человек превратится в твоего доброжелателя.

Я виновато посмотрел на своего редактора.

– Вот видите, – сказал он мне, – все получилось очень просто.

– Да, – сказал я, – но он не знает...

– Что-то насчет этой нелепой студенческой истории? какое это сейчас имеет значение? Ах, бросьте вы, право! – И редактор занялся работой.

История действительно нелепая. Но патрон лукавил. Еще три-четыре года тому назад мало кто осмелился бы назвать ее нелепой. «...Ах, бросьте вы, право!» – сказал мой редактор, но по тому, как он был старательно небрежен, чувствовалось, что три-четыре года слишком маленький срок, чтобы человеку свободно давалась эта небрежность.

Его оптимизм меня тоже не убеждал. Уже два раза меня пытались взять на работу в журнал, но оба раза на какой-то ступени все замораживалось. Чтобы избавиться себя от лишних унижений, я дал себе слово не звонить Александру Яковлевичу, однако не выдержал и недели и позвонил ему. Он велел мне прийти через несколько дней с документами в горком партии – секретарь горкома по пропаганде познакомился с будущими журналистами новой газеты.

Я шел в горком и надеялся только на то, что третьим секретарем сейчас не тот человек, к которому я приходил несколько лет назад. Фамилию того я забыл, фамилию этого Александр Яковлевич мне назвал – Селиванов. Однако, когда секретарша позвала меня, я уже не надеялся, что Селиванов – это другой человек: слишком все и в приемной и в кабинете, видимом мне через полураскрытые двери, было тем же самым.

Я вошел, но никто не обратил на меня внимания. Селиванов и Александр Яковлевич только что проводили журналиста, с которым я познакомился в приемной, и говорили о нем. Они сидели за маленьким столиком, поставленным на полпути к большому столу. Александр Яковлевич сказал мне: «Садись», – и тогда секретарь горкома повернулся наконец ко мне всем корпусом. Он не изменился, не постарел. Сидел он неподвижно, вопросительно нацелившись на меня, но по его маленьким темным глазам сразу было видно, что он очень подвижный, резкий и решительный человек.

– Ну что ж, – сказал он, – давайте поговорим. Александр Яковлевич, где бумаги товарища?

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Он не узнал меня, и я стал надеяться, что он и не узнает, что он не станет смотреть мои бумаги, а если посмотрит, то небрежно – уже было принято небрежно смотреть бумаги, если ты их сам принес: «Дело не в бумагах – дело в живом человеке». Но Селиванов сразу взялся за бумаги, и надежда моя мгновенно исчезла. Он тотчас же нашел именно тот пункт, который подводил меня:

– В пятьдесят втором году ушли из института... Почему?

Он еще не останавливался специально на этом вопросе. Он спрашивал, готовясь услышать быстрый удовлетворительный ответ и читать анкету дальше.

– Работал на строительстве. В Сибири.

Селиванов откинулся на стуле:

– Да, но зачем было оставлять институт на последнем курсе?

Я замаялся, и он сразу же отодвинул бумагу, приготовился к разговору.

– Давайте-давайте, – поторопил он меня. – Давайте говорите правду. Бояться здесь нечего. И некого. Здесь все свои. Правда, Александр Яковлевич?

Он улыбался. Это была поощрительная, поторапливающая улыбка.

– В пятьдесят втором году я приходил к вам.

Я ожидал, что после этого он вспомнит меня.

– Я слушаю вас, – сказал Селиванов, он все еще улыбался поторапливающей улыбкой.

– У Василия Дмитриевича много людей бывает, – сказал Александр Яковлевич. Он насторожился.

Я чувствовал себя виноватым перед ним. Я обязан был рассказать ему об этой дурацкой институтской истории. О том, как нас разоблачали, клеймили, называли людьми с двойным дном за то, что мы рисовали друг на друга карикатуры, писали стихи.

– Помните эту пединститутскую историю? – сказал я Селиванову.

И тут он вдруг все сразу вспомнил.

– Где вы работаете?

Я сказал.

– Это какой завод? Где он расположен, в каком районе?

– Это Северный поселок.

– Район? Какой район?

Я молчал.

– Вы не знаете? А в каком районе вы живете? Не знаете? А в каком районе мы сейчас находимся? А сколько в городе районов?

Я не то чтобы не знал, я был ошеломлен.

Александр Яковлевич сказал Селиванову:

– Я буду вытравлять в газете эти названия: «Северный поселок», «Западный поселок»! Это же не названия для районов города.

Селиванов кивнул ему.

– Теперь я вижу, что вы действительно аполитичный человек. А почему вы решили поступить в газету? Почему вы решили, что там ваше место?

Я посмотрел на Александра Яковлевича. Теперь я боялся подвести редактора, который рекомендовал меня.

– Вы когда-нибудь работали в газете?

– Печатался немного.

– А почему вы не идете работать по специальности? Вы же учитель.

– Нет вакансий.

– Так, может, порекомендовать в горно, чтобы вам подыскали место? – Он позвонил секретарше: – Соедините меня с горно. Не отвечают? – Он положил трубку.

Я сидел, не смея повернуться к редактору. Он был красен.

– Все, – сказал Селиванов и оглянулся на редактора. – Я думаю, Александр Яковлевич, все? Идите. Мы порекомендуем заведующему горно, чтобы он заинтересовался вами.

Чтобы не возвращаться к этому опять, скажу сразу – меня приняли в газету. Почему? Не знаю. Судя по тому, как закончился разговор с Селивановым, меня не должны были принять. Но я не стал допытываться у Александра Яковлевича, как ему удалось отстоять меня, с кем еще консультировался, созванивался Селиванов. Может быть, главное было в том, что в пятьдесят седьмом году работу в газете надо было строить по-другому. Может быть. Но когда я уходил из кабинета Селиванова, я всего этого еще не знал.

Дома мне открыла Ирка. У нее были красные глаза.

– Что случилось? – спросил я.

– Ставня, – отчужденно сказала Ирка. – Ставня второй месяц не открывается. В комнате темно, а никто не подумает приделать к ставне крючок. Петли там все перержавели. Их отец еще, наверно, ставил.

Я вышел на улицу. Половинка ставни первого от угла окна была закрыта. Я открыл ее – ставня косо повисла на нижней петле. Верхняя петля перержавела. Перержавело и дерево под петлями и рядом с ними. Судя по количеству пробоин, петли несколько раз переносили с места на место, и теперь дерево окончательно стало рыхлым. Надо было менять не только петли, но и всю ставню и даже оконную лудку с наличником. Я закрыл ставню и прошел вдоль забора. Под ветром забор выгибался, парусил. Колья, на которых держалась легкая дощатая решетка, почти полностью сгнили в земле. Их как будто подпилили у самого основания. И теперь не решетка на них опиралась, а сами колья висели на решетке. На весь забор уцелело не больше двух-трех кольев. Я вернулся в дом, спросил у Ирки:

– Что ты предлагаешь?

Иркин план подавил меня. Переносить перегородки на нашей половине дома, увеличивать за счет коридора наши две комнаты, пристраивать комнатку-тамбур, где-то доставать кирпич, доски, кровельное железо – для меня было все равно что построить гидростанцию, шлюз или возвести высотное здание. Я чувствовал, что Ирка права, что я обречен – нам просто негде будет жить, некуда деть маленького, не говоря уже о том, что Женьке, когда он вернется из армии, надо где-то поставить кровать, – и все же я закричал что-то злобное, нелепое. Я кричал, что не желаю становиться домовладельцем, что ненавижу и этот дом, и эту улицу, и всю эту окраину. Здесь все давно пора пустить на слом. Не ремонтировать, не строить, а ломать. И я не желаю ради этой хаты на несколько месяцев отключаться от настоящей жизни.

– Я не хочу строить эту конуру, – кричал я. – Не хочу!

И еще кричал что-то о праве на призвание, о том, что не поступлюсь и минутой не только ради этой конуры, но и самого очевидного распроблагополучия. Я так и сказал: «Распроблагополучия». И не знаю, как ко мне явилось это слово и как я его выговорил.

Глаза у Ирки стали Мулиными – непрощающими, ожесточенными. Они у нее последнее время всегда становились такими, когда я кричал о своем призвании, о том, что каждый человек обязан жить для людей, что семью можно построить, только если мы оба это понимаем, что у нас не должно быть культа унижающих душу мелочей. Пришла с работы Муля. Сняла платок, посмотрела на пол – чисто ли, на печку – горит ли, заглянула в шкаф – все ли на месте, сказала:

– Устал человек. – Посмотрела на Ирку, на меня, мгновенно оценила ситуацию, сообщила: – Видела Петьку Ясько. (Петька Ясько – старый Иркин ухажер. О всех ребятах, которые когда-либо ухаживали за Иркой, Муля мне очень подробно рассказала.) – Скажи ты, какой здоровый стал! Говорит мне: «Тетя Аня, здравствуйте!» А я не узнаю. Смотрю на него – плечи вот такие, ручища, как у самосудчика! Ну, палач, – восторженно сказала Муля, – чистый палач! Говорит: «Тетя Аня, проходил мимо вашего дома, забор у вас там валится. Что ж, некому починить? Прийти в воскресенье починить?» А я ему говорю: «Ты ж знаешь – нет мужчины в доме». – «А ваш зять? Вы знаете, тетя Аня, как я к Ирке отношусь, мне интересно, какой зять». Я говорю: «Зять – человек неплохой, но способностей у него к такой работе нет. Кто что умеет». – «А что он делает?» – «Пишет». – «Писатель?» – «Писатель». Попрощались мы с ним. Он пошел, а я смотрю – здоровенный! Ну просто самосудчик! А дом какой у них, видела, Ирка? Вот скажи ты – необразованный, а такой талантливый парень! И дом сам поставил, и ворота такие выкрасил, и машина у него. Все в руках горит.

– Что-то вы, Муля, слишком уж восторженно о мужиках говорите, – оскорбился я.

Когда-то, еще до того, как мы с Иркой поженились, когда мы с ней еще только напряженно присматривались друг к другу, часто ссорились, Муля пришла ко мне домой. Я еще не знал тогда, что это Муля. В квартиру моих родителей, где я тогда жил, позвонила маленькая, плотная, седая женщина с черными пристальными глазами и спросила меня. Мы прошли в комнату.

– Я на минутку, – сказала она.

– Пожалуйста, пожалуйста, – подал я ей стул. «Почтальон не почтальон, чего ей надо?»

– Я Ирина мать, – сказала она. – Я вас очень прошу, чтобы Ира никогда не узнала, что я была у вас.

– Да, – растерянно кивнул я. Мы уже целую неделю были с Иркой в ссоре.

– Я так волнуюсь, – сказала она. – Мне так неудобно. Я ушла с работы, отпросилась у мастера. Женщины на работе мне говорят: «Аня, что с тобой, на тебе лица нет». А у меня, верите, работа валится из рук. Я вас не знаю, ничего о вас не слышала, Ирка со мной ничем таким не делится, а только вижу я, что она сама не своя. Вы не знаете, какой у нее характер. Лучше не иметь никакого характера, чем такой, как у нее. Я вас один раз видела с ней и потом, простите, на письме, которое вы ей написали, прочитала ваш адрес. И вот пришла к вам. Я даже не знаю, что вам сказать, чтобы вы не подумали ничего плохого. Но вы поймете меня, я мать, мне не хочется, чтобы мои дети мучились.

Я развел руками. Мне было неудобно, я не знал, что сказать: Мы с Иркой, конечно же, никогда не принимали в расчет ни моих, ни ее родителей.

Потом я провожал Мулю к дверям и говорил невпопад:

– Да, да, нет, нет. Что вы! Конечно же!

Кажется, тогда я подумал: «У нас с Иркой все будет серьезно». Впрочем, с Иркой у нас с самого начала все получалось очень серьезно и очень напряженно.

А когда мы с Иркой поженились и переехали к ней жить, я понял, что с самого начала не понравился Муле. Я не умел починить крышу, поставить забор, не умел навесить ставню. Я плохо зарабатывал и не пытался взять в свои руки управление домом. Я был совершенно равнодушен к дому. И как-то раз, когда Муля пригласила соседа-плотника поправить нам дверь, я впервые услышал: «Нет мужчины в доме».

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru – Вы ж знаете, – говорила Муля, – нет мужчины в доме. Женька же в армии. Скотина он, конечно, но дверь сам бы починил. Вот скажи ты, не ценишь, когда рядом. Не могла дожидаться, когда его уже в армию заберут, а теперь жалею, что дома нет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Однако Муля лицемерила – ни с каким мужчиной она не стала бы делиться ни властью, ни заботами в нашем доме. День у нас в хате начинается так. В пять часов утра в Мулиной комнате хлопает выходная дверь и раздается беглый, по-собачьему частый топот ног. Потом Муля хриплым, надрывно громким шепотом затевает с глухой бабкой примерно такую беседу:

– Спички?

– А-ха-ха... А?

– Спички?! – еще громче шипит Муля. Она экономит звуки, слова, спрашивает: «Спички?», а не полностью: «Где спички?» – чтобы не будить нас, но глухая бабка ничего не понимает спросонок, и Муля переходит на крик: – Где спички? Где спи-ички?! Понимаешь?!

– А-а... у халати. В карманчике.

– А, черт тебе уши законопатил.

И опять беглые, по-собачьи частые шаги от шкафа к печке, от печки к столу. Грохот выходной двери, сквозняк, наполняющий холодом темные комнаты. И вдруг алюминиевый звон грохнувшейся об пол кастрюли. И сразу же приглушенные, но явные проклятья на голову тех, кто «никогда не ставит вещи на свое место».

Ирка лежит рядом со мной с закрытыми глазами, но, как и я, не спит. Ирка преподает в вечерней школе. Рабочий день у нее начинается в шесть-семь часов вечера. В полдвенадцатого я иду встречать ее к кожгалантерейной фабрике, рядом с которой стоит школа. Днем это дневная школа, вечером в нескольких классах занимаются вечерники. Днем это довольно бойкое место. Ночью здесь глухо, а временами опасно. Один раз хулиганы продержали в осаде учительскую, где заперлось несколько учителей. Часам к двенадцати мы с Ирккой возвращаемся домой, в час ложимся спать. Муля ложится еще позже: что-то съест, клеит на бумагу талоны, подсчитывает свой фабричный заработок – «правит талмуды», как она говорит. Наконец тушит свет, а в пять часов утра опять на ногах. Мы с Ирккой не высыпаемся. Беременной Ирке особенно хочется спать, я чувствую, как она напрягается, прислушиваясь к Мулиным частым шагам, как ждет, когда Муля уgomонится или просто уйдет на работу. Я вздыхаю, ворочаюсь – больше мне не заснуть, а Ирка лежит неподвижно, никак не показывает своего раздражения. Она знает, что одергивать или просить Мулю бесполезно. Муля скажет: «Хорошо, хорошо», а через минуту прибежит к бабке: «Масло? Где масло?..»

Наконец Муля что-то приготовила, прибрала, поднимает с кровати бабку, накидывает ей на плечи платок или одеяло, вытаскивает в коридор или на улицу и там, уже отделенная от нас дверью, кричит что есть силы:

– Мама, кашу я вам поставила в короб! В короб, говорю! В короб! А чтоб тебе!.. Кашу в ко-роб!

Потом следуют остальные объяснения. Где стоит молоко, где сахар.

– Сахар в банке весь! Весь, говорю! Денег до полочки нет. Говорю: весь!

И вдруг бабкин возмущенный лепет, похожий и на бульканье и на клекот:

– Да не штурляй ты меня. Дочь называется! Восплачешь и возрыдаешь...

– С тобой – и в грех не войти! – кричит Муля. – Иди спать!

Мулин крик уже похож на рыдание.

Хлопает дверь, бабка с кряхтением укладывается на кровать, а Муля через комнаты пробегает к нам. Она уже в пальто, уже опаздывает к себе на фабрику. Она набегалась, и кажется мне марафонцем, достигшим середины дистанции. Она и дышит,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru как марафонец на середине дистанции, когда наклоняется в темноте над нашей кроватью.

– Ирка! – нетерпеливым шепотом зовет она. – Ирка!

Она говорит шепотом, как будто собирается разбудить только Ирку, а мне дает еще поспать. Ирка отзывается не сразу.

– Да, – говорит она, – все слышала. Каша в коробе.

Муля наклоняется над ней:

– Огурцы в большой кастрюле. Поднимаешь крышку, снимаешь осторожненько тряпку, а там гнет. Огурцы в капусте. Возьмешь – и все на место. И гнет, и тряпку, и крышку.

Ирка не отзывается, глаза ее закрыты.

– Ты слышишь? Крышку поставь на место. Из хлеба гренки сделай. Хлеб черствый, а ты его молочком размочи и гренки сделай. Масла нет, а ты на маленьком огне. Масла там немного. Ты не бери. Я приду с работы, оладьев напеку. Виктор любит оладьи?

– Ой, Муля, иди ради бога на работу.

– Бутылки сдай. Там три бутылки и пять банок. Кефиру купишь. Слышишь?

– Слышу.

– Ты в город сегодня не пойдешь?

– Не знаю.

– Если пойдешь, передай Альке пирожков, что я вчера пекла. Спроси, есть ли у него деньги. Пусть грязное белье принесет, я ему постираю.

Алька – Мулин племянник. Он учится в университете. Родители его живут в районном городке, а Муля тут за Алькой присматривает. Раньше Алька жил у Мули, но с тех пор, как мы с Иркой поженились, в двух комнатках совсем не осталось места, и Алька переехал на частную квартиру.

Муля выбегает из комнаты, возвращается опять – что-то забыла, чертыхается и наконец захлопывает за собой двери. Но это еще не все. Мы с Иркой ждем – и сразу же слышим стук в соседнюю дверь, к бабе Мане. Баба Маня любит поспать, она отзывается не скоро. Муля стучит все раздраженнее.

– Мама! Мама! Откройте, это я, – зовет она сдавленным голосом.

Дверь открывается.

– Чего тебе? – с сонным стоном спрашивает Маня.

– Чего вы запираетесь на ночь? – раздраженно частит Муля. – Черти вас утащат? Что у вас тут красть? Крышку от ночного горшка?

Ирка не выдерживает.

– Прикрикни на нее, – говорит она мне. – Тебя она послушает.

Я не отвечаю. А за дверью раздраженная перебранка переходит в торопливый гул голосов, в котором трудно разобрать отдельные слова:

– Кашу я оставила в коробе... Скажите Ирке, чтобы масло не трогала, там на дне банки... Если Алька придет, покажите ему, где его чистые рубашки...

Хлопает выходная дверь, в хате спадает напряжение, становится тихо. Однако мы с Иркой еще ждем стука в ставню. Может постучать какая-нибудь Мулина товарка, возвращающаяся с ночной смены домой. Муля часто просит кого-нибудь из своих

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru знакомых, идущих ей навстречу с фабрики, постучать нам в окно и сообщить, что каша стоит в коробе, а в магазин привезли капусту и синенькие и надо, чтобы Ирка встала и пошла занять очередь. На стук в ставню Ирка быстро поднимается, вежливо отвечает: «Да, да; спасибо, хорошо, что вы зашли», – и ложится опять.

Возвращается с работы Муля часов в пять-шесть. Первая смена на фабрике заканчивается в три часа дня, но после работы Муля еще бежит на рынок, в магазины, постоит в очереди за концентратами, крупой. Или за мороженой рыбой. Придет, бросит в коридорчике кошелку, сядет на табуретку:

– Устал человек. – И сразу же вскинется: – Алька не приходил?

– Нет.

– Сегодня дождь накрапывал, а мальчишка без плаща. Ирка, ты не поедешь в город?

– Нет. Мне на работу.

– Поеду отвезу плащ.

– Муля, ты бы хоть поела. Парень здоровый, надо будет – сам за плащом приедет.

– Поеду, душа болит.

Сложит аккуратно чистые Алькины рубашки, плащ, завернет пирожки и побежит. Вернется часа через два. Ирка уже на работе, в доме я и бабка. Спросит меня:

– Ирка поела?

– Да.

– А ты? Давно обедал? Сейчас картошечки нажарю.

И начнет хлопотать. Чистит картошку, разжигает керогаз, выбежит во двор, где на огороде созревают бурые осенние помидоры, принесет несколько буро-зеленых, пахнущих огудиной, порежет, покрошит лук, посыплет все это перцем, поставит передо мной.

– Да вы сами ешьте, Муля!

– Успею, успею, Витя. Я так на фабрике намоталась, что есть не хочется. Физическая работа! Что ты, шутишь!

И начнет рассказывать, что она видела, приехав к Альке. Единственное, чего Муля не может, это молчать:

– Не застала паршивца дома. Хозяйка его мне говорит: «Вы знаете, Анна Стефановна, голодает ваш Алька». – «Как голодает? Ему же отец каждый месяц высылает триста пятьдесят рублей. Да стипендия двести! Я столько на фабрике не зарабатываю». – «Так ему этих денег на три дня не хватает. У кого-то день рождения – Алька тащит подарок, у кого-то денег нет – Алька дает свои. А то просто конфет дорогих накупит, в ресторане пообедает, а потом месяц ходит голодный. И товарищи у него такие. Смотреть я на них голодных не могу. Я уж решила – пусть лучше съезжают с квартиры. Возьму девчонок. Те хоть аккуратные». Ну что ты скажешь! Напишу сестре, пусть ему хвост накрутит.

Накормит Муля меня, накормит бабку, пристроится стирать или шить. А потом до поздней ночи правит свои талмуды.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

А сейчас у нас строительство. Ирка ходит вялая, сонная, отяжелевшая. Проводя ее в трамвае сквозь толпу, я спиной придерживаю напирających, выставлю локти: раза два чуть не подрался с какими-то настырными мужиками. Жить нам сейчас по сути дела негде. В доме на полу толстым слоем лежит глина, штукатурка. Плюнув на все, я рьяно выполняю свою часть работы – ломаю перегородки, пробиваю в стене проем для новой входной двери. Прочно строили баба Маня и ее муж. Дом планкованный, то есть стены и перегородки сбиты из планок, дранок, которые переплетаются подобно арматуре железобетона. В пространство между планками набита глина. Я бью по

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru перегородке киркой, бью изо всех сил, а результаты ничтожны. Клюв кирки вязнет в глине, крошит стену, но именно крошит. Отвалить крупный кусок мне не удастся. Двери на улицу у нас нет – вместо двери пролом. Печка тоже сломана, от печных кирпичей в доме стоит кислый дух. Для пристройки Муля достала камня-песчаника – договорилась со знакомым шофером, и тот за полсотни забросил нам две машины «левого» камня. У себя на фабрике Муля добыла три мешка цемента – добилась, чтобы выписали ей. Муля вообще ведет все строительство. Договаривается с плотником, который поставит нам перегородки, со столяром, который сделает лудки для дверей и окон, с каменщиками, которые кладут соседям дом. Спит она теперь во дворе – поставила свою кровать рядом с досками, уложенными маленьким штабелем, и караулит их.

– Муля, – говорит ей Ирка, – соседи дом строят. Не нам чета. Так у них доски и бревна на улице. А у нас и воровать-то нечего. Чего ты мерзнешь на дворе? В доме все-таки теплее.

Муля смотрит на нее своими пристальными глазами:

– Не твое дело. Ты спи знай.

– Да неудобно нам в доме, когда вы на улице, – говорю я. – Зачем себя напрасно изводить?

– Муля любит страшное и страшенькое, – говорит Ирка. – Обожает изводить себя и других. Себя – чтобы изводить других.

– Страхное! – вспышивает Муля. – Ишь как язык тебе в университете подвесили! Тебя жареный петух еще в одно место не клевал – Муля заслоняла. Страхное! – и поворачивается ко мне: – Витя, пойдём, поможешь мне извести принести.

Мы идем на соседнюю улицу к Мулиной знакомой. У нее после строительства осталась гашеная известь.

– Хорошая известь и дешево, – говорит мне Муля. – Я еще в двух местах смотрела – там дороже. А тут мы на каждом ведре рубль экономим.

Муля с двумя пустыми ведрами быстро идет вперед, я едва поспеваю за ней. Она оборачивается на ходу и рассказывает, где и что она еще задешево присмотрела.

Яма с известью, выкопанная прямо на проезжей части дороги, присыпана слоем песка. Муля сбегала во двор, отогнала собаку, вынесла лопату, отгребла песок:

– Накладывай поплотнее.

Я снял верхний слой, перемешанный с землей и песком, – известь оказалась жирной, хорошо гашенной. Лопата легко ее резала; на срезах известь отливала синевой.

– Как масло, – обрадовалась Муля. Она наклонилась и размяла в руках белый комок. – Встряхни ведра, пусть плотнее ляжет.

Известь была тяжелой. Когда я поднял ведра, дужки врезались мне в ладони.

– Вот, – сказала Муля, – ребенок еще не родился, а уже сколько трудов потребовал. Ты вот сладкое любишь. Сын родится – сразу разлюбишь.

– Почему?

– А как же! Сладкое дитю будешь оставлять.

Потом Муля сказала:

– Давай теперь я понесу – сердце надорвешь, а тебе еще жить надо, ребенка воспитывать. Я считаю, те дураки, которые рано умирают.

Дужки ведер режут мне руки, плечи обвисают. Мне и правда хочется поставить ведра, передохнуть. И потому Мулины слова меня раздражают. Кроме того, сегодня утром Муля вспомнила свое любимое: «Нет мужчины в доме». Я бухаю:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– А ваш муж тоже дурак?

– Конечно, – говорит Муля. – Другие вместе с ним были и выжили, а он погиб. Хвастался – ничего не боюсь! – и погиб. И двоих детей бросил.

О том, как погиб Николай, Муля знает от его сослуживцев. Есть несколько человек, которые были с ним за несколько минут до его гибели, жив тот, который похоронил его. Однако в рассказах сослуживцев Николая есть что-то неясное, тяжело тревожащее Мулю. Она почему-то уверена, что Николай сгорел. Он был железнодорожником. В сорок четвертом году во время бомбежки не вышел из паровоза – хотя мог выйти: поезд стоял под разгрузкой на каком-то прифронтовом полустанке. Все остальные разбежались и уцелели, а он погиб.

– Понимаешь, Витя, они все путают. Тут у нас на улице женщина есть, она и до сих пор ждет своего сына. Кто-то ей сказал, что его видели в плену, она его и ждет. А все знают, что сын ее погиб. Товарищ этого парня рассказывал, что ее сына насмерть забили немцы. Он бежал из лагеря, его поймали и перед всеми для острастки насмерть запороли. А она его ждет. Никто ей не говорит, и она ждет. И мне не говорят, а я догадываюсь. Там был пожар. Все они говорят, что вагоны и паровоз горели. А Николай был в паровозе. Витя, ты не знаешь, какой он здоровый был! Он никогда ничем не болел. Вот такие плечи! Борьбой занимался. Он не мог легко умереть. Они и путают. Кто говорит, ему ногу оторвало, кто говорит – руку. Будто его вынесли из огня, и тут он умер. А кто говорит, что он умер в паровозе, что его мертвым вынесли. А я знаю – он сгорел. Ему руку и ногу оторвало, он не смог выбраться и живым сгорел. Он был такой здоровый, что не мог сразу умереть. Он был еще в сознании...

– Муля, зачем вы себя так изводите?

– А, Витя! Мне с детских лет судьба улыбается – зубы скалит. А с Николаем, думаешь, мне легко было? Любили мы друг друга, пусть баба Маня скажет, это правда, а ссорились часто. Он же какой был? Все для товарищей. Как будто и нет семьи у него. Когда мы поженились, хлебные карточки еще были. Он придет с работы, принесет хлебные карточки на Иркут, на меня, а его хлебной карточки нет. Я пересчитаю: «Где хлебная карточка?» – «Да, говорит, товарищ один на работе потерял все свои хлебные карточки, я ему одну свою и отдал». – «Да у тебя ж семья, ребенок!» Молчит. Баринев того товарища фамилия. Я и сейчас помню. Улицы через две живет. Когда Коля погиб, ни разу не поинтересовался, как мы живем, надо ли помочь. Ой, а как мы тогда бедовали! Страшно и смешно сказать. Лестница в подвал обрушилась, мы не можем в подвал спуститься. Забор валится... Да что! Я ж при Николае не работала, он не хотел. И деньги у него все были, я и не знала, сколько он получает, стеснялась спросить. Это я теперь ничего не стесняюсь, а тогда стеснялась. Отец мой спрашивал: «Сколько твой муж получает?» А я не знала. Неудобно мне. «Какая ж ты жена?!» А отец у меня был такой же, как мать. Видишь же ее. Я их не любила. Они меня от школы оторвали, чтобы я им помогала дом строить. Учиться я хотела, способности у меня были, я все сразу запоминала, а у меня ни книжек, ни тетрадей никогда не было – не покупали. «Спроси, – говорит отец, – узнай, может, он деньги от тебя утаивает». А я не спрашивала. До одного случая. Ирка у меня тогда уже в живота шевелилась, а я все еще в баскет бегала. Я хорошо играла, по корзине мяч точно бросала. Когда игра идет, девчонки кричат: «Аньке, Аньке!» – чтобы мне мяч дали. И Николай такой же. Придет с работы – и на стадион. Были мы с ним один раз на стадионе, а я уж не помню зачем, сбегала домой. Прибежала, а на стуле его брюки висят. А у нас с ним перед этим разговор такой был. Деньги хозяйственные, которые он мне дал, у меня все вышли, а до полочки еще три дня. Я ему об этом сказала. Он говорит: «Хозяйствовать лучше надо, лучше соображать». Я ему привожу: «Вот то-то я купила и то-то, ничего лишнего не покупала. Купила матери дитю на приданое. А как эти три дня без денег прожить?» Он пожимает плечами: «Займи у матери».

А мне у матери занимать – в кабалу лезть. Но я ему ничего не сказала, стыдно мне стало, думаю, и правда, надо лучше хозяйствовать, ему небось деньги не даром достаются. А тут прибежала я домой, а его брюки передо мной висят и бумажник из кармана выглядывает. Страшно мне стало – сейчас даже смешно об этом вспоминать, а тогда страшно было. Заглянула в бумажник, а там четыре тридцатки да еще по мелочи. «Ах ты ж, думаю, гад!» Так мне тяжело стало. «У матери, говорит, займи», а сам деньги прячет. И все я вспомнила. И как он поздно домой приходит, и как вином от него пахнет. До-обренький такой придет: «Кошечка, кошечка...» Я его пинаю, а он улыбается, завалится на кровать и спит до утра. Только носом

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru свистит, как паровоз, «Ах ты, думаю, гад!» Взяла я этот бумажник: «Я страдаю – так и ты пострадай!» – и спрятала его под буфет. Вернулась на стадион, бегаю, а сама на него посматриваю. Потом мы пришли домой, он переодевается. «Ты, говорю, куда?» – «Да пойду пройдусь». Так буркает: «Пойду пройдусь», – чтобы я не привязалась. «Иди, иди». Он хватя за брюки, за карман и аж посерел. Лапает, лапает штанину, пиджак, полез под кровать.

«Ты чего?» – «Да надо». Сорвался и побежал на стадион. Бегал, бегал. Прибегает бледный: «Ты бумажник не видела?» – «Какой бумажник?» – «Мой». – «А что там?» – «Документы».

Ну, стала я с ним искать, жалко мне уже, дуре, его, а сама все еще думаю: «Помучься, помучься еще немного». А потом не выдержала. Он ушел в другую комнату, а я бумажник достала, кричу: «Вот он. Под подстилку подлез, а мы его ищем». Он прибежал, схватил бумажник, а сам, вижу, уже догадывается: «Ты в бумажник смотрела?» – «Нет». Он облегченно вздохнул, сунул бумажник в карман и ушел. Я сказала «нет» – думала, он сам мне во всем повинится. А он ушел гулять. Пришел, я ему и сказала: «Завтра обед готовь себе сам. Я устраиваюсь на работу». – «В чем дело?» – «Сам знаешь в чем. Если нет друг к другу доверия, если ты деньги от меня прячешь – никакие мы не муж и не жена. И как у тебя язык повернулся сказать, чтобы я у матери занимала, когда у тебя денег полный бумажник! Ложись-ка, говорю, на пол, а ко мне больше не лезь».

А у него манера была – как поссоримся, так он сразу одеяло бросит на пол, на одеяло подушку и лежит рядом с кроватью. Сама я ему бросила на пол одеяло, подушку и легла на кровать. Он сопел-сопел, а потом, смотрю, лезет ко мне: «Не хочу, чтоб ты шла на работу. Я тебе всегда буду расчетную книжку показывать». И правда, показывал и деньги утаивал только по мелочи. На папиросы или на кружку пива.

А из дому его все равно тянуло. На свободу! Ирка еще грудная была. Прибегит с работы: «Кошечка, там ребята складчину устраивают. Пойдем?» – «На кого ж я дитя брошу?» – «Мать посмотрит». – «Ты ж знаешь, я ни на кого Ирку не брошу». – «Ну, тогда я сам пойду». И убежит. Или зовет: «Пойдем в кино», – я отказываюсь. Боялась я ребенка оставлять. А он хоть бы что. Я не иду – он сам пойдет. И до того привык сам всюду ходить, что я ему уже вроде не нужна. Рядом со мной по улице не идет – вперед бежит, а я за ним поспеваю. Или в трамвай всегда первый лезет. Залезет и идет себе вперед, не оглядывается. Выберет место, а потом смотрит, где я. Выговаривала я ему, выговаривала, а один раз повернулась и пошла в другую сторону. Он в трамвай залез – в кино мы собирались, – а я повернулась и пошла в другую сторону. Пришла к подруге, позвала ее, взяли мы билеты на последний сеанс. Вернулась я домой около часу ночи. Он ко мне: «Ты где была?» А я ему отвечаю: «Я тебе скажу, как ты мне говоришь: „Где была, там меня уже нет“».

Оказывается, он залез в трамвай, оглянулся – меня нет. Он на следующей остановке вылез, побежал назад, опять сел в трамвай, приехал в кинотеатр, думал, я к началу сеанса подъеду, ждал у входа, не дождался и вернулся домой. Бегал, бегал. В милицию звонил, в больницу. Потом ему кто-то сказал: «Видел, как твоя жена с Клавкой по улице шли». Он и психанул. Я вошла, а он на меня: «Ты где была?!» А я ему отвечаю: «Где была, там меня теперь нет». Он бросил на пол одеяло и подушку, не хочет со мной разговаривать. Не разговариваешь – и не надо. Сама я – виновата не виновата – первая с ним, Витя, никогда не заговаривала. А он не выдерживал. Посопит-посопит внизу и лезет ко мне: «Ну хватит, ну довольно».

И еще раз я его проучила. Позвал он меня в кино, я вышла бабе Мане Ирку отвести, вернулась, а его и след простыл. А на улице ребята стоят, курят. Я к ним: «Не видели Николая?» – «Видели. Стоял тут, потом к нему товарищ подошел, они и ушли». Я ждала-ждала, опять к ребятам подошла. А среди них был Саша Перехов, он когда-то за мной ухаживал, жениться на мне собирался. И теперь он мне все предлагал: «Аня, когда мы с тобой поговорим?» Я подошла к ребятам, а Саша мне и предлагает: «У меня два билета в кино. Пойдешь со мной?» Я говорю: «Пойду!» Пошла с ним, храбрюсь, а у самой душа в пятках. Сели мы, свет потух, он меня за руку: «Как ты живешь, Аня? Я слышал, ты несчастлива. Николай все один да один ходит. Люди же видят, говорят». Он мне руку жмет, что-то спрашивает, в лицо заглядывает, а я сижу сама не своя, что там на экране – не вижу. Он меня спрашивает, а я думаю: «Какое мне до тебя дело! Мне бы узнать, где теперь Николай». Вернулась домой, а Николай схватил меня за кофточку. «Кончено, кричит,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru нечего нам с тобой делать». Схватил вещи в охапку и побежал. Я хочу крикнуть: «Николай!» – а сама молчу, понимаю – крикни, он всегда будет невнимательным, грубым, все ему тогда прощать надо. Смотрю в окно – он подбежал к калитке и ждет, чтобы я позвала его. А я не зову. Смотрю, он поворачивает назад... А один раз с работы не вернулся, всю ночь его не было. Пришел под утро пьяненький. Я ему ничего не сказала, а собралась и ушла на всю ночь к подруге...

– Муля, вы мне об этом уже рассказывали.

– Ага. Пришла к подруге, переночевала у нее. Возвращаюсь, а он лютым зверем на меня. Я ему говорю: «Как ты, так и я. Понял? Ничего я тебе не спущу». И еще мы с ним ссорились, когда умирали его брат и сестра. Я детей увезла за город, к матери, чтобы не заразились, а он раз приезжает и говорит: «Собери детей, Петя умирает, хочешь попрощаться. Поедем домой». Я вышла во двор, будто за Ирккой, а сама перевела ее через улицу к соседям, прошу их: «Не выпускайте никуда». Испугалась я – там же весь дом заразный. Вернулась к нему, он спрашивает: «Где дети?» Я говорю: «Детей не дам. Там же зараза. Сама поеду, горшки за твоим братом и сестрой выносить буду, а детей не дам». – «Тогда мы больше не муж и жена». – «Твое дело, говорю, а за детей отвечаю я». Так я ему детей и не дала. Он уехал – не попрощался. А потом все равно вернулся. И все у нас вроде начало налаживаться: дети подросли, я выздоровела после туберкулеза, Николай поспокойнее стал, в семье бывал больше, ругались мы с ним реже, а тут война.

...Мы уже принесли известь. Муля, рассказывая, бегала по дому, и тут вмешалась Ирка:

– Не ври, Муля, что редко с отцом ругалась. Я ж помню – пойдем в город, а ты отца всю дорогу пилишь. По-моему, все воскресенья для отца в пытку превращались. Любил он тебя сильно, прощал тебе все, а ты его пилила и пилила. И все из-за денег.

Муля яростно глянула на Ирку:

– Пилила! Конечно. Пойдем в город. Ирка скажет: «Папа, купи с неба звезду». Он сразу в карман полезет.

– Да брось ты, Муля! И за то, что много на папиросах прокуривает, и чуть ли не из-за спичек пилила.

– Да что ты помнишь! Что ты можешь помнить! Пилила! Пешком под стол ходила! А помнишь, как отец тебя стыдил, что ты никому в доме не помогаешь? «Здоровая девчонка, а мясорубку покрутить не можешь». Ты и сейчас такая.

Ирка высокомерно улыбается. Я знаю, что Муля не выносит этой Иркиной молчаливой снисходительности: «Как ты, Муля, ни кричи – отец любил меня больше всех». Муля и сама часто говорит, что Николай Ирку любил больше, чем Женьку, и даже объясняет: Ирка рано начала читать, много помнила наизусть, хорошо училась. Дед Василь Васильевич, отец Николая, говорил о ней: «Гениальный ребенок». Женьку он не любил. А Ирку любил и мог на целый день разбраниться с Мулей, если она тронет Ирку: «Вам не детей, а чертей воспитывать... Достался умный ребенок глупым родителям».

Все это Муля рассказывает не только потому, что так было на самом деле – она не боится рассказывать и такое, что может быть использовано против нее. Она ничего не боится. «Вы считаете, что Ирка лучше Женьки, что я Женьку больше люблю? И прекрасно. Я вам расскажу, что об этом думали и другие», – так и светится в ее черных глазах. Заканчивает Муля такие разговоры обычно одной и той же репликой:

– А выросли – что Женька скотина, что Ирка. Оба недостойны любви.

– Брось, брось, Муля! – говорит Ирка. – Так ли уж оба?

Муля не отвечает. Она чувствует себя уязвленной. Она ведь хвастается не только своим физическим бесстрашием, но и бесстрашием рассудка. Она бы призналась, что действительно Женьку гораздо больше любит. Но ведь ничем нельзя объяснить то, что она Женьку больше любит.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru

Я делаю всю черную работу: ломаю перегородки, пробиваю в стене окно, рою канаву под фундамент, таскаю воду в ведрах от колонки, – а намечает, где пробить стену, кладет фундамент, поднимает новые перегородки дядя Вася, наш сосед. Дядя Вася сам недавно построился. После войны он работал шофером на Севере, копил деньги на дом. Четыре года назад вернулся, купил завалившую времянку и сразу же пришел к бабе Мане и Муле договариваться: он просил, чтобы баба Маня и Муля разрешили ему поставить одну стену будущего дома на их участке. Дяде Васе не хватало пятнадцати сантиметров земли. Почти все в своем доме дядя Вася делал сам – клал фундамент, настилал полы, поднимал кровлю. Специалистов нанимал только на самую тонкую работу. Построился и заболел. Врачи нашли у него язву желудка. Глаза у дяди Васи утомленные, с желтизной. Он еще не привык к своей болезни, еще очень охотно слушает, что ему о ней говорят, и сам охотно о ней рассказывает.

Муле дядя Вася давно нравится. Она возмущается его женой: «Недотепа, не может за таким мужиком ухаживать!» О дяде Васе Муля говорит с восхищением. И какой у него в руках талант, и какой он сильный и спокойный. Один раз к нему пристал пьяный вздорный мужик: «Давай бороться, давай бороться!» Дяде Васе надоело его слушать. Он взял настирного мужика за шиворот и за штаны и перебросил через забор. Мне дядя Вася тоже нравится, хотя сейчас он меня подавляет своими знаниями и умением. Один раз дядя Вася попросил меня показать, что я пишу. Я дал ему журнал, в котором был напечатан мой рассказ. Дядя Вася вышел во двор, сел на приступки, и вдруг я услышал странное гудение – он читал вслух. Читал так, как требуют в начальной школе, «с выражением». Минут пять, сгорая от стыда, я слушал его серьезное чтение. Потом дядю Васю куда-то позвали, он снял очки, закрыл журнал и ушел. О рассказе он больше не вспоминал.

Дядя Вася говорит о своей болезни:

– Работаю, качаюсь – ничего не чувствую. Даже, думаю, выздоровел. А ночью прилягу – и схвачусь. Я ночью как сторож. Я вам взялся помогать, чтобы не сидеть без работы. Честное слово. Если б ночью можно было работать, я бы работал.

– Вася, – говорит Муля, – вот не поверила бы, что ты можешь заболеть. Такой мужик!

– Я к врачу пришел в первый раз, – говорит дядя Вася, – а он меня спрашивает: «Ты чего пришел? Хочешь на бюллетене погулять? Так и скажи. А то – больной!» Я ему говорю: «Ты соображаешь? У меня времени для отдыха вот так! Работа у меня сменная».

Дядя Вася протягивает Муле курортную карту с диагнозом. Потом передает ее мне и Ирке. Когда мы вежливо возвращаем ему путевку, он медленно складывает ее, прячет в бумажник:

– На работе говорят: «Повезло, на курорт поедешь». Лучше бы не повезло. – Потом он поясняет: – Это у меня пошло на нервной почве. После того, как девчонка под машину забежала.

Несколько месяцев назад дядя Вася впервые в жизни в околосветофорной толчее сбил крылом тринадцатилетнюю девчонку. Он был не виноват – это после недельного разбирательства установила автоинспекция, – но дядя Вася неделю не брался за руль, как-то крадучись пробирался по улице, словно боялся, что сейчас на него укажут пальцем – «убийца». Он перестал выходить на улицу к доминошникам и вообще стушевался. Он не чувствовал себя виноватым, но несчастье его придавило. Он никогда не говорил об этой девчонке (я так и не узнал, сильно ли он ее покалечил), однако желтые подпадины в его глазах появились с того времени. А вообще-то это было удивительно, потому что дядя Вася был уравновешенным, спокойным, много видевшим человеком. Он казался медлительным и в чувствах, и в мыслях, не сразу отвечал на самый простой вопрос:

– Дядя Вася, на работу?

Обязательно остановится, даже если очень спешит:

– На работу.

И тебе станет неудобно, потому что спросил ты мимоходом, не требуя ответа. Так просто вместо «здравствуй» бросил: «На работу?» А сосед остановился, серьезно

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru смотрит на тебя, ждет новых вопросов, а говорить-то вам не о чем. Дома у него четверо детей, а крику никогда не слышно, хотя четыре года они жили скудно, все гнали на строительство. И с женой дядя Вася не ругается, хотя всей улице известно, что они не пара. Бабы жестоко издеваются над ней, удивляются, как дядя Вася до сих пор о ее кости не разбился.

– Поди ж ты, – говорит Муля, – такой мужик, износу тебе, казалось, не будет, а заболел. А жинка твоя – куда уж хуже быть, а скрипит себе, и ничего.

– У нее грудь больная, – говорит дядя Вася после некоторого раздумья. – Мы с Севера вернулись, потому что ей там нельзя было оставаться. И дети стали болеть.

– Я ж и говорю: худая. А ты против своей болезни не пробовал алоэ с медом? Рашпиль с такими мясистыми листьями? У нас на фабрике одна тетка совсем уж кровью на двор ходила. В рот ничего не брала. На курортах была – ничего не помогает. Врачи от нее отказались. В общем, хоть гроб заказывай. А потом один человек ей рецепт дал. Алоэ с медом и водкой. Хочешь, я достану тебе рецепт? И рашпиль у меня трехлетний есть. Скажи, чтобы жена ко мне пришла. Я ей дам, пусть сварит.

Дядя Вася смотрит своими усталыми с желтизной глазами и машет безнадежно рукой:

– Сварит!

И Муля, воинственно забрызганная мелом и известкой, с воинственно выбившимися из-под косынки седыми волосами вдруг срывается:

– Ты извини, Вася, что я не в свое дело лезу, но я зайду к вам, аж с души воротит. Ну можно в комнате прибрать, побелить, почистить, чтобы приятно было войти? Я ничего не хочу сказать – твоя жена умная, начитанная, поговорить с ней интересно, но надо же и руки приложить! И подгорелым у вас всегда тянет. Что она, за кастрюлей уследить не может? Можно больному человеку давать подгорелое?

Страдальческой желтизны в глазах у дяди Васи сразу прибавляется. Он долго молчит, а потом отчаивается:

– А как никакого нет? – говорит он после долгого молчания. – Ни пригорелого, ни другого?

Ирка давно пытается остановить Мулю.

– Муля! – говорит она.

Мне тоже не по себе, но, странно, я замечаю, что дяде Васе этот разговор приятен. Ему приятно, что Муля так близко к сердцу принимает его болезнь, что она так ценит его, он не возмущен тем, что она осуждает его жену. Дядя Вася подробно рассказывает Муле, как плохо готовит его жена. Принес он недавно с базара мяса хорошего, птицу – сам ходил, не стал ее дожидаться, готовь только. Так она приготовила – в рот нельзя взять.

– Врач говорит: «Не пей!» А я пошел, взял двести грамм и колбасы – вот и вся диета.

– А ей ты сказать не можешь! – возмущается Муля.

Дядя Вася надолго замолкает и вдруг решается:

– Дети взрослые, в люди я их вывел, а если так будет продолжаться... – И дядя Вася умолкает.

Потом они опять долго говорят с Мулей о дяди Васиной язве, о способах ее лечения. Недавно дядя Вася вез в такси – он таксист, хотя по внешности кажется шофером тяжелого грузовика, – врача-хирурга.

«Я, говорит, – хирург, и моя жена – хирург. Мы оба хорошие хирурги. Так что, говорит, вы послушайте моего совета. Никакому врачу не давайте делать операцию, пока вашей язве не будет трех лет».

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru – Это что же, правило такое, ждать трех лет? – спрашивает Муля.

– А кто его знает. Наверно, правило.. «А если, говорит, вам совсем плохо будет, вы позвоните мне. Консультацию или совет мы вам всегда дадим. Вы, говорит, не подумайте. Денег мы с вас не возьмем».

Дядя Вася боится операции, которую ему недавно рекомендовали сделать, и поэтому совет подождать три года ему явно по душе.

Работает дядя Вася так же медленно, как и говорит. Руки у него действительно очень сильные. Такими руками можно перебросить через забор пьяного соседа. А сердце слабоватое. Я это заметил, когда дядя Вася помогал нам сгружать камень-песчаник. Мы торопились – шофер подгонял нас, и дядя Вася быстро запыхался. Сейчас он работает, принаравливаясь к своей одышке. Медленно прилаживает доску, неторопливо делает разметку, закуривает – табачный дым вдыхает с прихрипом, после каждой затяжки к лицу его приливает желтоватый никотиновый оттенок, – и точно по разметке отпиливает кусок. В нашей старой хате дядя Вася все знает, как в своей. По недоступным моему пониманию признакам он угадывает под полом и на потолке гнилые балки, знает, где их можно заменить, а где нельзя. Показывает Муле, где потолок угрожает рухнуть, и предлагает способ укрепить его. Муля платит дядя Васе только за то, чтобы он уложил нам фундамент пристройки и поставил новые перегородки. Но дядя Вася многое делает сам. И делает это даже не из соседской доброжелательности, а по более сложным причинам. Из-за привычки все делать основательно, из-за того, что ему приятно показать Муле свои знания, свою строительную эрудицию, по мужицкой рабочей добросовестности, потому, что между ним и домом, который мы перестраиваем, возникают какие-то живые связи. Нечто такое, будто дом этот – живое существо, перед которым дядя Вася чем-то обязан. Во всяком случае дядя Вася по собственному желанию лезет на чердак, укрепляет старую кровлю. Когда у нас не хватает доски, плинтуса, он молча идет домой и приносит свою доску:

– Потом рассчитаемся.

Они часами говорят с Мулей об этом доме, о его стенах, о том, что давно уже надо менять позеленевшую от лишайника старую интернитовую крышу. И когда они говорят о доме, о людях, строивших его, оба оживляются, у Мули начинают восторженно светиться ее черные, непримиримые глаза.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дядя Вася в срок закончил свою работу. Каменщики, нанятые Мулей, за три дня возвели стены пристройки, наступила пора класть печку. С этой печкой мы хлебнули горя прошлой зимой. Несколько раз Муля ее прочищала, лазила на чердак, выбивала кирпичи над заслонкой и под заслонкой, вычищала из дымохода по ведру сажи, а печка все равно кисло и удушливо дымила. За зиму я так наглotalся ее дыму, что, как только печку разобрали, сложили в комнате прокопченные кирпичи, старый короб, чугунную плиту и вьюшки, – я, едва вошел в дом, тотчас узнал их по удушливо-кислому запаху. Печника Муля искала с пристрастием. Нашла здоровенного, небритого дядьку. Утром, когда он начал работать, выставила на стол водку.

– Печника сразу надо расположить, – сказала она мне, – а то построит такое – рад не будешь. Сделает вроде бы все правильно, а уйдет – печка без него не горит.

Когда я вечером пришел с работы, печка уже стояла. Муля, перепачканная глиной и известкой, хлопотала возле нее.

– Ага, Витя, – сказала она мне, не обращая внимания на иронические подмигивания Ирки, – а я с печником целовалась. – Глаза у Мули возбужденно блестели. – Скажи ты, на улице тишина, ни ветерка, а он поджег бумагу, положил ее на короб, а ее аж ветром потянуло, загудела вся. «Тащи, говорит, тетка, дрова и уголь; как доменная печь гореть будет». А я его чмок в щеку! Он только глазами вот так. – И Муля захохотала, показывая, как изумленно тарасился небритый печник, когда она его поцеловала в щеку.

Потом Муля привела штукатура. Какого-то набычившегося, остолбенелого паренька лет шестнадцати-семнадцати. Он долго стоял посреди комнаты и молчал. Предполагалось, что он осматривает стены, прикидывает, сколько материалу для них потребуется. Но скоро я заметил, что он просто смотрит в одну точку и чего-то ждет. Причем даже не делает вида, что осматривает стены, – смотрит куда-то вниз.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru

– Сколько тебе алебастру потребуется? – спросила Муля. – Два мешка хватит?

Паренек никак не отреагировал. Даже не показал, что услышал.

– У Филоновых ты сколько истратил?

Филоновы – это наши соседи, живущие домов через пять по улице, у которых паренек штукатурил стены. Паренек немного оживился:

– Да у них много всего было.

С тех пор как он вошел, он не сменил позы, и выражение сбыченности не сошло с его лица. Как будто бы его обижали еще до того, как он вошел сюда.

– А ты давно штукатуром работаешь? – спросила Муля.

Паренек еще упорнее уставился в какую-то точку на полу.

– Тебя как зовут?

– Толя.

– А отец и мать у тебя есть?

Толя не ответил.

– А чего ты все время молчишь? Ты деревенский?

Толя странно качнул головой или просто сглотнул, но не ответил.

– А сколько ты возьмешь за две комнаты с нас?

Толя назвал цену, не сводя глаз со своей точки на полу.

– А материал твой?

– Ваш.

Это была очень высокая цена, и я думал, что Муля тотчас прекратит всякий торг. Но Муля сказала:

– А сколько дней ты будешь работать?

– Три дня.

– За три дня ты один не справишься. Вон у дяди Васи, соседа нашего, двое старых штукатуров штукатурили да еще двое им приходили помогать. Только-только за три дня справились. Так они ж опытнее. А ты, наверно, недавно строительное училище окончил. У тебя сколько классов образование?

Паренек опять качнулся и сглотнул. И вдруг ответил. Вдруг – потому что мы уже привыкли к его непонятному молчанию.

– Четыре класса.

– А сколько тебе лет?

Толя опять не ответил. Муля пыталась с ним поторговаться, но он смотрел в свою точку на полу и молчал. Муля назвала свою цену и спросила:

– Договорились?

Толя отрицательно покачал головой.

– Зачем тебе столько денег?

– Костюм хочу купить.

– Но у нас нет столько денег.

Толя не ответил.

Разговор этот меня уже раздражал. У нас действительно не было столько денег, не было столько материала, чтобы доверить этому мальчишке, не было столько времени, чтобы дожидаться, пока он сделает свою работу. У нас все было на пределе – и деньги, и нервы, и время, а тут этот набывчившийся, остолбенелый чудак, который даже на вопросы не отвечает то ли от крайней глупости, то ли от крайней деревенской застенчивости и нерасторопности. Но глупость ли это, нерасторопность ли – нам все равно. Работать он не сможет. И вдруг Муля сказала:

– Ладно. А когда ты придешь работать?

– Могу завтра после смены.

– Приходи.

Я хотел вмешаться, но отошел в сторону. Муля тут главная. Я ждал, когда наконец этот парень сдвинется со своего места и уйдет. Но он стоял такой же остолбенелый и чего-то ждал.

– Может, поешь? – спросила Муля. – Особенно у нас ничего нет, но суп и помидоры есть.

Она посадила Толю за стол. Он снял шапку, положил ее на колено, молча ждал, пока она нальет, молча ел. Потом Муля пошла его провожать к трамвайной остановке. Вернулась она минут через пятнадцать.

– Удалось вам разговорить его? – спросил я.

– Ага. Детдомовский он. Ни отца, ни матери.

– Жаль, конечно, – сказал я. – Да штукатур он, видно, плохой. Зачем он нам?

– Пусть работает, – сказала Муля.

– Пусть работает, – согласилась Ирка.

– Живет в строительном общежитии, – сказала Муля. – Говорит, хорошее общежитие. Только ребят-обидчиков много.

Как я и думал, Толя оказался плохим штукатуром. Замес у него получался слишком густым, штукатурку он клал таким толстым слоем, что наших скудных запасов едва хватило на одну комнату. Делал он все медленно, и к концу пятого дня у него еще было полно работы. Да и поворачивался он как-то так неуверенно, что казалось, сам не знает, тот ли это замес, столько ли нужно алебастру. Если Муля говорила: «Толя, ты же мало насыпал песку», – Толя сбывчивался и остолбенело глядел в свой погнутый алюминиевый таз. После каждого такого вопроса ему нужно было время, чтобы прийти в себя и продолжать работу. Однако это не значило, что он соглашался с Мулей и досыпал в свой таз песку. Он просто ожидал, пока его оставят в покое. Потом он опять брал из таза замес, ляпал его на стену, и все шло по-старому. Медленно продвигалась работа у Толи еще и потому, что, плотный и коренастый, он был невысокого роста. Чтобы дотянуться в нашей хате до потолка, ему приходилось ставить на стол табуретку и все это сооружение двигать каждый раз, когда надо было перейти на метр в сторону. Но Толя как будто бы и не спешил. Вечером, закончив работу, подолгу не уходил от нас: медленно ел. Муля как-то у него спросила:

– У наших соседей тебя лучше кормили?

Толя сказал:

– Лучше. Там жирно едят.

Поев, он долго сидел, сложив руки на коленях. По-прежнему много молчал, долго раскачивался, прежде чем ответить на простейший вопрос, но все же оттаял,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru улыбался, а иногда сам задавал неожиданнейшие вопросы.

- Маленького ждешь? – спросил он у Ирки.
- Толя, а как ты догадался? – изумилась Ирка.
- А живот большой.

Вначале меня томили поздние Толины сидения – он засиживался до полуночи, – но потом я перестал обращать на него внимание, ложился спать и, засыпая, слышал, как Муля о чем-то разговаривала с Толей. Вообще-то я слышал только Мулин голос, но, наверно, Толя тоже что-то говорил, потому что Муля каждый раз сообщала о нем все новые и новые подробности. Отец Толи погиб на фронте, а мать убило во время бомбежки. Она бежала с Толей на руках в бомбоубежище, и осколок убил ее. У Толи есть две сестры, они тоже воспитывались в каких-то детских домах, сейчас старшая вышла замуж, зажила своим домом и разыскала Толю и вторую сестру. Приглашает приехать погостить...

На следующий день Толя опять двигал по комнате стол с табуретом, зажмурившись, ляпал раствор на потолок и растирал его дощечкой. А Муля ему говорила:

- Толя, а вон там ты пропустил! Вон-вон там! Да ты обернись!

Толя медленно поворачивался:

- А-а...
- Толя, а куда ты денешь деньги? Костюм купишь? А какой же ты хочешь костюм? Ты подожди, мы хату отремонтируем, я с тобой пойду в магазин, а ты деньги пока положи на сберкнижку. Ты сразу положи на сберкнижку, а то ребята увидят и заберут.
- Нее...
- Скажут, пойдем выпьем. Ты не пьешь? Ты не пей... А столовая у вас в общежитии есть? Там дешево? А кто тебе стирает? А сколько стоит в вашей прачечной постирать рубашку?..
- Толя, – вмешивалась Ирка, – скажи Муле: «Муля, не учите меня жить».

Толя медленно раздвигал губы – улыбался.

- Дочка у тебя хорошая, – говорил он Муле.

- Красивая?
- Не-ет.
- А чем же хорошая?
- Простая.

– Толя, а тумбочка у тебя есть? Я к тебе приду в общежитие, посмотрю, как ты живешь. Может, тебе постирать надо чего-нибудь? Ты не стесняйся.

Никогда Муле не удавалось так подробно поговорить с нами о наволочках, простынях, одеялах...

Через неделю Толя все-таки закончил работу. Муля собрала ему узелок и проводила до трамвая. Я думал, что на этом наше знакомство с Толей-штукатуром закончилось, но в следующую субботу он постучал к нам в окно. Я вышел. На Толе был новый черный дешевый костюм. Ворсинки из этого костюма торчали, как из третьесортной оберточной бумаги. Сидел он на Толе нелепо, был он новый-новый, ни одна ворсинка не успела на нем обмяться, и от этого Толя выглядел необычайно торжественно.

- Вот, – сказал Толя, – к вам пришел.
- Входи, – сказал я, стараясь припомнить, не забыл ли Толя у нас какой-нибудь

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru свой инструмент, расплатилась ли Муля с ним окончательно – чего ради молодой парень в субботний вечер из центра города забрался на нашу окраину?

Толя вошел, сел на стул и сложил руки на коленях.

Так он просидел долго, изредка отвечая на Иркины и мои вопросы, а потом сам спросил:

– А где мать? Ну, Муля?

– Она сегодня во второй смене, – сказала Ирка, – ты к ней пришел?

– Да нет, – сказал Толя, – я вообще пришел. В гости.

Тогда Ирка захлопотала. Накрыла стол, посадила Толю, сама села. Я ушел в другую комнату, а они долго разговаривали.

Толя приходил еще несколько раз. Придет под вечер, сложит руки на коленях и сидит часа два. А потом исчез – уехал к старшей сестре.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Иногда к нам приходят Женькины товарищи посмотреть, как идет наше строительство, узнать, что пишет Женька, – демобилизовавшийся из армии Валька Длинный и Вася Томилин, отец которого когда-то так растревожил Женькин класс.

Валька Длинный приходит занимать деньги и поменять книги в Иркиной библиотеке. Деньги ему нужны на выпивку. Он об этом прямо и говорит:

– Теть Аня, займите пятнадцать рублей. Честное слово, я уже оформляюсь на «шарики». С первой же полочки отдам. Выпить хочется.

«Шарики» – расположенный в нашем районе шарикоподшипниковый завод.

– Да откуда ж у меня деньги! Ты ж видишь – строительство! Сами в долги залезли. Не известно, как расплачиваться.

– У соседей займите.

– Я уже у всех соседей занимала.

– А вы у других.

Длинный нагл неотступно. Он знает, что я жду не дожусь, когда он уйдет, что я против того, чтобы Муля занимала ему деньги. Но меня он не замечает. «Я сюда ходил, когда тебя тут и в помине не было».

– Теть Аня, у бабки нет? Пенсию она получила?

– У какой бабки?

– У Мани.

– Глаза твои бесстыжие! – возмущается Муля. – Из бабкиной пенсии тебе на выпивку!

– А у Нинки?

И вдруг он улыбается. Лицо у него умное, и улыбка вначале кажется приятной. Но потом она будто застывает.

– Ирка, займи денег.

Это он обращается к Ирке, игнорируя меня.

– У нас денег нет, – говорит Ирка, – мать же тебе сказала. Да и были бы – я бы тебе на выпивку не заняла.

– Нельзя?

– Нельзя.

Валька опять поворачивается к Муле:

– Тетя Аня, сходите к соседям.

И Муля, чертыхаясь, проклиная всех пьяниц на свете, все-таки идет к соседям занимать Вальке деньги.

– Я бы не пошла, – говорит Ирка.

Длинный поднимается и переходит в нашу комнату. Теперь не заметить меня нельзя, и он снисходительно кивает мне.

– Дай еще что-нибудь почитать, – говорит он Ирке. Читает Валька много. Берет по пять-шесть книжек.

Возвращает их в невыносимом состоянии – засаленными, захватанными грязными пальцами, с сажистыми следами от кастрюли или сковородки на обложках. Ничуть не смущаясь, объясняет:

– Мать у меня книг не читает, неграмотная. А как-то использовать книги надо? Она и использует.

Живет Валька даже не на окраине, а за окраиной. Родители его построились так далеко, что у них в доме несколько лет электричества не было. Столбы электросети туда подвели недавно, когда к Валькиному дому подошла улица.

– Свет у вас в доме уже есть? – спрашивает Ирка. Длинный кивает. Он сидит в раздражающей меня позе, широко расставив ноги, загородив ими узкий проход между столом и шкафом. Захочешь выйти из комнаты – проси его подвинуться. Сам Длинный не пошевелится, хоть два часа стой молча перед ним.

– Говорят, – спрашивает Ирка, – ты плохо относишься к своей сестре? Притесняешь ее?

Валька презрительно щурится. Его сестра работает кондуктором на трамвае. Я ее часто вижу. Ирка говорит, что она очень хорошая девчонка. Умная, работающая. В школе хорошо училась. И дома она того же Вальку обстирывает, обшивает, а он кричит на нее, а иногда и колотит. Вот и сейчас щурится: «Сестра!» Ирка закипает.

– Муля, – кричит она в соседнюю комнату, – ты Вальке денег не давай.

Длинный усмехается. Он непробиваемо самоуверен.

– Интересно, – спрашивает Ирка, – что такие типы, как ты, вычитывают из книжек? Ты же много читаешь. Или ты просто книжки с собой таскаешь? Поносишь, поносишь и вернешь?

Книги Валька читает серьезные, детективами не интересуется, а спросишь, понравилось ли, – презрительно усмехнется и промолчит. Разговаривать с нами о книжках Длинный считает бесполезным. Я – газетчик, Ирка – преподаватель. Людей наших професий Длинный презирает. Заранее известно, что мы похвалим, что обругаем.

Правда, с полгода тому назад, когда Валька демобилизовался и собирался поступить на филологический, он приходил к Ирке советоваться. Тогда он внимательно слушал ее, был мягким и податливым. Даже со мной здоровался и разговаривал и с некоторым интересом слушал, что я ему говорю.

В университет он не поступил. Желание это в нем почему-то быстро перегорело. Теперь он приходил к нам только для того, чтобы занять у Мули денег. И еще он приходил для того, чтобы вот так посидеть, перегородив длинными ногами выход, чтобы, не замечая меня, поговорить с Мулей и Иркой, чтобы накурить в хате. Валька Длинный на чем-то удерживался, откуда-то соскальзывал, и этому «чему-то» он бросал одному ему понятный вызов...

Вася Томилин иногда приходил вместе с Валькой Длинным. Лицо у Томилина сонно-серьезное, и голос тоже сонно-серьезный. Я ни разу не видел, чтобы Томилин улыбнулся. Если Длинный сострит, Томилин вздохнет и терпеливо переждет, пока все вернутся к серьезности. В армию Томилина не взяли по болезни – аппендицит он, что ли, вырезал. Выписался из больницы и поступил в мастерские «Мореходки», три месяца поработал слесарем и стал курсантом. Томилин женат. Женился он, едва окончив десять классов.

– Он ее заговорил, – усмехался Длинный. – Он любого может до смерти заговорить.

Вася вздыхает и ждет, пока мы перестанем улыбаться. Потом, обращаясь в основном к Муле, продолжает своим сонно-серьезным голосом:

– Ага... Питание трехразовое. Утром каша пшенная или перловая. Или из сечки. На растительном масле. Компот из сухофруктов или чай. Хлеба сколько хочешь. Дежурный по столу возьмет в хлеборезке и принесет. И сливочного масла двадцать пять грамм к чаю. Хочешь – на хлеб намажь, хочешь – в кашу положи. Я больше люблю на хлеб. А есть – бросают в кашу...

– А домой вас отпускают? – перебивает Длинный.

– Мы на казарменном положении, – объясняет Томилин. – У нас иногородних много. Им на воскресенье отпуск в город дают. А я договорился, чтобы меня с субботы на воскресенье отпускали домой ночевать.

– К молодой жене?

Вася вздыхает, лицо его становится еще более сонным.

– Значит, она ждет тебя от субботы до субботы? – продолжает Длинный.

– Ничего, подождет четыре года, – вступает за Томилина Муля. – Другие дольше ждут, и ничего. Правда, Вася?

Томилин кивает.

– Еще молодая, – серьезно соглашается он. – Может ждать.

Тут не выдерживает даже Муля. Однако Томилин ничего не замечает. Тем же монотонным, усыпляющим голосом он продолжает рассказывать:

– Спальни чистые, на восемь человек. Простыни, пододеяльники и наволочки меняют каждую субботу. Форма парадная и рабочая роба. Парадная на мне, а рабочая из фланельки...

Удивительно для своих девятнадцати лет видит Томилин мир. Если костюм, то обязательно из какого материала, сколько стоит метр. Если дом, то какая кухня, коридор, сколько метров в комнате. Дома вообще, костюмы вообще для него не существуют. И «Мореходку» свою он тоже делит на квадратные метры, учитывает высоту потолков, подсчитывает стипендию, прикидывает, во что бы ему могли обойтись такое вот трехразовое питание, простыни, которые меняют каждую неделю, положенные по форме шинель и бушлат, если бы он все это покупал на свои деньги. Он уже знает, сколько ему придется плавать, прежде чем он сможет попроситься на берег, какая у него будет пенсия и в каком возрасте он на нее сможет рассчитывать. Далекие страны, чужие моря, трудные походы – все это его не волнует. Вернее, не волнует романтика дальних походов, чужих стран и южных морей. Он даже не понимает меня, когда я спрашиваю его об этом. Он говорит:

– Я уже прикидывал. Если пойти на путейское отделение – тоже никогда дома не будешь. А механики везде нужны: и на флоте и на берегу. Поплаваю три года и перейду на берег.

– А зачем тогда было идти в «Мореходку»?

И Вася опять терпеливо объясняет своим монотонным голосом: стипендия, питание, специальность хорошая, в армию из училища не берут.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– А кто тебе посоветовал пойти в «Мореходку»? – спрашивает Муля. – Ты же не собирался становиться моряком.

– Знакомый отца в мастерских «Мореходки» работает. Предложил отцу: «Давай твоего сына в мастерские устрою. Работать он умеет. А присмотрится, дисциплина ему в училище понравится, специальность – добьемся, чтобы его зачислили курсантом».

– Ну, и понравилась дисциплина? – спрашивает Муля.

– Понравилась.

– Экзамены ты сдавал?

– Сдавал, – кивает Томилин. – Подготовился и сдавал. Не строго спрашивали. Меня уже знали, я три месяца хорошо в мастерских работал.

И Томилин перечисляет, что ему приходилось делать в мастерских «Мореходки», какие приборы ремонтировать. Он действительно многое умеет. Он слесарь-самоучка, радиотехник-самоучка, электрик. Нам он взялся починить старый радиоприемник, половину воскресенья копался, разложив внутренности приемника на столе. И починил.

Уходят они вдвоем – Валька Длинный и Вася Томилин. Вася долго прощается.

– Тетя Аня, будете писать Женьке, передавайте от меня привет. Я и сам ему напишу, а пока передайте от меня привет.

Валька Длинный, презрительно щурясь, ждет, пока он выговорится, и уходит не прощаясь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Я родился в центре города, детство мое прошло на асфальте. Даже лужа, в которой мы пускали корабли, была на асфальте. С детства я привык презирать немощную одноэтажную окраину и немного опасаться ее. И сейчас я ее по-прежнему не люблю. Я с удовольствием уезжаю по утрам на работу и с тяжелым сердцем возвращаюсь вечерами домой. Ехать мне из центра далеко. Пять остановок трамвай делает еще в самом городе, переезжает по путепроводу через железную дорогу и попадает на окраину. А окраина тянется, тянется – и конца ей не видно. Если сесть не на трамвай, а на пригородную электричку, то такой вот зеленой одноэтажной окраиной можно проехать километров шестьдесят. Вначале это будет окраина нашего города, потом начнутся пригороды. Пригороды нашего города перейдут в пригороды соседнего, районного города, а там потянется окраина этого соседнего города...

Трамваем я доезжаю до остановки, которая называется «Школа», выхожу у водопроводной колонки, прохожу мимо длинного кирпичного дома трех братьев-уголовников по кличке Слоны, мимо дома Феди-милиционера, потом – мимо шлаконаливного домика, который за три года поставил одноногий силач и красавец Генка Никольский. Свой дом он строил сам. Помогала ему только его жена. Генка внизу, на тротуаре, готовил смесь из цемента, шлака и песка и подавал ведра жене, а потом лез на леса и вручную трамбовал медленно раставшую стену. О том, как медленно она росла, видно по границам ясно отпечатавшихся слоев. Уж очень тонки эти слои. Три года я ходил от трамвайной остановки мимо Генкиного строительства, и мне казалось, что строительству этому не будет конца. А вот дом уже стоит, и крыша на нем есть, и свет электрический в окнах горит.

В большом многоквартирном доме, в котором я жил до войны, соседи мало знали друг о друге. Даже те, которые жили в одной лестничной клетке. А тут, на одноэтажной улице, я невольно все узнаю о своих соседях. Я знаю их профессии, их жизненные истории. Я не могу точно сказать, каким путем я все это узнаю, я ведь даже не стараюсь ничего узнать – просто вся эта улица какая-то открытая. Люди по несколько раз на день приходят к водопроводной колонке, сталкиваются на трамвайной остановке. Если где-нибудь начинается строительство, то так или иначе о нем узнаёт вся улица. Здесь есть свои специалисты – электрики, печники, каменщики, кровельщики. Они и побывали у нас, пока мы перестраивали нашу хату. И вся улица, конечно, знает, что делается у нас в хате. И то, что Ирка беременна, и то, что перестройку мы затеяли в ожидании ребенка, и то, что «нет мужчины в доме», и что через год из армии вернется Женька, и как у нас тогда все пойдет – еще не известно, потому что и с пристройкой нам в одной хате будет тесно.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
«Женька придет из армии, Нинкин Пашка вернется, – говорят наши соседи, – кому-то придется строиться во дворе. Ставить новую хату. В старой теперь уже не поместиться». И Муля тоже – еще не конечно это строительство – уже думает о том, как вернувшийся из армии Женька построит себе хату, мы с Ирккой выберемся на новую квартиру, и она, Муля, наконец заживет одна.

– Поверишь, Витя, – говорит она мне, – так уже хочется пожить для себя. Я надеялась, отправлю Женьку в армию, Ирка уедет на работу, я начну жить сама, а ничего пока не получается.

Правда, Муля уже делала попытку зажить отдельно от нас. Оставить нам хату, строительство, которое ей «вот как осточертело», и выйти замуж.

Вообще-то разговоры о замужестве в нашем доме ведутся давно. У Мули есть подруга, которую Муля хочет пристроить. Время от времени Мулина подруга приходит к нам, приносит бутылку портвейна или вермута. Муля отрывается от своих вечных стирок, приборок, штопок, кричит ей:

– Садись, Зина, я сейчас закончу. Или, хочешь, сходи к бабе Мане, проведай, а я тут быстренько.

Зина здоровается с нами, говорит о себе насмешливо:

– Невеста пришла, – подмигивает Ирке: – Мать все крутится? – И отправляется к бабе Мане проведать.

Муля снимает фартук, старое платье, в котором она стирала, вытаскивает из шкафа свой праздничный переделанный из Иркиного костюм, наскоро причесывается перед маленьким зеркалом, накрывает поверх старой, липкой клеенки – Муля чистоплотна, да вода за квартал! – свежую скатерть. Жестко накрахмаленная, долго пролежавшая в шкафу скатерть топорщится на сгибах. Муля придавливает сгибы тарелками, достает из своих похоронок бутылку водки, банку шпрот, зеленого горошка, баклажанной икры, – когда бы Женя из армии ни вернулся, у Мули все готово! – извлекает откуда-то кусок копченой колбасы, которую не так просто купить в наших магазинах, голландского сыру, ставит соленья: квашеную капусту и огурцы, маринованные яблоки и помидоры – и стол получается красивым. Мулина мать, глухая бабка, чистит картошку, а Муля бежит к Мане приглашать Маню, Нинку, Зину к столу. И женщины собираются вместе. У Мули блестят черные глаза, и во всем ее облике, в движениях, в горячечной быстроте речи есть что-то хмельное, хотя Муля еще не выпила ни капли и пить будет немного. Она любит свой стол, тем, что может его так накрыть. Говорит:

– Жаль, нет селедочки. Знала бы, купила б сегодня. Шла мимо магазина, думала: «Надо купить селедки. Ирка селедку любит». А потом прикинула – капуста есть, огурцы, помидоры. Думаю, обойдемся, и не купила. А надо было бы купить...

Баба Маня тяжело приподнимается со стула:

– Схожу, у меня, кажется, селедочный хвост с головой остался.

На Маню машут руками:

– Сидите! Куда еще селедку! Прекрасный стол! И помидоры, и огурцы, и синенькие! Королевская еда.

Муля еще раз радостно и гордо оглядывает свой стол – сама добыла, сама делала, – но на вопросительный взгляд бабы Мани никак не отвечает. И баба Маня все-таки поднимается и идет на свою половину за селедкой.

– Завивку тебе надо сделать, – говорит Зина Муле, – и зубы вставить. Золотые.

– Куда мне! – возбужденно смеется Муля. – Тут только со стройкой справились, столько долгов! За зубы деньги надо платить! – И вдруг вспоминает: – У нас на фабрике механик есть, да ты его знаешь, Дмитрий Васильевич, черный такой. Вчера иду с работы, он догоняет меня, берет за локоть: «Аня, – он меня по старой памяти Аней зовет, – вставишь зубы, еще такой красивой женщиной будешь. И завивку сделай. Что это ты на себя махнула рукой? Ты, говорит, еще совсем молодая и интересная женщина». А я смеюсь: «Что вы, говорю, Дмитрий Васильевич.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Я через два месяца бабушкой буду».

– Бабушка! Такую бабушку да на праздничек! – И Зина удивляется: – Жив еще Дмитрий Васильевич?

– Жив, – говорит Муля и смотрит на женщин: – Водочки или сладкого?

– Давай водки, – говорит Зина и ухарски машет рукой, – что нам, молодым, вино! Только в горле пощекотать. Давай водочки.

– Я не пью, – прикрывает ладонью стопку баба Маня. – ты же знаешь. Ты лучше матери своей налей. Она любит водочку. А я так, посидеть за компанию.

– Да что вы, мама, – говорит ей Муля, – вот и посидите за компанию!

– Выпейте, Мария Трофимовна, – просит Зина, – хоть поедите с аппетитом.

И баба Маня отнимает ладонь от своей стопки. Присутствие невесты и на бабу Маню действует возбуждающе.

Женщины выпивают водку, и у них начинается разговор, за которым я не успеваю следить, потому что в разговоре этом встречается много имен, которых я не знаю. Какие-то Вани, Пети, Маши – старые знакомые Мули, Зины, бабы Мани, участники каких-то физкультурных кружков, ученики школ, в которых учились Муля и Зина, мальчики, которые ухаживали за ними, парни, к которым они бегали на свидание. Оказывается, Зинин муж был приятелем Мулиного Николая, только погиб он не в сорок четвертом году, как Николай, а в самом начале войны. Сгорел на истребителе, защищая Киев. И любовь у Зины была еще короче, чем у Мули. В сороковом году свадьба, в сорок первом похоронная. И детей у нее нет и не было. И ничего нет в память о погибшем муже, даже фотографии. Даже с фотографией как-то не успелось. И родственников у нее после войны не осталось. Так одна и живет. Зарабатывает неплохо – работает в каком-то вредном цехе, – все у нее есть, а живет одна. И замуж ей хочется выйти не просто так, а за вдовца с детьми. Чтобы обязательно дети у него были. Своих у нее уже, наверно, не будет, стара, а за детьми поухаживать очень хочется. Вот Муля и решила ее сосватать своему однорукому брату Мите, когда у того умерла жена.

Сватовство это ни к чему не привело, хотя Муля была энергична, и молодые вначале понравились друг другу. Митя с сыном приезжал в город, Зина побывала у него в поселке, а потом переписывалась с ним, посылала ему свои фотографии, ждала, пока Митя отремонтирует хату и скажет свое последнее слово. Но однажды Митя написал Муле, что Зина ему по душе, однако нашел он себе молодую и хочет последние годы пожить с молодой. Свадьба расстроилась, Муля хотела спешно ехать к Мите, усовестить его. Написала ему сердитое письмо, но не отослала, Зина ее отговорила.

– В невестах была, и то хорошо, – сказала она. – Пусть человек живет, как хочет. Давай лучше выпьем, подружка.

И они еще несколько раз собирались, чтобы выпить вина и водочки. Дурачились, кричали свадебное: «Горько!» Вспоминали военные годы, годы своей страшной, неудавшейся молодости, но вспоминали не страшное, а смешное, или, вернее, вспоминали страшное так, чтобы оно казалось смешным, а Муля, как всегда, хвасталась, хвалила себя и требовала подтверждения и у бабы Мани, и у Зины.

– Скажите, мама, – говорила она бабе Мане, – другой такой работницы нет. Помните, во время менки за шесть верст мешки таскала? Ночью иду, сама себя пугаю, трава шелестит, кукуруза совхозная в темноте под ветром трещит, а я бегу, волочу и каждый день опять навстречу страху.

– Правда, правда, – кивала баба Маня. – Работница ты – другой такой поискать. Себя ты не жалеешь. Это я всегда говорила. И сейчас скажу. Не ужились мы с тобой, характер у тебя тяжелый. И Николаю с тобой было тяжело, ела ты его, зудила, а работница ты хорошая.

– Скажете, мама! Жизни не было! Может, скажете, не любил он меня?

– Зачем же? Любил. Это в книжках только такая любовь бывает, как он тебя любил.

Баба Маня правдива правдивостью старости, которой нечего скрывать, нечего бояться, и Муля удовлетворенно кивает. Тяжелый характер она не считает недостатком. Она опять рассказывает, как ей приходилось, как она добывала продукты детям, как работала на восстановлении школы, которую разрушили немцы. Я слушаю и не могу назвать ее рассказы хвастовством, и никто, я вижу, не считает Мулю хвастуньей. Ни одна женщина, сидящая за столом. Все они слушают ее с сочувствием: и баба Маня, и Зина, и Нинка, и Ира. Лишь глухая бабка, Мулина мать, вопросительно смотрит на всех замаслившимися от водки глазами, старается понять, о чем разговор, и бессмысленно дробненько смеется, когда смеются все.

– Кушайте, кушайте, – говорит она тогда.

Глухая бабка любит гостей. Когда приходят гости – появляется водочка или вино, а глухая бабка любит выпить. Муля опять рассказывает что-то воинственное о себе, и я вдруг понимаю, почему ее так тянет к этим рассказам и почему с таким сочувствием ее слушают и баба Маня, и Нинка, и Зина. Ведь так тяжело и ей и им было и так много сил потребовалось, чтобы это тяжелое победить, так неужели же об этом не узнают люди?

И Муля рассказывает, как после немцев она расчищала сад. Немцы ушли, оставив половину деревьев поломанными, въезжали бронетранспортерами с улицы прямо в сад, ломая забор, ломая деревья. Маскировались от наших самолетов. Десятка полтора пней после них осталось, и все пни Муля выкорчевала сама:

– Рублю его топором, подсекаю корня, аж зайдусь от злости. Целый день на работе, а вечером в саду. Дергаю, дергаю проклятого, а он не поддается, я его опять рубить. Упаду на него без сил, а все-таки выкорчую..

В Мулиных рассказах вообще много такого: «...Похватала я мешки, покидала в машину со злости, а домой приехала, хочу поднять мешок и не могу. Сил не хватает. Как, думаю, я его могла поднять? Скажи ты, злость какая».

И очень она любит рассказывать ужасные истории, свидетелем которых была. Раз пять она уже рассказывала мне, как в самый первый день, когда в город вошли немцы, сгорела женщина, мать троих детей. В школьном дворе стояли брошенные нашими бочки с бензином. Бабы растаскивали бензин, и на одной из женщин почему-то загорелось платье – искра, что ли, на него с соседнего пожара попала. А другая баба, стоявшая рядом, растерялась и, желая потушить огонь, плеснула на женщину из своего ведра. А в ведре-то был бензин... Муж у той женщины был дома, в армию его из-за болезни сердца не взяли. Остался он один с тремя малолетними детьми. Голодали они, а сердечнику этому труднее всего было воду за три километра из реки носить. Тащит он, задыхается, одно ведро, а на дороге его немец остановит, отберет воду да еще канистру даст – тащи еще. Потом этот человек уехал с бабами на менку и так и не возвратился. Пропал где-то. За детьми его соседи смотрели, подкармливали, а когда пришли наши, отдали их в детский дом. Младший умер, а два старших брата выжили.

– Да ты их часто видишь, – говорит мне Муля. – Сироты. Они на той стороне улицы живут. Один невысокий в очках, а второй повыше. Дом сейчас себе строят. У них после отца флигель небольшой остался, бабка в нем жила. Они вышли из детского дома, на работу поступили, а теперь решили строиться...

И я вдруг вспоминаю – в самом деле, я часто вижу этих сирот, и даже знаю, что их на улице зовут Сиротами, и потрясаюсь тому, что вся эта ужасная история произошла с людьми, которых я знаю в лицо, с которыми езжу в трамвае.

А Муля вспоминает, как они с Зиной – Зина тогда тоже на нашей улице жила – проучили участкового милиционера. Участкового этого женщины не любили, он не воевал, от фронта его освободили по какой-то болезни. Но медицинская комиссия, которая давала ему освобождение, не видела то, что видели бабы – как участковый управлялся с лопатой у себя на огороде, какие мешки таскал.

– Он же, Витя, жил на соседней улице. Его сына весь район знал. Хулиган, разбойник. Из тюрьмы не вылезал. И папаша такой же, придет, раскричится: на улице не прибрано, трава на дороге не выволота. А когда убирать, если на работе не просыхаешь? А ему все равно.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
И Муля рассказывает, как они с Зиной выкрали у участкового сумку, порвали протоколы, хранившиеся в ней, и набили в сумку мусора.

Муля с Зиной хохочут, и баба Маня, глядя на них, начинает смеяться. А глухая бабка вопросительно смотрит на всех и умильно предлагает:

– Кушайте, кушайте.

– Вы ж уполномоченной квартала были, – говорю я Муле.

– Вот потому и выкрали у него сумку. А иначе как бы мы ее у него украли? Он и подозревал нас, все принохивался, присматривался, а доказать ничего не мог.

И еще Муля рассказывает, как немцы расстреляли двенадцать красноармейцев, прятавшихся в кукурузе, которая начиналась тогда сразу за домом бабы Мани. Это сейчас еще несколько кварталов пристроилось, так что Манин дом оказался в центре района, а тогда прямо за ним начиналась кукуруза. Когда наши отступили, красноармейцы спрятались в кукурузе, а какая-то сволочь навела на них немцев. Немцы и расстреляли всех. Мулина соседка – на улице ее считали гулящей и немного чокнутой – видела, как их убивали. Прибежала к Муле, плакала, билась, проклинала немцев, звала Мулю пойти посмотреть, есть ли там живые, похоронить мертвых.

И опять Муля говорит мне:

– Да ты ее знаешь, Витя. – И Муля называет дом, в котором жила эта женщина, – Армянка. Одна живет с сыном. Все меня спрашивает: «Ну как у тебя Ирка? Хорошо живет? Толстая? А Нинка? Толстая? Хорошо живет? А Женька худой? У меня сын худой». Вчера в трамвае пристала, кричит: «Ирка толстая? Женька худой?»

И я опять поражаюсь тому, что знаю эту женщину, знаю дом, в котором она живет.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Так встречались Муля и ее подруга Зина, пока не настала Мулина очередь ходить в невестах. Мулин жених появился у нас однажды в воскресенье. Часов в двенадцать дня постучал с улицы в окошко какой-то человек, спросил, здесь ли живет Анна Стефановна, узнал, что ее нет дома, сказал: «Я зайду позже», – и поспешно ушел. Часа через полтора прибежала с базара Муля. Как всегда в воскресенье, она встала на рассвете, возилась во дворе, жгла осенний мусор, успела кое-что постирать для глухой бабки и Ирки и убежала на базар. Базар для Мули – каждый раз событие. Возвращается она взбудораженная, восхищенная собственной изворотливостью и победами над торговками. Купила необыкновенно дешевые почки и печень, простояла в очереди лишних двадцать минут, но зато взяла гречневой сечки по государственной цене, и теперь дома еды на целую неделю, и деньги есть на хлеб и молоко. Возвратившаяся с базара Муля становится временно опасной для домашних. Не то чтобы она требовала признания, но так ей ярко представляется, как она и вчера, и сегодня утром волновалась, что денег до полочки не хватит, как потом увидела эти почки и печень, обильно покрытые жиром, как прикинула, что дома есть картошка и соленья к соусу из почек и мука для пирожков с печенкой, что все это ей надо кому-то рассказать. А тут глухая бабка, которую не заставишь есть почки и печень – бабка младенчески любит сладкое, и Ирка, которой все равно. Ехала в трамвае Муля торжествующая, от трамвайной остановки спешила домой, а пришла и почувствовала, что спешить было некуда. Так было уже не раз, но привыкнуть к этому Муля никак не может. И когда Ирка, заглянув в кошелку, равнодушно спросила: «Печень? Пирожки будешь жарить?» – Муля, раздраженно рявкнув на бабку: «Ходишь тут», – сказала Ирке: – Ехала в трамвае с Галиной Петровной, той, что на Олимпиадовке живет. Спрашиваю: «На базар?» – «Нет, говорит, гулять». Пальто на ней коричневое, новое. Скажи ты, пенсию получает за мужа, кладет себе на книжку, а кормит ее сын. Невестку держит так, что та не пикнет. Внука не нянчит. В детсад определила. В воскресенье оденется и шасть из дому – воскресенье мой день! Вот как люди умеют!

– Муля, – говорит Ирка, – шла бы и ты гулять.

Ирка, почти не наклоняясь – наклониться мешает живот, – медленно подметает в коридорчике. Муля вспыхивает, и, чтобы предотвратить скандал, я спрашиваю:

– Муля, что это у вас в кошелке? Ого!

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
И Муля тотчас забывает про Ирку. Она раскрывает кошелку и торжественно спрашивает:

– Пирожки с печенкой любишь? На нутряном жиру? С луком?

Муля мгновенно добреет, и я выслушиваю рассказ о том, что она думала, когда шла на базар, что она подумала, когда увидела эту печенку, как прикинула, что дома есть еще картошка, и соленья, и банка внутреннего жиру.

– Муля, – говорю я, – а к вам тут приходили.

– Кто? – спрашивает Муля.

– Мужчина. Сказал, что позже зайдет.

– Кто бы это мог быть? – заволновалась Муля. – Митю ты знаешь?

– Вашего однорукого брата? Еще бы!

– Да? – Муля посмотрела на меня с сомнением. Все неизвестное вызывало у нее тревогу. Она стала прикидывать: – Не Митя? Может, Вася из Риги? Ирка, ты видела?

– Не Вася, не беспокойся, – сказала Ирка, – и не Петя из Риги, и не дядя Григорий из Борисоглебска.

– Ты видела?

– Видела.

– Какой он?

– Не знаю.

– Витя, какой он?

– Не знаю, Муля. Лет пятидесяти. В фуражке...

С полчаса еще Муля волновалась, а потом завопилась у печки, забегалась и забыла.

Мужчина пришел под вечер. Я пригласил его: «Анна Стефановна дома», – но он опять странно смутился и попросил:

– Пусть выйдет.

При этом он как-то очень быстро отошел от калитки к середине улицы. Так отходили в сторонку, дожидаясь Нинки, ее наиболее скромные ухажеры.

– Выйдите, Муля, – сказал я, возвращаясь в хату, – опять этот к вам.

– Так пусть бы зашел.

– Не хочет.

Муля вытерла тряпкой руки и выскочила за дверь. Прошло минут пятнадцать, и я забыл о Мулином госте, как вдруг оба вошли в комнату. Было в этом «вдруг» что-то неожиданное для обоих – такие у них были лица. Муля, хохотнув, сказала:

– Вот здесь я живу. Комнаты наши. Печку эту я сама мазала.

А гость, едва переступив порог, слепо сказал в пространство:

– Здравствуйте.

– Посидите, – сказала Муля, – я стираю. Хозяйство!

Мне и Ирке она сказала:

– Гость к нам, – и опять хохотнула.

Гостью указала на нас:

– Дочка. Зять. Еще у меня сын в армии – и все семейство!

– Женя-балбес, – серьезно подтвердила Ирка.

Муля еще раз смущенно хохотнула и ушла в нашу новую кухню-тамбур. А гость сел на табурет. Сел он, неудобно подобрав ноги. Он был невысок, но все равно сидеть, поставив ноги на нижнюю перекладину табурета, ему было неудобно. Своим смущением он заразил и меня – Муля все не появлялась, а говорить нам с ним было не о чем.

Наконец Муля явилась. Сняла с вешалки пальто, накинула платок, кивнула гостю:

– Пошли.

Он быстренько поднялся, сказал нам вежливо:

– До свиданья.

Муля пропустила его вперед, вышла вслед за ним, но потом вернулась, приоткрыла дверь, объявила: «Жених!» – и убежала.

Вернулась она скоро – видно, недалеко провожала своего поклонника.

– Жених! – ошеломленно сказала она. – Полковник-отставник. Или майор. Не знаю. Вы, говорит, одна, и я один. Вы, говорит, меня помните? Я Харченко. – Муля засмеялась. – А черт его знает, что за Харченко! Говорит, жил до войны на соседней улице. Нравилась я ему еще тогда. Я, говорит, все про вас узнал, люди мне рассказали. Живете вы трудно, и в семье у вас не очень хорошо. А у меня дом, виноградник, приходите, будете хозяйкой. Договорились: в ту субботу зайдет за мной, поведет меня к себе в гости, познакомит с сыном... Брошу я вас, ну вас совсем! Говорит, я непьющий, спокойный. Пить здоровье не позволяет. Курить два года тому назад бросил. Есть военные ранения, но здоровье еще ничего. Сын через год институт кончает и уезжает из города. «Не стану, говорит, скрывать. Сын не то чтобы против, а не очень рад. Но понимает. Вмешиваться не будет».

Муля стояла у двери не раздеваясь, будто собиралась еще куда-то бежать.

– Так он полковник или майор? – спросила Ирка. – Как же ты не узнала?

– Муля, – сказал я, – теперь вам надо обязательно шестимесячную завивку.

– И зубы, – сказала Ирка. – Золотые. Муля, помнишь блатную песенку, которую пел Женька: «Одна нога у ней была короче, другая деревянная была...»?

Муля засмеялась:

– Невеста!

– Вот ты ему покажешь, – сказала Ирка. – Не возрадуется!

– Ага! – сквозь смех согласилось Муля.

– Он же маленький, чуть выше вас, – неизвестно почему стал хохотать и я.

– Коротышка!

– Майор-полковник!

– Лучше бы лейтенант!

– Сержант!

– Как Нинкин Паша.

– А в каком звании Нинкин Паша?

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru

– А черт его знает! Алкоголик.

– Вот, Муля, у нас тут без тебя тихо будет!

– Еще поплачешь без матери.

– «Восплачешь и возрыдаешь» говорит, Муля, твоя мать, а она каждый день читает эту книгу. – Ирка показала на библию в коричневой обложке.

Так и не раздевшись, Муля убежала к бабке Мане, и через несколько минут из-за стены донесся приглушенный Нинкин хохот, радостные всхлипывания.

Потом женщины ввалились на нашу половину, смеялись, дразнили Мулю. Муля тоже смеялась, отвечала на шутки, но иногда всерьез прикидывала:

– Дом, говорит, у него большой, четырехкомнатный. Большая веранда. Застекленная.

– Летом чай будете пить, – вставляла Ирка.

– Ага, – уже не замечая шутки, кивала Муля. – Дом кирпичный. Я хоть от этих подмазок избавлюсь. Шутка – каждый год вот эту хату мажу. Да белю. А кирпичные стены ни подмазывать, ни белить.

– Ты же не удержишься, все равно себе работу найдешь. Начнешь все заново штукатурировать.

Муля улыбается:

– Ага, не удержусь.

– Жаль мне, Муля, – говорит Ирка, – этого старичка полковника. Не дашь ты ему умереть собственной смертью. Не знает старик, на что идет. Меня так и подмывает раскрыть ему глаза.

Но Мулю уже не сбить.

– Говорит, виноградник большой. Сорт хороший. Всегда до нового года свежий виноград, свое вино, маринованный виноград. Каждый год продает на базаре на несколько тысяч рублей.

– Будешь торговать на базаре? – спрашивает Ирка.

– А что ж? Буду. Торговала же в войну.

– Пусть торгует, – вступается Нинка, – что тут такого!

– А живет знаешь где? На Дачном, на полковничьем участке, где все отставники построились. Улица чистая, зеленая и от нас близко. Я утром собралась, десять минут – и дома. У вас тут приборала, за ребенком присмотрела. Женька вернется, тоже женится, дети пойдут, я и помогу... Он мне говорит: «Договоримся сразу, ни мои, ни ваши дети к нам не касаются. Они взрослые, пусть строят жизнь, как хотят. В праздник всем собраться – хорошо. А так пусть живут сами по себе, а мы будем сами по себе. Нам еще тоже счастья хочется». А я ему сразу сказала: «Вы как хотите, а я своих детей не брошу». Правильно? – Муля обернулась к Нинке и бабе Мане, хотя должна была бы обратиться к Ирке.

– Женю ты не бросишь, – сказала Ирка, – а меня, пожалуйста, бросай. Можешь не беспокоиться.

– Это ты только пыжишься, – сказала Муля, и черные глаза ее вспыхнули. – Родишь – не так запоешь. И всю жизнь с ними так, – сказала Муля Мане, – что ни делай, благодарности не дождешься. Хату этой красавице перестраивай, пеленки шей. Я уж и приданое заготовила, ванночку купила, тазик...

– Носовые платки, детскую присыпку, – сказала Ирка.

– Да, и детскую присыпку, а она только носом крутит: «Можешь меня, Муля, бросать. Я в тебе не нуждаюсь».

Потом все вместе вспоминали, кто же он такой этот жених, если он до войны жил на соседней улице и хорошо знает Мулю. Вспоминали, вспоминали, так и не вспомнили.

– Чего же ты нам его не показала? – сказала баба Маня Муле. – Может, вместе и разобрались, кто он такой.

– Побоялась, чтобы я не увела ее старичка, – сказала Нинка.

Муля охотно улыбнулась.

Назавтра Муля как бы отстранилась от нас. Она шушукалась лишь с Нинкой и еще с нашей соседкой по улице, вдовой Верой. Вера работает медсестрой в районном роддоме. Она очень чистоплотна: дома у нее, говорит Муля, все подлизано, начищено. И дети у нее не по-уличному степенно аккуратны. Года два тому назад – тогда еще жив был Верин муж – Муля попросила ее сделать пенициллиновый укол заболевшей Ирке. Вера пришла к нам с большой железной коробкой, в которой она уже у себя прокипятила шприц и иглу, сняла у порога туфли, поискала глазами какие-нибудь шлепанцы и, так как шлепанцев у нас не оказалось, пошла в носках через комнату.

– Да ты что, – закричала на нее Муля. – У меня не прибрано. Носки испачкаешь.

– Грязь на дворе, – сказала Вера. – Не буду же я вам грязь носить.

Поверх чулок у нее были надеты толстые домотканые носки из неочищенной серой шерсти. И в том, как Вера сняла у порога свои туфли, и в этих домотканых носках, которые не купишь ни в одном магазине, было столько домовитости и чистоплотности, что пристыженными почувствовали себя не только я и Ирка, но и Муля, которая хвастается своим умением поддерживать в доме чистоту. И коробка, в которой Вера кипятила свой шприц и иголки, хоть и потемнела от многочисленных кипячений, а тоже была опрятной и добротной. Раскрывая коробку, Вера сказала:

– Я уже кипятила. Ничего? У меня печка горит: думаю, может у них сейчас огня нету. Но я могу перекипятить. Как хочешь.

И она на минуту приостановилась, вопросительно глядя па Ирку.

– Что ты! – сказала Ирка.

Потом они немного поговорили:

– А детям своим ты сама делаешь уколы? – спросила Ирка.

– Девочка у меня не болеет, ее незачем колоть. А сын в отца, хворый, его приходилось.

– жалко?

– Жалко, что болеет, а колоть чего ж жалеть?

Уходя, Вера упаковала свою коробочку, собрала, несмотря на Мулины протесты, кусочки ваты с осколками ампул: «Все равно на улицу иду, чего им тут лежать?»

Такой мне запомнилась Вера еще до того, как умер ее муж. После того, как он умер, Веру на улице стали жалеть, а потом осуждать. Но скоро перестали и жалеть и осуждать – привыкли, что Вера никак не подберет себе мужа, что у нее каждый месяц новый муж, что она с ними пьет, а иногда и дерется.

– Я ей говорила, – возбужденно тарашась, рассказывала Нинка. – «Ты их не допускай сразу к себе. Что это, только познакомилась – и сразу ведешь». А она мне: «А чего я буду кривляться? Что он – маленький, не понимает? Просто мужики теперь такие. Сорвал и ушел. Ни одного порядочного мужика».

С тех пор, как Нинка проводила своего Пашу в армию, она частенько забегала к Вере. Одно время они ходили в кино, на танцы, но потом Нинка все-таки остепенилась, взяла себя в руки. И вот теперь, когда у Мули появился жених, она тоже часто стала бывать у Веры. Куда-то они ходили вместе, о чем-то таинственно

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
совещались. Должно быть, Муля тоже верила в ее опытность.

К субботе Муля говорила, то и дело неестественно приподнимая верхнюю губу, слова у нее получались с лихим металлическим присвистом, и Муля наслаждалась этим металлическим присвистом – она наконец-то вставила зубы. Шестимесячную завивку Муля тоже сделала. Седые завитые кудри, металлическое сияние во рту, разговор с залихватским присвистом отдалил Мулю от нас с Ирккой; в черных Мулиных глазах появилось что-то агрессивное. Она меньше стала возиться дома, вечерами подолгу засиживалась у бабы Мани – у бабы Мани была швейная машина, Муля шила себе новое платье.

Над Мулей подшучивали, называли ее «красоткой», спрашивали, каким браком она собирается сочетаться – церковным или гражданским, готов ли ее свадебный наряд. Баба Маня сдерживала Нинку и Ирку.

– Шутка дело, – говорила она о Муле, – в тридцать четыре года вдова. Ну-ка! Видишь, как сейчас Верка бесится.

Маня не ревновала. И жизнь и смерть, с тех пор как умер Николай, унесли так много, что ревновать не имело смысла.

В субботу Мулин отставник зашел за ней. Он опять робко постучал с улицы в окно, опять не захотел входить в комнаты, ждал Мулю где-то на середине улицы. Впрочем, Муля и не приглашала его в дом. Ушли они засветло, вернулась Муля поздно.

– Ну как? – спросила Ирка.

– Ничего, – с вызовом ответила Муля.

– Дом кирпичный?

– Кирпичный.

– Стеклянная веранда есть?

– Есть.

– Не обманул, значит, тебя.

– Не обманул.

И Муля принялась рассказывать сама. Дом прекрасный, кирпичный, новый, сухой. Полы крашенные, но такие гладкие, что лучше паркетных. Мыть их, наверно, легко. Двор большой, широкий, винограда целая плантация. И дома рядом большие, улица приятная, весной и летом зелени будет полно. Сын у отставника серьезный, в очках, без пяти минут инженер, не то что Женька-балбес, поздоровался вежливо и ушел: «Папа, мне нужно в город».

– Я как вошла, – сказала Муля, – посмотрела, говорю: «Шкаф я поставлю сюда, этажерка будет стоять здесь, трафарет надо менять...»

– Показала себя?

– Ага.

– А что вы с ним делали, когда остались вдвоем? – спросила Ирка.

– Чай пили, – целомудренно не замечая подвоха, ответила Муля. – А потом в театр пошли.

– Муля? Ты была в театре! За сколько лет?

– И не помню за сколько. Нет, помню. Три года назад в клубе у нас что-то такое представляли.

– Так то самодеятельность.

– Ага. Самодеятельность. Да мне все равно – что самодеятельность, что не

– А в театре понравилось?

– Народу много.

– А когда ж у вас свадьба?

– Он торопит, – сказала Муля, и от металлических зубов ее пошло сияние. – А я за то, чтобы подождать. Я ему говорю: «Дочке скоро рожать; надо кому-то маленького нянчить».

– Брось, брось, Муля. Нечего на меня сваливать. Я тут ни при чем.

Муля не ответила.

– А когда ж новое свидание?

– В субботу. Он хотел пораньше, а я говорю: «Некогда. Я работаю».

Всю неделю Муля агрессивно присвистывала своими стальными зубами. Рот ее излучал металлическое сияние. Металлическое сияние шло и от седых шестимесячных кудрей. Но в остальном Муля вела себя, как обычно. Вставала на рассвете, готовила завтрак, будила бабу Маню, чертыхалась оттого, что кто-то не поставил кастрюлю на место, что куда-то запропастилось постное масло, убегала на работу, разбудив Ирку и меня. Возвратившись с работы, подметала, мыла полы, стирала, готовила, а поздно вечером подсчитывала свой фабричный заработок – наклеивала талоны на большие листы бумаги. И в субботу у Мули все шло, как всегда. Вернувшись с работы, она разогналась на большую стирку – наносила воды, поставила на огонь выварку, вытщила узел грязного белья, а когда Ирка спросила: «А как же твой генерал?» – Мулиного отставника Ирка называла то полковником, то маршалом, то сержантом, – Муля неожиданно махнула рукой:

– Да ну его!

Все-таки, когда отставник постучал в окно, Муля, минуту посомневавшись, отерла с рук мыльную пену и вышла открывать дверь. Потом она переодевалась, причесывалась, а отставник ждал ее на улице. И тут мне почему-то показалось, что ничего у Мули с отставником не будет. Просто невозможно, чтобы у Мули с ним что-то было.

– Знаешь, – сказал я Ирке, – по-моему, ничего у них не будет.

– Я тоже так думаю, – сказала Ирка. – Ей и раньше предлагали выйти замуж, а она не выходила.

Но все-таки некоторое время я еще сомневался. Еще субботы три Муля ходила на свидание к отставнику, а потом будто разом сняла с себя шестимесячную завивку и погасила металлический блеск во рту. С Верой дружба у нее быстро разладилась. Нам Муля ничего не объяснила. Мане она сказала неопределенно:

– Если бы раньше человек нашелся, а сейчас как была у меня семья, так пусть и остается.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Во вторник предпоследней недели декабря я шел в редакцию на вечернее дежурство. Открыл калитку и увидел на углу нашего дома трех парней. Голоса их я слышал еще в доме – парни ссорились, – и я собирался сказать им, чтобы они шли ссориться в другое место. Двоих из парней я знал в лицо, они жили на нашей улице. С одним из них, высоким, грузноватым, одетым в пижамные штаны и в стеганку, накиннутую поверх пижамной куртки, я даже иногда здоровался – он был приятелем Женьки, звали его Валерка. Когда я вышел, двое парней напирали на Валерку должно быть, все они только что были у него дома, выпили и теперь вышли на улицу выяснять отношения. Однако, когда я поравнялся с парнями, они уже называли друг друга «Витёк», «Валера» и, дружески соединившись, двинулись по улице вверх к ближайшему нашему магазину: у этого магазина всегда начинались и заканчивались такие ссоры. Немного проследив за парнями и решив, что теперь уже всё в порядке, что они не вернутся и не испугают беременную Ирку, я повернул от дома к трамваю,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
но на полдороге встретил дядю Васю, шофера такси, и он опять показал мне на парней:

– Смотри, что делают!

Я обернулся. Теперь против Валерки было четверо. Наверно, те двое встретили еще друзей, и ссора разгорелась с новой силой. Валерка стоял ко мне левым боком, но грузно нагнулся навстречу тем четверым, правая рука его, заканчивавшаяся чем-то блестящим, была выставлена перед животом, а те четверо шарахались от его руки, бежали по какому-то четко очерченному кругу, стараясь забежать Валерке за спину. Они пока не рисковали ступить внутрь этого круга, но так долго продолжаться не могло, я вспомнил, какими слепыми и глухими были лица парней и когда они ссорились, и даже когда они, дружески соединившись, шли в магазин и называли друг друга «Витёк», «Валера».

– Порежутся, проклятые, – сказал дядя Вася и, поискав что-то глазами вокруг себя, качнул палку в нашем заборе.

Но в это время Валерка попятился, повернулся спиной к своим противникам и грузно побежал. Он был в галошах на босу ногу, и, чтобы галоши не спадали, он бежал как будто на лыжах, не поднимая высоко ног, шоргая галошами по земле.

– Правильно, – сказал дядя Вася с облегчением, – уйди лучше от беды домой.

Четверо Валеркиных противников с облегченным и торжествующим ревом погнались за ним. А добежав до кучи строительного мусора у нашего дома, стали кидать вслед Валерке обломки кирпича. Мы с дядей Васей направились к ним, но вдруг дядя Вася прижал меня к забору. Все так же, словно на лыжах, Валерка выбежал из дому с охотничьим ружьем в руках. Еще не веря, что он может выстрелить, четверо задержались на мгновение, а потом трое бросились бежать – меня поразили их лица: смесь страха, смущения и какого-то отчаянного, пьяного веселья, – и лишь четвертый остался у кучи строительного мусора с обломками кирпича в руках. Он кинул свои бесполезные кирпичи навстречу Валерке, а тот выстрелил в него. Парень поднес руку к жалкой своей белой модной кепке, крикнул удивленно: «Попал!» – и осел на землю. Мы с дядей Васей кинулись к нему; парень лежал, уткнувшись лицом в битые кирпичи. Когда мы перевернули его на спину, внутри у него что-то перелилось с места на место.

Я побежал в школу звонить в «скорую помощь» и милицию, сообщить в редакцию, что не смогу прийти, а в это время кто-то остановил орудовский мотоцикл. И орудовец забрал Валерку вместе с ружьем. Валерка, переодевшись, ждал, пока его заберут. Минут через десять после этого явилась милицмейская машина с врачом. На улице уже было темно, и пока врач со своим помощником осматривал убитого, мотор машины работал – шофер прожектором освещал кучу строительного мусора, на которой лежал убитый. Если кто-то из толпы пытался что-нибудь посоветовать милицмейскому врачу, откуда-то из темноты, из машины, скрытой за светом прожектора, кричали на советовавшего:

– А ну, отойди! Отойди! Без тебя знают! И-ышь, умный какой!

Приехала «скорая помощь», в круг, освещенный прожектором, вошел врач. Санитар нес за ним металлический чемоданчик. В клубящемся свете милицмейского прожектора лица врача и санитара стали алюминиево-бледными. Забрав убитого, машины уехали, и на улице опять стало безлюдно и темно.

Я вернулся в дом. Ирка молча сидела на кровати, Муля возилась у печки.

– Сволочь! – выругался я, думая не только о Валерке, убившем парня в белой кепке, но обо всем, что произошло.

– А почему он, Витя, сволочь? – вдруг повернулась ко мне Муля. – А что, если бы ему камнем по голове? Их же четверо было! А он один. Правильно он сделал. Мне Валеркина жена говорит: «Вот, тетя Аня, все теперь будут жалеть убитого, а Валерку осуждать. А если бы они ему камнем в голову попали? Если бы ваш женька был дома, он бы заступился за Валерку...»

Меня раздражали то, что говорила Муля. Мне не хотелось выяснять, кто тут прав, кто виноват, – все происшедшее, казалось мне, выходило за те пределы, где ищут

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
правого и виноватого. Мне хотелось осуждать. Осуждать все – нравы, улицу, район. Не жаль ни того, кто убит, ни того, кто арестован. Жаль милиционеров, следователей, врачей, Ирку, себя, дядю Васю – всех, кого это дикое убийство затронуло и потрясло. Дичь какая-то! Я давно присматривался к пьяным ссорам на нашей улице, и вот темное прорвалось... Все это я выложил Муле. Она не поняла меня. Она и не должна была понять меня. Я исходил из того, что всего этого не должно быть, а она из того, что это было и есть. Она всю жизнь прожила на этой улице, знала Валерку, его мать и жену.

– Клавку жалко, – сказала Муля о Валеркиной жене. – Валерку посадят, а она с дитем останется. А Валерка всегда был спокойным. Женька выпьет – шальной делается, а Валерка, сколько бы ни выпил, – всегда спокойный.

Это уже была уступка мне. Муля переводила разговор с Валерки на Валеркину жену. Но мне не было жалко и Валеркину жену. Я видел, как она подходила к убитому, когда кучу строительного мусора освещал прожектор милицейской машины, – посмотрела и поспешила домой рассказывать, что видела. Ни жалости, ни раскаяния не было на ее лице. Она тоже готова была отстаивать своего Валерку во что бы то ни стало.

Опять у нашего дома остановилась машина. В дверь постучали – это был следователь из уголовного розыска. Опять началась суета: загудел мотор, включили прожектор. Следователь и его помощник щелкали фотоаппаратом, считали шаги от того места, где стоял Валерка с ружьем, до кучи строительного мусора, на которую упал убитый. Помощник следователя нашел пых, сделанный из газеты. Пых лежал около нашего забора. Все это казалось мне уже лишним смыслом. Я сказал следователю:

– Убийца-то уже арестован. Его милиционер сразу же забрал.

Я был еще слишком не искушен и не знал, как потом, на суде, будут важны эти подсчеты, фотографии, пых, как много о них будут говорить и обвинитель и адвокаты...

Следователь посмотрел на меня так, будто хотел сказать: «И-ышь, умный какой!» – но не сказал, а только махнул рукой – не мешайся ты тут. А через несколько минут спросил:

– Вы живете в этом доме? Я должен снять с вас опрос.

Мы вошли в комнату. За нами протиснулся милиционер, сопровождавший следователя, и парень-понятой, которого следователь привез с собой. Следователь закричал на парня:

– Чего дверь раскрыл? Холоду людям напускаешь! Мы пришли – ушли, а людям тут спать! А ну закрой дверь!

Парень попятился и исчез. Милиционер покраснел. Он сказал:

– Там какие-то пьяные ходят. Пристают: «А ты имеешь право здесь фотографировать?» Может, задержать?

Я спросил:

– Низенький, в кожаной куртке?

– Кажется, в кожаной, – сказал милиционер.

– Среди тех был один в кожаной куртке, – сказал я следователю, и он опять посмотрел на меня: «И-ышь какой!» – но тотчас же погасил глаза.

– Филимонов, – сказал он милиционеру, – если еще будут приставать, приведите их сюда.

– Может, я пойду с милиционером? – сказал я. – Я узнаю их.

Следователь не ответил. Он спросил:

– Милиционер убийцу забрал? И ружье унес? А кто убитого забрал – милиция или

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
«скорая помощь»?

– По-моему, милиция. Я слышал, как врач «скорой помощи» сказал: «Нам тут делать нечего».

Следователь покачал головой:

– Я покажу этому милиционеру! Сколько раз уже говорилось: пока не приедет следователь, все должно оставаться нетронутым!

Он еще долго сокрушался, грозил показать милиционеру, который забрал Валерку, и тем милиционерам или врачам «скорой помощи», которые увезли убитого, и наконец приготовился вести протокол. Тут я произнес фразу, которую заготовил давно:

– Я работник городской газеты и буду рад помочь следствию.

Произнес и почувствовал, как кисло, претенциозно и глуповато она прозвучала.

Следователь не сделался ни вежливее, ни доверчивее. То есть он был вежлив, но это была отпугивающая меня вежливость. Для кого-то эта вежливость обязательно оборачивалась грубостью.

– Закрой дверь, – кричал следователь на паренька-понятого, – людям тут спать!

Теперь он выговаривал милиционеру:

– Осторожней двигай стул, Филимонов. Можешь поломать людям стул. У них и так сегодня беспокойный день.

Я стал рассказывать, он записывал, иногда задавал вопросы и все поглядывал: «И-ышь какой!» если я отклонялся в сторону от заданного вопроса и что-то говорил от себя. Когда я сказал ему, что Валерка стоял, вытянув руку с ножом, а те четверо старались зайти ему со спины, вмешалась Муля. Она сказала:

– Витя, ты же плохо видишь. Ты же близорукий. От тебя до Валерки был почти квартал, ты же почти к трамвайной остановке подошел. Как же ты мог видеть, нож у Валерки в руках или не нож?

Я ошеломленно посмотрел на нее. В самом деле, я стоял далеко и своими глазами не видел ножа. Но Валеркина поза, но позы тех четверых, боявшихся вытянутой Валеркиной руки, – все это было слишком определенно, ошибиться тут было нельзя.

Следователь, заметив, что я замялся, спросил:

– Своими глазами видели нож?

– Своими глазами? Но... своими глазами, пожалуй, не видел.

– Говорить надо только о том, что видели своими глазами.

Потом следователь дал мне прочитать листы протокола, на которых огромными буквами было написано «вопрос», «ответ».

– Вы на ошибки не обращайте внимания, – сказал он, – я в спешке писал.

Я расписался на каждом листе по два раза – с этой и другой стороны, и следователь со своими помощниками уехал.

Едва он уехал, Муля, провожавшая его до двери, накинулась на меня:

– Зачем ты, Витя, сказал про нож? Тебе это надо? Пусть сами разбираются!

Я не ответил ей. Год тому назад умер мой отец. Он воевал в первую империалистическую, воевал в Великой Отечественной, был контужен, ранен. После войны тяжело болел. Он несколько раз бывал при смерти и все-таки каждый раз выкарабкивался. Я помню все больницы, в которых он лежал, врачей, которые ему делали операции, лечили его. И смерть его многих задела – и родственников и друзей. А тут что? Бессмысленная пьяная ссора, пустяковое самолюбие пустяковых

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
людей – и такое важное, человеческое, трагичное низведено до черт знает чего. И
ведь станет эта пакостная история легендой для некоторых мальчишек с нашей
улицы. И как те трое испугались и побежали, и как этот один не испугался и кинул
в Валерку кирпичи, и как Валерка не побоялся тюрьмы и выстрелил в этого.

У Ирки в вечерней школе есть такой паренек-недомерок лет семнадцати. Он уже два
года отсидел, на всех смотрит волком. Волчонком, вернее. Ирку презирает,
соучеников своих – а некоторым работягам, которые сидят с ним в классе, по
тридцать-сорок лет – тоже. Не пронять его ни Пушкиным, ни Лермонтовым: и Пушкин
и Лермонтов для него тоже что-то вроде ненавистных воспитателей. Однажды один из
старших в классе сказал ему: «Что ж это ты людей-то не уважаешь?» Паренек
ответил: «Это вы люди? С вами что хочешь сделай – вы не люди. Кто из вас на
смерть пойдет? А я видел людей, которые на смерть шли!» Эти люди – воры.

И еще я подумал, что Мулин сын Женька провалился на экзаменах в летное училище
не только потому, что был ленив, как бывают ленивы маменькины сынки. Тут все
гораздо сложнее – Женька был ленив, потому что уличный неписанный кодекс был для
него самым главным среди всех других моральных кодексов.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Чтобы не мешать Ирке, чтобы не толкнуть ее случайно во сне, я лег спать на
раскладушке. Ночью меня разбудила Муля.

– Витя, – сказала она, – вставай, у Ирки началось. Вставай, надо идти за «скорой
помощью».

Я вскочил. Свет в комнате уже был зажжен. Ирка молча сидела на кровати. Сквозь
сонную одурь мне показалось, что ничего еще не произошло, что Муля, как всегда,
поторопилась, и я опять сел на свою раскладушку.

Ирка сказал, извиняясь:

– Не хотела вас будить, думала, что еще не началось. Думала, что просто
переволновалась из-за вчерашнего.

Она смотрела на меня, и я сказал:

– Сейчас, сейчас!

Она кивнула с запозданием, и я увидел, что смотрит она не на меня. Тогда мне
стало не по себе, сонная одурь мгновенно прошла.

– Вот ты, дура, – сказал я, – еще деликатничаешь. Надо было давно разбудить.
Чего ты деликатничала?

Ирка опять кивнула с запозданием и ничего не ответила. Я понял: она ждет.
Прислушивается к себе и ждет. И что бы я ей ни сказал сейчас, она вот так же
молча кивнет и будет ждать. Она, наверно, очень смелый человек; случись со мной
что-нибудь столь же опасное, я бы давно взвыл, а она деликатничает. Потом я
взглянул на Иркино спокойное, припухшее лицо, увидел, как она неподвижно сидит,
натянув на колени одеяло, как нехорошо она выглядит в этом ночном непривычном
электрическом свете, и понял, что она очень боится, что она тоже чувствует, как
нехорош этот непривычный ночной электрический свет, и сдерживается изо всех сил.
А я так мало могу сделать для нее – всего лишь сбегать за «скорой помощью».

– Я побежал, – сказал я ей.

Она молча кивнула, и я выскочил на улицу. Вначале я побежал к школе, где был
телефон, но через несколько шагов решил, что будет вернее, если я сам сбегать в
роддом и приведу «скорую помощь». Шофер может заблудиться или промедлить, а я
покажу ему дорогу и, если надо, потороплю. Я бежал по темным улицам – до роддома
было кварталов пять – и совсем не думал о ребенке, который должен у меня
родиться, хотя последние полгода мы только и делали, что готовились его
встретить: перестраивали для него дом, покупали ему приданое, приобретали
специальную литературу, – я думал об Ирке, о том, что она тяжело и опасно больна
и что ей надо немедленно помочь. В роддоме женщине в белом халате, вышедшей на
мой звонок, я сказал:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Нужна «скорая помощь».

– Далеко ваша роженица? – спросила женщина. – Прийти сама не может?

– Далеко. Пять кварталов, – сказал я задыхаясь.

– А «скорая помощь» не здесь, – сказала женщина. – За «скорой помощью» вам надо идти в районную больницу.

Я уже и сам с испугом заметил, что во дворе роддома нет гаража, нет на грязи и на снегу автомобильных следов. До районной больницы было еще кварталов пять, и снова я бежал по темным улицам.

Подъезд районной больницы сравнительно ярко освещали фонари, и я еще издали заметил две машины. Мне казалось, что я слишком медленно бегу, что я не успею и машины уйдут по другим вызовам. К больнице я прибежал совсем запыхавшимся, остановил первую, уже было тронувшуюся с места «скорую помощь», назвал улицу, номер нашего дома, хотел сесть рядом с шофером, чтобы показать дорогу, но меня посадили назад, в кузов, туда, где сидел санитар, где рядом со скамеечками были укреплены длинные полотняные носилки, – шофер сам прекрасно знал дорогу. «Скорую помощь» трясло на ухабах наших немощеных улиц, в животе у меня подрагивало, я держался за отполированную ручку и думал, что так же будет трясти и Ирку.

Дома нас уже ждали. На улице дежурила Муля. Увидев машину, она тотчас вошла в дом и вывела оттуда уже одетую и приготовленную Ирку. Ирка с трудом влезла по лесенке в кузов.

– Пожалуйста, везите тише, – попросил я шофера.

– Счастливо! – крикнула Муля. – Пальто застегни. Горло, горло закрой. Витя, пусть она закроет горло. Смотри, чтобы ехали тише.

Машина уже тронулась, а Муля еще что-то кричала, размахивала руками. Я сидел напротив Ирки и говорил:

– Потерпи, потерпи немного. Сейчас приедем, тут недалеко. Здесь лучший в городе роддом. Врачи прекрасные.

Ирка молча кивала. Она не вникала в то, что я говорил, слушать меня ей было трудно – я это видел, но не мог остановиться и все уговаривал ее потерпеть. И она молча кивала мне.

В приемной роддома я сидел, пока Ирку принимали и переодевали. В маленькой приемной висели какие-то медицинские плакаты и диаграммы, и пахло здесь странно и непривычно – я не знал еще, что это запах детских пеленок, детской молочной рвоты, молока, киселиков, кашек – сложный сладковатый запах, который появляется всюду, где есть грудные дети.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На следующий день в приемной роддома я прочитал на доске объявлений написанную мелом свою фамилию. Доска была старой, черная краска на ней истерлась, мел, которым писали вчера, еще остался – в общем, это была некрасивая, старая, грязная доска, и все же, взглянув на нее, я вздрогнул. Чьей-то торопливой рукой на доске была написана моя фамилия. Я осторожно посмотрел правее – против фамилии стояло коротенькое слово «сын». Еще дальше, в графе «вес», было написано: «3400». Я посмотрел выше и ниже – в один день с моим сыном водилось четыре девочки и три мальчика, самая тяжелая новорожденная весила 4100, самый легкий – 2900. Я не то чтобы обрадовался – мне стало легче: со случайностями было покончено – у меня сын. Я дождался, пока в приемную вышла сестра, спросил ее, как здоровье Ирки. Ирка чувствовала себя хорошо, и мне стало еще легче.

– Мальчик у вас хороший, – сказала сестра. – На отца похож.

Сестра была Мулиной знакомой. Она дежурила, когда Ирка родила.

– Тяжело все это было? – спросил я.

– Да что там, – сказала сестра, как будто снимая с меня какую-то вину, – что уже

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
легко – тяжело! Как у всех.

– А все-таки?

– Идите-идите, да не напейтесь больно на радостях, – махнула на меня рукой сестра. И она улыбнулась, извиняя мне и то, что Ирке было тяжело, и то, что я напьюсь, пока Ирка лежит в больнице, и то, что, по ее мнению, мне не терпится куда-то побыстрее бежать и напиться.

– Когда Ирке можно будет что-нибудь передать?

Я все время спрашивал только об Ирке и думал только об Ирке. К тому, что у меня сын и что надо справиться о его здоровье, я еще не привык. И вообще я еще никак не думал о сыне. Просто на старой грязной доске роддомовских объявлений мелом было записано, что судьба моя отныне изменилась.

– Идите-идите, – еще раз сказала сестра. – Анна Стефановна сегодня обязательно зайдет, я ей все и скажу. Идите-идите. – И она еще раз улыбнулась, извиняя мне и мою наивность, и мою радость, и мое желание во что бы то ни стало поскорее напиться, и то, что ради меня ей придется нарушить кое-какие больничные правила. – Я понимаю, – сказала она, – папе не терпится увидеть сына. Сегодня еще нельзя. Завтра я не дежурю, а послезавтра, если все будет благополучно, поднесу его к окошку. Может, и Ира к тому времени сумеет подойти к окну, обоих сразу и увидите. А мальчишка хороший. Как его назовете, уже решили?

– Да нет еще, – сказал я.

– Да чего ж так? – сказала сестра. – По деду и назовите.

– По дедам, – сказал я. – Ирка – Николаевна, и я Николаевич.

– Правда! – вспомнила сестра. – Вы ж Виктор Николаевич, а я и не подумала. Вот и назовите по дедам.

– Да нет, – сказал я и объяснил, увидев удивление в ее глазах: – Деды не очень-то счастливые. Оба до своих лет не дожили.

– Да? – сказала сестра и заторопилась; она явно осуждала меня: – Ваше дело, вы молодые. Вы сами решите.

Она ушла, оставив мне Иркину записку. Сестра была подругой Мули; она, конечно же, знала все, что делалось у нас в доме, и осуждала меня за то, что я не хочу дать сыну имя Николай. Муля уже давно договаривалась со мной и Ирккой, что, если родится мальчик, назвать его по деду. Она даже мистифицировала меня, устраивала маленькие спектакли, рассказывала, будто встретила ее где-то цыганка и пообещала, что у Ирки родится мальчик, которого обязательно надо назвать Николаем. Если мальчику дадут другое имя, он будет много болеть.

Поддержки Мулю Ирка, и я бы, конечно, не устоял, но Ирка только молча прислушивалась к нашим спорам. «Знаешь, – говорила она мне, – я не все об отце помню. Но вот такое помню: во время первых бомбежек, если отец дома, так как будто и страху поменьше. Или еще – пес у нас был Мишка. Здоровый, умный. Его раз потом остригли, так он из будки неделю не вылезал – стеснялся того, что лысый. Так вот, помню, как Мишка прыгал на отца, когда отец вернулся после того, как выбили немцев. К отцу подойти было нельзя – Мишка вокруг него вился». Ирка давно собиралась поднакопить денег и съездить на ту станцию, где был убит отец, и ей, конечно, тоже хотелось, чтобы сына назвали Николаем. Но чем больше у нее рос живот, тем внимательнее она слушала меня. А я говорил:

– Чепуха это, понятно, имя ничего не определяет. Но у меня все равно останется ощущение, что мы обрекли пацана на повторение чьей-то судьбы. Что твоему отцу, что моему не очень-то в жизни повезло. Понимаешь, не хотелось бы, чтобы тень висела над пацаном... Пусть будет сам собою. Авось будет счастливее.

И Ирка слушала. Муле она говорила:

– Ты вечно торопишься. Еще не известно, кто будет – мальчик или девочка.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Я вышел из роддома и на улице еще раз перечитал Иркину записку. Ирка писала, что пробудет в больнице дней десять. «Обязательно, – просила она, – обей за это время дверь войлоком, занеси кошку и отдай кому-нибудь Кутю-Ошметку». Мой сын, весящий три килограмма четыреста граммов, еще не имеющий имени, требовал, чтобы я унес из дому кошку, которая живет у Мули пять лет, и выгнал бы на улицу шестимесячного щенка Кутю-Ошметку, которого сама Ирка неумеренной любовью и заботами превратила в инвалида. Это мне не понравилось. Недели две тому назад Кутя-Ошметка куда-то пропал, и мы с Иркой до полуночи ходили по темным улицам и кричали: «Кутя! Кутя!» Ирке с ее животом было тяжело, она мерзла и все-таки искала щенка, так ей было его жалко. А тут, пожалуйста, – отдай! Кто его возьмет, замученного нашими заботами, страдающего хроническим расстройством желудка, – Ирка обкормила его детским витамином Д, настоящим на масле.

Я решил, что Кутя и кошка останутся дома; Ирка пока порет горячку, а пройдет несколько дней – поуспокоится, но все же не мог отделаться от смутной тревоги. С Иркой что-то произошло, если она так решительно расставалась со старой, сжившейся с домом кошкой и с белым шестимесячным щенком.

Дома я осмотрел входные двери. Их нужно было не только обить войлоком, но еще и укрепить. Стены нашей пристройки были сложены из мягкого камня-песчаника, гвозди легко входили в него, но и легко расшатывались в своих гнездах. Я разыскал в сарае несколько длинных гвоздей и вогнал их в дверной косяк.

Двери, ведущие из тамбура в комнату, тоже надо было обивать войлоком. За много лет дерево ссохлось, и теперь стоило лишь провести ладонью вдоль дверных зазоров, чтобы почувствовать вкрадчивый напор холодного воздуха. В детстве я часто болел бронхитом, и сейчас мне вдруг тревожно захотелось покашлять. Я покашлял и подумал: действительно, неудачно это получилось, что мальчишка родился зимой. Я прошел в нашу с Иркой комнату и стал прикидывать, куда мы поставим детскую кровать. Сама кроватка, разобранная – отдельно сетка, отдельно спинка, – свежеевыкрашенная, стояла тут же. Наверно, Муля сегодня внесла ее из пристройки в комнату. На этой кровати спали еще Ирка и Женька, и теперь Муля подновила ее белой краской.

Наша комната самая теплая в доме, но и в нашей комнате не было настоящего места для детской кроватки. Мы с Иркой уже десять раз прикидывали, и я теперь прикидывал в одиннадцатый раз: стена с окнами исключается, наружная стена без окон тоже не годится – слишком холодная и сырая. Поставить кровать ближе к печке – пацан будет задыхаться от жары, ближе к улице – простудится...

Я примерял, куда поставить кроватку, и думал о том, какое имя дать сыну. Я чувствовал себя виноватым перед Николаем, своим отцом, и перед Николаем, Мулиным мужем, мне казалось, что я их в чем-то предаю, но страх за жизнь сына – с этого, наверно, и начинается родительская любовь – был во мне уже слишком силен, и я не хотел давать сыну имя Николай. А между тем никакие другие имена мне не нравились. Слава, Сережа, Геннадий, Виталий – все они не вызывали во мне никакого отклика, все они были для меня безличны. Имя Николай я любил, это имя было составной частью моего имени, моим прошлым, но в этом прошлом было слишком много тяжелого. Слишком много. И я решил, что предпочту любое безличное имя имени, которое я люблю. Я даже почувствовал какую-то гордость. Ради сына, ради моей любви к нему, которая только начинается, я брал этот грех на душу...

Вечером ко мне пришли Валеркина жена Клава и мать. Клава, как только вошла, сразу стала плакать, а Валеркина мать, такая же большая и грузная, как Валерка, цыкнула на нее.

– Тише ты, – сказала она невестке точно так же, как недавно говорил следователь понятому. – Ноги вытри, наследил людям.

Валеркина жена еще раз всхлипнула, вытерла глаза платком, и обе женщины испуганно и выжидающе уставились на меня.

– Витя, – сказала мне Валеркина мать, – мы пришли к тебе.

Кажется, я испугался еще больше, чем они. Я понял, что сейчас они будут требовать от меня чего-то такого, на что я никак не могу согласиться.

– Витя, – сказала Валеркина мать, – ты сам стал отцом, я тебя поздравляю, мы

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru рады за тебя. Ты представь, а если бы твоему сыну так пришлось?

– Но почему вы пришли ко мне? Что я могу сделать? – сказал я.

– Витя, кому больше на суде поверят – тебе или этим хулиганам, этой шпане? Ты же в газете работаешь! И вообще это и так видно – то ты, а то они.

Валеркина мать торопилась. Она как будто догоняла меня, боялась не догнать. Но она не только боялась не догнать меня, она и не любила меня сейчас, даже ненавидела и боялась показать, как она ненавидит меня. И Валеркина жена меня ненавидела.

– Витя, – сказала она, – зачем ты следователю сказал про нож? Ведь не было же ножа!

– Ну как же не было!

– Ты же сам потом взял свои слова обратно.

– Не было, Витя, ножа. Не было, – сказала Валеркина мать. – Не было, ты ошибся.

Своей скороговоркой она пыталась успокоить и меня, и свою невестку, так некстати вызвавшую мое раздражение.

– Не было, Витя, ножа, ты ошибся.

Она как будто подсказывала Клаве тон, в котором надо со мной разговаривать. Но Клава не хотела прислушиваться к тому, что ей подсказывала свекровь:

– Так зачем же он, мама, сказал!

– Замолчи!

Клава отвернулась и опять достала платок. Мать несколько мгновений с ненавистью смотрела на всхлипывающую невестку и опять повернулась ко мне.

– Витя, или я не знаю свое дитя? Валерий никогда не ходил с ножом. Он никогда бы не позволил. Вот и Анна Стефановна тебе скажет. Они же с твоим деверем, с Ириным братом, были друзьями.

У меня и раньше не было никаких сомнений в том, что в руках у Валерки был нож, а теперь я и вовсе уверился, что ошибиться не мог.

– Все-таки, – сказал я, – не понимаю, что я могу для Валерия сделать. Я же сказал следователю, что своими глазами ножа не видел. На суде я повторю то же самое.

– Витя, – сказала мать, – ты не должен про Валерия плохо думать. – Она замолчала и смотрела на меня все с тем же страхом и ненавистью. И наконец высказала то, что ее мучило: – Следователь сказал, что ты будешь на суде и следствии Валеркиным врагом.

А я-то гадал, откуда Валеркина мать знает о моем разговоре со следователем! Я думал, что все это Муля, а оказывается – следователь!

– Из-за чего они хоть поспорили? – спросил я.

– Витя, я разве знаю. Разве вы говорите нам, матерям, о своих мужских делах? Разве ты говоришь своей матери? Выпили, поспорили сгоряча. Мужики же.

Что-то она знала, это было видно по ее глазам.

– Я же не допрашиваю. Не хотите – не говорите. Я просто хотел бы понять, из-за чего погиб человек.

– Витя, а если бы они Валерку убили? Попали бы кирпичом по голове? Четверо ведь кидали! Четыре кирпича по голове. А ну-ка!

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
И опять она торопилась, словно спешила передать мне свое убеждение, свою любовь и ненависть. Любовь к Валерке и ненависть к убитому, и к тем, оставшимся живыми, и ко всем, кто сейчас угрожает Валерке.

И на секунду я подумал: а может, и правда я несправедлив к Валерке? Может, это во мне говорит страх, оставшийся после пережитой опасности, – Валерка стрелял так, что мог попасть и в меня, и в дядю Васю, с которым мы прижались к забору. Может быть, тогда и вспыхнула у меня неприязнь к Валерке? Я считаю, что меня возмущает само безобразное, бестолковое убийство, а на самом деле это во мне говорит страх за собственную жизнь? Недаром же бесстрашная, ничего не боящаяся Муля сразу стала на Валеркину сторону.

– Я расскажу только то, что видел, – сказал я. – Только то, что видел.

– Вот и правильно, – сказала Валеркина мать, глядя на меня с неприязнью и подозрением. То есть она глядела даже как будто умильно, но я видел и неприязнь и подозрение – слишком все спешило в ней, все торопилось, и она никак не могла скрыть свои чувства. – Вот и правильно. Ты же видел, не было ножа. Валерка никогда бы себе не позволил.

– Я расскажу только то, что видел.

Они ушли – Клава всхлипывая, Валеркина мать повторяя:

– Вот, Витя, и спасибо. Ты же сам все видел. Их четверо было против него одного. Ты сам видел.

Они ушли, а я подумал, что мог бы оправдать Валеркин выстрел, если бы причина ссоры не была так ничтожно мела. Вчера днем – об этом уже знала вся улица – Валерка и тот в кожаной куртке поспорили в пивной. Оба они работали шоферами-сменщиками на четырехтонном грузовике в автоколонне, располагавшейся на окраине нашего района, оба калымили и выручку делили пополам. А на этот раз не поделили. И ведь мелочь какая-то была – десятка или двадцатка. Кожаный полез на Валерку, Валерка ударил его, и кожаный, собрав к вечеру дружков, пришел к Валерке выяснять отношения. И ничего больше, что хоть как-то бы поднималось в уровень с трагическим результатом, как-то объясняло его. И я опять подумал о том, как умирал мой отец, прошедший две войны, учившийся между войнами в институте, как он не хотел умирать, как терпеливо сносил все операции, исследования, безропотно глотал лекарства, сколько раз к нему приезжала «скорая помощь», как много у него в доме бывало друзей, когда он уже не мог подниматься с постели, и как много на праздники он получал открыток-поздравлений. И я решил, что это готовая тема для выступления в газете. Смерть человека, и такая вот идиотская смерть.

Когда пришла с работы Муля, я у нее спросил:

– Не понимаю, Муля, чего вы так защищаете Валерку. Тут мать его была, меня умолачивала. Вы ж как-то мне говорили, что у Валерки куркульская семья.

– А, Витя, – сказала мне Муля, – никого я не защищаю. Я просто наш райотдел не люблю. Пусть сами разбираются. А я на них насмотрелась, пока уполномоченной работала.

Вот так мне сказала Муля.

– Ну, не все ж такие в милиции, – сказал я.

– Я о нашем райотделе говорю, – сказала Муля. – Я их там всех знаю. И Женька там бывал, и меня туда вызывали из-за Женьки. Я их знаю.

– Попадало вам там?

– Не в этом дело...

Так мы с Мулей и не договорились.

Через десять дней я на такси вез Ирку из роддома домой. Ирка похудела, кожа на лице и руках у нее стала такой, как будто Ирка все эти десять дней стирала в

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
густом пару – сыростно-чистая и истончившаяся. Казалось, пар проник под кожу и непрочно, водянисто натянул ее. В глазах у Ирки появилось что-то тихое и будто слепое. На чем-то она внутри себя сосредоточилась, к чему-то прислушивалась, как в ту ночь, когда меня разбудила Муля: «У Ирки началось». Я хотел взять у нее из рук сверток, она не дала.

– Сломаешь, – сказала она. – Ты еще не умеешь. – И улыбнулась. Улыбка у нее получилась рассеянная.

– Давай я подержу, – сказала Муля. Мы с Мулей ожидали в приемнике, пока Ирка переоденется.

Ирка сняла халат, матерчатые больничные тапочки, взяла одежду, которую ей приготовила Муля. Двигалась она медленно, говорила тихо. И когда она переделалась, застегнула пальто, повязалась теплым платком, было видно, что она из больницы, что она недавно тяжело болела. Муля отдала ей сверток, и мы вышли на улицу. Муля сразу же повеселела, заторопилась к такси: «Давайте, давайте, шофер же ждет», – шумно стала рассказывать о себе:

– А я когда Ирку рожала – никакой «скорой помощи» мне не вызывали. Я сама добежала до роддома. Николай был на работе, а меня прихватило. Я и побежала. Прибежала в роддом, а мне говорят: «Чего ж вы „скорую помощь“ не вызвали?» А я только рукой машу: «Скорей-скорей, а то рассыплюсь». – И Муля засмеялась.

Ирка слабо, отраженно улыбнулась. Неизвестно было даже, услышала ли она.

Когда мы сели в машину, я сказал:

– Ирка, а Кутю-Ошметку я не занес. И кошку тоже.

– да? – сказала Ирка, как будто бы это уже не имело никакого значения.

В такси Ирка отвернула краешек конверта, я со страхом заглянул. Муля закричала:

– витька! Он же вылитый ты! Весь в отца. И лобик, и брови!

Ирка закрыла конверт, и я с облегчением откинулся на спинку сиденья. «Кажется, – со страхом подумал я, – это что-то не то».

– Печку я натопила, – сказала Муля! – Жара! Полы вымыла еще утром – сырости уже нет, все просохло. Ванночку приготовила, воды согрела. Все твое белье перестирала. Войлоком все двери обила, никаких сквозняков. Бабку заставила искупаться, занавески поменяла, чисто в доме, тепло.

Ирка кивнула. Она была занята своим конвертом. Иногда рассеянно улыбалась мне, рассеянно слушала Мулю.

– Печка горит? – спросила Ирка, когда Муля замолчала.

– Да я ж тебе только что сказала! – изумилась Муля. – Ничего не слышит! – восхитилась она. – Ничего не слышит!

– Хорошо, – сказал я, – что хату закончили перестраивать. Как раз вовремя.

Ирка кивнула.

– В пристройке еще холодно, – сказала Муля. – Печка там не горит. А то бы мы с бабкой переселились туда, а вам бы две комнаты было.

– Ты у редактора квартиру просил? – спросила Ирка.

– Пока не обещает.

Ирка рассеяно кивнула.

Дома нас встречали баба Маня и глухая бабка.

– Принимайте, Маня, правнука, – сказал я Мане. И Маня сказала:

– Дай бог ему счастья.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Прошло несколько лет.

Утром в воскресенье Ирка, наряжала Юрку в праздничную матроску, в желтые, негнущиеся от новизны сандалии, сказала мне:

– Ты что, забыл – мы к Муле на саман.

Я вздохнул:

– Женя по-прежнему пьет, а Муля по-прежнему разбивается в доску?

– Иначе она не может.

– Да уж!

Ехать мне не хотелось. С тех пор как мы перебрались на новую квартиру, я редко бывал у Мули. На новой квартире – мы получили комнату в центре – стало легче жить. И не только потому, что отпала необходимость запастись углем и дровами и было ближе на работу, – спало какое-то избыточное давление. Вернувшись из армии, Женя умиротворенно и основательно готовился к новой жизни, возился во дворе, обрезал засохшие ветки на деревьях, ставил забор, чинил сарай. Он и запомнился мне в эти дни покуривающим, обсыпанным стружками, которые он не стряхивал. Муля купила Жене серый костюм и белую кепку. В этой белой модной кепке Женя и пошел в первый раз на работу. В гараже, куда Женя устроился, ему дали старый самосвал с гремящим, расшатанным кузовом, с гремящей, расшатанной кабиной. Орудовцы штрафовали Женю на каждом углу, белая кепка промаслилась и закоптилась.

С этой белой фуражки, кажется, все и началось. «Я тебе говорила, – сказала Муля, когда ей в первый раз пришлось стирать Женькину кепку, – все будет в мазуте. Кто на работу в белой ходит?» Дома Женю начали раздражать теснота, шум, раскладушка, на которой ему приходилось спать. Однажды ночью она сломалась под ним. Тогда Женя решил строить свой дом. Привез глины, немного кирпичей, досок, сбросил их возле дома, и там они пролежали несколько лет, потому что Женя ушел из гаража и возить стало нечего и не на чем. Около года Женя работал токарем на номерном заводе, а потом перешел в добровольное пожарное общество печником. Там уже работали его старые друзья: Валька Длинный, Толька Гудков, Валерка, уже вернувшийся из тюрьмы, – он получил сравнительно небольшой срок «за превышение необходимой обороны». В ДПО можно было больше заработать. Женя женился. Год назад у него появился ребенок. И теперь Женя приглашал родственников и знакомых на саман; наконец-то собрался строить себе дом.

– Поедем, поедем, – сказала Ирка. – Муля обидится. Два года Юрку нянчила, теперь с Женькиной дочкой возится, а мы ей не можем помочь.

На улице Юрка пристал: «Купи мороженое» – и Ирка не устояла, купила. В трамвае Юрка залился мороженым, испачкал костюмчик, испачкал Ирку – она держала ладонь горсткой у его подбородка, а потом вытирала матроску носовым платком. Однако настроение у Ирки не испортилось. Последние два года Юрка меньше болел, не так часто кашлял, и мороженое ему иногда можно было покупать.

От путепровода вдоль трамвайной линии построили десятка полтора пятиэтажных домов. Половина из них уже была заселена, кое-где работали новые магазины. На площади, где во время войны и долго после войны собиралась толкучка, строили широкоэкранный кинотеатр с современным железобетонным козырьком над входом. Асфальт, который раньше кончался у толкучки, теперь протянули далеко за город, к микрорайону, который в городской и областной газете называли «наши Черемушки». Над асфальтом стоял плотный городской шум: шли самосвалы, автобусы, грузовики, у которых вместо кузова – арматурная кассета для панелей сборных домов. Однако, когда на своей остановке мы вышли из трамвая и прошли от асфальта шагов пятьдесят, то попали в деревенскую тишину. Здесь и пахло деревней: садами, земляной пылью, солнцем. И звуки здесь были деревенскими, редкими, не сливающимися в городской гул. Ирка поторапливала Юрку – было уже девять часов утра, а приглашали нас на шесть, поработать по холодку, пока солнце не поднимется. Муля и Женька, наверно, не ложились спать. Ночью месили глину с

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
соломой, делали саманный замес. Днем его здесь никак не сделать – одна
водонапорная колонка на весь квартал, да и вода днем плохо идет: летом слабый
напор.

Работающих мы увидели, когда повернули за угол. Их было много – мужиков и баб.

Рядом с ними остановился очкастый парень в майке, младший из братьев Сирот,
Жора.

– Бог на помощь, – насмешливо крикнул он саманщикам. – Работайте, работайте, а
мы на пляж.

– Иди к нам, – ответили ему.

– Так раньше не приглашали! – сказал Сирота.

– Сюда не приглашают, – ответили ему, – сюда сами идут!

– Так у вас, наверно, и водки нет, – не сдавался Жора.

– Пей, хоть залейся!

– А чего ж тогда вот эти ждут? – показал Жора на мужиков в праздничных рубахах,
которые, покуривая, стояли рядом с замесом.

– Это советчики!

– Руководители!

– У них язва желудка!

Сирота подмигнул Ирке – молодец я? – и потянул майку из-за спины.

– Уговорили!

Мы прошли во двор к бабам, которые возились в сарайчике, превращенном в летнюю
кухню, – стучали ножами по столу, резали лук, крошили капусту, готовили угощение
добрым людям, пришедшим делать саман для дома, в котором будут жить Женя и его
жена.

Ноги у женщин были по самые колени в глине, подола платьев в глине, волосы
перевязаны косынками.

Бабы успели загореть, лица у них лоснились, опаленные солнцем и печным жаром..

В своих измазанных платьях с подоткнутыми подолами, крепконогие, туго
перевязанные косынками, они были именно бабами. Ирка так и поздоровалась с ними:

– Здравствуйте, бабоньки.

Муля, ничуть не подавленная обилием забот, свалившихся ей на голову, крикнула ей
на бегу:

– А мы на вас уже не надеялись.

Вернулась и стала в сотый раз рассказывать, где в саду будет стоять Женин дом,
куда окнами, сколько деревьев для него придется вырубить.

– Я наконец от всех вас избавлюсь, – сказала она Ирке. – Сама заживу. Увидишь,
какой у меня в доме будет порядок. А то живешь, как в кузне. Грязь, пеленки
нестираные. Я ничего плохого про свою невестку не скажу, а неаккуратная.

– Разжигаешь, Муля, потихоньку пожарчик, – засмеялась Ирка. – Ни с кем не хочешь
Женю делить?

Подошла, будто двумя рубанками строгая пол в кухне – шорг-шорг, – бессмертная
Мулина мать, всмотрелась в Ирку, словно из освещенной комнаты в темную:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Это кто?

Муля отмахнулась от нее, и бабка, недовольно ворча: «Ничего не говорят!» – пошла из кухни. Во дворе она подобрала хворостину и замахнулась на мальчишек, осаждавших глиняную гору:

– Кши, окаянные! Вот искушение.

Бабка кричала и замахивалась так, чтобы все видели ее старание.

– Десять лет у нее работы не было, – сказала Муля, – а тут появилась.

Муля вдруг сорвалась, подбежала к бабке:

– Мама, не гоняйте пацанов! А то я вас к Мите отправлю!

Ирка переглянулась с женщинами:

– Все такая же?

Ей понимающе ответили:

– С утра пораньше всем разгон дает!

– Уж и как саман надо делать, мужиков учила. Цыган лошадей пригнал, лошадьми глину месили, так и его учила. Сама не спит и других на работе загоняет.

Баба Маня сказала:

– Муля не может, чтобы кого-нибудь не долбануть до крови. Женька сегодня ночью умаялся, заснул, а она бегаёт по двору: и то, мол, не сделано и это, а он спит. «Да чего вам? Они строятся, пусть делают, как хотят». – «Они мне мешают». Она уже не дожидется, когда останется одна. Это у нее мысль такая: «Когда я вас, чертей, поразгоняю! И то у меня будет так, и это...» Энергии в ней молодой много. Я это понимаю, в тридцать четыре года вдова.

Мне дали рабочие златанные Женькины брюки, Ирке отыскали старое, пахнущее старым, давно не стиранным платьем, она переделалась, разулась, подоткнула подол и босыми ногами ступила на горячую землю. Земля была твердой, колючей, обильно усыпанной комочками просохшей, затвердевшей глины, острой крошкой жужелицы и кирпича, и Ирка пошла, неуверенно покачиваясь, словно пританцовывая. Ее встретили подбадривающими выкриками:

– Давай-давай!

– Смелей ходи!

Молодые парни, Женькины друзья, набрасывавшие вилами саман на носилки, разделись до трусов. Мужики постарше ограничились тем, что сняли рубашки и выше колен подкатали брюки – приличия на улице блюлись по-деревенски.

Многие мужики работали всю ночь – рассыпали глину в толщину штыка, перелопачивали ее, забрасывали соломой, поливали из шланга, протянутого от колонки, смотрели, как цыган, весь синий от наколок, хвастаясь, гонял по глине двух ломовых лошадей. У лошадей – гнедой кобылы и ее двухлетнего сына – развязались длинные хвосты, в хвосты набилась глина, и глиняные колтуны тяжело свисали к самой земле. Лошади уже сделали свою работу, их привязали к забору в тени акации. Они стояли, устало подрагивая кожей. Морды у них тоже были усталыми. Над глазом коника сохла огромная глиняная клякса, глиняными у него были редкие короткие ресницы, волоски на нижней губе.

– Загонял ты коника, – сказала Ирка цыгану, – не жалко?

– Его? – крикнул цыган (он и потом все время кричал, а не говорил). – Он и не работал! Она работала. Мать! Она за него всю ночь работала.

Цыган был пьян. Он был законно пьян. Он сделал свое дело, и теперь его должны были поить водкой. Он всем показывал, что пьян. Сидел на корточках в тени акации

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru рядом со своими лошадьми, забрызганный глиной еще больше, чем его лошади, смуглокожий, худющий, с толстыми мослами коленок, с толстыми мослами локтей и запястий, и кричал на работающих, советовал им что-то, укорял их в том, что они все делают не так.

– А ты носилки не бери, – крикнул он Ирке, – живот надорвешь. Ты бери станок набивать. Станок набивать – бабье дело.

Мужики вообще-то неодобрительно посматривали на цыгана. Им не нравилось его хвастовство, то, что выпил он еще перед работой вчера вечером и потом, во время работы, тоже пил, куражился над лошадьми и притомил их больше, чем нужно. Но им и приятно было смотреть на пьяного цыгана! Цыган сделал свою работу, и то, что теперь он пьян, как раз об этом и свидетельствовало.

Ирка позвала Нинку, и они вдвоем взялись за носилки. Носилки были грубыми, тяжелыми, с толстыми грубыми рукоятками. Мужики набросали саману «с верхом», и Ирка, подняв носилки, «села на ноги». Она сделала несколько торопливых шагов – медленные и не получились бы, – носилки, как маятник, пошли из стороны в сторону, раскачали их с Нинкой. Но Ирка справилась и с носилками, и с болью в ладонях, и с болью в босых ногах, которым камешки и жужелица казались теперь особенно острыми.

Они благополучно донесли саман, вывалили его на землю и под одобрительные шуточки мужиков пошли назад.

Во второй раз им под носилки заботливо подложили кирпичи, чтобы сподручнее было братья за ручки («Малая механизация!» – сострил Жора Сирота).

Они отнесли с десятков носилок, и Ирка почувствовала, что втянулась. Она это почувствовала и потому, что смело и даже с удовольствием ступала в самый замес, в мокрую, скользкую глину, и потому, что боль в ладонях не то чтобы притупилась, а сделалась привычной, и потому, что солнце, под палящие лучи которого полчаса назад, казалось, и ступить немисливо, – теперь жгло терпимо и даже приятно, мгновенно высушивало пот, стоило лишь на минуту приостановиться.

Но самое главное (она мне потом об этом говорила), Ирка вдруг почувствовала прилив бабьей умиленности перед мужицкой силой, перед мужицким умением все сделать: и саман замесить, и хату поставить, и лошадьми управлять, и где-то там, у себя на заводе, работать. Это была уличная, окраинная бабья умиленность, которую Ирка всегда вытравляла в себе, презирала в Нинке, в своих уличных подругах и которой было много даже у непримиримой и воинственной Мули.

С досоафского аэродрома каждые десять минут поднимались вертолеты. Оглушая, треща пропеллерами, они проходили низко над головами саманщиков.

– Летаете, – сказал Жора Сирота, – вы саман попробуйте! – И подмигнул Ирке.

Я прислушивался к разговору мужиков, грузивших саман на носилки. Это был обыкновенный обмен шуточками, но все же так шутить могли только вот эти мужики, которые и у себя дома, и на производстве все делали своими руками.

– Дядя Федя, – приставал Жора Сирота, подхватывая вилами соломенную притруску с замеса, – какое это сено?

У дяди Феди потревоженное оспой лицо, малоподвижные косящие глаза. Чтобы взглянуть на собеседника, он поворачивается к нему чуть боком.

– А кто его знает!

Дядя Федя явно осторожничает, не хочет вязываться в разговор, в котором молодой парень собирается побить его своими знаниями.

– Как «кто знает»? – картинно поражается Жора.

– Пшеница теперь переродилась, – неохотно объясняет дядя Федя. – Раньше я легко разбирался. Так раньше можно было разобратся. Была белоколосная, черноколосная. Жито было, пшеница. Гарновка. А теперь? Теперь каждый – агроном. И каждый мудрует. Хотят хлеб переродить. Чтобы и скотину отходами кормить, и чтоб человек

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru ел.

– Так всегда ж так было, – смеется Жора.

– Так, да не так, – угрюмо отвечает дядя Федя. Тяжелый человек дядя Федя, неприветливый. Иной раз с ним поздороваяешься, а он не ответит. Не ответит, и все тут. Хату давно еще, сразу после войны, себе строил, не звал соседей на саман. Придет с работы – жил он в землянке, – выкопает яму для замеса, наносит ведрами воды и сделает десятка два глиняных кирпичей. Роста он небольшого, но жилистый, мускулистый. Руки у него утолщаются книзу, к предплечьям, и заканчиваются настоящими лапами-совками – черными, посеченными морщинами и шрамами, не боящимися ни заноз, ни ударов. Все мужики набирают саман вилами – и вилами его брать тяжело! – а дядя Федя широкой лопатой, грабаркой. Когда на лопату налипают глины, он счищает ее ребром ладони.

Ни Мулю, ни Женьку дядя Федя не любит. Мулю за ее непримиримый, неуживчивый нрав, Женьку считает пустым человеком. И все-таки работает у них на самане почти всю ночь и все утро.

Подошел Женька, он подсчитывал готовые кирпичи.

– Восемьсот пятьдесят, – сообщил он и сказал с облегчением: – Половину уже, кажется, сделали.

– Женя, – показала Ирка на вертолет, который медленно – грохот его винта мешал разговаривать – проходил над головой, – не завидно?

– Не-а, – смущенно сказал Женя.

– А ведь ты на самолете летал?

– Летал, Ира.

– И с парашютом прыгал?

– Прыгал.

– А теперь себе дом строишь?

– Хату.

Лицо у Жени усталое. Влез он в это строительство, а работа такая тяжелая. Вот он и отвлекается: то кирпичи пересчитывает, то поднесет саманщикам воды, папиросами угостит. Вроде так и должно быть – хозяин! Но все видят, что он просто устал.

– Половину уже сделали, – говорит Жора Сирота. – Тебе полторы тысячи кирпичей нужно. Дядя Федя, на твой дом сколько саману пошло?

– С пристройкой – полторы тысячи.

– Вот, – говорит Жора. – И тебе пристройка нужна. – И спрашивает Женьку: – Знаешь, какой замес должен быть, чтобы саман получился качественным? Стал ногой на глину – и провалился до самой земли. А у тебя замес густоват. Воды маловато.

– А кто его контролировал? – спрашивает дядя Федя. – Лошадьми месили. Понадеялись на лошадей.

– Лошадь, конечно, умней человека, – серьезно соглашается Жора.

Женя смущенно посмеивается, но не возражает. С ним разговаривают – значит, можно еще постоять, покурить. Его окликают всевидящая Муля, но он раздраженно машет на нее рукой.

– Знаешь, – говорит он Ирке, – Томилин в Италии побывал, в Африке. Механиком плавает.

– Что-нибудь интересное рассказывает?

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Женька засмеялся:

– Да как он рассказывает. Пять минут послушаешь – и в сон. Вначале еще слушать можно, потом напрягаешься, а через пять минут – напрягайся не напрягайся – только бу-бу да бу-бу.

Женя ушел, а Ирка мне сказала, что вот Женя и пьет часто, и хамит, и многие люди его только таким и знают, а она не может забыть, каким он в детстве был слабым и мамсиком. Как однажды они пошли на толкучку продавать отцовы туфли – Муля уехала менять одежду на продукты, а им эти туфли оставила на крайний случай, – продали, а на вырученные деньги купили у перекупщика билеты на «Багдадского вора» – так Женька канючил, хотел пойти в кино. И про Нинку Ирка вдруг вспомнила, как Нинке в войну сшили из козьей шкуры пальто, жесткие рукава в этом пальто не сгибались, руки у Нинки торчали в стороны, она ходила, как распятая, а Маня все жалела ее и отдавала ей свою еду.

– И знаешь, что я сейчас подумала? – сказала Ирка. – Глупо и высокомерно, что мы Юрку не назвали именем деда. Глупо и высокомерно.

Часам к четырем по обеим сторонам улицы вытянулись длинные ряды сыро лоснящихся глиняных кирпичей.

– Вот тебе и стены готовы, – сказал Жора Сирота Женьке.

Женщины, готовившие угощение, уже успели умыться. Бабы, набивавшие стайки саманом, пошли мыться во двор, куда Муля и Женька наносили воды. А мужики отправились отмываться прямо под колонку. Туда же цыган повел своих лошадей. Из короткого шланга, натянутого на кран, вода била в лошадиные морды, груди. Вода стекала по лошадиным ногам, по крупу, причесывая, приглаживая короткую блестящую шерсть. В мокрых трусах и майках тут же крутились пацаны, их никто не прогонял.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

За столы сели часам к шести. Столы вытащили из Мулиных и Маниных комнат, раздвинули их. К обеденным столам придвинули кухонные, накрыли их клеенками, а где клеенок не хватило – газетами. Стулья и табуретки принесли от соседей. На столы Муля поставила большие миски с нарезанными помидорами. Помидоры были обильно посыпаны перцем, перемешаны с луком. Помидоров и луку вообще было много. На столе стояли тарелки с целыми помидорами. Яичницу Муля тоже делала с помидорами. Лук и помидоры входили в блюдо из баклажанов – сотэ и в только что приготовленную, еще горячую кабачковую икру.

Из погреба выносили миски со свиным холодным, водочные бутылки с разбавленным спиртом, самогонкой, подкрашенной бражкой, четверти с пивом. Четвертями этими Муля гордилась – в такую жару за пивом в городе очереди. Муля бегала от кухни к столам, извинялась:

– Жара такая, погреб прогрелся, на землю ставила бутылки, а они все равно не холодные, – жаловалась Мане: – Сделала на новой Женькиной сковородке сырники, а они не держатся, рассыпаются.

Маня сказала:

– На новой сковородке всегда так. Надо, чтобы сковородка обжарилась.

Рассаживались компаниями. С Женькой сели Толька Гудков, Валька Длинный, Валерка, Жора Сирота.

Женька крикнул:

– Муля, нам твои сырники ни к чему. Нам этого самого побольше.

– Теть Аня, – сказал Гудков, – знаете, как обо мне на работе говорят? Гудков все может, только дайте ему сначала выпить. Пьяный Гудков трех трезвых Гудковых стоит.

– Да уж по этому делу ты профессор, – сказала Муля.

Баба Маня в чистом сером платье сидела за крайним, ближним к хате столом. Рядом

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru с ней в новом платье и красных новых чувяках сидела глухая бабка, Мулина мать. И платье и чувяки были подарком ее старшего сына, Мулиного брата. Мулин брат много лет живет в Ленинграде, занимает какой-то важный пост, имеет хорошую квартиру. И к важному посту, и к хорошей квартире, и ко всему, что с этим связано, у него давняя привычка: о том, как живет Муля, как живет его мать, глухая бабка, он забыл, и хотя и он, и его жена, с которой он едет на юг, стараются показать, что они ничего не забыли, что здесь они свои, – все видят, что они забыли, что здесь им и слишком шумно, и слишком неопрятно и что они даже немного этим хвастаются. Вежливо скрывают, что они здесь не свои, но так, чтобы все все-таки видели, что они уже не свои, что в своей жизни они добились большего. Мулин брат и рюмку с водкой поднимает первым, и произносит первый тост. Тост он произносит молодцом, как будто всю жизнь участвовал в строительстве таких вот саманных домов.

– Чтоб стены у тебя век стояли, – сказал он Жене. – Чтобы плохого запаху в доме не заводилось.

– Откуда быть дурному запаху? – дурашливо подхватил Жора Сирота. – Саман делали по всем правилам. Замес был густоват, но мы его сейчас водочкой польем – тысячу лет никакого запаха.

А Женя ответил вежливостью на вежливость, поинтересовался, как там двоюродный брат.

– Дядя Петя, – спросил он, – как там ваш Генка?

И дядя Петя ответил:

– Институт закончил. Женился в этом году. Мы ему не советовали, но он женился. Работает на хорошем заводе, специальность хорошая. Квартиру им в будущем году дадут.

– Инженер, значит?

– Да, молодой инженер.

– Привет ему передавайте.

– Спасибо, – сказала дяди Петина жена.

И это «спасибо», и «молодой инженер», и «мы не советовали» – все эти сдержанные слова, которые и произносить надо сдержанным тоном, были как бы маленькой нотацией для Жени. И все это почувствовали.

– Вот, – сказала Ирка, – бывают же у людей дети! А Муля страстно, потаенно любит своего Женю.

Муля уставилась на Ирку:

– Она всегда думала, что я Женю больше люблю. А они оба недостойны любви. – И тут же обернулась к брату: – Петя, на кого Женю похож? Скажи ты – вылитый Николай! Только глаза мои вставлены. И рука! Как делает своей лапой вот так – Николай!

Муля почти не пила, но, как всегда, когда рядом пили другие, она тоже словно хмелела. В движениях ее появилось что-то лихорадочное, говорила она быстро.

Ирка спросила у Жени:

– Женя, а у тебя уже есть план твоего дворца? Стекланную веранду, где вы по утрам будете кофе пить, ты себе запланировал?

– Да! – сказал Женя. – Будет стекланная веранда.

– А что говорит Муля?

– Муля против. Она хочет, чтобы был один глухой простенок. Она собирается туда поставить свой кухонный стол. «Я не устану тебе повторять об этом каждый день», – говорит она мне. И я ей верю.

– Над чем вы смеетесь? – говорит Муля. И обращается к брату. – Покойный Василь Васильевич, – сказала Муля брату, – говорил о Женьке: «Этот будет клоун или палач». А они оба и клоуны, и палачи. Ирка еще похлеще. В университете училась. Василь Васильевич говорил: «Гениальный ребенок». Я ее пальцем трону, а он разойдется на целый день: «Вам не детей, а чертей воспитывать». Правда, что воспитала чертей. Мне теперь внуки дороже, чем дети. И Юрка, и Женькина дочка. Только сейчас у меня настоящие материнские чувства появились...

– Прорезались, – сказала Ирка. – Вот правда, в первый раз материнские чувства прорезались.

– Ирка! – сказал я.

Ирка вздохнула и повернулась к Жоре Сироте. Жора по-мальчишески захмелел. Ирка он сказал:

– Беседку сделаю во дворе. Яблони посажу.

– Лучше сливы или вишни, – сказала Ирка. – Ночью в саду ни слив, ни вишен не видно, а яблоки будут обносить.

– Н-нет, – сказал Жора. – Не будут. Сознательность теперь увеличилась. Ч-честно. Не лазают по садам. И поножовщины меньше. Больше сознательности стало.

Дядя Петя хмелел медленнее других – он почти не работал, не устал: из вежливости ему, гостю, не дали работать, – да и пил он осторожно, но все же он захмелел. По щекам его пошли пятна, глаза – очень похожие на Мулины, но только без Мулиной сумасшедшинки и непримиримости – заблестели. Он охотно смеялся, расстегнул две пуговицы на рубашке, вытирал шею носовым платком. Ему уже нравились и эта грубоватая выпивка после самана, и грубоватая, пахнущая клеенкой закуска, и пиво в четвертях, закутаных в мокрые тряпки, и запах земли во дворе, и запах керосина от керогаза, горевшего в летней кухне.

Ирка сказала:

– Пока не началась беспорядочная пьянка, предлагаю выпить за бабу Маню. Она самая старшая среди нас. Она пережила сто войн и сто правительств. Маня, вы же еще Александра Освободителя застали?

Маня улыбнулась:

– Застала.

– А Николая видели?

– Николая видела. Паршивенький. Мать-государыню видела. И мальчишек его. А девчонок не видела, не стану врать.

Но Александр Освободитель, и Александр III, и Николай вместе с матерью-государыней и детьми заинтересовали лишь на минуту. Кто-то спросил Маню, как выглядел Николай, но ответа слушать не стал.

Да и не в Александрях и Николае было дело. Важно было, что Маня их пережила. Это было понятно всем. И дядя Петя это почувствовал. И я это почувствовал, я осматривал двор, дом, припоминал его таким, каким он был тогда, и все больше и больше чувствовал себя здесь своим. Мне нравилось это чувство – был здесь, в этой хате, на этой улице, своим.

Муля рассказывала дяде Пете что-то о знакомых, родственниках, называла их по именам или прозвищам, как будто дяде Пете достаточно было имени или прозвища, чтобы вспомнить какого-нибудь Ваську Рыжего или Верку Курносую. Он честно старался вспомнить, и если вспоминал, то он перебивал Мулю, припоминая о Рыжем или Курносой подробности, которых Муля не знала.

Рядом с дядей Петей сидела его мать, глухая бабка. Она гордилась своим сыном, гордилась платьем, которое он ей привез, гордилась красными чулками. Рядом с ним она старалась казаться хозяйкой за этим столом, и дядя Петя жалел ее.

– А чего ж у тебя гости не пьют? – спрашивала глухая бабка Муля. – А соль у тебя на столе есть?

Муля досадливо всплескивала руками, призывая всех в свидетели того, что она выносит от своей матери. Кричала:

– Вы уж лучше ешьте и пейте, мама! Вы же любите водочку. Гости не ваша забота.

– Я сыта, сыта, – говорила бабка. – Я мало ем, – объяснила она сыну заискивающе.
– Крошку возьму – и сыта.

Дядя Петя старался не слушать того, что говорила мать. И то, что она говорила, и ее заискивающий тон коробили его.

– Вот, – всплескивала руками Муля, – за столом она ничего не ест. Она показывает, что она мне не в тягость. А потом пойдет по шкафчикам шарить, будто у родной дочери ворует. Я ей кричу: «Мама, да разве я вам что-нибудь запрещаю?!»

Бабка тревожно приглядывалась к губам дочери. Когда-то глухая бабка по очереди жила у всех своих детей. Год у Мули, год у однорукого Мити, год у Пети, а потом эта очередь поломалась, и бабка стала жить у Мули постоянно. И Петя, и Митя, и Муля, и сама бабка давно к этому привыкли, и вот теперь Муля боялась, чтобы Петя не увидел, что матери тут живется не очень хорошо. Чтобы не получилось так, будто ему намекают – пора наконец забрать мать к себе в Ленинград.

Но Муля волновалась напрасно. Дядя Петя ни о чем таком не думал. Он сказал:

– Пусть ворует бабка, если ей так удобнее. Воруй, бабка! Не дай бог кому прожить такую жизнь, какую она прожила! Пусть хоть теперь живет, как хочет. Что ж ее теперь перевоспитывать? Перевоспитывать ее может прийти в голову только такой сумасшедшей, как моя сестра. Она любит перевоспитывать. А мать с двенадцати лет глухая. Она и не знает, была ли на свете революция. Дал ей когда-то по уху один воспитатель – сиротой она у богатого родственника жила – она и оглохла. А потом другой родственник, наш родитель, взял в жены. Тоже крепкий мужик. Потому и взял, что сирота и глухая. Мол, всю жизнь будет работать и благодарить за то, что благодетельствовал. Вот она и работала. Семерых ему родила.

– Семерых родила, да я шестерых воспитывала, – сказала Муля. – С вами со всеми нянчилась, а теперь на старости лет с ней нянчусь. По-твоему, так я ее жалеть должна. А она меня учиться не пускала. Нянька ей была нужна. А я не хуже тебя училась. Не хуже тебя инженером бы стала.

Дядя Петя немного смутился.

– Да, – сказал он, – училась ты хорошо.

Муля сказала:

– Учебников и тетрадок у меня никогда не было, не покупали мне, а я все так запоминала.

– А почему не покупали? – спросил я.

– Жадные, Витя, были. Считали, что ученье мне не нужно. И дом отец строил тогда, отрывал меня на строительство.

«Воруй, бабка!» – повторял я про себя удивительные, чем-то задевшие меня слова. Что-то в этих словах меня потрясло.

А Муля вдруг всполошилась – забыла дать поздравительную телеграмму в Борисоглебск: племянник, сын сестры, сегодня именинник.

– Закрутилась с этим саманом.

Дядя Петя покраснел:

– Разве сегодня день рождения Аркадия?

– Сегодня.

– А мне казалось – в следующем месяце.

Муля побежала в хату и вернулась с маленьким потертым ученическим портфелем в руках.

– У меня здесь все талмуды. – Она выложила на стол какие-то пожелтевшие бумажки, справки, фотографии. Показала дяде Пете Женкин аэроклубовский диплом: – Одни «пятерки», – с гордостью сказала она. – По полетам «пятерка», по теории «пятерка».

Ирка крикнула Жене:

– Женя, не делай вид, что ты не слышишь. Держу пари, там твои локоны и молочные зубы, завернутые в газету.

– У меня никогда не было молочных зубов, – отозвался Женя.

– Женя, хоть покрасней.

– Я краснею только тогда, когда меня обливают красной краской. Суриком.

Муля достала из портфеля ученическую тетрадь в клеточку, раскрыла ее на первой странице. Там был длинный список родственников и знакомых, их адреса и дни рождения. Аркадий отыскался на второй странице тетради.

– Сегодня, – сказала Муля. – Сегодня день его рождения. Я точно помню, что сегодня. Я в июле все дни помню хорошо. В июле Николая убило.

– Муля, – сказала Ирка, – ты хотя бы на сегодня оставила свои ужасные истории.

Муля странно посмотрела на Ирку.

– Мне тогда вещей сон приснился, – сказала она. – Помнишь, Петя, в саду у нас щель была выкопана? Когда начались бомбежки, Николай сам ее вырыл. Вон там, где сейчас жердела. Приснилась мне бомбежка. Огонь, бомбы падают. И будто Николай бежит и хочет через щель перепрыгнуть. Прыгнул, а в это время его взрыв подбросил. Высоко подбросил. Смотрю, а Николай загорелся в воздухе. А на мне синяя жакетка была. Я бегу к нему, на ходу жакетку снимаю – жалко же его, муж! – бегу на него, готовлюсь накрыть жакеткой. А он, как снаряд, летит на меня. Я прыгаю на него, жакеткой охватываю, прижимаю к себе, а раскрыла жакетку – ничего! – И Муля то ли разрыдалась, то ли засмеялась. Секунду нельзя было понять, плачет она или смеется. Потом она закрыла глаза руками, и стало понятно, что она плачет. Но она тут же отняла руки, лицо ее расправилось, стало обычным. – Скажи ты, меня с кровати сбросило! Мама, помните? – обратилась она за подтверждением к бабе Мане.

И баба Маня важно кивнула, как будто сказала: «Врать не буду, сбросило тебя тогда с кровати».

– Мне вчера передали, – сказала Муля, – что приехала женщина, которая в том поезде проводницей была. Она была с теми, кто вытаскивал Николая, видела, как его похоронили. Назначила мне свидание, а я не хочу идти. Боюсь. Я знаю, он сгорел в паровозе. Они его бросили, и он сгорел. Я к этой женщине приходила еще в сорок четвертом. Постучалась к ней. Она открыла дверь, я говорю, я такая-то. А она – раз, и упала. Упала! Соседи сбежались, воды принесли, а мне говорят: «Зайдите потом, сейчас ей нельзя разговаривать. Она контуженная». Я и ушла. Через несколько дней опять пришла, а она уже уехала. С тех пор я ее не видела. А он сгорел, я это чувствую. Сколько мне тогда писем пришло, и во всех по-разному описывается, как он умер. Пишут, не плачьте, мы отомстим. Мстят, аж до сегодня... Они мне просто боятся сказать, как он погиб.

– Он не сгорел, – сказал дядя Петя, опустив глаза в тарелку. – Мне бы врать не стали.

Муля посмотрела на него:

– Но он же оставался в паровозе?

– Нет, он вышел.

– Его вынесли?

– Нет, сам выбрался.

– Ему руку и ногу оторвало, да?

Дядя Петя долго молчал, не поднимал глаз от тарелки, потом кивнул:

– Да. Не сразу. В паровозе руку, а когда выбрался – ногу.

За столами притихли, следили за Мулей. Муля вздохнула:

– Мне тоже так рассказывали.

Она не поверила. Я осторожно посмотрел на Ирку и Женьку – они поверили.

– Нет, – сказала Муля, – я к ней не пойду. Боюсь. – И она заговорила о страшных снах, которые ей снились перед войной и которые, как она потом поняла, предвещали войну.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Днем на строительстве дома Жене помогает Толька Гудков. У Гудкова отпуск, а Женя после обеда вырывается с работы домой. Гудков подрядился поставить окна и накрыть хату крышей. Толька – ровесник Жени, но сейчас он главный на стройке и потому кажется старше. Он небрит, шея потная. Ругает своего предшественника, плотника, которому Женя заказывал коробки для окон. Разве так коробки делают? Доски прекрасные, а он сбил лудки гвоздями. Надо было делать на шипах! На прямых шипах, поясняет он Жене. Правда, усмехается Толька, тогда перекошенную коробку в стене нельзя было бы выправить. Нужна высокая квалификация, чтобы сделать лудки на шипах. А гвоздями Женька мог бы и сам сбить. Каждый мог бы сбить. И взял он, наверно, за каждую коробку по четыре рубля.

– Сколько ты ему заплатил? – спрашивает он Женьку.

– Четырнадцать рублей.

– За сколько коробок?

Женька смущен и потому отмахивается:

– А я не считал.

– Не считал, – потрясается Толька. – Строитель!

– За девять, что ли...

Толька начинает считать сам. Четыре окна на фасад, два во двор, двери, итальянка на веранду...

– Да, девять. – Он на минуту обескуражен, но тут же улыбается. – Дешево он с тебя взял. Но и сделал дешево.

Подходит Дуся, Женькина жена, приносит кружку воды. На руках у нее дочка. Дочка острижена наголо. Дуся подает кружку Тольке и, покачивая девочку, приговаривает:

– Ах ты, стриженный-бритый. Чешется у нас от жары головка, чешется.

Толька выпивает воду, на лбу у него выступает обильный пот, на небритой щетине – черные капли, ворсинки стружек. Кричит на Женьку:

– Давай-давай! Давай быстрее! Да не забивай ты гвозди в дерево, они же ржавеют.

Пот он вытирает рукавом. Рукав порван на локте. Брюки тоже порваны, сквозь дырки

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
видны колени, виден карман. И все в глине.

Идет с ведрами к водопроводной колонке худая жена шофера такси дяди Васи Валя:

- Бог на помощь!
- Сами справимся, – говорит Толька.
- Храбрые! Дом большой. Ты что, Женя, на пятерых еще рассчитываешь?
- На каких пятерых?
- На наследников.
- Обойдусь.
- А дом большой.
- Злые люди завидовать стали.
- Я не завидую. Слава богу, построились уже. Я вот смотрю, жене твоей большие полы мыть придется.
- Было бы что мыть.

Подходит одноногий Генка Никольский, еще подходят соседи. Идут мимо за водой или на трамвайную остановку и обязательно по дороге перекинутся несколькими словами. И все замечают, что лудки сделаны с перекосом – на этой улице все в строительном деле понимают, все недавно сами строились.

– Это Митя, что ли, тебе делал? – спрашивает Женю Генка Никольский, называя имя плотника.

- Митя.
- А чего ж ты Тольке не дал? Толя, ты же столяр?

Толька Гудков наконец дождался своего. Он давно добивался, чтобы кто-нибудь задал ему этот вопрос.

– Я и столяр, и плотник, и дом, будь здоров, сложу. Я вот таких учеников, – показывает он на Женю, – человек десять выучил. – Теперь он еще энергичнее покрикивает на Женю: – Давай-давай! Целый день с тобой тут провозился, а у самого дома дел вот так, – проводит он ребром ладони по горлу. – Да поднимай ты, поднимай! Тяжело, что ли?

Еще подходит сосед, Федя-милиционер. Он тоже недавно построился.

- Женя, а сколько у тебя сантиметров от пола до подоконника? Восемьдесят пять?
- А кто ж его знает.
- Нет, Женя, ты сейчас должен решить. Восемьдесят пять или девяносто. Если под печное отопление, высоты стола довольно. Восемьдесят пять и хватит, а если паровое – до подоконника девяносто.

Меряют. Получается восемьдесят три. Женя машет рукой:

- Мне бы стены до зимы сложить.
- Нет, не говори.

Одноногий Генка догадывается:

- Ниже пол опустишь. Пробьешь в фундаменте углубления и балки опустишь. У тебя какие балки? Сороковка? На складе брал? Значит, тридцать пять – не больше.
- Ладно, – говорит Толька, – опустим ему балки. – Толька напрягается, выпрямляет

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
лудку прямо в стене. Примеривается и вгоняет гвоздь: – Она! – довольно говорит он.

К четырем часам дня на работу во вторую смену уходит Женькина жена Дуся, а минут через двадцать прибегает с работы Муля.

– Муля, – говорит Женька. – Сегодня ребята придут, пожрать бы им чего-нибудь.

– Сейчас, – говорит Муля и убегает на кухню. Муля недовольна. Раньше строительством руководил Женькин тесть, опытный плотник, но с тех пор, как Женька с ним поругался, не уважил его в чем-то, тесть на строительство ни шагу: «Сами тут без меня справляйтесь». Всю работу ведут ребята, Женькины друзья. Тесть уложил фундамент, а они стены подняли до половины оконных рам. Сегодня Толька Гудков устанавливал лудки. Муля обежала вокруг дома, лудки ей показались установленными косо. Она хотела промолчать, но все-таки сказала, не удержалась:

– А чего ж это лудки стоят косо? Вот здесь надо было вот так. – Она показала рукой. – А здесь потянуть влево.

Она бы еще что-нибудь сказала, но Женька окрысился:

– Вот ждали тебя, Муля! Ты придешь и все нам расскажешь. Без тебя тут дела не было.

Толька Гудков обиделся, стал объяснять:

– Тетя Аня, скажите спасибо, что хоть выправил я вам лудки. Вы ж Мите заказывали, за дешевизной погнались, он вам и сделал на соплях. Такие оконные коробки весь фасад могут искривить, а я вам его исправил.

Муля возилась в кухне и думала: подумаешь, обиделись! Столько денег, труда может пропасть даром, а им замечания нельзя сделать. Хоть бы кто-нибудь постарше пришел, углы завел. Пусть бы ребята клали стены, а углы заводил бы мастер. А то получится, как дядя Вася говорит: «Распить на четверых пол-литра, собраться в кружок, а потом толкнуть стены, а они завалятся».

Конечно, ребята уже по несколько лет работают, чему-то научились, но лучше, если бы ими руководил опытный мужик. Муля не доверяла Женькиным друзьям – все они пьяницы и шалопуты.

Однако, когда приехали на мотоцикле Валька Длинный и Валерка, Муля им сразу же предложила пообедать.

– Да нет, – сказал Длинный усмехаясь. – Не будем обедать. – Длинный лучше других видел Мулино беспокойство и неприязнь. Он сидел на своем «ковровце», как на детском стульчике, ожидал, пока Валерка слезет с заднего седла.

– Вы же только что с работы, – сказала Муля.

– Злее будем, – сказал Длинный и, медленно выпрямившись, перешагнул через мотоцикл.

– А то мы так пообедаем, – сказал Валерка, – что сразу поужинаем и спать ляжем.

Я тоже отказался от обеда. Муля спросила:

– Ну как, вам квартиру дают?

– Обещают.

– Сколько лет обещают!

– Надо, как Женька, – сказал Длинный наставительно, – своей мозолистой рукой. Женька вон на будущий год вселится. Женька, ты когда думаешь вселяться?

– Он об этом и не думает, – сказал Гудков.

– Тут еще работы! – сказал Женька. – Я вот думаю до дождей крышей коробку

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru накрыть, а то размокнет саман.

– Размокнет, – охотно согласился Длинный. И предложил: – А ты накрой коробку крышей и продай все это. А деньги на кооперативное строительство.

– Да я уже думал об этом, – сказал Женька.

– Вот зятю своему продай, – сказал Длинный и презрительно усмехнулся.

– Женя, – сказал я, – я тебе тут записку приготовил. На аэродроме есть место, о котором мы с тобой говорили. Пойдешь в понедельник по этому адресу, если захочешь. До понедельника тебя подождут. Не знаю точно, что делать, но, в общем, около самолетов.

– Ладно, – сказал Женя.

– Пойдешь?

– Вот, Витя, с хатой закончу...

– В общем, твое дело.

Мы с Иркой уже несколько раз пытались устроить Женю в техникум, институт, в училище летчиков гражданской авиации. Но все что-то не получалось. То Женя заваливал экзамены после первого же семестра, то оказывалось, что возраст ему уже не позволяет учиться на летчика.

Длинный позвал меня делать замес. Мы принесли воды, насыпали прямо на пешеходную асфальтовую дорожку глины, песку, сделали воронку и стали лить воду, перемешивали глину и песок лопатами. Раствор постепенно становился тяжелым, вязко хлюпал, мокрая глина налипала на лопату. Когда мы оба вспотели, тяжело задышали, Длинный, что-то прикинув, сказал:

– Знаешь, сколько мы заработали? Тридцать копеек на двоих. По твердым расценкам.

– Даром денег не платят.

– Трудно свой хлеб добывал человек, – сказал Длинный.

Он любил цитаты. Они все – и Длинный, и Женька, и Толька Гудков, и Валерка – охотно острили цитатами. Только со временем цитаты у них постарели – сколько лет я знаю этих ребят, а цитаты у них почти не меняются.

Взобравшись на риштовки, Валька срубил несколько длинных веток вишни, мешавших работать.

– Плакала Саша, как лес вырубали, – сказал он.

Ребята работали наверху, на риштовках, клали стены, а я подавал им саман и глиняный раствор. Я был подсобником при мастерах.

Вначале мне даже интересно было кидать вверх тяжелые кирпичи. Брошу точно кирпич – и доволен. Но часа через два у меня гудело все тело. Ребята подбадривают меня.

– А ты, Виктор, за двоих пашешь, – говорит Валерка.

Длинный задумчиво спрашивает:

– Что это саман два часа назад вроде полегче был?

Стены растут, но уже видно, что сегодня работы не закончить. Женька отлучается все чаще и чаще – он первый сдался. Ребята это сразу отмечают, но шутят над Женькой беззлобно. То, что Женька устает раньше других, давно известно. Потом сдается Длинный, прыгивает с риштовок, садится на саман и закуривает.

– Кончайте, – говорит он. – Темно уже. Запорем стены.

Толька Гудков и Валерка еще минут десять работают и тоже прыгивают на землю.

– Все, – говорит Валерка. – Мне больше всех не нужно.

– И мне, – говорит Гудков. – А надо было бы сегодня кончить. Все равно нам кончать придется. Может, подналяжем?

– Все, – говорит Длинный. – Я – все. – И поднимается, чтобы уж совсем закончить этот разговор. – Иду отмываться.

За ним поднимается Валерка. Гудков еще лезет на рихтовки, что-то подправляет, собирает инструмент. Потом и он спускается на землю, отряхивается и идет к хате.

– Толя, – кричит из кухни Муля, – полотенце и мыло в душе.

– Ладно, – говорит Толька и присаживается на приступки рядом со мной, Длинным и Женькой.

Мы долго сидим покуривая, изредка перебрасываемся словами. Глина сохнет у нас на руках, солома покалывает спину, шею, грудь, но нам не хочется подниматься.

– Иди ты первым, – предлагает Длинный Тольке, и Гудков, крякнув, поднимается.

Толька самый энергичный и выносливый. Моется он долго и шумно. Кричит из душа:

– Вода мировая. За день солнце нагрело.

– Всю воду не сливай, – отзывается Длинный.

– Бак полный, – успокаивает Длинного Муля. – Я с утра наносила.

Гудков возвращается из душа повеселевшим.

– Не горюй, – говорит он Женьке, – в субботу закончим. Тетя Аня, – обращается он к Муле, – в субботу стены закончим.

Муля не отзывается. Она недовольна. Ей кажется, что мы плохо работали. Весь вечер перекуривали, болтали, а дело стояло. Сентябрь кончается, скоро могут пойти дожди, да и денег на угощение нет. Уж у всех соседей занимали-перезанимали, не известно, как отдавать. Хорошо еще, что люди верят в долг, не отказывают. Понимают – строительство. Пока Длинный, Валерка и Женька мылись, Муля накрыла на стол. Валерка сбегал домой, переоделся. Женька тоже надел чистые брюки и рубашку. Переоделись в чистое Гудков и Длинный. Разомлевшие, сонными глазами они посматривали, как Муля ставила на стол селедку, колбасу, помидоры, и лишь когда на столе появились бутылки, они оживились, задвигались, по очереди прикладывали к бутылкам тыльные части кистей – пробовали, холодные ли.

– Холодненькая! – сказал Гудков.

– Прозрачная! – сказал Длинный.

Все захихикали, задвигались.

– Ну, что, алкоголики, – спросил Гудков, – приступим?

– Мне только пиво, – сказал я. Я хотел совсем отказаться от выпивки, но устыдился.

Ребята не стали спорить. Муля налила мне пива, я выпил два стакана подряд и вдруг от усталости осоловел, потянулся к водке. Мне налили, и я выпил, сказал уже с пьяной лихостью:

– Даем сердцу нагрузку. Работаем на сверхсмертность.

– На какую сверхсмертность? – спросил Длинный.

– Вы что, газет не читаете?

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– Ты их пишешь, – сказал Длинный, – ты их и читаешь.

Я объяснил:

– Сегодня в «Известиях» статья какого-то польского профессора. О долголетию. Любопытная статья. Цифры там интересные. Оказывается, во все века женщины жили дольше мужчин. У женщин смертность, а у нас сверхсмертность. Алкоголь, никотин, война.

– Так это мы сейчас на сверхсмертность работаем? – спросил Длинный.

– Гоняем же сердце под перенагрузкой.

– А-а! – сказал Толька. – Он придет с войны, а у него пять ран. Когда-то они дадут себя знать.

– Пей не пей, а если пять ран... – сказал Длинный.

Алкоголь и никотин в качестве причин, сокращающих жизнь, они сразу же отвергли.

– А вообще, – сказал Гудков, – женщины живучие. Мы ходим по квартирам, видим. Бабки в каждом доме есть, а дедов мало.

– Ну, дедов вы просто можете не видеть, – сказал я. – Днем многие деды на работе.

И вот тут Толька сказал:

– Да что там далеко ходить. Поднимите руки, у кого есть отцы.

Он посмотрел на Валерку, на Женьку, на меня, на Ваську Длинного.

Длинный сказал:

– Ты же знаешь, у меня есть.

– Все равно что нет, – ответил Толька. – Он же не с вами живет.

Потом Толька рассказывал мне, как он, Толька, в четырнадцать лет сбежал из дому, изъездил весь Советский Союз. И в Крыму побывал, и на Дальнем Востоке, и на Севере. Работал в тайге, воровал, ездил на поездах зайцем, прыгал на всем ходу с поезда, спасаясь от милиции, контролеров, сидел в лагере.

– Я совсем недавно остепенился. Когда я остепенился? – спросил он у Длинного. – Скажи ему, Валька.

– Да года четыре назад.

– Четыре года назад, – сказал Толька. – Женился и все. Понял? Завязал.

– А чего из дому бегал?

– Жрать нечего было. Шестеро нас у матери. Мал мала. Я средний. Куда ей вытянуть такую ораву!

Потом я рассказывал об Эстонии, о Таллине, в котором мы летом побывали с Ирккой, о том, как строили когда-то эстонские мастера-каменщики, так что до сих пор стоит, как новое. Крепостные стены, башни, дома, поставленные много столетий назад.

– Работать люди умеют, – сказал Толька. – Работали не тят-ляп. Вот и стоит.

В это время меня из-за стола вызвала Муля.

– Витя, – горячо и раздраженно заговорила она, – ты им чего-то рассказываешь, а они тебе в рот смотрят. А человеку завтра к шести часам на работу. И ребенку негде спать. Накурили, глаза залили. Пусть расходятся. Скажи им, ты все-таки постарше.

– Всем завтра на работу, Муля, – сказал я.

– Тебе к девяти, а мне к шести, – сказала Муля. – Пусть расходятся. Посидели – и хватит. Человеку завтра на работу.

– Да-да, – сказал я. – Хорошо.

Я вернулся к столу, рассеянно слушал Длинного и Тольку и все думал о том, как Толька попросил, чтобы те, у кого живы отцы, подняли руки, и о том еще, как Муля сказала о себе – человеку завтра на работу...

1965

– ЖЕНЯ И ВАЛЕНТИНА –

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В воскресенье, 22 июня 1941 года, рано утром, Валентина собралась к своим на окраину. Еще до того, как выйти замуж, Валентина ушла от родителей в заводское общежитие.

Родилась она 7 ноября и в детстве всегда считала, что и красные флаги и иллюминация в городе ради нее. Потом, когда она подросла и отделила общий праздник от своего, все равно радовалась флагам больше, чем другие. В школе она была отличницей, и на ноябрьские праздники в школьной стенгазете ее поздравляли особо. На заводе она стала ударницей, и в заводской многотиражке ее поздравляли с праздником и с днем рождения. Теперь она уже никому не рассказывала, как знаменательно совпадает ее маленький праздник с революционным – стеснялась, – но все равно кто-то об этом узнавал, и в компании или на собрании поздравляя всех с праздником, ее поздравляли особо. И все оборачивались к ней, аплодировали, хоть на собрания не ходи. Но не ходить на собрания она не могла. Она и на свехурочные оставалась охотно, и на воскресники выходила, и осуждала тех, кто уклонялся.

Она и замуж вышла за парня, который жил с полной нагрузкой – рабочей, общественной, спортивной.

И раздражалась она, выйдя замуж, потому что ее самостоятельность как-то обесценивалась. Муж никогда ничего не пытался ей запретить или навязать. Пожалуй, это она пыталась ему что-то запрещать. Она бросила спорт и хотела, чтобы и он тоже бросил. Она хотела, чтобы он ходил вместе с нею в институт, но в институт он не поступал. «Ты был бы счастлив превратить меня в свою домработницу!» – говорила она ему. Или: «Твоя мать тебя испортила. Она всех вас испортила. А вы на базар никогда не ходили, не знаете, сколько вашей зарплаты на один базар». Женя соглашался. Но Валентине этого было мало. Он просил ее: «Валя, слей на руки, я умоюсь». – «Набирай в рот воды и умывайся», – холодно отвечала Валентина.

На заводе она работала шисьельницей, потом учетчицей, обедала в цеховой столовой, отдыхала в обеденный перерыв в цеховом красном уголке. Дышала воздухом, синим от металлической пыли, от газов расплавленного металла, сидела на металлическом табурете, в столовую поднималась по железным, приваренным к металлической балке ступеням, держалась за металлические перила. Здание цеха было высоким, с мощным вентиляционным устройством, но никакие вентиляторы не могли полностью откачать из воздуха пыль. Они только поднимали ее вверх, и весь потолок был плотно закрыт и закрашен пылью. Она нарастала там день за днем, месяц за месяцем. Там была уже особая, потолочная структура пыли. Какие-то частицы оседали, какие-то не удерживались, падали, а потолок тяжелел и тяжелел. Если бы его однажды можно было встряхнуть – вниз бы рухнула многотонная масса.

От пыли и газа в этом цехе, где было много огня, стоял постоянный полумрак. Обычный полумрак литейного цеха, одинаковый днем и ночью. И звуки здесь были привычные для литейного цеха: шипение как будто где-то перехваченного шланга со сжатым воздухом, удары формовочных станков и грохот и звон огромных металлических барабанов, внутри которых падали, перекачивались металлические детали. Звуки были такой же плотности и густоты, как и пыль.

Цех был новый, огромный, оборудованный по последнему слову тогдашней техники.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Над головами людей, под крышей, по конвейеру текла к станкам формовочная земля, формовщик только открывал заслонку – и земля падала в опоку. Формовщик расправлял ее руками и лопаткой, включал станок, и тот, свистнув сжатым воздухом, сотрясая фундамент, сотрясая пол, на котором стоял формовщик, уплотнял землю в опоке, трамбовал ее.

Готовые формы ставили на конвейер, и они проходили под ковшем с жидким металлом, который сюда подвозил подъемный кран. Потом конвейер сбрасывал залитые формы на металлическую решетку, которую трясло так же, как формовочные станки, и земля из форм выбивалась, выкрашивалась, уходила вниз, под решетку, а металлические детали, еще малиновые от огня, еще не как сталь, не звонко, а глухо звучащие, крючьями отбрасывались в сторону.

Формовщики и литейщики работали быстро, зарабатывали хорошо, получали молоко и спецпайку, но до тех пор, пока был принят закон, разрешавший начальнику удерживать на предприятии рабочих, литейщики и увольнялись чаще других.

Когда Валентина проходила мимо конвейера, ее всегда тянуло остановиться посмотреть, как бегают формовщики, как соединяют половинки форм и несут их вдвоем на конвейер, как наклоняются друг к другу и что-то кричат на ухо, как орудует длинной затычкой литейщик у ковша с расплавленным металлом. И она останавливалась и смотрела. Но ей и заслониться от этого хотелось тоже, как бывает, когда смотришь на сильный огонь.

Самой Валентине после того, как она преодолела первый страх и вошла в шишельный цех, отделенный от всего литейного низкой металлической перегородкой, после того, как свыклась с горящим дымным воздухом, с земляной, масляной своей работой, литейный даже нравился. Работа была простая, бригада шишельниц почти не менялась, а кроме того, цех на заводе был «самым». Самым вредным, самым горячим. Все, кто работал здесь, были на передовых позициях. Об этом говорили на собраниях, писали в заводской многотиражке. И вообще было в этом огромном, грохочущем вспышками пламени, темном, тяжелом здании что-то такое, к чему Валентина смогла привыкнуть. А привыкала она надолго.

Она, конечно, и боялась работать в литейном, и даже планировала когда-то уйти из него, но это были мысли неопределенные. Они и не могли быть определенными, пока она жила в общежитии, питалась в заводской столовой, ходила в вечернюю школу. Ее хвалили в цеховой стенгазете, ее фотография висела на доске почета в красном уголке. Выходя из цеха после смены, она чувствовала полное удовлетворение – наработалась. Потом она шла в общежитие: ела по-мужски, не готовя, не поджаривая, причесывалась по-мужски просто и шла в школу. В воскресенье ходила в спортзал или – летом – на водную станцию.

Когда она познакомилась со своим Женей и сказала ему, что родители ее живут в этом же городе, он удивился. И так и не понял, почему она живет в общежитии, а не у своих. Когда Женя чего-нибудь не понимал в новой машине, он становился серьезным, лез в справочники и постепенно разбирался. Когда он сталкивался с чем-нибудь непонятным и непривычным в жизни, когда он не понимал чьих-то поступков, он морщил нос, посмеивался и не возражал. Он был очень терпимым человеком. Валентина ни разу не слышала, чтобы он кого-нибудь резко осудил или выбранил, и это ее сильно раздражало. Непонятное Женя просто быстро забывал. Мало ли в жизни странного – не трогайте людей, они сами разберутся.

Вначале в общежитии Валентине почти все нравилось. Нравилась мужская свобода от приготовления пищи, от слишком частого мытья полов, бесконечной стирки, от родительского надзора. Нравилось вместе со всеми утром выходить на работу. В тот ранний час, когда девчонки идут еще самой лучшей своей бодрой походкой, когда они еще не устали, еще стройны и высоки, когда волосы еще хорошо завиты и губная помада не съедена, а от ребят удушливо пахнет вчерашними папиросами, утренним табачным перегаром. Нравилась умывалка с ее очередями, в которых встречаешь знакомых (вода сама течет из крана: мой посуду, стирай, а дома еще надо нанести из колонки). Нравилась вечерняя школа с ее странной, нешкольной, ночной жизнью. Всегда при электрическом свете, в чужих классах, со взрослыми соседями за чужими партами. Днем здесь настоящая, дневная школа, учителя сидят в настоящей учительской, а вечером приходят вечерники, их встречает равнодушная, усталая дежурная нянечка, учительская в какой-то кладовке, половина классов заперта, не освещена, ученики курят на переменах.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
И все-таки это школа. Училась она хорошо, времени не замечала.

Но, видимо, в ней всегда было живо чувство, что и литейный цех, и общежитие – все это не навсегда. Это как вечерняя школа – когда-нибудь ее окончишь. И когда они с Женей увидели друг друга, когда она однажды даже против своей воли подумала: «Господи, за что же мне такое счастье!» – она вдруг увидела, что в этом огромном здании много затемненных переходов, тупиков, поворотов, спусков, подъемов, где можно долго оставаться незамеченной, где можно вдвоем посидеть на теплой, обросшей затвердевшей пылью трубе какой-нибудь цеховой магистрали, на куче желтого песка и вообще уединиться и отделиться от начальства и подруг. А когда Женя привел ее к себе, она легко и радостно рассталась с общежитием, а забеременев, из шишельниц перешла в учетчицы, а из учетчиц в лаборантки и старалась пореже спускаться из лаборатории в сам цех, пореже дышать загазованным воздухом.

Общежитие она покидала даже с облегчением. Все-таки надоело за несколько лет одеваться и раздеваться при всех, спать, когда другие не спят, зажигать свет, когда другие заснули. Но и в семье у Жени она никак не могла по-настоящему прижиться. Боялась сделаться домработницей. Боялась, что здесь ее запутают старорежимной вежливостью и добротой, заставят бросить работу, институт, отказаться от общественных нагрузок. Самый старорежимным человеком в семье Валентина считала Женину мать Антонину Николаевну. Уклончивая доброта Антонины Николаевны, ее способность молчаливо делаться незаметной, любыми способами сохранять в семье мир казались Валентине той самой опасной в наше время интеллигентской бесхребетностью, против которой всех предупреждали газеты.

Правда, Антонину Николаевну лишь с большой натяжкой можно было назвать интеллигенткой. Отец Антонины Николаевны, Женин дед, как и отец Валентины, был железнодорожником. Но отец Валентины был ремонтным рабочим, а Женин дед водил пассажирские поезда. В девятьсот четвертом и девятьсот пятом годах он участвовал в революции, и об этом довольно охотно рассказывали в семье, участвовал он и в революции семнадцатого года, и об этом тоже рассказывали, но глуше и не до конца. Говорили, что он водил бронепоезд, был против царя, Керенского и белых, но в двадцатом или в двадцатых годах что-то с ним произошло странное, о чем никогда до конца в семье не говорили (за эту уклончивость, за эту скрытность Валентина как-то в минуту раздражения и выругала всех про себя: интеллигенты проклятые!), и он то ли погиб, то ли скоропостижно умер. Вообще-то Валентина чувствовала, что и о революции девятьсот пятого года в семье говорили не так уж охотно. Время это – все понимали – было героическим, но героическим вообще, если не присматриваться к деталям. А так многое тогда еще делалось с ошибками, стихийно, на местах, в стачечных комитетах, в местных партийных комитетах, а партий тогда было много, и почти все они потом оказались контрреволюционными. Но, конечно, все это было давно и никакого влияния на жизнь семьи не оказывало. И когда Валентина осуждала Антонину Николаевну, не о Женином деде она думала, а о том, куда могут привести женщину бесхарактерность и безликость. Нельзя же забывать – Валентина помнила об этом каждую минуту! – что мир отравлен не только классовой эксплуатацией, но и вековой тиранией мужчин. Кто такая Антонина Николаевна? Домработница без трудовой книжки, без права увольнения. Домработница для всех своих родственников и для нее, Валентины, тоже. Квалификации никакой – когда-то работала в конторе, но что знала, давно забыла, а нового ничего не приобрела. Газет не читает, о том, что происходит в мире, имеет самое смутное представление. Что услышит за столом, то и ее. Правда, она могла бы составить книгу кухонных рецептов, знает, как приготовить десятки, а может быть, сотни блюд, сами названия которых звучат по-старинному, а она ухитряется их готовить, хотя то этого, то того постоянно не хватает. И стол она в праздники накрывает и на двадцать, и на двадцать пять человек. Сколько гостей ни придет, стол всегда прекрасно накрыт. (Это обилие праздничной еды, которую никто не мог съесть, всегда изумляло Валентину. «А пусть пропадает, – сказала ей Антонина Николаевна. – Это не для того, чтобы съели, а для радушия».) И готовит Антонина Николаевна вовсе не то, что сама любит – за столом она почти не ест, – а то, что любят другие. Печеного теста она, например, избегает и водки никогда не пьет, но пироги и водка у нее бывают разные. И это тоже сердило Валентину. Если ей приходилось готовить, она делала только то, что ей самой хотелось съесть.

И вообще только на собрании и на работе все было ясно – за это Валентина и любила собрания и работу. Дома все было запутанно. И ты любишь, и тебя любят – и вдруг вражда! То ли к тебе стали хуже относиться, то ли ты всех видишь насквозь. В такие минуты Валентина кому угодно могла сказать самые страшные слова. Жене:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
«Говоришь, мать любишь! (Женя никому этого не говорил.) Любишь, чтобы спокойнее жили вытягивать. Вы же ее эксплуатируете. Лучше бы поменьше любили». Антонине Николаевне: «А вы, мама, добрая, добрая, а все замечаете!» Это Антонина Николаевна остановила Женю, велела снять рубашку и пришила болтавшуюся пуговицу. В такие минуты Валентина думала: «Надо уйти, надо жить самостоятельно. От своих ушла, и отсюда надо уйти». Но Женя, посмеиваясь, уходил на тренировку, Антонина Николаевна брала на себя Валентинину домашнюю работу, и Валентина думала: «Ну и черт с вами, ничего вам не сделается!» И от этой смелой, совсем не женской мысли ей становилось весело, она уходила в институт, спокойно сидела в аудитории, спокойно возвращалась домой, рассказывала Жене, как устала на лекциях, и уже совсем по-мужски не спрашивала, что ел перед сном пятилетний Вовка и хорошо ли умыла его на ночь Антонина Николаевна.

Потом Валентина опять стирала на Вовку и мужа, вздрагивала от какой-то нелепой и радостной мысли: «Случись что-нибудь с Женей – хоть под поезд!» – радовалась своей семье, но и мысль о том, что надо все-таки уйти вместе с мужем от его родителей, освободиться от тины мелкобуржуазных родственных отношений, где сама любовь неравноправна: кто-то любит в свое удовольствие, а кто-то себя забывая, – зажить здоровой жизнью без этого разделения на работу, общественную жизнь и жизнь домашнюю, все укоренялась в ней и укоренялась. Она еще не знала, как это будет на самом деле, но считала, что вначале им с Женей надо отделиться, получить новую квартиру или построить себе дом. Получить квартиру на заводе было очень трудно, вот она и решила съездить в это воскресенье на окраину, к своим, посмотреть, как идет строительство дома у мужа старшей сестры Ольги и прикинуть, стоит ли им с Женей братья за такое.

* * *

Рано утром Валентина подняла Вовку, напялила на него не гнущиеся от новизны сандалики, сказала Жене:

– Я к нашим. Сто лет там не была.

– Хорошо, – сказал Женя.

Он не заметил демонстрации, которую устраивала ему Валентина. Если бы он немного удивился: «Воскресенье, а ты уходишь!» – или изумился: «Почему без меня?» – Валентина сказала бы: «Тебе неприятно? А мне, думаешь, приятно, когда ты уходишь из дому на свои тренировки?» Валентина хотела стычки, даже скандала, но Женя не рассердился и не удивился, и это было для нее самым худшим. На Валентину часто находило такое – она переставала верить Жене. Не может человек в двадцать восемь лет быть таким простодушным! Даже не спросить жену, чего это ей в воскресенье вздумалось уходить из дому без мужа! И вообще все они, и муж и его родители, слишком спокойно живут. А если разобраться объективно, то и Женя и Антонина Николаевна совсем не такие, какими на первый взгляд кажутся. Есть же у Жени в характере что-то темное, даже жестокое. Откуда у него это увлечение боксом?

И Валентина в который уже раз (с этого и началась ее демонстрация) вспомнила, как она в прошлое воскресенье пришла к мужу на тренировку. Они собирались в кино, и он должен был подождать ее у подъезда Дома физкультуры, но Валентина пришла раньше, чем закончилась тренировка, и знакомый парень уговорил ее пройти в зал, где занимались боксеры. В Доме физкультуры резко пахло спортивным залом, то есть потом, ногами, потеющими в резиновых тапочках, баней, и этот запах почему-то напугал Валентину. По дороге парень представлял ее каким-то ребятам. Узнав, чья это жена, они говорили многозначительно: «А-а!»

В боксерском зале, когда прошло первое смущение, Валентине стало страшновато. «Как в зуболечебнице», – подумала она, увидев около помоста, обтянутого канатами, две высокие жестяные плевательницы. Такие плевательницы ставят рядом с зубо-врачебным креслом. И как в кабинете зубного врача, жестяные края плевательниц были измазаны кровью, в крови были и куски ваты, приставшие к краям. Сходство с зуболечебницей дополнялось еще и несколькими жестяными же, похожими на перевернутые плевательницы, абажурами, которые висели низко над помостом. Помост был ярко освещен, так что весь зал, в котором человек десять, лоснящихся от пота, колотили кулаками по круглым, тугим мешкам, прыгали через скакалки, казался погруженным в полумрак. И этот полумрак, и этот яркий, отраженный жестяными абажурами свет – все показалось Валентине неестественным, больничным. Она не сразу узнала Женю, который стоял на помосте против высокого, широкоплечего парня и слушал, что говорил мужчина в синих трикотажных брюках и в

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru рубашке с длинными рукавами.

– Сейчас Женя будет работать, – сказал Валентине парень, который привел ее в зал. – Тренер дает им наставления.

Валентина и сама догадалась, что Женя и тот, широкоплечий, высокий, почти на голову выше Жени, – будут драться. И высокий, конечно же, измолотит Женю своими устрашающе огромными кожаными кулаками. И правда, когда тренер отошел, высокий двинулся вперед и махнул длинной рукой, а Женя сделал шаг в сторону и быстро наклонился.

Тренер сказал:

– Осторожно, Женя, боковыми не работай. Перед тобой новичок.

И потом тренер все время повторял, словно упрашивал и успокаивал:

– Только прямыми, Женя. Перед тобой новичок.

Валентина постепенно вслушалась в то, что говорит тренер, увидела, как неуверенно машет своими длинными тяжелыми ручищами Женин противник, какое у него смущенное, будто виноватое лицо и как с каждой минутой оно становится все более и более виноватым, и пожалела его. И когда высокий все-таки дотянулся, достал Женю по голове и Женя, до этого не очень сильно нападавший, вдруг встрепенулся, Валентина испугалась – сейчас он больно ударит своего тяжелого и неуклюжего противника. Но Женя только встрепенулся, а бить сильно не стал. Когда в зале ударили по железке и тренер махнул рукой, Женя дружески похлопал своего могучего противника по плечу. Он сделал это без всякого перехода, совершенно спокойно, будто они и не дрались вовсе. А высокому явно требовался такой переход: Женя у него что-то спрашивал, а он смущенно и оглушенно молчал, не слышал и будто даже не знал, в какую из четырех сторон сойти с помоста.

Когда после тренировки Женя и его недавний партнер, которого звали Петя, уже одетые вышли из раздевалки, Валентина поразилась – насколько крупнее мужа казался этот большой, хорошо развитый, мускулистый парень. Он был в военной форме с лейтенантскими кубиками в петлицах, и военная форма особенно подходила к его широкому, мужественным плечам. Женя в своей белой шелковой рубашечке с короткими рукавами выглядел щуплым рядом с ним. То есть выглядел бы, если бы Валентина не видела их только что вместе на помосте, огороженном канатами.

Весь вечер Валентина тихо гордилась мужем. Оно гордилась им, когда они стояли в очереди за билетами в кино, когда Женя вежливо разговаривал с группой подвыпивших ребят, пытавшихся смять очередь. Они послушали его, хотя он как будто бы и не повышал голоса. И вообще в толпе у окошечка кассира рядом с другими мужчинами Женя ни разу не пытался схамить, повисить голос, показать, что все эти мужчины, несмотря на их рост, ширину грудных клеток, слабаки по сравнению с ним. А Валентине даже хотелось, чтобы показал.

А после картины, в которой была война, была любовь, в которой герой уходил от плохой женщины к хорошей, Валентина сказала:

– Такая гадость этот твой бокс. Грязные, потные, носы друг другу разбиваете. Узаконенное хулиганство. Потом от вас воняет. Чтобы ты туда больше не ходил.

Женя промолчал. У него была такая манера – не отвечать, если он считал, что Валентина говорит абсолютно несерьезные вещи.

И вот теперь Валентина протестовала.

Она протестовала уже несколько дней. Если Женя у нее что-нибудь спрашивал, она не сразу отвечала. Ждала, пока Женя повторит свой вопрос. Если Женя брал ее за руку, она тотчас освобождалась, морщилась, говорила холодно: «Пусти». Она не скандалила, не кричала – хотела быть такой же спокойной и выдержанной, как Женя. Такой же мягкой и воспитанной, как его мать Антонина Николаевна. А Женя ничего не замечал, копался в своих справочниках и только иногда хмурился, поглядывая на Валентину. Так прошло два дня, а на третий Валентина забыла, из-за чего началась ссора, и обижалась на Женю уже не потому, что он не ответил ей, когда она запретила ему ходить на тренировки, а потому, что он целых два дня не замечал,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru что она оскорблена, страдает и не хочет с ним разговаривать. «Это не от спокойствия, не от наивности, – думала она о Жене, – это от равнодушия. Он равнодушный, черствый человек, любящий только самого себя, свои мускулы, свою технику, свои справочники. Он никого и ничего рядом с собой не замечает, оттого он и уравновешенный и спокойный такой». И Валентина припоминала Жене все, что, по ее мнению, характеризовало его дурно, как черствого, себялюбивого человека. Она вспоминала, как спокоен бывает Женя, когда заболевает Вовка. Она места себе не находит, ночами не спит, только задремлет и тут же с испугом вскакивает, как будто ей надо рано на работу и она боится опоздать. А Женя спит спокойно. Она намается с Вовкой, разбудит Женю, чтобы он ее сменил, он встанет, покачает Вовку, поносит его на руках, а потом опять ляжет и сразу заснет. Или упадет Вовка во дворе, Валентина и Антонина Николаевна наладятся бежать на его крик, а Женя их удерживает: «Сам переплачет».

Болезненный Вовка был величайшим счастьем и страданием Валентины. А ведь ничего такого Валентина раньше о себе самой и не думала. Когда вышла замуж, долго не хотела ребенка. Женю она сразу предупредила: «Не надо нам никого третьего. Нам и вдвоем неплохо. Надо работать и учиться». Беременность переносила тяжело, а родила – год или два для нее никого, кроме Вовки, не существовало. Потом, конечно, все понемногу опять восстановилось, расставилось по местам: и Женя, и работа, и учеба, – но что-то так уже и не могло измениться. И Женя будто подальше отошел, и работа. Но, видно, не впрок Вовке пошла Валентинина любовь, болел он часто, и то недокармливали его, то перекармливали. И однажды Валентина, отчаявшись, решила отдать его в ясли – пусть будет как все! Она навсегда запомнила первый день, когда пришла забирать его. Увидев ее, Вовка бросился бежать не к ней, а от нее. Она от стены оторвать его не могла – так он плакал. Воспитательница ей сказала: «Большинство привыкает. Многие идут охотно – здесь им лучше, чем дома. А есть и такие, домашние дети. Ваш ребенок домашний».

Еще несколько раз она носила Вовку в ясли. Она уговаривала себя: «Все дети ходят в ясли!» Ругалась с Женей, с Антониной Николаевной: «Вовка ничем не лучше других. Привыкнет. Он дома всем голову пробил». Потом Вовка заболел, и она еще по инерции решила, что это несерьезно, что-то вроде кризиса. Перетемпературит, и вместе с температурой уйдет страх перед яслями. Но Вовка температурил день, два, а на третий день его забрали в больницу. Вместе с Вовкой в больницу легла и Валентина. Пускали туда не всех мам, а только тех, чьим детям не больше четырех лет. В больнице было тесно, в боксах по две кровати, мамам вообще негде прилечь. Целый месяц Вовка то выздоравливал, то умирал, а Валентина спала только тогда, когда приходил после работы Женя и сидел над Вовкой часа три (Антонину Николаевну, которая появлялась под больничными окнами с домашними борщами, бульонами, салатами в кастрюльках, Валентина как бы и не замечала). Сколько ужасов за это время натерпелась Валентина: по три раза в сутки обмирала вместе с Вовкой, когда в бокс входила санитарка с горячими простынями и тазом с еще парующей горчицей. Женя уходил из бокса, говорил, что одним криком Вовка разорвет себе грудь, что от простынь-горчичников мучительства и вреда больше, чем пользы. А Валентина не отвечала. Ей некогда было отвечать. Она брала Вовку на руки, и носила, и тянула: «А-а!» Она только и могла тянуть свое «а-а»... Она никому не отвечала, ей никого и ни о чем не хотелось спрашивать, она плохо видела Женю и почему-то плохо думала о нем. «Вот выйду из больницы, разведусь с ним и буду жить с Вовкой. Никого нам не надо». Но и эта мысль не задерживала ее. Потом уже, когда она вышла из больницы, Валентина рассказывала, как завидовала соседке маме, здоровенной девахе, которая просила ее: «Ты все равно не спишь, посмотри за моей девочкой». А девочка вяло лежала на спинке, того и гляди синеть начнет. Валентина будила деваху, та вскакивала, хватала кислородную подушку, откачивала кое-как дочку и опять ложилась спать.

К концу месяца Валентина опухла вся, отсырела. Ноги у нее отекали, но и это ей было все равно. Вышла из больницы и сама себя почувствовала другой: что было важно – теперь не важно. Даже на Женю смотрела – отталкивала. Как будто второй раз Вовку родила, и никто ее понять не может: ни мать, ни свекровь. С другими детьми стала жестокой. Ну, не жестокой, но равнодушной. Давала конфету Вовке и забывала дать конфету мальчику, с которым он в это время играл. Или говорила Вовкиному другу: «Сережа, ты поиграй во дворе, Вова будет обедать».

Женя однажды сказал: «Испортишь пацана». Но Валентина только враждебно подумала о нем: «Здоровый, и ничего ему не делается». Оттого что Женя всегда был здоров, от него, ей казалось, исходила опасность для Вовки. Женя все стремился одеть его полегче, дать задание потруднее, игрушку посложнее. Она знала, что Женя думает о

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Вовке как о будущем взрослом человеке, что он не чувствует его так, как чувствует Вовку она. Она иногда за обедом подвигала Жене тарелку с остатками Вовкиной каши: «Доешь». Вовка ел плохо, перемешивал, перековыривал еду, кашу заливал вареньем, засыпал сахаром, пускал слюни. Женя отодвигал Вовкину тарелку. А Валентина допивала и доедала после Вовки. Она и не то могла бы сделать. Как-то она видела, как собака прибирает за своими щенками, вот и она могла бы, как собака. Она как-то спросила Вовку, играя с ним: «Ты какой?» И Вовка ответил ей своим детским словечком: «Тельцевый». Вот он и был для нее тельцевым, маленьким продолжением ее тела, куда более дорогим ей, чем ее собственное тело.

Однако время пришло, и Вовку отдали в детский садик. Она сама отвела его туда. Он скандалил, и она кричала на него, тянула за руку – опаздывала на работу.

Уже целый год Вовка ходил в садик, но так и не привык, так и остался домашним ребенком.

А Женя чего-то не понимал. Он замечал, что Вовка после болезни стал трусоват, слезлив, что его закармливают и занячивают. Женя считал, что его сын должен быть лучше его самого, жени. Это совпадало бы с общими законами развития и прогресса. Но ему казалось, что Вовка не лучше, чем был он, Женя, в его возрасте. И это Женю угнетало. Ему иногда приходило в голову, что именно таких пацанов, как Вовка, он в детстве не любил, дразнил, а иногда и поколачивал. Вот таких толстых, розовых и трусоватых.

Как-то он заговорил об этом с Валентиной. Валентина ответила: «Отцовской заботы мальчик не чувствует, отцовского примера ему не хватает». И стала на Женю нападать: «Я знаю, если бы сын, не дай бог, вырос бы плохим человеком, ты бы отказался от него». Женя удивился: «Каким плохим человеком?» Валентина продолжала настырно: «Ну, скажем, бандитом или фашистом». Женя удивлялся. Он не понимал Валентиной потребности вот так раздражать себя, доводить все до какой-то ужасной крайности. Но Валентину нельзя было остановить: «Ты бы отказался и был бы спокоен. Ну немного поволновался бы, а потом успокоился». Женя пожимал плечами. Он видел, что вызывает раздражение Валентины, но не понимал причины этого раздражения.

* * *

Рассердившись на Женю за то, что он так легко отпустил ее, Валентина вышла из дому в самом дурном расположении духа. Ехать ей надо было до рынка, а там пересаживаться: на окраину, где жили Валентины родители, в гору, поднимался моторный вагон – подъем был крутой, прицепку трамвай не вытягивал. Это был девятый номер. «Девятка» никогда не ходила пустой или даже полупустой. Отойдя от рынка, трамвай еще в городе делал три остановки, но на этих остановках уже почти никто не садился – это было невозможно. Все шло к рынку, на конечную. И пахло в «девятке» не так, как в других городских трамваях: мешковиной, рогожей, старорежимными, длинными, до самых пят, сношенными старушечьими юбками и, главное, рынком – теснотой, молоком, потеками на мясных прилавках. В девятом номере продукты возили не только с рынка, но и на рынок. И место женщине с ребенком здесь редко уступали.

На остановке Валентину перехватила Нина-маленькая из бригады шисьельниц литейного цеха. В руках у нее были кошелка с картошкой, бутылка рыночного молока.

– Валя, – сказала она, – я вижу, ты спешишь, но я тебя хочу задержать. Пропусти этот трамвай, следующим поедешь. Мне надо тебе рассказать. Саша уже две недели не приходит...

Нина-маленькая была добрейшее существо. Она жила со взрослеющей дочкой, а Саша был один из тех мужчин, которые приходили к Нине-маленькой по вечерам.

– Он женат? – спросила Валентина.

– Нет! – сказала Нина-маленькая. – Был! Но года четыре как разошлись.

– Так зайти к нему.

– Он адреса не оставил. Я тебе скажу, он и не Саша вовсе, а Фотий. Он из старообрядческой семьи. Валя, ты же меня знаешь, я ведь не стерва. Мне ничего от него не надо. Ему скоро пятьдесят, он весь больной, я за ним, как за ребеночком,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru хожу. Ну скажи, почему другие бабы рвут с мужиков деньги, подарки требуют – стервы стервами, а их ценят. А вдруг он болен, лежит, за ним ухаживать надо? Знаешь, я как-то спросила человека, который с ним работает: «Скажи, а что люди о Саше говорят, какой он на работе?» Валя, мне же интересно, какой он с людьми. И знаешь, что мне этот человек ответил? «Не хотелось бы вас огорчать, но с кем вы о Саше ни заговорите, большинство вам скажут, что он сволочь». Валя, а подозрительный какой! Он же раньше в органах работал, по недостатку здоровья ушел... Сам исчезнет, а потом придет через десять дней – где был, что делал, я у него не спрашиваю, – а он начнет меня рассматривать: «Покажи синяки!» И примеривается: «Вот так тебя брали и вот так».

– А ты бы ему сказала: «А теперь давай твои синяки проверим».

Нина-маленькая недоверчиво улыбнулась:

– Валя, я серьезно. Он придет, я же не смогу молчать, ничего не говорить, будто ничего не было. Что же мне делать?

По-настоящему эту Нину-маленькую надо было бы поставить перед собранием в цехе и дать ей, чтобы не портила дочь, не показывала ей дурного примера. Но Нину никуда не надо было вытаскивать. Все о ней и так знали. Знали, что она своего Сашу никогда Сашкой не назовет, не скажет «мой» или «этот», а всегда со значением: «Саша просил меня не афишировать его...»

– Ты скажи ему: «Нельзя со мной так обращаться. Я же волнуюсь, может, ты заболел, может что-то случилось, а я не знаю, как тебя разыскать».

– Да, да, – сказала Нина-маленькая. Ее обрадовала эта уступчивая претензия.

В трамвае Валентина решительно раздвинула пассажиров и подтолкнула Вовку к дядьке, который только что сел на скамейку у первого окна.

– Садись, – сказала она Вовке, как будто место было пустым.

Дядька был в праздничном пиджаке, и, как от всех праздничных пиджаков в этом трамвае, от него, несмотря на раннее утро, уже пахло вином. В трамвае ехала какая-то артель, и дядька, судя по осанистости, был в ней бригадиром. Он нехотя встал, и какой-то его напарник тотчас уступил ему место, а Валентина сказала:

– Инвалидов много развелось. Утро, а ноги не держат.

Она не боялась заводить скандалы – в этом же окраинном трамвае училась «отгавкиваться». Она и Женю однажды пыталась в этом трамвае защитить. Какая-то девчонка наступила ему в толкучке каблуком на ногу, Женя юмористически охнул, а Валентина тотчас сказала девчонке:

– Не на скачках, нечего ногами перебирать.

Девчонка была тоже с окраины, она ответила, и они с Валентиной сцепились, а Женя удивился и смутился. Но Женя, считала Валентина, вообще многого не понимал.

Трамвай шел по путепроводу. Внизу тускло лоснились солнцем черный паровозный шлак, черные шпалы, густо политые мазутом, нефтью и керосином. Валентина смотрела вниз, не крикнет ли маневровый или транзитный паровоз, чтобы вовремя зажать Вовке уши.

Преодолев подъем, трамвай пошел быстро, на ходу его мотало, словно расстояние между рельсами было слишком широким для его колес.

Теперь на остановках только выходили. Почтительно пропустив бригадира, вышла празднующая воскресенье артель. Только в этот момент обнаружилось, что с артельцами ехали женщины. Они пошли за мужчинами в своих платьях с круглым вырезом на груди, с рукавами на резинках – фонариком («рукав повен, повен»), в платочках в синий горошек, или, как тогда говорили, в копеечку. Мужчины помогали им спрыгнуть – рельсы лежали здесь не как в городе, не на уровне мостовой, а как на железной дороге: насыпь, а на ней шпалы. И весь путь уже казался не трамвайным, а железнодорожным, и все вокруг было таким, каким его видишь не из трамвайного, а из железнодорожного вагона: бесфасадные – не перед кем

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
красоваться – складские помещения, длинная заводская стена, посреди неогороженного пустыря арка никому не нужных ворот (стадион), беленые дома из самана с синими ставнями.

Валентина вышла на кольцо – конечной остановке. Здесь начиналась степь и было слышно, как гудят провода. И солнце здесь было сухое, степное, с сухим жаром, вызывающее сердцебиение одним прикосновением к коже. Мощеная дорога сменялась грунтовой, приусадебные сады – огромными ромашками огородных подсолнухов. Над подсолнухами воздух завивался прозрачными струйками – сухая степь что-то непрерывно испаряла. Было странно после трамвайной толчеи, после грохота попасть в эту тишину и оглянуться на город.

Валентина за руку перевела Вовку через трамвайные рельсы и отпустила. Вовка обрадовался солнцу, степи, гудению столбов, тому, что можно выбегать на середину улицы и не бояться лошадей и автомобилей.

Проезжая, немощеная часть улицы, которой они шли, была как бы продолжением степи в городе. Подходы к домам были вымощены строительными отходами: битым кирпичом, кусками песчаника, щебнем, – улицу же хозяева домов были не в силах замостить, она так и осталась земляной, перепаханной хозяйками, закапывавшими в нее кухонный мусор, разбитой тележными и автомобильными колесами. Картофельные очистки, хлебные корки быстро перегнивали в земле, но битое стекло, консервные банки, жужелицу земля быстро переработать не могла. И все же это была земля, и пахло от нее дорожной пылью, сухостью, коровами и жильем. Улице этой было лет десять, и в основном все здесь отстроились. Во многих дворах времянки уже сломаны, в других оставлены под летние кухни. Кое-где по-деревенски держали коз и коров.

Да и сама деревня была рядом. Улица упиралась в пустырь, за пустырем огороды, за огородами – хутор Приреченский. В хуторе, большинство жителей которого работало в городе на заводах, на станции, все же сельская власть – сельсовет, колхоз. И дальше, вдоль железной дороги, был еще один хутор, потом еще, а еще дальше – цементный завод, вокруг которого и дома, и деревья, и дорога, и сама земля – все было засыпано белой пылью.

Хутора были казачьими, с домами, выкрашенными в любимый казачий мундирный синий цвет, и хотя улицы там были поуже, чем на городской окраине, и хаты поуже, и приусадебные участки поменьше и победней, на городской окраине считалось, что хуторские и богаче и прижимистей – снега среди зимы не выпросишь – и вообще не тем воздухом дышат.

Улица все больше пахла окраиной, деревней, землей, воскресным спокойствием. Издали Валентина увидела родительский дом, а рядом – недостроенный, высокий, который старшая сестра Ольга строила вместе с третьим своим мужем Гришей.

Еще три года назад, когда Ольга во второй раз разошлась и в третий раз вышла замуж, отец и мать решили, что надо ей помочь создать семью на прочной основе, и дали денег на строительство нового дома. Как водится, пригласили родственников, знакомых и соседей на саман, сделали две тысячи саманных кирпичей, начали возводить стены и тут в первый раз поссорились с зятем – Гриша хотел строить дом повыше и пошире, чем строили такие дома до него. У кого-то он увидел кирпичный, с верандой, не с печным, а с паровым отоплением и себе задумал такой. Ольга стала на сторону мужа, и стены возвели так, как хотел этого Гриша, а коробку из стен накрыли от дождей крышей. Женя тогда сказал Грише и Ольге: «Простенки поставите, потолок сделаете, полы настелете – зовите меня. За мной электропроводка». Но Женю все не звали и не звали: у Гриши вдруг начала рушиться стена. Рушилась стена глухая, выходящая во двор. Вначале она набухла, выпятилась так, что все швы между саманными кирпичами стали видны, ее подперли бревнами, но она все равно упала. У Гриши побывали все специалисты с улицы. Вроде все было сделано правильно: хорошо заведены углы, кладку делали по отвесу, потолочными балками сверху закрепили, крышей придавили, а стена все-таки рухнула. Стену поставили еще раз: купили несколько сотен саманных кирпичей – на окраине было много семей, промышлявших саманом, – тщательно уложили и даже обмазали. Стена немного постояла, а потом опять стала дуться: на швах из саманных кирпичей выстрекнулись соломины, как будто выросла щетина. И вся улица заговорила о доме, об Ольге и о Грише. О том, что это недаром, что бог шельму метит. Что оба они хороши – и Ольга и Гриша. Что Гриша казак, а казаки никогда по-настоящему не работали, только охотились и рыбу ловили. Что не такого зятя надо брать в

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
работавшую семью. И кое-что тут было правдой, потому что Гриша был из казаков и действительно любил охоту и рыбную ловлю, а работу не любил – переходил с одного завода на другой, осел в какой-то артели и все отирался по больницам и собесам, добивался пенсии: когда-то он тяжело болел и, хотя давно выздоровел, все напирал на то, что у него была тяжелая болезнь. После того как стена упала во второй раз, он запил, пропил деньги, накопленные на доски для полов и на кирпич, которым для крепости и красоты – чтоб не мазать Ольге каждый год хату! – собирался обложить дом. И еще много раз пропивал зарплату и ругался из-за этого с Ольгой, с ее матерью и отцом. Но мать уговорила отца, и он дал Грише денег на кирпич. И вот теперь вместо выпавшей саманной стены сделали кирпичную на цементном растворе.

Вовка тоже узнал дом бабки и деда и побежал вперед, но Валентина его удержала: она боялась, что Вовку встретят совсем не так радостно, как он к этому привык дома. Валентина давно начала отдаляться от своих. И вначале это отдаление было как освобождение, легким и радостным. Она даже не отдалялась, а именно освобождалась: еще когда жила дома, все реже работала у себя на огороде, реже ходила с ведрами за водой – не женское это дело, пусть Ольгин муж или брат Виктор носят, – реже помогала матери мазать хату. Потом совсем ушла из дома в общежитие и лишь иногда по воскресеньям вырывалась гостьей к себе на окраину. Зимой и осенью, в грязь, и совсем не приходила – обуви у нее такой уже не было. Она отвыкла от своих и видела, что от нее отвыкают тоже, и было это ей почти все равно до тех пор, пока не родился Вовка. А тут она стала ревновать и раздражаться: дети родились и у Ольги и у двоюродной Юльки, а ей хотелось для Вовки как можно больше любви в этом мире. А когда Вовка болел, окраинные почти не приходили навещать Валентину в больнице.

Ольга первой вышла встречать Валентину.

– Вот неожиданность! – сказала она. – Все собрались дома. – И сообщила: – Перед тобой самый несчастный на свете человек.

Ольга была в старой домашней юбке, испачканной цементом, и юбка эта не застегивалась на две верхние кнопки, не сходилась.

– Толстею, – сказала Ольга, – становлюсь рыхлой.

Она равнодушно выставляла напоказ свои расстегнутые кнопки. Когда-то, девчонкой, Валентина завидовала старшей Ольге, считала ее смелой, а жизнь ее интересной. А сейчас осуждающе подумала, что выставленные напоказ расстегнутые кнопки – все, что осталось от Ольгиной смелости. И что способностей Ольги хватило только на то, чтобы закончить зубоврачебный техникум.

– ...он говорит – «не хозяйка». А я люблю жить. Люблю есть, покормить ребенка, – объясняла Ольга, и Валентина никак не могла понять, что появилось нового и странного в ее манере разговаривать. – Вот болела всю неделю.

– Что у тебя болело?

– Все. Почки, печень, желудок. Расстроился весь организм.

Она так произнесла «организм», что Валентина сразу же ее перебила:

– Я думаю, чего это ты так разговариваешь? А это ты кокетничаешь. По привычке, что ли?

– Правда? – ничуть не обиделась Ольга и засмеялась: – Наверное, по привычке. Я с мужиками больше люблю разговаривать, чем с женщинами.

Глаза ее с вялым благодушием скользнули по Вовке, который крикнул:

– Здравствуйте, тетя Оля!

Ольга сказала:

– А Танечка уехала на море с детским садиком. В лагерь.

– Как же ты ее отпустила? – сказала Валентина с раздражением. – В первый же раз!

Они вошли во двор, и мать, возившаяся возле печки, вместо приветствия крикнула Валентине:

– Она ее на два срока отправила! Чтоб не мешала им с Гришкой гулять. За две недели ни одного письма девочке не написала. Вчера открытку от воспитательницы получили: девочка тоскует, ждет от матери письма. Я уже всем говорю, что не ее это дочка, а моя. Я ей открытку показываю, а она за голову хватается: «Мама, забыла». Это родную дочь забыла!

– Ольга же болела, – сказала Валентина.

Ольга сказала все тем же тоном:

– Валя, ты меня, конечно, осудишь. Но как хочешь – забыла! Я уж сама за голову хватаюсь – что же я за мать! Но вот прислушаюсь к себе, а ничего у меня внутри к Тане нет. Ты же знаешь, как у меня с ее отцом получилось, – может, поэтому.

Валентина со страхом посмотрела на Вовку – понял ли он что-нибудь? Но голубые Вовкины глаза были бездумно радостны. Он увидел деревянное корыто с замесом цемента, густую массу, в которую была воткнута штыковая лопата.

– Вова, – сказала Валентина, – иди на улицу поиграй. Я тебе разрешаю.

Надежда Пахомовна сказала, проводив глазами внука:

– Ко всем бегают, деньги занимает. У меня уже столько раз брала. «Мама, вся зарплата у меня вышла, чем я буду его кормить?» Я говорю ей: «Овощи сейчас пошли, свари ему постный борщ. И дешево и вкусно». А она мне: «Мама, свари, я не умею».

И Надежда Пахомовна показала рукой на Ольгу – полюбуйся на нее!

Валентина слушала мать с нарастающим раздражением. Она всегда слушала то, что говорит мать, с досадой и раздражением. Эти многословные обличения ничего не стоят, и тот, кто принял бы их всерьез, оказался бы в дураках (а Валентина часто принимала их всерьез). Мать давно все Ольге простила, а Ольга матери. Они всю жизнь скандалят и прощают друг другу и никогда из этого отвратительного круга не вырвутся. Чтобы вырваться, надо не прощать. Ни другим, ни себе. Валентина никогда не прощала и вырвалась. Валентина до сих пор помнила, как мать дразнила ее в детстве, читала ей глупые стишки: «Стонет сизый голубочек, стонет он и день и ночь, миленький его дружок улетел надолго прочь...» Или пела: «Умер бедняга в больнице военной, долго от раны страдал...» Отчего Валентина заливалась слезами. Этого «голубочка» и «беднягу в больнице военной» Валентина вспоминала матери каждый раз, когда раздражалась на нее. Она всегда все разом припоминала матери, когда на нее злилась, и не могла не припомянуть, и не хотела не припомянуть. Вот и сейчас она вспоминала матери и этого «беднягу», и то, как мать, посетив ее в больнице, передала ей слова Вовкиной прабабки Вассы: «Умрет он. Пусть Валентина не убивается», и многое другое.

А Надежда Пахомовна сказала:

– Деточки! Ольга с Гришкой дом себе строят, а мы с отцом деньги на это строительство зарабатываем. Я не против, так не заработаешь! Недавно по радио объявили, что жить стало лучше, жить стало веселей, а у меня была расценка рубль восемьдесят, а теперь та же партия – шестьдесят три копейки. Я ж и так на фабрике работаю не как другие. Прихожу – лифчик расстегиваю, чтобы не мешал, волосы перевязываю и на обед не всегда прерываюсь. Вчера мужик кричит мне с улицы в окно – а мы в полуподвальном: «Позовите Веру». Мне Веру позвать – только крикнуть в цех. А я отмахиваюсь.

Ольга засмеялась:

– Мать за справедливость воюет, а бабы говорят, что ее жадность губит. Заработает двести – мало! Еще пятьдесят! А там тарифная сетка – как выше, так и режут.

А Надежда Пахомовна сказала, показывая на Ольгу.

– Я ей заняла тридцать рублей на путевку для Тани. Говорю: «Можешь не отдавать. Для внучки путевка». Гришка у меня уже раз пять занимал. Сорок на цемент, еще сорок на магарыч, сто рублей на доски. Заняла. Сказала отцу. «Скорее уйдут». А Ольге говорю: «Сто рублей, что на полы, можете пока не отдавать. Мне на похороны будут. А сорок отдайте: отцу надо брюки купить». – «Хорошо, мама». А вчера мнется: «Мама, и сорока рублей сейчас нет». Хорошо, отец безотказный, все во дворе делает да еще Гришке дом строит. Гришка же только подает да поддерживает!

Ольга обиделась:

– Мать поможет, а потом все жилы вытянет, благодарности требует.

Надежда Пахомовна внимательно посмотрела на Валентину, как та приняла Ольгины слова. И продолжала:

– Я уже Гришке сказала: «Простенки возведешь, пусть дом не стоит пустой. Одну комнату отделайте, печку поставьте и живите или пустите квартирантов, а в другой доски сложите. За зиму они и высохнут. А вы не переберетесь – мы с отцом в ваш дом переедем. Так больше жить нельзя».

– Что же Гриша? – спросила Валентина.

– Говорит: «Не успею». Говорит: «Вы нас еще потерпите, а я потом вам все деньги отдам». Я ему сказала: «Знаю, как вы отдаете. Просите вы как иуды, а отдаете как черти».

И Надежда Пахомовна пошла к летней печке, на которой что-то варилось в кастрюле.

– Я вот думаю, – сказала она оттуда, – почему мужики больше любят бесхозяйственных. Ольга ж наша ничего не умеет, только о мужиках говорит, о любви, которой ей все не хватает. Уж сколько абортотделов сделала, а никак не охладится. Как выпьет немного, так уж и Гришку ругает – не такой, как ей надо. Меня обвиняет: «Теща в семейную жизнь вмешивается». А я ей говорю: «Взяла человека в дом, должна за него ответственность нести. Хороший, плохой – четвертого мужа у тебя не будет. По закону не положено. Всех мужей исчерпала. Нечего про него гадости говорить».

Ольга всплеснула руками:

– Мать уже всей улице рассказала: какая она хорошая теща!

По глазам Надежды Пахомовны было видно, что никакого значения словам Ольги она не придавала. Она сказала:

– Ты не учишься у Юльки, у тебя все равно так не получится. Юлька бесстрашная. Ты знаешь, как Юлька дочку считать учит? – спросила она у Валентины. – Орет на нее: «Это тебе пять или это так твою мать?» Недавно прибегают, два коровьих сердца в руках, положила их на грудь: «Вот так пронесла на проходной!» В магазине колбасного завода работает. С мужем скандалит. Степан, конечно, пьет, но он же все и делает: забор поставил, и собачью будку, и сарай. Гриша придет к нему, а он говорит: «Учись!» А вчера они взяли водки, Степан сказал: «Пойдем к тебе на строительство, а то Юлька нагрянет». А Юлька их там и нашла, набрала полную горсть раствора и бросила Степану в лицо. Весь рот залепила. Степан в первый раз рассвирепел: «Ну, я тебя выучу драться!» А она – в его комнату, достала его документы, паспорт разорвала в клочки, военный, партийный билет. Степан чуть сознания не лишился. Что уж с нею делал, не знаю. Только она уж и не кричала, а хрипела. Отца дома не было, так Гришка и Ольга пошли разнимать, а она на них кричит: «Не подходите, без вас разберусь!» Они меня послали: «Мать, может, тебя послушают». А я не пошла. Меня собака туда не пускает. Я ее гоню с огорода, она других собак приводит, помидоры мне топчет. А она меня. Так и не пускаем друг друга.

Ольга сказала:

– Мать не собаки испугалась. Не хотела Юльку у Степана отнимать.

– Правильно, – ничуть не смутившись, согласилась Надежда Пахомовна. – Она и на

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
меня кидалась. Досаждать мне любит. Я ей сегодня говорю: «А как Степан не
вернется?» – «К дитю? Вернется! А я без него отдохну, а то мне каждый день
мясные борщи готовить ему надо». Видишь как! Она уж хочет, чтобы Степан жрал
каменья, с... поленья и чтоб поленья в дело шли!

Валентину не смущали грубые слова, которые употребляла Надежда Пахомовна и
которые никогда не употребляли в Жениной семье. Ее потрясло то, что Юлька
порвала Степанов партийный билет. С Юлькой Валентина училась в одном классе, их
вместе записали в комсомол. Училась Юлька, правда, плохо, но в общем была как
все. И вот ворует у себя на заводе мясо, рвет такие документы!

– Это преступление – то, что она сделала, – сказала Валентина. – Я пойду к ней.

– Сходи, – согласилась Надежда Пахомовна. – Она и сегодня концерт закатывает.
Триста рублей у нее пропало. Из кассы взаимной помощи! Она уже весь дом
перерыла, бабку с дедом к соседям загнала. Ищет! Там не то что триста рублей –
солдата со шпагой спрятать можно. Бабкин порядок!

Вход на Юлькину половину хаты был с улицы. Юлька встретила Валентину во дворе,
загнала собаку в будку и, ни секунды не сомневаясь, что Валентине уже все
известно, стала причитать:

– Валя! Это же не три рубля! Это же триста рублей! Я вчера сама в цеху
посчитала, вальтом сложила, пришла домой, со Степаном подралась, а сегодня
кинулась – нет денег! Я бабке говорю: «Ты не вставай, не ходи. Ты лежи,
вспоминай, может, ты с мусором вымела?» А бабка уже все забывать стала. Зимой
закроет заслонку наглухо, а печка горит. Варенье варила, вместо сахара высыпала
манную крупу. Обиделась! Под трамвай ходила кидаться. Нахальство! Я за ней
босиком по улице бежала. Ну у кого же мне спрашивать, не у дитя же! Я и так дите
вопросами замучила. Крошечки у меня во рту с утра не было! Твоя мать к нам
пришла, послушала, как мы с бабкой разговариваем. Говорит: «Черт меня сюда к вам
занес. В этот гроб! Здесь у вас не домом, а гробом пахнет!»

На Юлке было старое черное платье, надетое прямо на голое тело. Валентина это
сразу заметила. Юлька была на местный, окраинный вкус красивая. У нее были
коричневые глаза, завитые волосы. Похоже было, что в утренней суматохе она не
только не позавтракала, но не умылась, но губы все-таки мазнула. Краска уже
стерлась и осталась только в трещинах, как после рабочего дня. А в хате
попахивало переселением. Вещи, которые десять лет неподвижно стояли на своих
местах, сдвинуты, шкаф перерыл, заслонка и короб в печи открыты. Юлька была в
отчаянии, но это было отчаяние женщины, которая подралась с мужем и не боится
бегать по улице в платье, надетом на голое тело. Валентина не хотела и не могла
ей сочувствовать.

– Юля, – сказала Валентина, – это правда, что ты порвала Степанов партбилет?

Юлька отмахнулась:

– Что я – идиотка? Корочку надорвала, чтобы он испугался. – И пригорюнилась: –
Валя, твоя мать на что уж меня не любит, а утром принесла отрез и тридцать
рублей. Говорит: «Продай, а деньги себе возьми». Ведь это несчастье у меня.
Правда? Настоящее несчастье. Но зачем я буду брать? Зачем я на свою голову
возьму? – И вскинулась: – Дмитриевна умерла, а то бы она мне погадала, где
деньги: сама я потеряла или бабка в печке сожгла вместе с мусором? Пойду к
Климовне, может, она мне скажет.

С тех пор как Валентина пришла к своим, раздражение ее все росло. Ее возмущал
этот беспорядок поступков и слов. Казалось, что ее родственники нарочно
запутывают себя, чтобы не видеть главного в жизни. Чтобы не видеть выхода из
всей этой путаницы раздражений, ущемленных самолюбий и обид. Раньше, когда она
жила дома, она меньше все это замечала и сама, что ли, была такой. Вот и Гришка
придет и будет хвастаться своей артелью: «Ты не смотри, что у нас труба пониже,
дым пожиже, зато спокойно. Зато левой работы вот так! А что ты на своем заводе
заработаешь?» Он всегда привязывался к ней. Трезвым дразнил: «Что же ты мужа
своего в партию не примешь, коммунистка?» Пьяным пытался ухаживать прямо при
Ольге, хватал за руки, старался обнять. Гришка был грамотным, читал газеты и
книжки, носил очки, сложен он был прочно. Плечи были просто широченными, а кожа
на руках и лице дубленой от постоянного загара на рыбалке и на охоте. Валентина

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru его стыдила: «Инвалид! К врачам ходишь, от работы уклоняешься! Ольгу жалко, а то написала бы куда надо...» – «Напиши, напиши», – говорил Гришка, и глаза его под очками становились ненавидящими. В ненависти становился бесстрашным и говорил такие вещи, от которых Валентина бледнела. Она не Гришки пугалась, а чего-то гораздо большего – криком своим Гришка обязывал ее сделать то, чего она сделать не могла. Обязана была и не могла. Она, конечно, отвечала ему. «Говорить для меня, – как-то сказала Валентина, когда ее просили выступить на собрании, – великий страх и труд». Но на самом деле она умела говорить жестко и точно. Ее никогда не сдерживал страх перед словом жестоким или даже оскорбительным, если она считала, что его нужно сказать. Гришке она говорила с презрением: «Тебя нельзя оскорбить, я знаю. Ты захребетник. Убери руки, ты для меня не мужик». Но все-таки она бледнела, когда Гришка кричал, потому что она обязана была не отвечать ему, а сделать что-то совсем другое, чего она сделать не могла. Иногда она обращалась за помощью к матери, но Надежда Пахомовна, которая не любила своего зятя, однажды рассказала такую историю (Гришка кричал: «Они всех друзей моих загнали, куда Макар телят не гонял, а я на них работать буду?!»):

– Знаешь, как людям эти доносы надоели? У нас на фабрике бабы из сэкономленной кожи делают себе перчатки. Одна пожилая, многодетная выносила, а тут на проходной строгая проверка, главный инженер. Баба увидела его и кинула перчатки в сторону, выбросила. А главный инженер заметил и схватил ее. А другие бабы увидели и давай кидать себе перчатки. Перчаток накидали много, а схватили только ту, пожилую. Стали таскать ее к директору, в фабком, туда, сюда, требовали, чтобы она назвала всех, кто из этой кожи делает перчатки. А она уперлась: «Виновата, но никого не назову». – «Вам же четыре месяца до пенсии. Подумайте! Дело передадим в суд, пойдете в тюрьму, вся ваша выслуга лет, все пропадет. За всю жизнь вам этого не вернуть». – «Делайте что хотите, никого не назову». Так что же ты думаешь? Главный инженер простил ее. Только на другой процесс перевел.

– Не мог главный инженер так поступить, – сказала Валентина.

– Мог не мог – это уж его дело. А ты думай как хочешь, – сказала Надежда Пахомовна.

Валентина вернулась от Юльки к матери и увидела Гришку. Гришка сказал насмешливо:

– Бог работника послал. Теща, вы дайте ей переодеться, пусть Ольге поможет, а там мы что-нибудь сообразим.

– Ты уже с утра насоображался, – сказала ему Ольга и пожаловалась Валентине: – Утром взял три рубля – на баню! А сам сорвал вяленую рыбу с низки и подался! У магазина их там коллектив собирается – пиво пьют. А когда я болела, думаешь, дома сидел? Соберется в аптеку – и на весь вечер. «Я аспирин на коленях выпрашивал». А его во всех аптеках полно. Говорит: «Я тебя люблю, с больной тобой спать ложусь». А я ему: «Лучше бы на пол лег, плохо же мне». Так он недоволен: «Ты уж умирала бы или выздоравливала поскорей!»

Надежда Пахомовна, которая стояла спиной к разговаривавшим, повернувшись лицом к печке, при последних словах засмеялась.

– У них вся компания такая подобралась, – сказала она, все так же стоя спиной ко всем. – Ольгина подружка Зина мне жалуется: «Петька пришел пьяный, я ему говорю: „С тобой, пьяным, спать не лягу“. А он: „Ляжешь! Считаю до трех: раз, два, два с половиной...“ Хорошо, что половину добавил, а то бы не успела добежать...»

Надежда Пахомовна продолжала стоять спиной ко всем и говорила и смеялась как будто бы про себя.

– Хорошо еще, что половину добавил! – повторила она и опять засмеялась. – Такая жестокая сволочь!

Гришка хотел что-то сказать, но промолчал, и Валентина отметила: боится матери.

– А ты не худеешь, – сказала она Гришке и показала на его наметившийся живот.

Гришка не смутился:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Не говори. Иду мимо магазинов, посмотрю на себя в витрину, удивляюсь. Характер у меня хороший: все, что ни съем, на пользу идет.

Надежда Пахомовна повела Валентину в пристройку переодеться в рабочее, кинула ей старую юбку, запачканные глиной босоножки и сказала, оценивающе поглядев на дочку:

– Ты уже, наверное, отвыкла. А у нас воскресенье не воскресенье, а все работа. В тесноте, в суете да в великой семье. Так и бегаем от порожка к порожку.

Валентина не очень-то любила свою мать, но и Надежда Пахомовна настороженно относилась к своей самой правильной и удачливой дочке.

* * *

Строительство было рядом. Дом, в котором должны были поселиться Ольга и Гришка, и впрямь стоял на высоком фундаменте. Ступенек к крыльцу еще не сделали, и все поднимались по наклонно положенным доскам. Странен пустой дом изнутри. Фасад Гришка отделал сразу, чтобы смотреть было приятно и чтобы участковый беспорядком не попрекал. А войдешь с улицы – пахнет землей, духотой, сушилкой. Окна плотно закрыты, под ногами земля, над землей проложены доски, между стенами и потолочным настилом – просветы, их еще надо конопатить. Дверей внутри дома нет, возведены еще не все простенки, поэтому можно разом осмотреть все будущие комнаты, прикинуть, где будет зал, где спальня, где детская комната. Рамы тоже еще неплотно вошли в стены. Между стеной и рамой сквозят отверстия. Они именно сквозят – яркие, солнечные, сквозные. Свет сквозь них проходит совсем не так, как сквозь мутные, еще не мытые стекла. И такое ощущение, что душа дома еще где-то снаружи, а внутри еще душа земли. Три года стоит пустой эта накрытая крышей саманная коробка, и тишина, и пустота, и запах земли в ней за это время накопились.

– Мне уже ходу назад нет, – сказал Гришка. – Такой большой дом надо или двумя печками обогреть, или паровым отоплением. Надо доставать трубы, радиаторы. Только бы война не помешала. Как вам, партийцам, говорят: будет война или не будет?

– Газеты читай, – сказала Валентина.

– Газеты надо и в строчку читать и между строк, – сказал Гришка. – А вот, говорят, старые люди по библии войну нагадывают.

– Слышала, – сказала Валентина. – Железные птицы будут летать, брат на брата...

– Ничего смешного, – сказал Гришка. – Брат на брата уже вставал, и железные птицы летали.

– Ты-то инвалид, тебе бояться нечего, – сказала Валентина.

– С Финляндией у нас была маленькая война, – сказал Гришка, – а школу под госпиталь забрали.

Гришка вошел в свой дом и сразу стал как-то значительнее. Так он отодвигал и потом ставил секцию забора – калитки еще не было, – так поправлял доски, по которым Валентина и Ольга должны были пройти. Это был настоящий дом, с крышей, стенами, и Гришка все в этом доме знал: и сколько самана пошло, сколько цемента, сколько килограммов гвоздей и сколько жженого кирпича. Конечно, ему помогли: родственники и соседи делали саман, мастера клали стены, плотник крыл крышу, – но все они уходили, а он оставался.

Валентина слушала его и думала, что никогда Женя не согласится строить себе такой дом. Женя как-то обмолвился, что скоро всю окраину снесут, а на ее месте поставят большие дома. И Валентина думала точно так же, хотя ей это чем-то и было обидно. Каждый раз, когда она приезжала к родителям, она ждала, что окраина немного сократилась. Валентина хорошо помнила то время, когда за их улицей начиналась степь. Раньше в районе был только один магазин. Он так и назывался – «магазин» (рядом керосиновая лавка, объявление: «В ведра и другую открытую посуду керосин не отпускается»); пожилой керосинщик, который отпускал керосин, сидя на низкой скамейке, колени его накрывал фартук из старой клеенки). Потом построили еще один – «белый». Теперь открыли третий – «новый». Простым глазом

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru было видно, как все новые и новые одноэтажные дома покрывали недавние степные бугры и балки, сливались, охватывая город гигантским кольцом.

– Домовладельцем становишься, – сказала Валентина Гришке.

– Хозяином, – ответила за Гришку Ольга. У нее еще было столько душевной свободы, чтобы иронически отнестись к этому слову. А может, ирония была только душевной роскошью – дом-то был уже почти готов.

Поработать им пришлось совсем немного. Носили с Ольгой землю в ведрах и подавали ее Гришке, который стоял на приставной лестнице и передавал ведро Валентинину отцу. Отец принимал ведро, втягивал его на чердак и рассыпал землю по чердаку. Отец так и поздоровался с Валентиной сверху, из чердачного окна, где он сидел и курил, ожидая, пока Гришка договорится с женщинами. Он медленно улыбнулся Валентине, спросил:

– Сама или с мужем?

– С Вовкой, – ответила Валентина и тоже улыбнулась отцу.

Он не стал спускаться к ней, чтобы поздороваться, а она не сделала попытки к нему подняться и даже не позвала Вовку, чтобы он показался деду. Когда все закончат работу, а отец сверх этого закончит что-то свое, он спустится, посмотрит на Вовку и, может быть, погладит его по голове. Как-то так всегда получалось, что кто бы и когда бы ни приходил к родителям Валентины, у отца руки всегда были запачканы землей, краской, ржавчиной – вообще работой, и он не мог сразу подать их гостю. И потому здороваться подходил последним или вообще не подходил и только издали дружелюбно улыбался, если гости были свои, близкие люди и с ними не нужно было быть особенно церемонным.

Валентина любила отца девочкой и еще больше любила его сейчас. Отец не был очень грамотным, но она считала его умным потому, что он был спокоен, добр и никогда не говорил вздорных вещей, которые так часто говорились в этом доме, полным крикливых женщин. Но она и жалела его тоже потому, что, сколько она его помнила, она помнила его таким, как сейчас, на чердаке или на крыше, где он поправлял черепицу, стучал топором или молотком, или на дне глубокой ямы, из которой он лопатой выбрасывал землю – копал погреб. За двадцать с лишним лет в жизни Валентины и всей семьи происходили большие и маленькие изменения: из землянки они перебрались в новую хату, к хате сделали пристройку, мать то работала на фабрике, то на несколько лет бросала работу, Валентина ездила в пионерские лагеря, ушла из дому, вышла замуж, родила Вовку. И только у отца, казалось, за это время ничего не изменилось: как и раньше, утром он уходил на работу, вечером приходил с работы, обедал и опять принимался за какую-то работу по дому – что-то строгал, прилаживал, укреплял, копал, носил воду. Он и производство свое ни разу за это время не сменил, и в отпуск уходил очень редко – все ему подходило так, что выгоднее взять компенсацию: штакетник для забора как раз надо подкупить или дочкам материалу на платья, – и зарплата у него как будто бы за все эти годы почти не менялась, и пахло от него всегда одинаково – паровозами, ремонтной паровозной ямой, шлаком, маслом, тем густым, сумрачным воздухом, который и при сквозняке всегда стоит в паровозном депо, и рабочая спецовка его всегда лоснилась так, что на сгибах, в складках, казалось, натекает масло. Мать ругалась: постирать один раз спецовку отца – воды нужно столько нагреть, сколько требуется на большую стирку для всей семьи. И долгие годы от всего этого отцовского постоянства и спокойствия (и в голод, при карточной системе, и после нее) и Валентине всегда все было спокойно и ясно. И на анкетный вопрос о социальном происхождении родителей она всегда с гордостью, спокойствием и чувством превосходства над другими писала об отце – «рабочий». На улице у них многие были рабочими, но об отце она всегда с особой гордостью думала: рабочий. И смелым она отца считала с детства, с тех пор, как она с матерью впервые пришла к нему в депо, в котором, несмотря на высокие окна, от копоти, от шлака, от натеков масла совсем было темно, если бы не электрический свет и не ножевой какой-то, опасный блеск рельсов, кромок накатанных паровозных колес, шатунов и поршней. Она увидела отца под паровозом и испугалась, а он не протянул к ней испачканных рук, а, как всегда, медленно улыбнулся. А рядом свистнул паровоз, и этот звук ударил ей не только в уши, но и как будто бы и в нос и в глаза – она услышала сиплый рев, увидела над трубкой свистка белое облачко, потом на месте облачка появилась голубоватое свечение, какая-то пустота, от которой нельзя было отвести взгляда – так она переливалась и напряженно дрожала, а вокруг уже ничего

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru не было слышно: ни свиста, ни рева, ни голоса матери, которая продолжала что-то говорить отцу, но так и замерла с открытым ртом. И на всех лицах были глухота и ожидание, и только отец все так же спокойно улыбался ей. В конце концов это непереносимое безмолвие кончилось, голубоватое свечение над трубкой паровозного свистка погасло, и все задвигались, заговорили, отец вылез из-под паровоза, бросил на рельсы молоток с длинной ручкой, и молоток в этом воздухе, который еще дрожал от недавнего рева, тихо звякнул о рельс. Мать что-то говорила отцу, а Валентина все ждала, что она ему скажет, чтобы он больше не ложился под колеса. Но мать этого так и не сказала, и когда они уходили, отец опять полез под паровоз.

С тех пор Валентина не могла слышать без страха о каком бы то ни было несчастном случае на железной дороге. О том, что где-то ударило сцепщика буфером или паровоз сошел с рельсов: боялась за отца.

С матерью и Валентина и Ольга часто ругались, над матерью шутили. С отцом никто не ругался никогда. И когда однажды Гришка назвал отца батей, слово это показалось Валентине грубым и непочтительным. Но потом и Ольга стала снисходительно называть за спиной отца батей, и Валентина вдруг почувствовала, что она тоже испытывает к отцу покровительственное чувство. Валентина знала, что ее отпускают из дому в общежитие, но ей показалось, что отец уж слишком легко отпустил ее. Смирился с тем, что она уходит. Тогда-то она и подумала, что отец так же смиряется с тем, что дома остается Ольга, у которой все не ладится семейная жизнь, с тем, что мать ссорится с его родителями, и со многим другим, из чего состоит его жизнь.

И теперь никто не позволял себе шуток над отцом в его присутствии, но без него уже рассказывали о нем забавные истории. Например, о том, как отец просидел последний отпуск дома. Конечно, копался в саду, на Гришкином строительстве, сменил несколько секций в заборе, но и просто так сидел и лежал много. Иногда спал днем. А к концу отпуска кинулся – у него складка на животе. Он даже испугался, а разглядели – это он просто поправился. В жизни у него не было так, чтобы можно было защипнуть на животе!

Подавать землю кончили часам к одиннадцати – первым решил кончать работу сам Гришка. Отец остался еще на чердаке, а Ольга и Валентина отправились к матери. По дороге встретились с Юлькой.

– Мать готовит на стол, – сказала Юлька. – Рада все-таки, что ты приехала. Я ей помогала, пока не увидела, что вы идете. Я же с ней месяц была в ссоре, а теперь помирились. Знаешь, как? Она стала мазать свою половину хаты, а я вышла на улицу – и свою. Она только полчаса вытерпела, а потом стала меня учить: «Не так мажешь». – И Юлька засмеялась.

– Деньги ты, что ли, нашла? – удивилась Ольга. – Или Климовна нагадала?

– Климовна – старая транда! – сказала Юлька. – Она и гадать не умеет. Дмитриевна – вот гадала. А эта только карты раскидает, а сказать ничего не может. А из-за денег не в петлю ж лезть! Вот Дмитриевну хоронили, я смотрела, как ее в могилу опускали: перед этим, все такая ерунда! Умру и смеяться буду. А мать твоя подошла к могиле и сказала: «Вот тебе, Дмитриевна, и все. Никто к тебе больше не придет».

И Юлька, словно забыв, о чем шла речь, или не придав разговору никакого значения, стала рассказывать, как умерла жизнелюбивая старуха Дмитриевна, которая пережила и сына, и дочь, и двух жильцов, которых пускала в хату. И хвастала: «Меня Таня укладывала, Вера укладывала и Федя укладывал. А где они теперь?» А тут с невесткой поругались – и сердце отказало. Невестка побежала звать соседей, те пришли, а Дмитриевна лежит поперек комнаты. Рука откинута в сторону, и пальцы сложены щепоткой: хотела перекреститься и не успела. На похороны к ней – это заметили все бабы – собрались все известные улице пьяницы. Гришка пьяненький над ней причитал: «Я у тебя брал взаймы, да не вовремя отдавал». Она многим занимала. И на жизнь себе до конца зарабатывала: пускала квартирантов, на базаре овощами приторговывала. Мать теперь ходит к тем, кто Дмитриевне больше всех обязан: «Сделаешь крест на могилу, небось за деньгами на пол-литра каждый день бегал». Только так и можно людей заставить.

...Стол стоял в тени старой жерделы. Земля вокруг была вытоптана, как возле печи.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
На столе и под столом – помокревшие от удара жерделы. Мать только что смахнула их со стола, подмела, а они опять нападали. И все время падают. Пройдет полминуты – и наверху, в листьях, что-то назревает, потом прошуршит и глухо ударит об землю или стол. Жерделы мелкие, вырождающиеся, а звук полновесный. На него невольно оглядываешься – ищешь, не упало ли что-то большое. Валентина села так, чтобы можно было опереться спиной о ствол жерделы. Босоножки она сняла, а ноги опустила прямо в пыль. Пыль была тонкая и теплая. Валентина хотела позвать с улицы Вовку, но Надежда Пахомовна сказала, что Вовка накормлен и отпущен в соседний двор.

На мать было страшно смотреть – в таком раскаленном воздухе над печкой она стояла. И загар у нее был печной, сушащий кожу и такого же цвета, как кизячный пепел.

Появился Гришка с двумя бутылками водки в руках. Он лазил в подвал, был потен и щурился сквозь очки довольно.

– В такую жару будешь эту гадость пить? – сказала Валентина.

– Буду! – ответил Гришка.

Мать бегала от печки к столу, ей помогали Ольга и старая, глуховатая бабка, мать Надежды Пахомовны. Ольга выносила из хаты тарелки, стопки, а бабка сидя чистила картошку, сваренную в мундире. Ольга рассказывала, как она болела всю эту неделю, как у нее расстроился весь организм, а Надежда Пахомовна ревниво прислушивалась к ее словам. Потом с досадой сказала о себе:

– Три дня назад упала вот здесь, а рука до сих пор болит.

Ольга засмеялась:

– Люди падают сверху вниз, а мать снизу вверх. Бежала со всех ног и аж до калитки летела. И еще удивляется, что синяк не сходит. У нее должен пройти!

Надежда Пахомовна только посмотрела на нее. Поставила на стол помидоры:

– Свои!

Сообщила уличные новости. Воюет с соседом Иваном рябым. Надумал мужик летом чистить уборную. Вонь.

– Я ему говорю, – сказала Надежда Пахомовна, – рябой ты черт, такую работу осенью делают! – И без перехода рассказала, как Иван воспитывает внука: – Иванов внук ударил палкой маленького товарища – и бежать домой. А Иван стоит и молча смотрит. «Что ж ты, Иван, не видишь, что ли?» – «А он ему палку сломал, значит, он должен был его ударить». Вот такой человек!

И опять без перехода сказала, что Иван рябой ухаживает за ней. Как напьется, переходит через улицу и начинает заговаривать, а сам как будто в разговоре толкает ее и все норовит по груди. «Ты свою Таню лучше корми, ее и толкай, а то у нее только кожа да кости».

Все сильнее пахло солнцем, жарой, тень под жерделой становилась все прозрачнее, поверхность стола накалилась. И куда ни посмотришь – всюду солнце и жара: и над белой от пыли дорогой, и над печкой, и над черной крышей невысокого сарая, и под редкой тенью деревьев в саду. Но жара не была тяжела Валентине, ее босым ногам, ее обожженному носу и голым рукам. К столу постепенно собралась почти вся семья. Пришел отец, только что вымывший руки, переодевший рубаху и брюки, пришла Юлька, усадила за стол мать Надежды Пахомовны. Не было только бабы Вассы и деда Василия, которые, поругавшись с Юлькой, с утра ушли из дому и отсиживались у соседей. Звать их по очереди ходили Гришка, Ольга и Юлька, но старики уперлись.

– Мама, – сказала Ольга, – тебе надо сходить.

– Ты не смотри на меня строго, – раздраженно ответила Надежда Пахомовна, – на меня еще строже смотрят, да я не боюсь.

Отец кашлянул:

– Сходи.

И Надежда Пахомовна, лишь самую малость помедлив, направилась к соседям звать родителей мужа. Все понимали, что, хотя дед и бабка разобижены Юлькой, позвать их к столу может только Надежда Пахомовна – старшая невестка и главная хозяйка за этим столом. И что именно ее приглашения ждут старики. Валентина давно знала, что за таким вот накрытым, с вином и водкой столом в семье каждый день и совершается праздник примирения всех со всеми. В будни Надежда Пахомовна часто враждует со свекром и свекровью, ругается с Юлькой, но когда приходят гости и стол накрывается с вином – главное, с вином! – Надежда Пахомовна идет на поклон к старикам. Не может не пойти.

Она и вернулась скоро с бабкой Вассой, которая говорила:

– Да ты ж знаешь, что я ее не пью.

– Ну, хоть посидите с нами, мама.

Пришел дед Василий, отец встал и предложил ему свое место. И Гришка тоже встал. Дед сел. Минута ожидания прошла, и все заговорили посвободнее. Надежда Пахомовна пожаловалась на свою глухую мать:

– Как вечер, идет по всей улице ставни закрывает. Или тащит из дому простыни, наволочки, платья – дарит. Грехи она, что ли, замаливает? Каждый день меня зовут: «Надя, иди заberi бабку». Мне уж в глаза говорят: «Плохо к матери относитесь, она и ходит к людям». А как я к ней отношусь? Целый день на кровати лежит. Руки положит под голову, ногу на ногу закинет и лежит.

Разговор за столом всегда начинался с осуждения глухой бабки. И бабка забеспокоилась, оглядела смеющиеся лица и спросила у Валентины:

– Обо мне говорят?

Надежда Пахомовна сказала:

– Не про тебя, не про тебя!

Юлька крикнула:

– Прикидываем, как тебя отправить в богадельню.

Оглядев всех, бабка сказала Валентине:

– У меня такая примета: когда плохое про меня говорят, у меня левая щека чешется. А кто про меня плохо говорит, тому счастья не будет.

Ольга, уже выпившая рюмку, сказала Валентине:

– Знаешь, как бабка мешает молоко? Помешает и ложку оближет, помешает и ложку в рот. Я потом это молоко пить не могу.

Все засмеялись, и баба Васса тоже сдержанно заулыбалась. Она была ровесницей глухой бабке, но сохранила слух и разум и сейчас гордилась этим. А охмелевшая Юлька совсем разошлась, сказала, что Гришке и Ольге негде уединиться: и ночью бессонная бабка заходит к ним в комнату, зажигает над их кроватью спички, проверяет, все ли дома.

– Не про тебя, не про тебя, – замахала она на бабку. И тут же рассказала, как Надежда Пахомовна получила письмо от однорукого брата Алексея, а бабка решила, что письмо ей. Спрашивает: «От кого письмо?» «От Алексея». – Не слышит. Надежда Пахомовна и показала рукой от локтя – от безрукого, мол, от Алексея.

– А бабка обиделась, – захохотала Юлька. – Говорит: «Мне этого уже не надо. Себе возьми!»

Женщины зашлись хохотом. И Ольге и Надежде Пахомовне нравилось, как смело и со вкусом произносит Юлька бранные слова, как она повторяет свою собственную

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru остроту, – вчера Ольга и Надежда Пахомовна припозднились в городе, бабка стала волноваться, не под трамвай ли попали, а Юлька сказала ей: «Две таких ж... никакой трамвай не переедет».

Надежда Пахомовна смеялась со взвизгиваниями, а отец покачивал головой.

Валентина смеялась со всеми. Когда-то Женя сказал ей осуждающе: «Бабка у вас – семейная жертва. Разве можно так!» Но Валентина не согласилась. Она сказала ему: «Проживи с ней хоть неделю. Тяжелая бабка и эгоистка. Крышу на сарае портит, приваживает на нее воробьев, сыплет туда хлебные крошки, по дому ничего не делает».

Разговор разделился. Надежда Пахомовна утешала бабу Вассу, рассказывала, как обижает ее Ольга.

А Валентина разговаривала с Юлькой:

– Я вот думаю: ну почему со мной ничего такого не случается? Не прогуливаю, не ворую, честно работаю. Тебе пока все сходит. Не боишься?

– Валя! И этого бойся и того бойся... Но вот ты мне скажи: проспать ты можешь?

– Отец, – спросила Валентина, – ты когда-нибудь на работу опаздывал?

– Да... – сказал отец. – Редко.

– Да ты же знаешь, какой отец мужик, – сказала Валентине Надежда Пахомовна. – По двум половицам не ходит, все норовит по одной.

– Зато мать у нас героическая натура, – сказала пьяная Ольга. – Ей в одной упряжке с собаками на Северный полюс бежать. Упряжку перетягивать.

Прибежала Юлькина дочь Настя, уперлась животиком в Валентино колено. Юлька подвинула ей свою тарелку, предупредила:

– Горячо, а ты дуй. Под носом ветер есть?

– А Степана тебе не жалко? – спросила Валентина.

– Жалко, – согласилась Юлька. – Знаешь, когда мне его было жалко? Я на него в заводской комитет пожаловалась: «Пьет!» Они мне сказали: «Без вас дело разобрать не сможем». Я пришла, а они поставили Степана перед столом, он голову повесил и два часа простоял. Хоть бы слово сказал! Так жалко его было, так жалко!

Валентина хотела ответить Юлке, но тут вступила Надежда Пахомовна.

– У нас тут без тебя свадьба была, – сказала она Валентине. С тех пор, как они с женькой без свадьбы, без вина зарегистрировались, мать всегда рассказывала о чужих свадьбах, словно чувствовала, что Валентине это чем-то неприятно. – Сашка, сосед, сына женил. Приданое невесты машиной привезли. Бабы пьяные! Ковер развернули, несут, растянув за концы. Матерятся! – восхищенно сказала Надежда Пахомовна и посмотрела на Валентину. – Пюют! Ворота прочные, девица чистая. Кто ее пробовал? Потом подушки, тумбочки, диван, трюмо. И матерятся! Мать вашу так, не разбейте зеркало! Шифоньер с машины сняли, на землю поставили, а поднять не могут – пьяные. Всю старую мебель на улицу выкинули. Комнату новой обставили. Сашке хоть в коридор выбираться. Я у него спрашиваю: а как же ты? «А я, – говорит, – буду подслушивать. Сам к этому уже неспособен». Посмотрела я на все это и вспомнила, как ты замуж выходила. А тут еще в шкаф полезла, а там в сумке цветы засохшие, которые ты сама себе на свадьбу подарила. Сама себя уговариваю: Валентина живет хорошо, Женя ее не обижает, – и разревелась. Вот тут и порассуждай: у Ольги все свадьбы были красивые, а у тебя никакой не было, я тебя жалею, а ты с женой хорошо живешь.

Сто раз уже досадовала на себя Валентина, что, приехав тогда домой из загса, сказала матери, что цветы сама себе купила – Женя стеснялся загса и старался, чтобы все прошло как можно незаметнее. Но и приятно было сейчас Валентине это материнское сочувствие. Она вспомнила, как они тогда с женой шли в загс, какая на нем была серая рубашечка, как потом на пороге загса расстались. Женя спешил

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru на соревнования, а Валентина вдруг решила съездить к своим на окраину и по дороге сама себе купила цветы.

От выпитой водки у Валентины кружилась голова, она слушала мать, слушала Юльку и удивлялась. Она смотрела на них, на отца, на Ольгу, на бабу Вассу, которая, когда Вовка болел, сказала: «Умрет он, передай Валентине, пусть не убивается», – на деда, и ей хотелось научить их счастью настоящей жизни, открыть им глаза, сделать их счастливыми. Но они все, вся ее большая семья вызывали у нее сейчас и раздражение. Мать, конечно, поймет ее и согласится с ней, и отец согласится, и Ольга, и даже Юлька, но они согласятся совсем не так, как все это давно понимает Валентина. И Валентина подумала, что если бы Женя видел и Гришку, и Ольгу, и Юльку, и мать так, как их видит она, он не был бы таким простодушным, а если и был бы, то совсем по-другому, чем сейчас. Она и дальше развивала бы эту мысль, готовила бы ее, чтобы при случае высказать Жене, но в это время во двор вбежала женщина, и Валентина одной из первых увидела ее лицо. Внутри у Валентины все оборвалось. «Вовка!» – подумала она.

– Война! – сказала женщина. – Германия на нас напала.

«Женя, – подумала Валентина, – господи, Женя!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

– Если считать, что один раз я уже был начальником этой конторы, то сейчас я уже тринадцатый начальник. За четыре года! – Сурен Григорьян засмеялся. – Я уже всем говорю, что я тринадцатый начальник. В первый раз я ж руководил на «общественных началах». Вызвали меня: «Сколько зарабатываете как инженер-проектировщик? Семьсот? Мы вам предлагаем триста. Мало, но вы же будете расписываться на проектах – включайте себя в ведомость как соавтора». От халтуры я отказался, а стать начальником согласился. – Григорьян опять засмеялся, смех у него восторженный, заикающийся от полноты чувств. – Нравится мне это дело. Кто передо мной это место занимал? – Он стал загибать пальцы. – Учитель. Бывший кавалерист. Райкомовская работница. Бывший работник горжилуправления – ни одного специалиста. И только райкомовская работница не пила. Ты понимаешь, когда бардак – все греют руки. Оттого, что райкомовская работница не пила, легче не было. Она ничего не понимала, у нее партийный стаж и где-то авторитет, а здесь она ничего не понимала. Сама взяток с заказчиков не брала, а вокруг все брали. Я и начал с того, что всех взяточников уволил. Начал расчищать завалы – из кабинета целый день не выходил, архивы проверял. Три года добивались, чтобы дали штатную единицу – секретаршу. Я добился, чтобы секретаршу и машинистку. На перспективу начал работать. Ремонт начал производить – мы же дома проектируем, а к нам войти нельзя. Видел, какая лестница?

Сурен хвалил себя, но как бы и не хвастался, а радовался собственной честности, оборотистости.

– Вечером приходил домой с больной головой, с рулоном кальки, чертил – зарабатывал. И получал к концу месяца неплохо. Не так, как мои инженеры-сдельщики, но ничего. А потом написали на меня анонимку, пришла комиссия, определила мои заработки как совместительство на том же предприятии. Я им сказал: «Какое это совместительство! Я же производитель, я произвожу. Ну вот хотя бы эту табуретку я мог бы сделать в нерабочее время?» Поставили моему начальству «на вид», а я отказался заведовать. С женой, с двумя детьми мог я жить на такую зарплату? Опять стал проектировщиком, неплохо зарабатывал, но страдал: опять дело не в те руки попало.

Сурен – плотный, потеющий от жары, от физических усилий. Он делает полочку для вешалки, завинчивает шурупы. И хотя он только что дрелью подготовил отверстия, шурупы идут туго.

– Видел, как работают столяры? – говорил Сурен Слатину. – У них всегда с собой кусок хозяйственного мыла – вертеть шурупы.

Полочку Сурен делает Слатину, и тот идет на кухню за мылом. Сегодня воскресенье, 22 июня 1941 года. Сурен пришел к Слатину пораньше, не дал ему поспать. Слатин раздражен, отнимает отвертку: Сурен месяц пролежал в больнице с грудной жабой.

– Дай я, – говорит Слатин.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Сурен отдает отвертку и, когда смазанный мылом шуруп легко входит в отверстие, спрашивает:

– Чувствуешь?

Достает из кармана большой скомканный платок, промокает лоб, щеки, вертит шей, запускает платок поглубже под рубашку. В лице его мало армянского: волосы темные, но не черные, усы рыжеватые, а нос курносый. И только глаза темные, и очень волосатые руки, обнаженные по локоть.

– Самодельщик чем хорош? – говорит он. – Сколько бы у тебя ни было денег, ты не купишь то, что нужно для твоей квартиры.

С тех пор, как две недели назад Слатин переехал в этот старый большой дом, Сурен каждый день приходит или приезжает к нему на своем выкрашенном в красную пожарную краску самодельном автомобиле. У автомобиля мотоциклетный мотор, мотоциклетные колеса, кузов из авиационной фанеры, но тем не менее на белой жестяной пластине, укрепленной там, где у настоящего автомобиля радиатор, красной краской в столбик записаны названия городов, в которых Сурен уже побывал. Время от времени Сурен поглядывает в окно – автомобиль собирает любопытных: заглядывают внутрь, щупают, смеются.

Приезжает он поздно, задерживается за полночь, привозит цемент, мел, доски. Тащит все это на третий этаж, является уже уставшим, жалуется на то, что не мог раньше вырваться с работы, переодевает брюки и лезет на стол, чтобы оборвать старую проводку: «Зачем тебе эти сопли?» С потолка на него сыплется штукатурка, он не отворачивается, только жмурит глаза и сдувает пот и пыль с верхней губы.

От побелки в квартире сырая, тропическая жара. Слатин уже понял, почему говорят: «Два раза переехать – один раз погореть». Приходя из редакции, он выносит ведра со старой штукатуркой, поднимает вверх песок и к тому времени, когда приезжает Сурен, всякую мысль о новой работе встречает с раздражением. Сурен чувствует, что раздражение переносится на него, и смущается:

– Дарагой! Сядь! Ты можешь понять самодельщика? Я полгода ждал, пока ты сюда переедешь. Дай развернуться.

– Энтузиаст! – говорит Слатин с подозрением. Когда-то он помог Сурену, и теперь ему кажется, что Сурен таким образом благодарит его.

– Что ты! – говорит Сурен. – Я теперь берегусь! Для энтузиазма настроение нужно. Вот когда автомобиль делал, настроение было. До четырех утра спать не ложился, а утром без номеров, без кузова, на одной раме, пока нет милиционеров, за город выскочил. Представляешь? Рама, на ней два сиденья, и мы с напарником на этих сиденьях.

Вывинчивая старый разболтанный выключатель и примеряя на его место новый («Приморозим его алебастром»), он рассказывает, как недавно перевозил тещу с окраины поближе к себе:

– Понимаю, с барахлом не расстанется. Повезет свой шкаф, стол, тумбочки в комиссионный. Там ей не дадут того, что она потребует, она назад все привезет, с места не тронется. Пять лет меняется, а тут вдруг согласилась! Спрашиваю: «Мама, сколько вы хотите за шкаф?» – «Пятьдесят». Достану пятьдесят. «А за стол?» – «Тридцать». Все предусмотрел. Потом отвез в комиссионный, четверть цены выручил. Шкаф матери отвез. Ей нужен шкаф. Но без денег она его у тещи не возьмет. Раньше они соседями были, а когда мы с Лидой поженились, мать перебралась на другую улицу. Я воду несу, она говорит: «Женился, чтобы подстирки за ней выносить!» Лида стирает, теща говорит: «Вышла замуж за голодранца, чтобы всю жизнь на него стирать!» Детей моих мать к себе не пускала. А теща в свой шкаф не разрешала одежду вешать. Мать знает, что шкаф тещин, спрашивает: «Сколько я ей за него должна?» – Я говорю: «Мама, десять рублей. Ей лишь бы от него отделаться». Сурен смеется своим заикающимся смехом.

– Тещу сразу на новую квартиру не пустил. Мне ей ремонт делать, а там пятеро соседей. Один сразу сказал: «Лестница мытая, а вы мел таскаете». А мел на подшовах носишь, как их ни вытирай. Я говорю: «Вы извините, сейчас мокрую тряпку на пороге проложим. Упустил из виду». А теща бы его дураком обозвала: «Не видишь

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru – ремонт!» И скандал на всю жизнь. А я как вошел, свою лампочку в коридоре выключил, а провода к пяти выключателям пообрывал. Белить легче и лампочку нельзя выключить – от тещинового счетчика. Я тебе скажу, все это окупается. Они смотрели, сомневались, а я про себя думал: «Скоро вы любить меня будете». Я теще с самого начала говорил: «Мама, все равно я с вами уживусь».

– Всем не понравиться, – говорит Слатин.

– Конечно, – говорит Сурен. – В армии становлюсь на новую квартиру, прихожу к хозяйке: «Вот что, хозяйка, давайте ваши квитанции, в которых вы за электричество расписываетесь. Вы к этому не касаетесь – я буду платить. Чтобы не было недоразумений». Так в Калаче хозяйка как-то говорит: «А у вас свет поздно горит». – «А вам-то, спрашиваю, что до этого?» – «Провода изнашиваются». Я тебе скажу, меня и бойцы любили, хотя – я потом смеялся – на восемьдесят человек у меня было семьдесят национальностей. Правда, одному я дал. Но этот довел, да и сам я был на последнем. Мы железную дорогу строили – я ж в армии строил! – проложили ветку, а впустую. Пустили ее в обход балки, а подсчитали – через балку выгоднее. Так два раза проектировали. А балка глубокая! Представляешь, как основание для полотна делается? Пирамидой. Чтобы наверху можно было две нитки проложить, основание надо насыпать шириной в семьдесят метров! А сколько воды по такой балке идет? Чтобы ее спустать, надо было в основание бетонную трубу диаметром в эту комнату уложить. Труба из секций, мы в них по три-четыре трактора впрягали. Один вниз тянет, два сверху страхуют. Грязь, холод, снег! Дует в этой балке, как в трубе. И все скорее, скорее! Таль не установишь, руками секции не поднимешь. Дали нам паровой железнодорожный кран. Мы на две балки проложили рельсы, разобрали кран, платформу и все это по частям спускали вниз. Запасных деталей нет, подшипник сломается – в соседний город за сто километров едешь. Только военная форма и выручала. Приедешь на завод, из-за формы и дадут – армии надо помочь. А спешили, пока весной вода не пойдет. Сутками я из той балки не выходил. Один раз генерал проверку делал, жена мне ночью обед принесла, выговор генералу сделала: «Что же это у вас человек должен в полночь обедать!» Я ей запрещал по степи ходить, заблудится ночью в степи, пропадет. Так вот на ночь мы тот кран останавливали. Воду из него выливали, а утром в чане над специальной печкой – ну как асфальт разогревают, знаешь? – опять разогревали. Был у меня один такой, жаловался: больной, слабый. Я его и поставил дневалить к печке: ночью встань, печку раскочегарь, воду доведи до кипения и в радиатор залей. Все! Я и не спрашивал его особенно, куда он днем ходил. Ну, конечно, с вечера воду надо опять в чан. Главное было в этой воде, что она с антинакипином. Порошка этого у меня на добавку бы хватило, а чтоб заново залить – нет. И воды-то было немного – ведер восемь. Так он что делал? Воду на землю спускал – ему ее от крана до печки было далеко! – а утром брал из цистерны-развозки. Я бы и не узнал ничего, если бы он не ушел в самоволку. А куда у нас можно пойти в самоволку? Вагончики в степи, до ближайшей станции двадцать километров, двое грузин из соседней роты ходили, комиссовать их пришлось – отморозили ноги. Я и кинулся. А я знал, что у этого больного есть товарищ, спрашиваю его: «Когда видел?» – «А, – говорит, – когда воду из радиатора спускал». – «Как спускал?» – «А как всегда спускает». Я за три километра от вагончиков в балку. Точно, на путях лужа. Лед уже. У меня все зашло. Кран надо останавливать, антинакипин добывать, с железнодорожниками объясняться. И неграмотный был бы! Так все ж знал, школу кончил. Ночь я не спал, еще до рассвета пришел в балку. Вижу, огонь уже разжег, сидит на корточках, руки греет. «Где воду брал?» – спрашиваю. «Из цистерны». Вот тут я ему и дал.

Сурен берет в руки полочку, говорит:

– Вот скажи, что в этой полке? Две доски, десять шурупов, а вдвоем уже два часа возимся. Вот работа!

О работе он говорит много, охотно и всегда с изумлением. С собой он приносит тяжелую сумку с набором отверток, плоскогубцев, пробойчиков. В жестяной коробке однокалиберные, как патроны, черные каленые шурупы. Он смеется:

– Кто что из Москвы привозит. А я два килограмма шурупов привез. Увидел – свободно в магазине лежат. Не удержался.

Удивил он Слатина, когда взялся переложить печку.

– Никого не нанимай. Я же прекрасный печник. Первоклассный! – И радостно

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru засмеялся. – Я в армии научился. Я же не только дороги и мосты строил, но и линейно-дорожные дома. Вот про одного и того же печника говорят, что одна печь у него удалась, а другая не вышла. Такого быть не может. Что значит: удалась – не удалась! Просто один раз случайно выполнил технические нормы, а в другой не выполнил. Делает на глазок! Я, например, из всех печек, которые сложил, пятьдесят процентов перекалывал уже готовых. Переведут нашу часть из села в село, я прихожу на квартиру, смотрю на печь, говорю хозяйке: «Что-то она у вас плохо горит. Давайте я вам ее переложу». Вначале не верит, а потом спрашивает – все одно и то же спрашивают: «А духовка печь будет?» Я заканчиваю класть и говорю: «Месите тесто, пока я заканчиваю, и будем печь». – «Да ну!» – «Месите!» Беру несколько щепок, зажигаю, кладу тоненькое поленце: «Сажайте!» Она берется голыми руками за дверцу и ойкает. Откроет дверцу, а оттуда – жар. Хозяйка довольна, с женой у нее хорошие отношения... Вот так научился. И солдат научил. Их потом инструкторами в другие подразделения переводили.

Слатин смотрел, как Сурен радуется своей сообразительности, честности, и думал, что он и в детстве точно так смеялся заикаясь и вообще мало с тех пор изменился и как будто радуется, что во взрослой жизни сумел управиться лучше многих.

– Нет, – сказал Слатин, – этого я тебе не разрешу. Отопление паровое, не нужна мне печь. А работы до черта.

В детстве они жили в пятиэтажном доме, который принадлежал до революции деду Сурена. В двадцатых годах отец и мать Сурена занимали одну комнату в коммунальной квартире на четвертом этаже. Мать была грозная и гордая армянка со страшными красивыми глазами. Она на вопросы детей и на вопросы самого Сурена отвечала не всегда. В комнате у них стоял рояль – черная глыба, тускневшая год от года потому, что мать Сурена, как и всю свою мебель, протирала его мокрой тряпкой. На рояле никто не играл. Не учили и Сурена. И вообще он никак не выделялся среди дворовых ребят и, кажется, одним из последних во дворе узнал, что он внук бывшего домовладельца. Родители ему этого не говорили.

После седьмого класса и Слатин и Сурен поступили в строительный техникум, но Слатин из техникума сбежал, родители Сурена сменили квартиру, а потом Сурен как-то заурядно женился, обзавелся ребенком и уже одним этим отдалился ото всех. Его взяли в армию, он надолго исчез, а когда вернулся в город, у него уже было двое детей; вид у него был торопливый, замуторенный, а рука в пожатии худой и твердой. Он все где-то и как-то зарабатывал. Но где и как, Слатину было неинтересно. Слатин вообще тогда запоминал только то, что интересно.

– Слушай! – сказал Сурен. – Я ж тебя прошу, дай развернуться! На новоселье я тебе подарок должен сделать? Я всем на новоселье делаю печки. Все равно ее надо до побелки сделать. А где ты хорошего печника возьмешь?

Глину он месил руками. Объяснял:

– Цемент сушит, – он сделал всасывающий звук, – холодит. Поэтому его надо брать мастерком. А с глиной можно работать руками. Глина жирная. Я печки кладу руками...

– Натура у меня такая! – говорил он. – Не хотел в армию, а когда мобилизовали, преодолел первую неприязнь и решил: «Нечего время терять. Буду всю жизнь военным». Стал готовиться в военно-инженерную академию, заявление написал. Но послали не меня, а завклубом. На мне машины, рельсы, шпалы, работа, а он ничего не делает. Проведет танцуйки раз в неделю – и все. Командир мне сказал: «В следующий раз тебя направим». Ладно, я работаю. Жду разнарядки на следующий год. Конечно, мне надо было проследить, но ведь не в бригаде, не в батальоне, а, в полном смысле этого слова, в лесу, в роте. Звоню по телефону. «Нет, – говорит, – пока разнарядки». Теперь бы я, конечно, перепроверил, а тогда еще наивный был. Я тебе не рассказывал, как я в армию попал?

Армянский язык стали забывать еще родители Сурена, и потому армянский акцент в его речи – прикрывающая смущение защитная реакция.

– Я тогда думал, что совсем уже служить не буду, прорабом работал на станции Калиновская. Городок небольшой, все друг друга знают, и когда мне военком восьмого марта, в Женский день, позвонил, чтобы я зашел, я ничего такого не подумал. А он спросил: «Григорьян, документы принес?» – «Принес». Положил на стол паспорт, воинский билет, а он открыл ключом ящик стола, как будто что-то

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru хотел достать оттуда, но не достал, а вот так сбросил в ящик документы. – И Сурен очень выразительно показал, как военком лениво открывал ключом ящик, как смахнул одним движением в него документы, как запер ящик и протянул бумагу: «На, читай». А там сказано было: «Направить Григорьяна в распоряжение...» – командирское звание, как сейчас помню, не было проставлено. Ехать надо было срочно. Я пошел домой, жена ждала меня за праздничным столом. Я ей и преподнес подарочек. Вместе с ней на следующий день выехали в Москву. Оттуда на Север. Неделю добирались, приехали, а там еще зима, и не то степь, не то тундра и базовый поселок из нескольких бараков. Представился командиру, а он бойца послал за всеми командирами части, знакомить со мной. Вечер был, мне неудобно, зачем людей тревожить. Отдыхают ведь, завтра бы и познакомились. А они пришли, и стало нас четверо. Командир каждого характеризует: «Это заслуженный воин, пользующийся уважением бойцов, авторитетом командования». Я заробел. Но тогда я уже немного в жизни понимал и предложил всем для знакомства выпить. Командир вроде засомневался, а потом дал добро. Повели они меня в магазин, я взял три бутылки водки. Сам я пью мало, думаю, три бутылки на четверых – хватит и еще останется. Выходим мы из магазина, а командир задумчиво так спрашивает: «А не мало ли это будет – три бутылки?» – И Сурен, заикаясь и захлебываясь, расхохотался. – Потом я узнал, что он катился с дивизии на полк, с полка на батальон, а держали его за то, что, если надо, все умел достать. Шпалы, рельсы, балласт, вагоны.

И потом меня на другие стройки перебрасывали. Один раз даже начальником гарнизона в районном городе был. И там тоже строил. И на службе и после службы. Клуб городу спроектировал, помог построить, потом в этот клуб бойцов в кино водил. Бойцы повзводно, а я с женой – за ними. Лида беременна была. Мне говорили: «Ты и жену строем в кино водишь». А потом, сам знаешь, время пришло: вроде бояться нечего, всю жизнь честно работал, а ночью думаешь – черт его знает, может, что и не так. Тут случай подвернулся уйти – заболел. И я ушел. И жену убедил. Диплом у нее пропадает: то работает, то не работает. Дети без школы, а главное, сам без перспективы. Вернулся и поступил в это самое проектное бюро – подальше и потише. Спасибо, в армии научился печки класть. Я и сейчас иногда кладу. А раньше у меня бригада была. Каменщики, плотники – они дома кладут, а как кончают, зовут меня, чтобы я печку сделал. Я после работы беру чемоданчик, мастерок и еду. Два вечера проработал – печка. Четыре печки в месяц сложил – моя зарплата в проектное бюро. Я мог бы бросить службу и жить вот так! А в деревню выехать – и цены бы мне не было. И работа чистая: глина и песок. Руки отмоешь – белые, как у барышни. И настроение хорошее. Поработал – попел. Я люблю петь. Меня и сейчас зовут. Я ж никогда не халтуру. Ребята после меня несколько печников пробовали – меня потом звали переделывать. Настоящий же печник говорит: «Трезвым не кладу». А я не пью. Хозяева даже сомневаться начинают. А я кладу чисто, хорошо, но сам знаю, что профессионального блеска не хватает, почерка, который складывается от постоянного повторения одних и тех же движений. Но горит всегда прекрасно. Однако сейчас я ребятам отказываю. Я им говорю: «На перспективу не работаете».

Часов в одиннадцать приходила дочь Сурена:

– Папа, мама волнуется.

К полуночи Слатин бывал уже мертв от усталости. Сурен тоже чаще ошибался и переделывал.

– Плюнь! – просил Слатин. – Пусть так!

Сурен упирался:

– Сделанное должно быть сделано. – И спрашивал у дочери:

– Мама внизу? Пусть поднимается.

Приходила Лида, полная, с одышкой, спрашивала:

– Заговорил людей? Замучил? Как тебе не стыдно, Григорьян?

Слатин смущался. Ему казалось, что и шутить так с наработавшимся Суреном нельзя. Но Сурен говорил:

– Это мой отдел технического контроля. Если Лида работу примет, значит, все в

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru порядке.

И Лида находила какие-то недоделки.

Потом Сурен наконец начинал собирать в свою сумку плоскогубцы, отвертки, пробойчики, мыл руки, они садились за стол. Сурен просил кофе покрепче, и начинался разговор о детях. И Лида, и Сурен могли часами говорить о своих детях.

– У меня на десять лет вперед все расписано, – говорил Сурен. – Лишь бы войны не было. Когда сыну будет восемнадцать, я ему двухместную машину сделаю. Я тебе скажу, – предупреждал он возражения Слатина, – если войны не будет, все равно ему захочется велосипед, а потом мотоцикл. Так машина безопаснее.

Слатин смеялся, а Сурен говорил:

– Только война будет. По газетам вижу и так чувствую. Я же военный человек. Чутье у меня есть. И знаешь, о чем я жалею? Меня там не будет, когда это начнется. Хочешь верь, хочешь нет. Я же со своими из части переписываюсь. Их давно к западной границе передвинули. На Черное море в отпуск через наш город ездят, ко мне в гости заезжают. Я знаю, кто что умеет. Кто начальства боится, кто жены. Я тоже жены боюсь и сам понимаю, что, если там буду, ничего не изменится. Но вот иногда думаю – что-то такое они без меня упустят, что-то не так сделают.

В прошлом году Слатин помог Сурену избавиться от беды. Сурен сделал проект на ремонт двухэтажного дома. Дом этот, строившийся когда-то на одну богатую семью, был неудобен для общежития. Сурен предложил жильцам передвинуть лестничную клетку, вместо мансарды – этаж, квартиры по возможности изолировать. Ему сказали: «Будем купать вас в шампанском». Проект он сделал, а когда явились строители, оказалось, что дом с изъяном: за первым слоем кирпича в стенах – доски. Дореволюционный подрядчик обманул хозяина – делал кирпичные стены с пустотами. Дерево, правда, было еще превосходным: семидесятка, дуб. Должно быть, подрядчик купил и разобрал на доски старую баржу. Но те жильцы, которым переделка не сулила особых улучшений, написали несколько жалоб, в которых было сказано, что инженер Григорьян заставил жильцов согласиться на эту вредительскую переделку. И хотя жалоба была даже на первый взгляд пустой – проектировщику проще делать капитальный ремонт без всяких переделок и никаких возможностей кого-то заставлять у него нет, – жалобе дали ход. Тогда-то Сурен и разыскал Слатина. Слатин послал в проектное бюро толкового рабкора, и вот теперь Сурен нет-нет да напомнит: «Был с комиссией в том доме. Жильцы меня увидели, спрашивают: „А вы разве не в тюрьме?“

Однако жалобы эти чем-то Сурену и помогли. В горисполкоме к нему присмотрелись, увидели, как он работает, и взяли „исполняющим обязанности“ главного инженера жилуправления. „Исполняющий обязанности“ – потому что анкета у него все-таки была не очень ясной. Убрать буквы „и. о.“ так и не решились и вернули в проектное бюро с условием, что он будет работать заведующим, а деньги получать как сантехник в одном домоуправлении и как истопник в другом, пока в горисполкоме не найдут возможности повысить ему зарплату. И он опять сел за свой стол, уволил нескольких пьяниц и начал ремонтировать помещение. Бюро размещалось в левом крыле городской бани, вела туда узкая и крутая, как в церковной стене, лестница. Стены не штукатурились и не белились много лет – присутственное заведение с тошнотворным запахом ожидания, с тоской потерянного времени.

Он перекрасил стены, добыл специальные столы для проектировщиков, разыскивал и приглашал инженеров и жаловался Слатину:

– Я людям объясняю: „У нас можно хорошо заработать. Сдельщина! Можно заработать и тысячу и полторы. Как будешь работать“. Ты знаешь, что мне отвечают: „Лучше я буду получать семьсот, чем зарабатывать тысячу“.

Сурен ошеломленно смотрел на Слатина.

– Если бы мне сказали: „Не работай! Живи, как хочешь, но не работай“, – худшего наказания мне придумать было бы нельзя. Но я тебе скажу, человека можно отучить работать. Психологию ему так построить! – Сурен почему-то понизил голос. – В нашей конторе так и получается. Есть у нас строительная организация. Ремонтируют, строят по нашим проектам. Ни железа, ни краски, ни гвоздей, ни

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
руберида – никаких строительных материалов им не дают. А выкручиваться надо? Приходит заказчик с нашим проектом, а приходит, когда человеку уже позарез, когда он в крайности. Там посмотрят: „Этого у нас нет, этого у нас тоже нет, а это будет в третьем квартале“. Он им и говорит: „Я достал то-то, сам я слесарь, брат – печник, приятель – кровельщик. Мы сами все сделаем...“ А ему отвечают: „Мы включим вас в смету как своих сезонных рабочих и своих штукатуров пришлем“. И записывают себе полный объем работ! Слесарь, печник, кровельщик все быстро сделают – позарез! – штукатуры пол-литра разопьют, а начальство отчитывается на собрании: „План выполнен на сто и две десятых процента“.

– И ты молчишь? – спросил Слатин.

Усики Сурена затопорщились, он задумался:

– Вот слушай. Один раз ко мне на работу пришла мать. Они с отцом давно на окраину перебрались. Им нужно было печь отремонтировать, дымовую трубу нарастить. Я сказал, приду вечером, посмотрю, телегу с кирпичами пришлю и сделаю. А у меня в кабинете сидел прораб из этой конторы. Они у нас на планерках присутствуют. Тихо сидел. Мать ушла, а он поднялся ко мне. А у него газета под мышкой была. – Сурен вскочил, увидел на шкафчике газету, сунул себе под мышку. – „Зачем ты будешь сам возиться, трубу наращивать? Я телегу пришлю, печника“. Разворачивает газету. – Сурен наклонился к Слатину, развернул газету. – А в газетке у него смета: „Вот тут смета на пять тысяч рублей, подпиши“. Я как шуганул его! С трубой, кирпичами! Он вылетел из кабинета. Хотя не себе же он эти деньги положил бы в карман. Он выбивал зарплату для людей. Но вот пришел бы потом, сказал: „Я пошутил“. Не пошутил. У меня трое из этой организации работали, приносят смету: пиломатериал, купорос, олифа, гвозди... Я накрыл ее ладонью, говорю: „Меня всегда смешит, когда меня в строительных делах хотят обмануть. Но я вам предлагаю соглашение. Видите, как мы теснимся из-за ремонта? В три дня сделаете, я вам эту смету подписываю не глядя. Нет – пеняйте на себя“. На следующий день приходит один. „Где другие?“ – „Их прораб в другое место послал“. Те двое профессора, а тот, что пришел, шестерка. У них такое разделение. Покопался он два дня, на третий я его выгнал – без напарников не приходи! Явились. Говорю им: „Когда придете наряд закрывать, припомните наш разговор“. – „Начальник, все сделаем“. Еще три дня возились и исчезли. Я заглянул в комнату – чем же третий занимается? А он гвозди из одной кучи в другую перекаладывает. На столе гвозди, понимаешь, по калибру разложены на три кучи, стол толкнешь, края куч смешиваются. Так он кладет с края кучи в центр! „Чем ты занимаешься?!“ – „Так гвозди же надо рассортировать“. – „Да они опять ссыплются!“ – „Так надо же!“ Я говорю: „Надо стеллаж перенести на место“. – „Не проходит“. Действительно, на два сантиметра сквозь двери не проходит. „Распили! Потом собьешь снова“. – „Так это ж надо пилить!“ – Сурен посмотрел на Слатина. – Ты говоришь, молчу ли я. Производство наше оборонного значения не имеет – ремонтируем людям жилье. Кто с нами считается будет? А если бы у нас людей было побольше, оборот покрупнее, помещение получше – с нами могли бы и считаться. Я в Харькове был. Там здание трехэтажное, в штате десятки инженеров. Но я ж тебе говорю, что я уже тринадцатый начальник. Можно в таких условиях работать на перспективу?

Рассказывал Сурен азартно. То ли у него накопилось, то ли он так рассказывал потому, что Слатин работник областной газеты. Сам Сурен объяснял это так:

– Понимаешь, работы так много, что на друзей времени не остается.

Теперь ему предлагали место на заводе – сорок подчиненных, ставка семьсот рублей, и он спрашивает совета у Слатина, переходить или не переходить.

– Понимаешь, – говорил он, – директору нужен такой, как я. С административной хваткой. Талантливый инженер на эту должность не пойдет. – И Сурен смущенно улыбался потому, что сам же себя выводил из числа талантливых. – И я тебе скажу: год назад я и думать не стал – перешел бы. А сейчас с делом жалко расставаться. Все ж сердцем делалось. Пьяниц выгнал. Тех, кто за тринадцать начальников распустился, подтянул. Раньше ко мне в кабинет с криком входили – теперь крику нет. Я говорю: выгнал. Но это так говорю. Двух действительно уволил. А те сами ушли. Я и не держу. Ему сказали как-то, что от него сильно пахнет, а он ответил: „Все равно я ухожу“. И ушел без обиды. Понимает, что я прав, работать надо, а работать уже не может. Мне говорят: „Секретаршу взял не по чину красивую. Зарплата у тебя для нее слишком низкая. Все равно у тебя ее переманят“. Пусть

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru переманивают. А новое дело начинать боюсь. Это же новые люди, новые связи. Тут мне верят еще и потому, что я бывший главный инженер, потому что за все эти годы я никого не обманул. А без личных связей, которые годами налаживаются, ничего сделать нельзя. Бумагу нам планируют 150 килограммов на год, а расходует мы две тонны. И никакими легальными способами эти две тонны не достать. Я каждый день, когда иду на работу, захожу в облснаб и спрашиваю: „Раиса Ивановна, остаточки есть?“ Момент надо уловить, когда придет бумага и картон, когда их распределят по разнарядкам и вдруг окажется, что осталось несколько тонн, на которые как раз в этот момент никто не претендует. И никого я вместо себя послать не могу: ни главного инженера, ни бухгалтера, ни боже мой!» «Сколько вам положено?!» Считаю с армией, третий раз начальником стал, с третьего захода стал понимать. Пришли ко мне из НКВД, им срочно проект нужен. Я не посмотрел, что они в форме. «А чем вы можете мне помочь?» – «А что вам нужно?» – «Бумаги». Так они, молодцы, на собственной машине привезли мне кальку.

– Не боялся?

– Боялся, когда жена подруге в дом отдыха письмо с переносом на двух открытках написала. На первой открытке пишет: «У нас недавно состоялась встреча с руководителем подпольной группы...» Это в библиотеке у них встреча читателей с автором-партизаном. Вторая открытка где-то на почте затерялась, подруга из дома отдыха уехала, а письмо только пришло. Там его кто-то прочел и отдал куда надо. Оттуда переслали сюда. По почтовому штемпелю. Обратного адреса на открытке не было. Месяца через два к жене на работу приходят: «Ваше письмо?» Она обмерла. Стала объяснять. А те говорят: «Да мы все знаем. Задали вы нам работу». Она извинялась: «У вас столько работы, а тут я со своими глупостями». А я ей сказал: «Дура! У них же след в бумагах остался! Не могла подождать, пока твоя подруга приедет! Надолго расстались!»

Было видно, что Сурен и сейчас боится.

– Чтобы не было доносов, я все делаю открыто, – сказал он. – Копировальная машина мне нужна, план без нее провалится. Мне ее продают, но ставят условие: оформи моего рабочего на семь месяцев. Я думаю, семь месяцев это будет на мне висеть. Говорю: «Оформляю вас старшим инженером на три», – и смотрю на него. У него двести человек в подчинении, его весь город знает. «Подумаю». А я к своему горисполкомовскому начальнику. «Надо?» – спрашивает. «Надо».

А ты говоришь – боишься!

Сурен спрашивал совета, и Слатин удивлялся, что он может ему посоветовать?

– Когда сердце схватило, я в первый раз подумал: все равно придется уходить. К одному даже присматриваться начал. Тоже на ответственной работе был – бросил. Автобус водит. Здоровый стал. День дома, день – на линии. Я ж тоже шофер первого класса. И я тебе скажу, иногда так хочется плюнуть на все это, уволиться и два месяца ничего не делать. Жена библиотекой заведует, а мне книжку прочесть некогда. На работе проекты, домой чертежи беру – как заведенный, честное слово! Сам себе удивляюсь – откуда силы берутся! – И восторженный тон не соответствовал тому, что Сурен говорил. – Начальник у меня – работяга. Слова хорошие умеет говорить. Перед зимним сезоном котельные пускали, по двенадцать часов работали. «Люди не должны мерзнуть!» А на перспективу работать не любит. Скажешь: «Это ж не на один день! Надо о перспективе подумать», – смотрит с подозрением.

– Сколько ты получаешь?

– Как истопник четыреста и как сантехник четыреста пятьдесят, – засмеялся Сурен.

– Я сказал председателю горисполкома: «Вы обещаете мне к будущему году персональный оклад, когда вас здесь, может, и не будет. А как новый человек посмотрит на мое совместительство?»

– С женой ты советовался? – спросил Слатин.

– Жена на пляже агитацией занимается, – опять засмеялся Сурен. – По воскресеньям у них нагрузка – выезжают на пляж с газетами и журналами. Детей с собой берет. Они купаются, а она на жаре в платье за столиком сидит. Библиотекаршам своим разрешает позагорать, а сама не раздевается. Я говорю: «Сиди в купальнике!» Не хочет. Какой-то начальник проверял, кому-то сделал замечание – она и не хочет. У

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
нее же лучшая районная библиотека: стенды, смотры, связи с предприятиями, встречи с артистами. Требовала, чтобы я артистке руку поцеловал. Целый вечер готовился – и не смог!

Воскресное утро подходило к концу. Слатин собирался завинтить последний шуруп в полочку. Кусок хозяйственного мыла был весь в дырочках от шурупов. Сурен сказал:

– Последний шуруп – мой!

Они укрепили полочку в прихожей рядом с зеркалом.

– Едем ко мне, – сказал Сурен, – машину поставим и пойдем по аварийным адресам.

Слатин недавно просил Сурена показать город «глазами строителя».

Они спустились вниз. Слатин сел на заднее сиденье суреновского автомобиля, закрыл дверцу. Он ждал металлического хлопка, но звук был деревянный, фанерный. Красная пожарная краска, любопытные взгляды прохожих смущали Слатина. Сурен несколько раз дернул ручку, мотор мотоциклетно затарахтел, автомобиль развернулся и бодро покотил. Ехать было недалеко; у себя во дворе Сурен закатил машину в железный ящик – гараж, – и они вышли на улицу. Раньше Слатин не очень внимательно слушал рассказы Сурена. Но однажды по какому-то делу он заглянул к нему на работу. Пригибая голову, поднялся по узкой лестнице, прошел по коридору мимо длинной очереди, открыл дверь, на которой было приклеено объявление: «Прием заказов прекращен до 1 августа 41 года». Объявление никого не останавливало. В кабинете было много людей, и Слатин присел в сторонке.

– Сурен Алексеевич! Мы с ним договорились, а теперь его кто-то сбивает с толку, – раздраженно оправдывался проектировщик. – Низок ему потолок в два пятьдесят! Зачем вам кубатура? – повернулся он к человеку, который стоял у стола переминаясь. – Чтобы не гасла ваша печка! А мы поставим вам принудительную вентиляцию!

– Григорий Анисимович, – сказал Сурен, – чего хочет заказчик? Чтобы высота в котельной была три пятьдесят. Но ведь это мы обязаны навязывать ему эту высоту, поскольку она установлена ГОСТом.

Проектировщик вспыхнул, они еще поспорили с Суреном. Сурен отмечал какие-то места в чертеже. Потом в кабинет вошел новый посетитель. Сурен его спросил:

– Объявление на дверях видели?

– Но у меня исключительный случай.

У всех, кто приходил к нему, был исключительный случай.

– Я бациллоноситель, – плакала женщина, жаловавшаяся на прораба. – Три месяца лежала в больнице, вернулась, думала, все готово. Там же только пять ступенек...

Она ушла, прораб сказал:

– Алкоголичка.

– Мы с вами с ней не поменяемся, – ответил Сурен.

Пришел кто-то из своих:

– Сурен Алексеевич! Мы ж договаривались! Заказов больше принимать нельзя.

Но и у следующего посетителя был исключительный случай.

– У нас детское учреждение, да и проект небольшой. Перегородка, печь, котел. Не осенью ж это делать!

Слатин присматривался, и Сурен казался ему то отодвигающим себя на второй план, как в детстве, – человеком, которого легко склонить на свою сторону, – то совсем новым Суреном, которого ни уговорить, ни склонить нельзя. Слатин заметил, что для Сурена не было своих. Он просто разбирался в проекте, который ему приносили.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Тогда Слатин и попросил показать ему город. Сурен понял его по-своему, выписал адреса нескольких аварийных домов и предложил свой автомобиль. Слатин не захотел привлекать к себе внимание этим странным драндулетом, и вот теперь они шли пешком. Это была десятки раз исхоженная улица. Привычная побитым асфальтом тротуаров, кирпичным цветом фасадов, ставнями на первых этажах домов. Кладкой дореволюционной, кладкой современной, потеками от водопроводных колонок – всем тем, что оседает в памяти постепенно и не замечается, не помнится потом. Они искали номер 106 с литером «В». Сто шестых оказалось несколько, и Сурен, что-то прикинув, направился в глубь двора к самой старой на вид халупе. У двери возилась с примусом женщина в прокеросиненном халате.

– Это сто шестой «В»? – спросил Сурен у нее.

– Это уже сто восьмой, – сказала женщина.

– Вот этот сарай сто шестой «В»?

– Сарай! – сказала женщина. – В этом сарае семья живет. Нет, это тоже сто восьмой.

Слатин посмотрел на сарай – крыша его прогнулась седлом.

– Все равно, – сказал Сурен. – Комиссия у вас уже была? Дом записали на слом?

– Нет, – сказала женщина, – комиссии у нас не было.

Теперь из соседней двери за ними наблюдала женщина, такая же пожилая, в таком же прокеросиненном халате, с обесцвеченными старостью, дурным воздухом волосами, с бледной кожей шеи и лица.

– Да что комиссия! – сказала женщина. – Вон тот сарай, о котором вы говорите. Там уже было столько комиссий, а все равно людям некуда деться.

Женщины теперь проявляли к Сурену и Слатину некоторый интерес. Однако не очень сильный.

– Когда ваш дом построен? – спросил Сурен. – Можно войти?

– Еще хозяин строил, – сказала женщина. – Сто лет дому, не меньше. Теперь он жактовский.

Ни ступенек, ни крыльца в доме не было. Пол был настлан прямо по земле. Однако войти оказалось непросто. Дверная рама просела, и дверь приоткрывалась, а не открывалась. Дерево на полу истлело, было побито гнилью, как металл коррозией. В комнате стоял тот самый запах, которого можно было ожидать, лишь взглянув на халат женщины. Так пахнет воздух, из которого парами керосина вытеснен кислород.

– Комнаты сырые? – спросил Сурен.

– Да, – сказала женщина. – Холодные.

В комнате стояло четыре кровати.

– Кто с вами живет?

– Невестка. Сын в армии. Скоро демобилизуется.

Женщина по-прежнему была сдержанна, но на вопросы отвечала. Старая, в этом старом доме, она вызвала жалость, но не очень сильную. Так складывалась ее жизнь, так шла она у нее десятки лет – ничего тут не изменишь даже новой квартирой.

Они вышли во двор, женщина шла за ними. Она даже не спрашивала, откуда они, Сурен сам объяснил – из проектного бюро, – но, видя, что они уходят, все же заторопилась. Показала, как легко отделяется пористое дерево, если его просто взять пальцами.

– Это же название одно – рамы, – сказала она. – Они уже двадцать лет не

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru открываются. Двадцать лет дышим одним и тем же воздухом.

– А к домоуправляющему обращались? – спросил Сурен.

Глаза женщины сразу потускнели, она не ответила, а Слатин и Сурен направились к двухэтажному барaku. Дом был оштукатуренный, серый, как будто каменный. Но Сурен сказал:

– Деревянный, обтянутый сеткой, по сетке оштукатуренный. Потолок из камышитовых матов. Материал неплохой, но недолговечный. Конечно, если барак простоит столько, сколько ему положено, то не страшно. Но ни одного временного строения мы еще не снесли. Средства вгоняем в капитальный ремонт, и дома повисают у нас на балансе. Люди идут в город, а жилья нет.

Ничуть не смущаясь тем, что из барака на них смотрят, Сурен объяснял все это Слатину. Сурен вообще не смущался во дворе чужого дома, привычно входил в дом к пожилой женщине, по-хозяйски ее расспрашивал, привычно уходил, так ничего и не пообещав.

Из окна на них смотрела девушка. Сурен спросил:

– Это сто шестой «В»?

– Сто шестой, а какой литер, не знаю, – сказала девушка.

– Комиссия у вас была?

– Была, – ответили откуда-то сверху. – Вот поднимитесь сюда, молодые люди.

В темноватом подъезде они разглядели на площадке второго этажа двух старух. Из длинного коммунального коридора на первом этаже уже кто-то спешил, но старухи перехватили их:

– Сюда, сюда, посмотрите сами!

Перила, пол в коридоре – все было деревянным, серым и шелушащимся. Весь барак пересох и ослаб от старости. Эту его опасную старческую легкость Слатин почувствовал, когда поднялся по деревянным ступеням на второй этаж. Их завели, затащили в коридор и, как показалось Слатину, с каким-то торжеством показали подпертый бревном потолок. Потолок переломился и обнаружил скрытый в других местах камышитовый мат. Это были плотно связанные, почерневшие камышины.

– Видите! – сказали старухи.

Слатин смутился. За ними следили, и смущение Слатина сразу же было замечено и по-своему истолковано. Их потянули дальше по коридору. Показали огромную кухню со старой кубовой печью, с двумя старыми плитками, с десятком кухонных столиков. Такие столики не выпускает ни одна фабрика, но только такие столики и можно увидеть на кухнях коммунальных квартир. Коридор был загроможден вещами: сундуками, ящиками, детскими велосипедами.

Сурен и в этом коридоре чувствовал себя уверенно, уверенно задавал вопросы, спокойно объяснял Слатину:

– После революции камышит был в моде. Технология разрабатывалась, но далеко дело не пошло. Добывать оказалось не так-то просто. В болотах, плавнях – только на первый взгляд дешевый материал. Давно вы здесь живете? – спросил он у женщины, которая тянула их в свою квартиру.

Оказалось, барак был построен для работников НКВД, потом они получили новые квартиры, а барак заселили портовыми рабочими.

– Разве можно здесь жить? – распахнула женщина дверь в другую точно такую же комнату. – Когда соседям давали квартиры, мы нахрапом позанимали их комнаты, двери туда прорубили.

В каждой комнате было по две кровати. Во второй комнате спиной к Слатину и Сурену на кровати лежал мужчина. Распахнутая дверь, шум его разбудили. Он сменил

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
позу, но не повернулся к вошедшим. Слатин заторопил Сурена:

– Пошли!

Им еще что-то хотели показать, на лестнице их ждали жильцы первого этажа, но Слатин настойчиво тянул за собой Сурена. Было удивительно, что их так и не спросили, кто они такие. Когда они уже спускались по лестнице, их окликнули:

– Вы скажите там, где надо!

И кто-то добавил непечатное слово.

– Мы из проектного бюро, – сказал Сурен. – Там, где надо, мы скажем, – и спросил у Слатина: – Слышал?

– Ругаются? – сказал Слатин.

– Ого! Никого не боятся.

Они вышли на улицу, и Слатин ее как будто не узнавал. А Сурен показывал ему дома и рассказывал. Сурен дома видел насквозь, диагнозы ставил мгновенно. Показывал на одноэтажный дом, который Слатину казался кирпичным:

– Деревянный, обложенный кирпичом. Кирпич скоро осыплется. Считай, дома уже нет. До революции сколько хочешь было подрядчиков-халтурщиков. Хозяин не следил – делали черт знает что! Стена вроде кирпичная, а на самом деле между кирпичами – земля. Сейчас ремонтируем дома – находим.

Он сверился со своим списком адресов и повел Слатина вниз, к реке. Это была самая старая часть города, тихий пешеходный район, хотя центр был совсем рядом. То, что улицы стары, было видно и по толщине уличных деревьев, и по оконным ставням, и по цвету бульжника на мостовой, и по абсолютному отсутствию автомобильного и трамвайного шума. В тишине солнечный свет был ярче и жара сильнее. Тень лежала короткая, от одноэтажных домов. Сурен закурил и залился потом, рубашка прилипла к спине и на животе. Он, как полотенцем, вытирал платком лицо и шею и рассказывал Слатину, почему в стенах некоторых домов кирпич имеет два, а то и три оттенка. Люди использовали и фабричный кирпич, и кирпич, взятый после разборки разрушенных в гражданскую войну зданий, и кирпич от взорванного городского собора. Собор взрывали в двадцать седьмом году, но что делать с развалинами, долго не могли сообразить. Кирпича, мусора, обломков стены было так много, так много было еще устоявших стен, что на разборку всего этого потребовалось бы множество машин и рабочих. Всю площадь обнесли огромным забором. Газета, в которой работал Слатин, несколько раз писала о том, что будет на этой площади. Развалины постепенно расчищались, забор укорачивали – открылось большое пространство, на которое, чтобы засыпать кирпичную пыль, жесткий строительный мусор, завозили землю и песок.

– Что это на крыше? – показал Слатин на странную, лепесткового вида крышу.

– И толь, и рубероид, и пергамин.

– Давай зайдём сюда, – предложил Слатин. Он уже догадался, что далеко ходить незачем.

Сурен согласился, и они вошли. Дверь халупы, накрытой лепестковой крышей, была открыта, и Сурен постучал о притолоку.

– Хозяева! – позвал он, и Слатин опять услышал в его голосе бесцеремонные нотки.

От марли, занавешивающей дверь, тянуло тем же сильным бескислородным керосиновым запахом.

– Разве это дом! – кричала женщина. Она работала на табачной фабрике, а ее муж – дворником в мореходном училище.

– А на предприятии вам что-нибудь обещают? – спросил Сурен.

– Что там обещают! – сказала женщина.

Они вошли вместе с ней в халупу, а когда вышли во двор, их уже ждали. Мужчина в майке повел их в глубь двора и показал жерло большой цементной трубы.

– Источник? – спросил Сурен.

– Лет двадцать – тридцать назад был, – сказал мужчина в майке. – Я не помню, а люди говорят. А теперь осенью и вообще в дожди вода идет, – и он показал путь, которым течет вода. Он шел прямо под стеной дома. – Может, засыпать люк?

– Ни в коем случае, – сказал Сурен. – Помните, как ушел под землю новый дом? Должны помнить – это в двух кварталах от вас. – Сурен повернулся к Слатину. – Там была старая дренажная система. В гражданскую планы сгорели, никто не знал, как она работает и зачем там люки. Портовики построили там четыре трехэтажных дома. До этого никто дренажную систему не трогал, она сама работала помаленьку, воду спускала. А тут пришел управляющий, подумал, зачем ему пустые люки, дети еще туда попадут. Забил их камнями и землей. А тут дожди – и дом ушел под землю. На воде стоял.

– Как ушел? – не понял Слатин.

– Провалился, и все. Многим еще повезло. Дети в школе, отцы на работе. Многих строителей тогда посадили. А какое ж это вредительство – просто малограмотность.

Мужчина в майке спросил:

– И наш дом на воде стоит?

– На водоносном слое, – сказал Сурен. – Надо прислать вам инженера.

– Да приходили уже, – сказал мужчина. – Мы звали, когда вода шла. Один и предлагал забить камнями. Я и набросал, а вода все равно шла.

Сурен еще что-то хотел узнать, но Слатин потянул его. Движение его сразу было замечено.

– Да-а! Ходят тут, – сказал кто-то.

– А вы кто такие будете? – спросил мужчина в майке.

– Из проектного бюро, – сказал Сурен.

Они вышли на улицу, и Слатин даже головой встряхнул от наваждения. Раньше он город видел как на рекламных открытках: Дом Советов, театр, а теперь – пергаминовые крыши.

Сам Слатин до последнего времени жил в коммунальной квартире. И друзья его имели комнаты в коммунальных квартирах. В настоящих двух- или трехкомнатных квартирах он бывал так редко, что ни зависти, ни энергии добиваться и для себя чего-нибудь такого же это в нем не возбуждало. И вообще все это как-то определяться стало для него совсем недавно. Только сейчас сквозь книжный туман он стал замечать комнату, в которой спал, кухню, в которой мать готовила еду. Один раз в жизни он сшил костюм на заказ, и все, что было связано с хождением к портному, надолго оставило в нем стыдное ощущение. Человек, который мог тратить энергию на то, чтобы достать себе модные туфли, был ему странен и неприятен. Работа поглощала Слатина целиком. Может быть даже, он был фанатичным человеком. Ведь то, ради чего он работал, называлось счастьем человечества. А квартирная бедность и бедность в одежде, которую Слатин вовсе не ощущал как бедность – все жили примерно одинаково, – развязывала ему руки, освобождала от низменных хлопот. Он родился в бедной стране, где беднота совершила революцию, и слово «необходимость» было одним из главных в его словаре.

– Мало пока строим, – сказал он Сурену.

– Мало! – ухватился Сурен.

– Но ведь строим же, – сказал Слатин. – Простым глазом видно. Все средства в тяжелую промышленность вгоняем. На квартиры не хватает.

Сурен ответил непонятно:

– Сознательных много – инициативных перевели. Сами себе создаем трудности, а потом героически преодолеваем их. То, что идет на тяжелую промышленность, – пусть идет. А дома можно строить на месте своими силами. И людей, и средства – все можно найти. Материал местный есть – я в карьерах бывал, присматривал. Смелости нет – одна сознательность осталась. Специалисты нужны, инициативные люди. Заговори с председателем горисполкома. Про международное положение он тебе расскажет. Спроси, как дренажная система работает, сразу заскучает. План есть? Больше никому не надо! А какого главного инженера взяли? Пацана, закончившего техникум. Бывают молодые, да ранние, а этот пустой. Специально взяли, чтобы было на кого вину взваливать.

Получалось, что Сурен еще и жалуется. Слатин сто раз давал себе слово не участвовать в таких разговорах. Сурен сказал:

– Помнишь дом, в котором мы жили? Знаешь, что это дом моего деда? Зайди туда – дерево в оконных рамах как новое. У деда глаз был. Дед в наш город приехал из Мариуполя не с капиталом, а с рекомендательным письмом от хозяина, у которого работал приказчиком. Ему под это поручительство занимали деньги. Тогда тоже не только на деньги, но и на человека ставили.

Никогда Сурен не говорил со Слатиным о своем деде, но сегодня Слатин почему-то ждал, что Сурен именно об этом и заговорит.

– Хорошо, – сказал Сурен, – у этого анкета не та, тот на собрании не то слово сказал. Или совсем не умеет на собрании говорить. А работать кто-то должен? А как работать на перспективу, если я – тринадцатый начальник? Ведь никто не хочет думать, что все, что сегодня строим, завтра надо будет перестраивать. Я как этот американский журнал посмотрел, сразу решил: брошу свою контору, перейду в институт.

– Значит, переходишь?

– Погоди. Случай подворачивался скандалить, я скандалил. Звонит мне недавно какой-то мужик: «Позвоните в горком товарищу Дубоносову». Не сам Дубоносов, не секретарша его, а солидный мужик. Я звоню – Дубоносов занят. А у меня дел по горло. Через полчаса тот же голос: «Почему не звоните товарищу Дубоносову?» Дозвонился. «А-а, это ты, Григорьян!» Понимаешь, «ты»! Старый знакомый! Объясняет, в чем дело. В зубокабинетной клинике лаборатория оказалась без вентиляции. Чтобы ее исправить, надо было поработать, а они ее просто забили. Форточка – вся вентиляция. А там пломбы делают, пары ртути. «Надо им сделать проект, – говорит Дубоносов, – и побыстрее». А у него там жена работает. «Ты не стесняешься», – думаю. Я отвечаю: «У нас строгий график, утвержденный главным инженером горжилуправления. Вы ему позвоните». – «Да нет, Григорьян! Ты сам ему позвонишь. Скажешь, Дубоносов дал указание». Я у него спрашиваю: «Ты один у себя в кабинете?» – Опешил: «Да, а что?» – «Пойди ты к... матери!»

– Значит, точно переходишь? – засмеялся Слатин.

– Нет, – сказал Сурен, – партийная дисциплина. Заявление я начальнику подал. Он меня к заместителю, а потом к председателю горсовета вызвали. Бумагу показывают: «Мы вам выхлопочем оклад». Спрашивают: «Григорьян, ты не пользовался путевками в дом отдыха?» Понимаешь, один говорит, другой вторит: «Да, кстати, должность начальника бюро приравнивается к должности заведующего отделом горсовета. Надо, чтобы Григорьян получил путевку и подъемные. На лечение». Сколько лет работаю, никто так со мной не разговаривал. Просил – не помогало. Теперь в минуту все стало возможным.

Они шли по Нижнебульварной улице. Отсюда была видна река. Пляж, усыпанный телами загорающих, моторный паром, везущий отдыхающих на пляж, парень на корме парома с гитарой наперевес... Они еще не знали, что двадцать минут назад радио сообщило о начале войны с Германией.

* * *

Вечером в квартиру Сурена постучал попрошайка. Он стучал из квартиры в квартиру. «Мы из колхоза на машине приехали. Мотор загорелся, пиджаками тушили». Ему

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru выносили одежду, а Сурен спросил:

- Где машина стоит?
- За углом, – сказал попрошайка.
- Подожди меня. Я немного автомобилист. Помогу.

Сурен вернулся в комнату.

– Подозрительный, – сказал он жене. Лида принесла из соседней комнаты милицейский свисток. Сурен сунул его в карман. Когда он вышел во двор, на улице уже было пусто, и Сурен двинулся в хлебный магазин напротив. Мужчина стоял, спрятавшись за дверь. Сурен сказал:

- Пойдем. И не вздумай делать глупости.

В милиции было тесно, туда весь день доставляли подозрительных. Сурена усадили писать объяснительную записку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Было до войны такое выражение – «гореть на работе». Слатин точно знал, что это такое. Через несколько минут работы он начинал чувствовать, как сосредоточенность давит изнутри на глазные яблоки и давление все усиливается. У него воспалялись веки и, казалось, поднималась температура. Когда Слатин проходил сквозь вестибюль редакции, пожилой шофер Александр Мокеевич Шмикин спрашивал его участливо:

- Здоровье-то как?

Слатин был еще в том возрасте, когда никто не спрашивает друг друга о здоровье.

- Да вроде... – изумлялся он.

– И слава богу! – будто с облегчением сразу же отступался Александр Мокеевич. И исчезал, растворялся в сумраке огромного вестибюля.

Когда у Слатина вот так давило на глаза, те, с кем он встречался и здоровался, в ту же секунду растворялись за его спиной. Физическое ощущение горения высвобождало его из комнатной и коридорной суеты, делало причастным к чему-то гораздо большему, чем редакция. Пока было горение, было и ощущение независимости, свободы, нравственно прожитого дня. Утром, поздоровавшись со всеми, он выкладывал на стол рабкоровские письма, стопку чистой бумаги, отключался и ждал, когда сосредоточенность, дающая о себе знать слабым давлением на глазные яблоки, осадит в нем вчерашнее, сегодняшнее и у него останется одна ограниченная профессиональным напряжением способность воспринимать нужные газете факты и слова. А горение – оттого, что печатное слово было для него словом правды и справедливости.

Если к Слатину приходил посетитель, Слатин не сразу поднимал на него воспаленный взгляд. Он работал, делал газету, гнал строчки, а посетитель мог понадобиться газете, а мог и не понадобиться, и в любом случае он мешал работать. Тут было противоречие, и Слатин оставлял веки полуприкрытыми, чтобы во время разговора сохранить горение.

Стол Слатина в длинной узкой комнате стоял первым от двери. Большинство посетителей здесь задерживались, а им нужно было пройти дальше, к окну, к Вовочке Фисунову. В сумрачные дни Слатин зажигал у себя лампу, так что по расположению столов опытные люди сами догадывались, кто в отделе заведующий. Чаще всего это были театральные администраторы. Двери они распахивали широко и, ни секунды не колеблясь, шли сквозь всю комнату к Вовочкиному столу.

Этот момент мгновенного распознавания начальника неприятно волновал Слатина. Он переставал править и следил за этими громкоголосыми мужчинами. Уходили они, все так же равнодушно минуя столы напарника Слатина и самого Слатина, а лица их были как спины.

Когда двери за ними закрывались, Слатин спрашивал грубо.

– Что-нибудь интересное?

И Фисунов с несмятой длинной папиросой в аккуратных пальцах поднимался из-за стола и направлялся к Слатину.

– Вот, – говорил он, раскладывая перед Слатиным театральные программы, в которых уже успел сделать карандашом свои пометки. При этом Вовочка доверительно наваливался на стол и очеркивал ногтем фамилии актеров и актрис. – Ничего, – пожимал он плечами. – Так себе. А это дублер. – И он морщился, показывая Слатину, какой это дублер. – Сам пойдешь? – спрашивал Вовочка. – Или кого-нибудь пошлем?

Вовочка обходил стол и полуобнимал Слатина за спину. Спина у Слатина напрягалась, и он все еще грубо спрашивал:

– Рецензию будем давать?

И Вовочка, окончательно уничтожая только что ушедшего администратора, говорил:

– Аннотацию. Так... Нейтральную. Взъерошивал Слатину волосы и возвращался к себе.

Они вместе пришли в редакцию. В редакции говорили, что весь тридцать седьмой Вовочка проспал в областном издательстве у себя за редакционным столом. Он сам говорил, что согласился променять издательство на газету, чтобы расшевелиться на живой работе. Но и здесь он начинал засыпать уже с утра. Лицо его, интеллигентное, красивое, но немного ненатуральное, а как у актеров, сделанное, иногда вдруг становилось прозрачно-желтым, морщины углублялись, а нос заострялся. У Вовочки была застарелая болезнь печени, она истощала его.

В такие минуты он доставал папиросу, стучал мундштуком о крышку коробки и часто откладывал, так и не закурив. Все жесты его аккуратны и немного ненатуральны, а по-актерски сделаны. Манеры его поражали не только своих, местных, но бывалых столичных театральных администраторов. Вовочка любезно поднимался и даже выходил им навстречу, наклонялся в затянном поклоне и в ответ на громкий голос, на ветер, поднятый решительным человеком, произносил что-то очень тихое. И человек, повинувшись Вовочкиному любезному жесту, садился на стул, расстегивал пуговицы на своем северном пальто и произносил что-нибудь будничное: «Жарко у вас». Или: «Юг, а холод чертовский». Вовочка предлагал папиросу, быстро обходил стол, садился на свое место и, уже просто вежливо улыбаясь, заговаривал о деле и ничего не обещал: «Нет, на все спектакли дать рецензии не сможем. У нас газета областная. – И – немыслимое дело! – кокетливо клонил головку набок. – Возможно, один спектакль отрецензируем». Когда посетитель поднимался, он вскакивал, глубоко наклоняясь, протягивал руку через стол, потом вместе с посетителем делал два-три шажка к двери, произносил что-то вроде: «Очень мило!» – и возвращался к себе. Лицо его мгновенно гасло, к коже приливала серость.

Сидел он в зябко накинутом на плечи пиджаке.

В первый раз Слатин поругался с ним, когда Вовочка поручил ему выправить главу из романа местного писателя. Слатин тогда впервые узнал о существовании малограмотных писателей. Он прочел и ужаснулся:

– Но это же так плохо, что этого просто не может быть!

– Там совсем не так много работы, – сказал Вовочка.

– Это невозможно! – кричал Слатин. – Когда я правлю письмо неграмотного человека, я помогаю ему сформулировать его же собственные мысли. Но писать за писателя! Малограмотный писатель! Это же чушь какая-то!

Однако Вовочка никогда в таких случаях не вслушивался в то, что ему говорит Слатин. Не выслушивал доказательств и не выдвигал своих. Если взбешенный Слатин швырял ему на стол исчерканный лист, Вовочка пережидал некоторое время, а затем молча, с нерушимой улыбкой возвращал его Слатину. Если Слатин не унимался, Вовочка, поджав губы, выходил из комнаты своими короткими, быстрыми шажками. «Жаловаться пошел», – думал Слатин и готовился к объяснению с главным. Но Вовочка возвращался в кабинет минут через двадцать той же походкой, молча

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru проходил мимо Слатина, а у своего стола вдруг делал ловкий балетный поворот и показывал Слатину свое улыбающееся лицо. Это было как на эстраде: вот негодующее лицо, а вот без всякого перехода – улыбающееся.

– Оттаял? – грубым голосом спрашивал Вовочка и усаживался за свой стол, – Можно работать? Вот прошу тебя. – И он показывал, что надо сделать с писательской главой, чтобы она приобрела приличный вид. – Не из-за чего было крик поднимать.

Потом Вовочка задремывал, а Слатин работал.

Иногда Вовочку звали к редактору, он уходил, потом возвращался, присаживался к телефону и начинал дозваниваться в аптеки – добывал для редактора редкие лекарства. Во всей редакции один редактор называл Вовочку Владимиром Акимовичем.

Третьим работником в отделе (вернее, вторым, третьим был Слатин) был маленький изможденный человек с лысеющим марсианским черепом и неправдоподобной фамилией Стульев. Было странно, что человек с таким слабым телом обладал неистощимой работоспособностью и низким мощным голосом, который он мог усиливать как угодно. «Моя фамилия Стульев, – сказал он Вовочке этим своим мощным голосом, – но это не значит, что я позволю кому-нибудь на себя садиться».

Стульев пришел в газету на несколько месяцев раньше Фисунова и Слатина. Его перевели сюда из военной газеты, где он, единственный штатский, вольнонаемный, занимался стихами и вообще художественным творчеством бойцов и командиров. Здесь он тоже занимался стихами, которых в месяц на отдел поступало не меньше ста пятидесяти штук. Стульева из военной газеты в областную брали «на отдел», но в конце концов заведующим сделали Вовочку, и это определило их отношения. В первый же раз, выслушав Вовочкины замечания о стихотворении, которое надо было поставить в воскресную полосу, Стульев сказал:

– Ваши замечания меня не обескураживают. Я знал одного человека, который вычеркивал стихотворную строку и вписывал прозаическую.

– Правильно делал, – сказал Вовочка. – Ошибка в стихотворном размере лучше, чем смысловая ошибка. Я вас прошу, исправьте.

Стульев с минуту постоял в раздумье, взял листок и отправился к своему столу. Через пять минут он положил перед Вовочкой новый вариант этого один раз уже переписанного им, а теперь исправленного чужого стихотворения.

– Это уже лучше, – сказал Вовочка.

В каждом материале, подготовленном Стульевым, он находил, что исправить. Стульев молча исправлял, а Вовочка от этого страдал еще больше, потому что не было видно, раздражался ли Стульев. Стульев был мастером сосредоточенности. Слатину нужно было все-таки сделать над собой усилие, чтобы отключиться, чтобы вызвать внутреннее давление на глазные яблоки. Стульеву, по-видимому, надо было делать над собой усилие, чтобы выйти из состояния почти постоянной самоуглубленности. Когда кто-нибудь заходил в отдел, чтобы просто потрепаться, со Стульевым он должен был здороваться не меньше трех раз. Начиналось что-то вроде игры.

– Здравствуйте, Родион Алексеевич! – говорил приятель и подмигивал Вовочке и Слатину.

Никакого ответа.

– Родион Алексеевич! Здравствуйте!

И хоть бы сидел неподвижно – курит, пишет. – Стульев, здравствуй!

– А? – не поднимая головы от работы, говорил Стульев.

– Здравствуй, говорю.

– Да, – отчетливо произносил Стульев. Собирал листки, исписанные мелким четким почерком, поднимался из-за стола во весь свой маленький рост и неторопливо, не глядя по сторонам, выходил из комнаты, шел в машинное бюро и возвращался в отдел с тем же выражением отрешенности и неузнавания. И нельзя было понять, узнал ли

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru он того, кто с ним здоровался.

Стол его стоял торцом к двери так, что Слатин видел склоненный над работой профиль Стульева. И все, входившие в отдел, видели его наклоненную над работой голову. Когда открывались двери, Слатин не поворачивался потому, что сидел к ним спиной. Но Стульеву легко было, нисколько не меняя позы, взглянуть на входящего. Слатин механически взглядывал на Стульева – кто там? – на лице Стульева выражение его обычной сумрачной отрешенности и сосредоточенности в этот момент только усиливалось.

– Вы заведующий? – спрашивал Слатина посетитель. Слатин кивал в сторону окна.

– Вы главный? – переходил человек к Стульеву. И Стульев своим неожиданным низким и мощным голосом говорил:

– Нет, я не главный. Главный вон там! У окна.

Человек направлялся к Вовочке, который, побледнев, переживал всю эту сцену, а теперь, любезно улыбаясь, разворачивался всем корпусом навстречу посетителю. Стульев говорил вслед:

– Зовут его Владимир Акимович Фисунов.

Лет пять-шесть назад Стульева в лицо знал весь город. Он работал в филармонии.

Вообще-то Стульев был ленинградец, но в начале тридцатых годов уехал оттуда и оказался на Дальнем Востоке, где его, истощенного и больного, пригрела руководительница эстрадного оркестра, его нынешняя жена. Она же и привезла его сюда, на юг, к своей матери, в комнату в десять квадратных метров. Жена была лет на десять старше Стульева, детей у них не было. Они брали на воспитание беспризорников.

Этот маленький человек с нарочито замедленными важными движениями, с тонкими, слипающимися во время рукопожатия пальцами детских ручек, с постоянной папиросой во рту так нагружал себя своей и чужой работой, что никому в редакции это не было бы по силам. Поспорив однажды с Вовочкой о том, как нужно выправить стихотворение, Стульев уже не спорил с ним никогда. Принимал от Вовочки любые материалы, аккуратно укладывал их в папку «необработанных писем», доставал оттуда по очереди, прочитывал и, уже не заглядывая в авторский текст, на чистом листе бумаги писал свой вариант.

– А я давно уже не правлю, а переписываю, – сказал он Слатину. – Будешь править – запутаешься. Да и нечего там править – я-то лучше знаю, что сегодня газете нужно! И авторы довольны – я лучше пишу, чем они. В военной газете я литературные конкурсы устраивал – на лучшее стихотворение, лучший рассказ. По несколько рассказов заново переписывал. Премии присуждал. Все довольны – и авторы, и начальство.

Слатин ужасался.

Когда Вовочка уходил и они оставались вдвоем, Стульев распрямлялся и охотно разговаривал со Слатиным.

– Но ведь это... – говорил Слатин, – ложь?

– Конкурс объявлен? Где взять рассказы на объявленную тему? Я премии получал. А объявить конкурс несостоявшимся – грубейшая политическая ошибка. У нас нет талантливых людей? Следовательно, либо ты сознательно сорвал мероприятие, либо – в лучшем случае – плохо подготовился к нему.

Слатин слушал и ужасался.

Родион Алексеевич был для Слатина целой журналистской фабрикой. У Стульева всегда было много посетителей.

– Мне нужен Родион Алексеевич Стульев, – говорил посетитель.

Ему никто не отвечал, он подходил поближе, и в тот момент, когда он собирался

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru повторить свой вопрос, Стульев, не поднимая головы, говорил своим низким мощным голосом:

– Да?

– Вы Родион Алексеевич?

– Я.

– Мне сказали, что мои стихи у вас.

– Фамилия?

Человек называл фамилию.

– Ваших стихов у меня нет.

– В отделе писем меня направили к вам.

– Десять дней назад вам послан ответ.

– Может, вы забыли? Мне сказали, что у вас много стихов.

– Назовите первую строчку.

Человек не понимает.

– Свои стихи помните?

– А-а! – удивляется поэт и называет первую строчку. И тут-то начинается главное! Стульев его прерывает и, с некоторым усилием припоминая, продолжает читать стихи сам.

– Да-да, эти, – останавливает его пораженный и пристыженный поэт. Но Стульев продолжает читать строчку за строчкой, пока не дойдет до конца.

– Ваши стихи? – спрашивает он.

– Мои.

– А вы говорите – «забыл». Мы ничего не забываем. Могу назвать запятые, которые вы поставили неправильно и которые вы поставили правильно. Неправильно поставленных у вас большинство. У вас слабовато с грамматикой. И размер вы не выдерживаете. Знаете, что такое стихотворный размер?

– Бросить писать?

– Писать стихи, – говорит Стульев своим мощным голосом, – гораздо лучше, чем пить водку. Поэтому я не советую вам бросать стихи. Но посылать их в газеты повремените. Вы только пишете? Или читаете тоже?

Десятки раз маленький человек на глазах Слатина превращался в значительного человека с мощным голосом. Превращения эти, несомненно, были приятны самому Стульеву. Он долго не отпускал подавленного посетителя, распекал его все благодушной и наконец отпускал. При этом Стульев часто выходил из-за стола, возбужденно прохаживался по комнате. Но очень быстро успокаивался, садился, откидывался на спинку стула и говорил:

– Память у меня феноменальная. Прочту страницу – помню все от первого до последнего слова. Хотел бы забыть – не могу. В университете экзамен сдавал – экзаменаторы заволновались: как по учебнику читал. Я им объяснил. Они дали мне прочесть несколько страниц, я потом даже переносы со страницы на страницу называл. Говорят: «Потрясающе!»

Еще из военной газеты Стульев принес с собой карту Европы. Каждый день флажками он отмечал на этой карте движение немецких войск в Бельгии, Франции, Польше.

– Вот с кем придется воевать, – сказал Слатину.

– А договор?

Карта висела за спиной Родиона Алексеевича. Не оборачиваясь к ней, он сказал:

– Посмотри на карту.

Карта эта была известна всей редакции. Посмотреть на нее приходили из всех отделов. Иногда возникал спор, так ли Стульев ставит флажки. Немцы, подошедшие было к Львову, отошли на свою линию, а Родион Алексеевич не убирал желтого флажка. Спорами этими Вовочка был недоволен. Как-то он сказал Стульеву:

– Родион Алексеевич, а не удобнее было бы, если бы вы свою карту повесили в зале заседаний?

Стульев не ответил ему. А Слатин спросил:

– Владимир Акимович, а вы военнообязанный?

– Конечно! Я недавно командирские сборы проходил.

Утро начиналось с того, что Слатин и Стульев рассматривали карту и, если в военных действиях происходили какие-то изменения, перемещали флажки.

Слатин с утра заваливал свой стол авторскими письмами, черновиками, чистой бумагой. У Стульева всегда был идеальный порядок. Почерк у Стульева был мелкий, каллиграфический. Он сказал восхитившемуся Слатину:

– Я давно подсчитал: на одну мою страницу – три машинописных.

У Слатина – наоборот: три, а то и четыре страницы «от руки» свободно укладывались в одну машинописную страницу. Писал он с черновиками, «измучивал» свой текст, измучивал себя, пока, как ему казалось, не находил единственный вариант. Все это сказывалось на бумаге. Первая фраза будущей статьи писалась несколько раз, несколько раз переносилась на чистую страницу. Слатин не мог писать после зачеркнутого. У Стульева же не было черновиков. Исправления он делал тут же, на полях, тем же мелким каллиграфическим почерком.

– Сколько раз, – говорил он Слатину, – мне случалось отдавать рукопись прямо наборщикам. И набирали. Говорят, не хуже, чем после машинистки.

И правда, набирать можно было прямо с листа, написанного рукой Стульева. По всему было видно – работа мастера. Четко, грамотно. Ясно или чуть щеголевато, гневно или просто жестко, восхищенно или только одобрительно – словом, так, как в этот момент нужно газете. И в то же время немного лучше, чем надо в этот момент. И видно, что не последнее выдал человек, что за неожиданным и таким уместным словом у него много таких же слов.

Вовочка как-то пожаловался Слатину:

– Он слишком легко пишет, поэтому и создается обманчивое впечатление, что он стилист. А присмотреться – много однокоренных...

И возвращал Стульеву странички, в которых волосяными карандашными линиями были подчеркнуты однокоренные слова.

– И пожалуйста, Родион Алексеевич, – говорил Вовочка, – пообрывайте вот эти цветочки.

Стульев, как всегда молча покуривая, стоял над Вовочкиным столом, рассматривал Вовочкины пометки, потом, ни слова ни сказав, не выразив ни согласия, ни возмущения, отправлялся к себе и молча вносил изменения.

Вовочку он не ругал и за его спиной. О Вовочке он молчал всегда. А Слатин ругал. За то, что всю работу переложил на них со Стульевым, за дамскую балетную походку, за то, что придирается к Стульеву и мешает работать ему, Слатину. Слатин не понимал, как мог Родион Алексеевич не споря вносить исправления, которые требовал Вовочка. Когда Слатин относил машинисткам переписанные набело

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru листочки, все, что было на этих листках, казалось ему единственно возможным. Перед тем как Слатин садился писать, бумага была чистой. Но она оказывала страшное сопротивление. И касалось это не только того, что называется содержанием, а и количества слов в фразе, длины этой фразы, числа абзацев в материале. Неточная фраза раздражала его своей неаккуратностью, своими придаточными, сдвоенными определениями. Обличал ли Слатин или хвалил, рассуждал или просто сообщал, он испытывал горение, переживал свою работу. И все имело к этому отношение: и слова, и запятые, и точки, ставящие фразе предел. А Вовочка по праву заведующего брал лист и произносил одну и ту же ненавистную Слатину шутку:

– А вот мы сейчас пообрываем цветочки!

Вовочка умел учить! Кое-что он знал.

– Тебе эти места, конечно, особенно нравились, – сказал он Слатину в один из самых первых дней. – Ночь не спал – придумывал. Да? А мы их пообрываем, пообрываем! – И вычеркивал выстраданные Слатиным щеголеватые фразы. – На свете нет ничего прекрасней простоты.

И Слатин, который сам так думал, принялся искать простоту. Вначале это легко было выразить количественно: вместо двадцати слов – пять, не больше одного определения на фразу, как можно меньше придаточных. Длинное предложение в газетный столбик не уложишь. Но потом он понял, что дело не только в числе определений: не можешь писать хорошо – пиши просто, а для того чтобы писать хорошо, одной простоты мало. Стульев никогда не писал просто. «Цветочки» у Стульева нельзя было пообрывать – в этом было все дело.

А Слатин бился, истребляя однокоренные слова, какие-нибудь «приехал» – «уехал». Заменял «уехал» на «отправился» и мучился тем, что такая замена противоречит закону естественности и простоты, которые он сам для себя установил. Об этом они говорили со Стульевым, когда Вовочка уходил, потому что с Вовочкой говорить об этом было бесполезно. Когда он брал материал в руки, то будто не читал его, а сортировал слова по группам: однокоренные и неоднокоренные. Однокоренные подчеркивал и возвращал материал на переработку. Слатин ругался, объяснял, что нельзя фамилию в следующей фразе заменять именем – неестественно. То чужой человек – то близкий. Но вообще-то Слатин соглашался с Вовочкой. Когда от Слатина требовали лучшей работы, он всегда соглашался. Он считал, что больше всего надо требовать от себя. И он сравнивал и сравнивал слова, примеряя их к тому месту, где они должны стоять, и от этой работы к концу дня у него воспалялись веки, в глазах появлялся песок и что-то сильно давило изнутри на глазные яблоки. И он был доволен тем, что у него воспалялись веки и поднималась температура, – он честно работал. Он добивался, чтобы любой его материал звучал так, как это требовалось газете: гневно так гневно, восхищенно так восхищенно. И когда Вовочка брал в руки статью, написанную Слатиным, отношения их накалялись мгновенно.

Слатин любил писать. Он затем и променял свою учительскую работу на газетную, чтобы писать. Это было у него в крови, в воспитании. Слатину казалось, что вся жизнь его выстроена так, чтобы он мог воевать, отстаивать справедливость. Он за этим шел в газету. Но первый же материал, не отредактированный, а написанный им самим, Вовочка с минуту подержал в руке и небрежно положил на стопку второстепенных материалов. С тех пор прошло несколько лет, но жест, которым Вовочка брал снизу пальцами листки, подписанные самим Слатиным, нисколько не изменился. Он брал их расслабленными пальцами, листки сгибались. Вовочка небрежно встряхивал их, они опять сгибались, читать так было невозможно. Вовочка и не читал, а только взглядывал на заголовок, на первую фразу, затем ронял руку на стол и оставлял листки лежащими поперек других материалов. А Слатин не мог работать, ненавидел Вовочку, ненавидел себя и думал: «Ну всё! На этот раз – всё!» А Вовочка выходил, входил, рылся у себя на столе, перетасовывал материалы, и слатиновская статья уходила вниз, под старые бумаги.

– Ты очень хочешь быть заметным, – сказал как-то Вовочка. Сказал доброжелательно и вполголоса. – Ты не забыл, на чьем месте сидишь?

Слатин не забыл. Он видел, что сам Вовочка по доброй воле не пишет никогда. И Стульев в газету не пишет.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Зарабатывал Стульев тем, что писал для филармонии.

Писать в газету Стульева заставлял Вовочка. А Вовочку – редактор.

– Владимир Акимович, читатели имеют право знать тех, кто работает в газете, – говорил редактор на какой-нибудь утренней планерке.

– Но ведь я не так давно выступал, – приподнимался Вовочка со своего стула.

Планерка проводится в редакторском кабинете. О том, какие материалы пойдут в завтрашнем и послезавтрашнем номерах, докладывает ответственный секретарь. Сидит он у торца большого редакторского стола, спиной к окну. Планерку ведет в темпе. И редактор, человек пожилой, слушает, наклонив голову. Чтобы слушать сосредоточеннее, он иногда даже полукрывает глаза. Редактор – из бывших типографских рабочих. На этой газете он не очень давно – года три, – но за редакторскими столами сидит уже лет десять. Однако за быстрым ответственным секретарем редактору трудно поспеть, поэтому он напряженно наклоняет голову, останавливает и спрашивает его. Но, в общем, тоже хочет, чтобы планерка шла в темпе. А разговор с Вовочкой – это уже пауза, разрядка для всех. Главные в газете партийный, промышленный и сельскохозяйственный отделы. Первая, вторая и почти вся третья полоса принадлежат им. Когда ответственный секретарь называет материалы отделов, в его бодром голосе, веселой, быстрой скороговорке все чувствуют отстраненность: не он эти материалы писал, не он визировал (вернее, не его подпись главная), не ему за них отвечать. Когда редактор останавливает его, ответственный секретарь даже откидывается на спинку стула, чтобы спокойно следить за тем, что редактор говорит заведующему отделом. А заведующие отделами в это время бледнеют. Вообще-то материалы, особенно политически важные, согласовывались с редактором, с заместителем, не раз обсуждались, но каждый знает, что может подойти такой момент, когда ссылки на согласования потеряют силу.

Редактор вчера до полуночи был в обкоме партии, сегодня утром тоже туда заезжал, у него самые последние сведения о том, что произошло «наверху». Заведующие отделами тоже тщательно следят за всем, что происходит в Москве и в обкоме. Они просмотрели утренние газеты, прочли передовицы «Правды» и «Известий», прочли материалы, касающиеся их отделов, но столичные отделы запаздывают на сутки, и, кроме того, не вся важная информация попадает в газеты. Правда, газетчики связываются по телефону с заведующими отделов обкома, бывают там, но совсем не так, как редактор. Редактор бывает у третьего, второго, иногда у первого секретарей. Сведения его самые последние. Но он никогда не начнет планерки сообщением о том, что произошло за это время в областном комитете партии. Утром он поднимается прямо к себе в кабинет, затем вызывает ответственного секретаря или сам идет к нему, чтобы на месте посмотреть только что присланные из типографии пачкающиеся, жирные полосы, чтобы взглянуть на новый макет и перекинуться с ответственным секретарем несколькими словами.

Ответственный секретарь – второе по осведомленности лицо в редакции. Он еще до планерки знает, какой материал, уже запланированный и набранный, полетит сегодня. Фамилия секретаря – Маятин, зовут его Владислав. Он подвижен, весел. И видимо, способен и умен. В профессии его есть что-то таинственное, как в профессии кинорежиссера. Все в редакции пишут статьи, правят авторские письма, а он делает газету. Большинство газетчиков, проработавших и пять и десять лет, так и не знают, как это делается. Этим и объясняется особое положение Владислава. Он не только журналист, но и техник, и проектировщик, и немного художник. Он определяет размеры будущих, еще ненаписанных материалов, отбирает фотографии и рисунки, решает, каким шрифтом будут набраны тексты и заголовки. Он «выбивает» в отделах запланированные материалы. По штатному расписанию второе лицо в редакции – заместитель редактора. Но на самом деле вторым всегда был Владислав. Поставить или не поставить в номер материал зависит именно от Владислава, хотя формально не он решает, что нужно сегодня газете. Формально власть его не очень велика, но возможности влиять, вмешиваться, проталкивать или останавливать материалы чрезвычайны. Он всегда в центре, или, если угодно, в пекле, газетных событий. К нему приходят отстаивать свои материалы или просто просить за них. Вся внутригазетная информация стекается к нему в кабинет, а это один из источников его влияния на редактора. Владислав молод, энергичен и здоров. Он очень художав, светловолос и голубоглаз. Когда он бежит по коридору, газетная полоса, которую он несет к редактору, летит по ветру. В редакции много молодых, и молодые делают газету «по-молодому». Никто никогда не слышал, чтобы Владислав где-то

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru интриговал, на кого-то капал, но в умных глазах Владислава многим видится что-то опасное. Перед планеркой стулья в кабинете стояли вдоль стен в один ряд, теперь они смешаны. Сидят и у стены, и ближе к столу – кто как. Но на самом деле в том, как сидят, есть естественный порядок. Выдвинувшись в первый ряд, поближе к редакторскому столу сели завывы – промышленник и сельскохозяйственник. Заведующий партийным отделом Александр Васильевич Пыреев – чуть ближе к заместителю редактора. Ближе к стене, закрываясь спинами промышленника и сельскохозяйственника, сидит Вовочка.

В газете есть люди, репутация которых много лет держится примерно на одном и том же уровне. Но чаще она колеблется от номера к номеру, от планерки к планерке. Постоянная репутация только у тех, кто, как Вовочка, пишет крайне редко. С теми же, кто пишет часто, кто активно и настырно пробивает свои материалы, у редактора постоянные столкновения. У этих людей репутации в газете как бы не существует. Они живут от планерки к планерке – сегодня так, а как будет завтра – неизвестно. Что касается прошлого, то его как бы не было совсем. Состояние это исключительно тревожное, раздражающее и оскорбляющее. Рядовые работники отделов, которые редко бывают на планерке – их зовут, когда надо, – переносят его легче. А завывы, для которых день начинается планеркой, приспосабливаются к нему по-своему.

Сельскохозяйственник – невысокий, в потертом пиджаке, в наглухо застегнутой косоворотке, с истовым, неулыбающимся лицом, которое день ото дня становится истовее и внимательнее, – выдвигается из первого ряда, чтобы никто – ни сбоку, ни сзади – не отвлекал его от того, что скажут редактор и Владислав. После редактора сельскохозяйственник обязательно просит слово. Говорит жестко, решительно, называет присутствующих – критикует тех, кого только что назвал редактор. Когда он сядет, краска негодования долго не гаснет на его скулах. В посевную и уборочную он просит для своего отдела больше места, но сам не пишет никогда, редактор никогда не заставляет его писать. У сельскохозяйственника четверо детей, а зарплата, не подкрепленная гонораром, мала. Так что бедность его не показная. Его подчиненные, которым он не мешает писать, зарабатывают больше, чем он. Себе сельскохозяйственник оставляет телефонные разговоры с глубинкой. На телефоне сидит до глубокой ночи. Когда он говорит, редактор слушает его, напряженно наклонив голову. Называет он сельскохозяйственника только по имени-отчеству – Николай Федорович и работу отдела всегда отмечает: оперативность, политическая грамотность, беспощадность к расхитителям народного добра, разгильдяям, врагам народа. Перечень этот никогда не оборвет посередине. Редактор любит митинговать, а заместитель говорит тихо, длинные матерчатые налокотники, которые он не снял, когда шел на планерку, рукава пиджака да и весь пиджак как бы серебрятся, когда он поворачивается к кому-нибудь. Да и то, о чем он говорит, требует более рассудительной интонации. Он сообщает об ошибках, которые были выловлены в самый последний момент из полосы, говорит о том, насколько профессионально сделаны материалы. Можно подумать, что они давно договорились с редактором, о чем должен говорить каждый, чтобы не повторять друг друга. Но в напряженном наклоне редакторской головы все видят нетерпение.

Разная степень наклона редакторской головы показывает разную степень нетерпения. Когда говорит Александр Васильевич Пыреев, заведующий партийным отделом, редактор слегка кивает. Если слово берет Вовочка – это бывает очень редко, – редактор снимает очки и поворачивается к нему всем корпусом. Однако если Вовочка затягивает, редактор опять возвращается к своему столу, надевает очки и рассеянно кивает.

Вообще редактор – человек увлекающийся, не желающий ни с кем делить свою газету. Когда редакционный завхоз напечатал в газете заметку, редактор уволил его:

«На этой должности мне нужен именно завхоз».

В три часа редактор уезжал на обед, а возвращался в пять, к концу рабочего дня. Медленно шел по лестнице вверх, навстречу тем, кто собирался домой. Остановившись на лестничной площадке, несколько минут отдыхал, потом шел по коридору, заглядывая в отделы. Первым от лестничной клетки был отдел культуры, и когда редактор открывал дверь, он видел улыбающееся Вовочкино лицо, поворачивающееся ему навстречу. К тому времени, когда на лестнице слышался редакторский голос, Вовочка принимался за материалы, которые сдали ему Стульев и Слатин. Вовочка специально откладывал чтение этих материалов на пять часов. Вообще по всей редакции в пять часов прокатывалась вторая рабочая волна. Хлопали

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
двери, заведующие отделами несли в секретариат вычитанные материалы. Владислав бежал к редактору, и полоса развевалась по ветру. Домой, навстречу редактору, шли только нагруженные хозяйственными сумками – в обеденный перерыв бегали на базар – машинистки; редактор, еще стоя на лестничной площадке, прощался с ними. Потом он открывал дверь в отдел культуры и останавливался на пороге в расстегнутом пальто.

– Владимир Акимович, куда идут твои работники? – спрашивал редактор.

Вовочка поднимал брови, разводил руками.

– Петр Яковлевич, – говорил он с ужимкой, – пять часов, рабочий день кончился.

– Но ведь ты работаешь?

Вовочка разводил руками, а Стульев и Слатин продолжали укладываться: снимали налокотники, прятали бумаги в ящики стола.

– Петр Яковлевич, – говорил Стульев своим мощным голосом, – посмотрите в папку готовых материалов. Еще что-то надо сделать? Я останусь.

Но редактор подходил к более молодому Слатину:

– Ты что же? Как машинистка? От звонка до звонка?

По правде говоря, Стульев и Слатин не сразу решились на это – они стали при редакторе уходить домой, когда уже могли себе это позволить.

– Петр Яковлевич, – говорил Слатин, – в среду я сутки не уходил, делал материал в номер.

Но редактор знал все. Он уже начал поощрять Слатина повышенными гонорарами, а главное, тем, что иногда обращался к нему, минуя Вовочку.

Откроет среди рабочего дня дверь в отдел, ничего не ответит на Вовочкин вопросительный взгляд, скажет:

– Слатин, зайди ко мне.

Что-то его взволновало – не секретаря прислал, сам от своего рабочего стола прибежал к рабочему столу журналиста, очки не снял. Слатин поднимется, не забудет спросить Вовочку: «Что это он?» Вовочка ответит обиженной усмешкой. Слатин быстро пойдет за редактором, но, войдя в кабинет, застанет его сидящим за столом так, будто он и не выходил отсюда.

Стол у редактора огромный, чтобы обойти его, нужно время. На тумбочке рядом с телефонами – модель комбайна, на стене портреты Сталина и Ленина – все новое, даже дорожки на паркете, даже стулья. И во всей редакции все перебелено, сменена мебель – ничего от старого редактора не осталось. Даже завхоз новый, даже машинистки и вахтеры. Слатин помнил, как увольняли старого работника отдела информации Белоглазова. Это было еще в самые первые недели, когда Слатин поступил в газету. Белоглазова он почти не знал. Запомнился он ему только как высокий человек с тонким женским голосом, обязательно выступавший на всех собраниях, планерках, летучках. Выступления были раздражающе скучными, и Стульев как-то сказал Слатину:

– Вот увидишь, его скоро уволят. У редактора на его место уже есть человек.

В городском университете несколько лекций прочел профессор-китаец, приехавший сюда по приглашению обкома. Профессор был коммунист и интернационалист, и газета взяла у него интервью. В заметке – потому что это была именно заметка, а не интервью, которые тогда не печатали из-за их специфически буржуазной, заносчиво-личной формы – было сказано о том, как китайские революционеры учатся побеждать у русских пролетариев. Заклучали же заметку несколько иероглифов, нарисованных профессором – приветствие читателям областной партийной газеты от китайских борцов против империализма. Вот эти-то иероглифы и были напечатаны перевернутыми. Конечно, во всем городе никто не смог бы этого заметить, если бы профессор не поставил дату арабскими цифрами 23.1.1938. Цифры и были

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
перевернутыми.

В тот день Белоглазов был вторым дежурным по газете – «свежей головой». Он должен был читать после корректоров, после дежурного – на «свежую голову». На самом деле «свежая голова» читает полосы вместе с дежурным или даже до него, поскольку «свежая голова» просто помощник дежурного. Так под давлением газетной иерархии изменилась эта идея. Дежурным по газете может быть только заведующий отделом, помощником – литературный работник. Следовательно, главная на полосе подпись дежурного, а полоса, подписанная «свежей головой», берется во внимание только при сверке. Готовую, вычитанную и выправленную газету «в свет» подписывает редактор или его заместитель. А в те дни подписывал только редактор. Должно быть, судьба его предшественника была у него в памяти, и он, задерживая наборщиков, корректоров, дежурных, «рисовал» на первых двух полосах, где шли передовая, статьи партотдела, важная информация. Разумеется, редактор читал эти материалы в машинописи, когда они поступали из отделов, а потом в гранках, когда они возвращались из типографии. Но теперь они стояли рядом, в полосе, под жирно набранными заголовками, и он читал их еще раз, смотрел, чтобы не было двусмысленных стыков, и еще раз правил. Первая полоса страшила его особенно, и он вычеркивал, вписывал, менял места – и так по многу раз. Старший корректор бежал к выпускающему, выпускающий в типографию, наборщики выбрасывали вычеркнутое, набирали дописанное, в материалах образовывались хвосты или, напротив, пустоты. Хвосты надо было сокращать, пустоты перекашивали макет – короче говоря, работа была сделана – начиналась нервотрепка. В тот день Петр Яковлевич «рисовал» много, а потом, как он это иногда делал, подписывать газету «в свет» спустился из кабинета к дежурным.

Петр Яковлевич был в пальто и без очков. Это означало, что он едет домой, в дежурку забежал на минуту, чтобы, ничего не меняя, вместе с дежурными подписать газету. Белоглазов и дежурный по номеру – заведующий промышленным отделом – встали. Редактор, не присаживаясь, взял из рук выпускающего два номера свежей газеты. На одном он должен был расписаться, другой он брал домой (он тут же сунул его в карман пальто). В дежурке горел верхний, без абажура, голый свет и две настольные лампы. Доносились запахи и звуки наборного цеха – звуки непрерывно падающих металлических пластин.

– Ну как номер? – спросил редактор не у дежурных, а у выпускающего, которого он знал очень давно.

Белоглазов своим занудливым голосом сказал:

– Было несколько блох, но мы их выловили. А так номер...

– Прекрасный номер, Петр Яковлевич! – перебил его дежурный – самый молодой зав в газете, пришедший в газету вместе с редактором.

Но редактор уже доставал очки и разворачивал газету.

– Так, значит, все в порядке? – сказал он и присел на стул Белоглазова. Оба стола в дежурке были испачканы типографской краской.

– Да брось ты, Петя! – сказал выпускающий редактору. – Все в порядке! – И слабо потянулся за газетой. Но редактор уже не обращал на него внимания. Он пробежал заметку китайца. Она его беспокоила тем, что слишком походила на интервью. Он поморщился и вопросительно посмотрел на дежурного. Заметка шла через отдел культуры, и дежурный в ответ неопределенно сморщился. Редактор посмотрел на часы, покачал головой, но все-таки вычеркнул две строки. Он остался ждать в дежурке, а дежурный молча взял газету и вместе с выпускающим пошел в корректорскую. Он был зол: выпадают две строки, следовательно, вся заметка поднимется к заголовку, поднимется пластинка с иероглифами, а между ней и подписью образуется пустота – и ничего не поделаешь: на исправления и дописывание времени нет. Он покрутил пальцем возле головы – с ума сошел шеф! Выпускающий кивнул. Корректорши, бегавшие в туалет мыть руки, заахали, старшая внесла исправления в полосу, подписанную дежурным и «свежей головой», выпускающий выругался и пошел в наборный цех. Там вытащили две строки, заменили их двумя пластинами, чтобы не распался набор. И пока наборщик шилом выковыривал две сокращенные редактором строки и заменял их пустыми пластинками, он сдвинул в сторону пластинку с иероглифами. Потом вернул ее на место, но не заметил, как перевернул ее. Он уже много раз снимал и ставил ее, и ему показалось, что все в

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru порядке, он уже привык видеть ее так, а не иначе. К тому же все злились и нервничали, и он тоже злился.

Полосу с сокращениями принесли редактору, он подписал ее. Потом еще раз делали газету, он написал «в свет» и уехал домой на машине. Корректорши, боявшиеся идти домой по ночному городу, остались в редакции. А дежурный и «свежая голова» домой добирались пешком – трамваи уже не ходили.

К утру газету напечатали, развезли по киоскам, а первые номера, как всегда, прямо из типографии отнесли в обком и оставили на столе дежурного милиционера. Часам к десяти газету в обкоме прочли или просмотрели все, кому ее положили на стол. И никто не заметил, что маленькие цифры, вписанные в иероглифы, напечатаны перевернутыми. Но в обком позвонили – в любом городе есть люди, которые читают газету пристрастнее, чем корректоры, выписывают все ошибки и сообщают об этих ошибках куда следует. Звонивший не назвал себя, он потребовал, чтобы его соединили с первым секретарем по делу государственной важности. Ему дали приемную, и он сказал:

– Посмотрите, как в сегодняшней газете напечатано приветствие китайского товарища! Вредители свили гнездо в партийной газете! Это настоящая диверсия!

И повесил трубку.

Но и после этого не сразу докопались до сути дела. Никто ведь не пытался прочесть иероглифы – все читали заметку, а в ней как будто было все в порядке. Но все-таки, конечно, докопались, потому что уже не раз по городу прокатывалась паника: на ученических тетрадях, например, находили замаскированный, хитро вплетенный в какой-то рисунок фашистский знак. Или тот же знак замечали на папиросной коробке «Казбек», или в школьной хрестоматии, в репродукции знаменитой картины «Застава богатyrская».

– Вот я читаю в твоей газете замечательные слова, – позвонил секретарь обкома редактору, – «идиотская болезнь – потеря бдительности». Правильная мысль. И я же читаю выступление китайского товарища. Что это? Ты еще не знаешь? Я думал, тебе давно все известно.

Ляпы – так в газете называют ошибки – идут каждый день. Движитель назовут двигателем. При сокращении выбросят фамилию, подписи под фотографиями спутают – и такая ошибка возможна, если в номере две фотографии одного формата. Но чаще, конечно, ляпы бывают мелкие. Их обнаруживают тут же, в редакции, те литературные работники, которые готовили материалы в печать и помнят их со всеми точками, запятыми, красными строками. Перечитывая свою заметку, журналист реагирует на мельчайшие сбивы ритма, на чужие слова, на то, что кто-то стянул в один абзац два абзаца, и он же легко находит ляп, если он оказывается в его заметке. Ляп – постоянная тема телефонных розыгрышей и постоянный вопрос в повестке всех газетных собраний. Ставится он до предела жестко: «Мы, советские журналисты, не имеем права ошибаться». Издается приказ: журналист, по чьей вине проходит ошибка, увольняется. И увольняют. Но потом о приказе этом как бы забывают. Потому, что одно дело уволить нерадивого или малоспособного работника, а другое – двух или трех заведующих отделами сразу.

Но это мелкие ляпы. А бывают страшные ошибки. Проникающие даже в заголовки. Проходят они крайне редко, один раз в несколько лет, но все же проходят. И невозможно поверить, что это случайность, что ни редактор, ни дежурные, ни корректоры не заметили, не увидели того, что бросается в глаза, что все они, чем-то замороженные или ослепленные, пропустили такую ошибку.

Виновники тяжелого ляпа сразу же становятся видны. Эти люди ходят по редакции с бледными лицами, разводят руками или доказывают, что это не их вина. Им сочувствуют все, кроме таких оголтелых, как заведующий сельскохозяйственным отделом. Все боятся оказаться на их месте.

Сразу стали видны и вчерашние дежурные: заведующий промышленным отделом Платонов и «свежая голова» Белоглазов. Белоглазов добыл в корректорской полосе со своей подписью – на полосе все было в порядке. Иероглифы стояли так, как их нарисовал профессор, цифры не были перевернуты. Белоглазов ходил из отдела в отдел – показывал полосу со своей подписью. «Вот!» – говорил он и пожимал плечами. Но потом полосу у него отобрали – заставили вернуть в корректорскую. Платонов вел

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
себя тише, подписи своей на полосе никому не показывал. И оба они ни словом не упоминали редактора и никому не говорили, что это он в последний момент из вычитанной уже газеты вычеркнул две строки. Затем на совместном заседании редколлегии и партбюро заведующий отделом информации сказал, что он давно собирается поставить вопрос о своем работнике Белоглазове. На него жалуются машинистки – неразборчиво пишет, жаловалась уборщица – в корзине полно грязи и окурков. Поздно задерживается в редакции якобы для того, чтобы работать, а на самом деле использует кабинет неизвестно для каких целей. Несколько раз там находили бутылки из-под вина. И наконец, самое возмутительное – без разрешения редактора или его заместителя вынес из корректорской полосу, которая является отчетным документом и должна храниться в корректорской.

Белоглазов своим занудливым голосом говорил, что он не курит и не пьет, поэтому окурки и бутылки не могут принадлежать ему. Полосу он действительно взял в корректорской без разрешения, но только потому, что был чрезвычайно взволнован ошибкой, которая прошла в газете во время его дежурства.

– С какой целью вы носили эту полосу по отделам? – спросил его сельскохозяйственник.

– Я хотел показать, что не я виноват в этой ошибке.

– Значит, вы носили полосу по отделам? – сказал сельскохозяйственник и посмотрел на соседей – «что я говорил!».

– Не пошли к редактору, к заместителю, не обратились в партбюро – а пошли по отделам. Чего вы добивались?

Заведующий партотделом Пыреев говорил рассудительно:

– Вы не считаете себя виновным в ошибке. Но вы были дежурным.

А Платонов не оправдывался. И оба они опять ни слова не сказали о редакторе.

Слатин почти не знал Белоглазова, обстоятельства дела были ему не очень ясны, на заседания редколлегии его, понятно, не звали. Но он сочувствовал Стульеву. Два человека в редакции ходили, пожалуй, еще более бледными, чем Платонов и Белоглазов, – Стульев и помощник ответственного секретаря Головин. Они отказывались голосовать за увольнение Белоглазова. Стульева позвали к редактору в первый же день – Стульев был председателем местного комитета. Он вернулся через час с выражением своей самой сумрачной сосредоточенности, даже походка его стала сумрачной. Не ответив на вопрос Слатина, он прошел к своему столу, но править не смог. Поднялся и ушел куда-то, ничего не сказав Вовочке.

И еще несколько раз вызывали его к редактору. В конце концов Стульев сказал Слатину:

– Требуется, чтобы я подписал отрицательную характеристику на Белоглазова. А я ему сказал: «Петр Яковлевич, вы меня в следующий раз не избирайте. Я этого не могу сделать».

Белоглазов после собрания в редакции не появлялся, Платонов, получивший строгий выговор, работал как обычно, Головин сдался – и теперь внимание всех было сосредоточено на Стульеве. Он как будто бы даже стал привыкать к этому состоянию, начал работать. Слатину он говорил:

– Как я могу голосовать за увольнение Белоглазова, если виноват редактор?

Но сдался и он. Пришел от редактора и сказал Слатину:

– Ничего нельзя было сделать. Этим Белоглазовым заинтересовались органы. – И добавил даже с облегчением: – Дурак он – на редакцию в суд подал!

Головина перевели в заводскую многотиражку, а Стульева не переизбрали в местком. Да и сам он, как будто это само собой разумелось, сразу же после этой истории отошел от своих обязанностей председателя месткома. На Слатина эта история подействовала, но Стульева он не перестал уважать. Сколько раз он видел, что этот маленький человек обладает силой, которой за собой Слатин не чувствовал.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Как-то в редакцию пришел сумасшедший. Слатин был в отделе один, он обернулся на открывшуюся дверь. Посетитель был в кожаной куртке, в наглаженных брюках – вид у него был полугогого, полуспортивный. Своих посетителей Слатин знал: это были артисты, преподаватели университета, школьные учителя. Он спросил:

– Вы к нам?

Вообще-то, конечно, приходили разные люди. Приходил недавно мужчина лет тридцати с девочкой. Синий от татуировок, просвечивавших сквозь шелковую рубашечку, мускулистый, но очень худой, какой-то нервной, сжигающей худобой. Он был навеселе, девочку вел осторожно, и было сразу видно, что человек не туда забрел. А он, не спрашивая разрешения, взял у Слатина чистый лист бумаги, посадил девочку к столу. Она написала А, потом Б, В и всю азбуку, не сделав ни одной ошибки. Мужчина положил лист перед Слатиным.

– Ей четыре года, – сказал он.

– Очень интересно, – сказал Слатин.

– А-а! – сказал мужчина. – Ничего вы не понимаете! Ей четыре года, а она пишет и читает.

– Все-таки вам надо в детскую газету, – сказал Слатин. – В «Ленинские внучата».

– Я бывший вор, – сказал мужчина с презрением. – Десять лет по тюрьмам. А пять лет назад женился и завязал.

Бывший вор, который порвал с прошлым, вступил в новую жизнь, – это была вполне газетная тема. Но человек был под хмелем, и Слатин предложил:

– Приходите завтра. Сегодня я занят.

– Ничего вы не понимаете! – сказал мужчина презрительно и взял девочку за руку. Они ушли не попрощавшись. Вошли, не поздоровавшись, посмотрели, кто тут сидит, что здесь такое, – им не понравилось, и они ушли. Этот, в кожаной куртке, с короткой и густой спортивной стрижкой, не был похож на бывшего вора. И сила, которая в нем сразу была видна, казалась сковывающей его. Он мял в руках листок небольших размеров.

– Стихи, – сказал мужчина.

– Минутку, – сказал Слатин и показал на стул. Стул стоял напротив стола. Но мужчина перенес его и сел рядом со Слатиным и немного за его спиной. Это было неприятно. Слатин оглянулся, и ему показалось, что мужчина вспотел под его взглядом.

– Давайте, – сказал Слатин. Но мужчина не отдал листок. Он прочел:

– Удары гнут деревья вниз...

Слатин подождал и удивился:

– Все?

– Да, но... – сказал мужчина и окаменел. У Слатина мелькнула догадка, он взял из пальцев мужчины листок. В том, как этот листок был исписан, было безумие. Исписан уголок, еще уголок, какая-то черточка, а все остальное чисто. Мужчина как будто понял, что разоблачен, в глазах его появилось что-то хитрое. Должно быть, усилия, которые он делал, чтобы прийти сюда, чтобы вот так держаться (в отделе и потом иногда появлялись такие посетители, и все они до какого-то момента держались), истощали его, и он с облегчением вдруг забормотал:

– У меня много украли... – И назвал две известнейшие песенные строчки. Потом он еще теснее придвинулся к Слатину и замер, уставившись на его затылок. В этот момент и вошел Стульев. Слатин, который так и не решил, что же нужно делать, сказал с облегчением:

– Родион Алексеевич, человек принес стихи.

Стульев взглянул на мужчину, расправил листок и спросил:

– Давно из больницы?

Наверное, сила была в той сумрачной сосредоточенности, с которой Стульев это спросил. Человек вздрогнул и послушно вместе со стулом пересел к столу Родиона Алексеевича. Стульев назвал диагноз. Мужчина кивнул. Он как будто просыпался.

– Зачем пришел?

– Стихи, – забормотал мужчина.

– Ерунда, сам понимаешь, – сказал Родион Алексеевич. – Кем был до больницы?

– Летчиком.

– Что советуют врачи?

– Покой.

– Родственники в деревне есть? Уезжай из города. А в редакцию больше не ходи. Опять в больницу попадешь.

У Слатина не было вот этой решимости спросить и сказать прямо. Когда мужчина ушел, Стульев сказал:

– Меня один сумасшедший задушить хотел.

И приоткрылась еще одна бездна в жизни этого маленького человека. Где-то на Дальнем Востоке он заболел тифом, а потом с нервными осложнениями попал в психиатрическую лечебницу. В палате было несколько человек. Один из них сел на койку Родиона Алексеевича, долго смотрел ему в глаза и сказал:

– Ты шпион, я тебя задушу.

Стульев поманил его пальцем, тот нагнулся, и Родион Алексеевич, глядя ему в глаза, зашептал:

– Шпион скрывается. Не ешь из тарелки, когда принесут. У меня есть лакмусова бумага. Сунешь ее в суп. Если не посинеет, значит, суп не отравлен, – и показал кусок газеты.

– Я довольно быстро выздоровел, – сказал Родион Алексеевич. – Истощен я был, голоден, и врачи держали меня, пока можно было держать. Давали откормиться. А я им плакаты рисовал, карикатуры в стенную газету, стихотворные подписи.

И Слатин, который только что поражался силе духа и находчивости Стульева, подумал, что Родион Алексеевич привык защищаться своими способностями.

Домой Слатин обычно уходил со Стульевым. Стульев говорил:

– Я люблю приходить домой.

Он и в перерыве бегал обедать домой, а не спускался в пирожковую. По улице он шел с тем же выражением сосредоточенности и отрешенности на лице. Слатину он говорил:

– Мать жены три года с постели не вставала перед смертью, а я все равно любил домой приходить. Вначале она меня невзлюбила, просила Лину: «Прогони его!» А потом Лину прогоняла: «Уйди, ты не умеешь».

Иногда он сообщал:

– Работал до утра, писал «настоящую» пьесу.

– Устал?

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Мне было интересно. Я дома работаю. Я вообще люблю, когда много работы.

Слатин смотрел на неряшливо выбритого, уже сидящего Стульева и думал, что, может быть, и не нашел бы своего горения, не пришел бы к этому чувству, если бы начал работать в газете с другим напарником.

И когда редактор приходил в отдел к концу рабочего дня и спрашивал, куда они собираются, Слатин вслед за Стульевым смело отвечал:

– Домой, Петр Яковлевич. Дома я работаю.

Газета выходила каждый день – в этом было все дело. Газета выходила каждый день, а штатных литературных сотрудников в ней было мало. Если бы можно было собрать и сбросировать то, что Слатин правил, писал и переписывал, то за месяц собрался бы небольшой том. Не все работали так, как Слатин, не всем давали срочные задания: оставляли в газетном макете пустое место – до полуночи написать, продиктовать специально оставленной машинистке, дать завизировать начальству и заслать в набор. В этой ночной работе, в этой бешеной гонке была бездна газетного романтизма и бездна самолюбия. Когда-то Слатин думал только о целях журналистики. Он не думал, что когда работы много, когда работы слишком много – сама работа может стать целью, что целью могут стать оперативность, темп, грамотность. Он не думал, что пот работы, ее постоянное напряжение могут заслонить то, ради чего работа. Слатину не в чем было упрекнуть себя – он изматывался до предела, ничего не оставлял про запас. Когда он так работал, ему казалось, что он чувствует время, ритм эпохи. Он не ходил, а бегал по редакционному коридору, не мог дожидаться, пока перепечатают весь его материал, – снимал с машинки по страничке. Он становился мастером. Но главное было не в этом – его нравственное чувство если не насыщалось, то изматывалось тем, что он работал, работал и работал. И только когда редактор вызывал его к себе, Слатин вставал от работы. Конечно, редактор не знал десятой и не умел сотой доли того, что знал и умел Стульев, и хвалить он звал или ругать, Слатин одинаково неуютно чувствовал себя в редакторском кабинете. В этой комнате с большим венецианским окном, выходившим на главную городскую улицу, как и у Владислава Маятина, стояло два телефона, висел график выпуска газеты и стол был закрыт полосами. Но у Владислава телефоны звонили непрерывно, полосы были грязными и исчерканными, на графике постоянно появлялись какие-то поправки, а здесь если телефон и звонил, то звонок раздавался в комнате секретарши, а график выглядел парадно. И не ругать или хвалить вызывал к себе редактор Слатина, а учить. И это было высокой степенью признания. Когда-то, в самый первый месяц испытательного срока, редактору не понравился очерк Слатина о заводском саде. Петр Яковлевич читал возмущенно на планерке: «Листья кажутся металлическими!» И говорил: «В таком саду не засидишься!» Сельскохозяйственник кивал: «На заводе железо – и в саду железо!» Редактор сказал тогда Вовочке: «Испытательный срок подходит к концу. Владимир Акимович, давайте ставить вопрос о человеке». Вовочка выручил Слатина. «Мне кажется, здесь есть материал», – сказал он. «Владимир Акимович защищает своего работника», – сказал сельскохозяйственник. «Я говорю о материале», – сказал Вовочка. После планерки он увел Слатина в кабинет, махнул рукой в сторону редакторской комнаты. И вообще был очень хорош. Не кокетничал, не кривлялся, был прост. Сам сел подгонять очерк под «газетный материал».

Теперь редактор, подзывая Слатина к столу, показывал ему какую-нибудь фамилию в полосе:

– Зачем ты о нем пишешь?

– Мне его порекомендовал партком.

Редактор смотрел через очки снизу вверх.

– Ты меня слушай, – и кивнул на один из телефонов, – я все знаю.

Разговора этого редактор не продолжал и не возобновлял. Но он, правда, поражал Слатина тем, что как будто знал всех в городе и в области. Если на планерке предлагали кандидатуру ударника, стахановца для очерка, редактор не спрашивал, кто это. Он или кивал, или говорил «нет», или морщился – не совсем то, что нужно. (У него были свои газетные идеи. Сейчас это, может быть, и странно называть идеями, но тогда казалось не совсем обычным то, что редактор добивался, чтобы инициалы обязательно ставили перед фамилией и чтобы инициалов было два. У

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru (у него было старое пристрастие к некоторым шрифтам, он разрешал Владиславу Маятину верстать газету веселее, перебивать основной шрифт другими шрифтами.) Главной его страстью была оперативность. На планерке обязательно сообщалось, сколько информации со словом «сегодня» прошло в номере.

Бывало, что ничего существенного в выступлении редактора на планерке не оказывалось. Но иногда оно на несколько дней меняло направление работы всех основных отделов. Начинал он всегда с международных событий:

– Немцы захватили Крит. Одним ударом с воздуха. Все уже знают? Провели англичан. Подбираются к Каиру. Что это значит, ясно каждому. Война идет у наших границ.

Кто-то подскажет:

– Англичане Гамбург бомбили.

– Да, – скажет Петр Яковлевич. – А сколько у нас было на прошлой неделе материалов по машиностроительному заводу? – спросит он у Владислава.

– Семь, – с готовностью ответит Владислав и весело взглянет на Платонова.

– О других заводах материалы были? – Это опять Владиславу, а не Платонову, который уже несколько раз облизал языком узкие губы.

– Были. О калориферном.

– В области нет других предприятий? На них не наши люди работают? Или эти предприятия не имеют оборонного значения?

Платонов моложе Владислава, но хотя он и самый молодой зав в редакции, он лучше любого другого может постоять за себя. И привычка в волнении облизывать узкие губы выглядит у него как приготовление к нападению. Но и он не станет напоминать редактору, что тот месяц тому назад вот так же на планерке спросил у Владислава, сколько за неделю прошло материалов по самому крупному в области машиностроительному заводу. И потребовал, чтобы материалы об этом гиганте первой пятилетки шли в каждом номере. Завод, на котором трудится пятнадцать тысяч человек! Сотни инженеров, тысячи техников! Завод, имеющий первостепенное оборонное значение! Может быть, кому-то надо напоминать, в каком окружении мы живем? Как близко у наших границ ходит война? Но Платонов этого не скажет. Только наивный человек будет оправдываться. Пришли новые указания, следовательно, нужно сразу перестроиться и дать материалы по мелким предприятиям. Редактор, конечно, мог бы сказать: «Нас поправили: увлекаетесь гигантом, не видите заводов поменьше». Но Платонов прекрасно знает правило: претензии можно предъявлять только самому себе – надо было иметь в запасе материал по мелким фабрикам.

После стычки с Платоновым редактор и поднимает Вовочку – людям нужна разрядка.

– Владимир Акимович, – говорит редактор, – читатели имеют право знать тех, кто работает в газете.

– Но, – начинает кокетничать Вовочка, – я не специалист по театральным рецензиям. А сейчас в городе нет ни одного порядочного театра.

Вовочка рассчитывает на смех и вызывает его. Дело в том, что писать рецензии, считают в редакции, – получать гонорар ни за что. Своими словами пересказал содержание пьесы – и все.

– Нет театров? – спрашивает редактор. – Что говорит кинопрокат? Революционные, патриотические фильмы есть? Пойди и напиши. Владислав Сергеевич, у нас на четвертой полосе место есть? Оставь строчек восемьдесят. Владимир Акимович завтра сдаст тебе рецензию.

Заданием Вовочка не то чтобы подавлен – страшно затруднен. Эти восемьдесят строк замучивают его ужасно. Из редакционной библиотеки он приносит подшивки «Правды», «Известий», «Советской культуры», посетителем передает Стульеву. Он мог бы просмотреть подшивки в библиотеке, чтобы Стульев и Слатин не видели, как он компилирует рецензию, но Вовочке не до этого. Весь день он тратит на восемьдесят

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
строк, но так и не заканчивает работы – оставляет на завтра. На следующий день в
отдел с утра начинает бегать Владислав:

– Владимир Акимович! – говорит он, открывая дверь. За полчаса Владислав,
пробегая мимо кабинета, несколько раз распахивает дверь:

– Когда будет рецензия?

Потом Владислава захватят дела, и он появится только минут через сорок. Теперь
он зол, не подмигивает Стульеву и Слатину.

– Владимир Акимович! Задерживаете газету!

Вовочка начинает огрызаться:

– Подождешь! Подумаешь!

Наконец он закругляется, несет листки машинисткам, возвращается с перепечатанной
рецензией, кладет перед Стульевым:

– Родион Алексеевич, прочтите и распишитесь.

Стульев расписывается, не читая.

Рецензия написана тщательно, следы компиляции затерты, а оценки поставлены
умеренней, чем в центральных газетах.

После этой гонки Вовочка жалуется Слатину, говорит, что больше его не заставят,
даже если редактор будет нажимать.

Приносят полосы, и Вовочка усаживается читать свою рецензию. Он нервничает, не
верит самому себе, просит прочесть Стульева или Слатина, много раз сверяет
инициалы. Но в конце концов все сходит хорошо, и Вовочка постепенно
успокаивается.

* * *

Еще одним не пишущим журналистом был в газете тот самый Головин, которого
переводили в заводскую многотиражку. Его вернули через год – он обладал
редкостной, какой-то математической грамотностью. Работал он в секретариате,
сидел один в маленькой комнатке, читал подписанные в отделах материалы и правил.
Вычеркнутое никогда не восстанавливал, дважды к одной и той же строчке не
возвращался. У него был чертежный, «гостовский» почерк, чертежная система
вычеркивания. О себе говорил, что по призванию он химик, филологический
факультет выбрал по ошибке. Единственный материал, который появился за его
подписью, и был посвящен университетским химикам. Это был образцовый материал,
отличавшийся от всего, что было в номере, как отличаются столичные материалы,
перепечатанные провинциальной газетой. Однако на еженедельной летучке докладчик
этот материал не упомянул, и только кто-то сказал, что Головин выступает редко,
а писать, оказывается, умеет. Так и прошло это событие, оставив некоторое
недоумение, и забылось, как забываются перепечатки из других газет и журналов.
Слатин приходил в комнатку Головина, усаживался на край стола, смотрел, как он
работает, и поражался безошибочности его глаза. Иногда только казалось, что он
уж слишком жестко сжимает материал, не оставляет между значащими словами
«воздуха».

– Для машин правишь: формула, формула, а вздохнуть негде.

– Пожалел? – спрашивал Головин. – Давай восстановим.

Слатин еще раз смотрел и вздыхал:

– Нет, все правильно.

– Газетная площадь, – говорил Головин. – Сколько у нас площади? Из паршивого
очерка лучше сделать информацию.

– Сам почему не пишешь?

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Некогда. В секретариате – не в отделе. Вы уже пиво пить пойдете, а я еще в редакции. Вчера полосу макетировали – сегодня в Москве речь. Макет летит – сидим до полуночи. А потом на двух трамваях домой. Ты в центре живешь, а мне от трамвая еще пешком идти.

– Я ночью пишу.

– Ночью пишешь, а вечером начинаешь. А я вечером писать не могу. Двое детей в комнате. Жена в институте.

– Посуду моешь?

– И посуду, и пеленки.

– У тебя ж прекрасный материал был. Лучше меньше бы правил – больше писал.

– Тебе понравилось? – говорил Головин. – Нам надо встретиться и поговорить.

– Да мы уже встретились!

– Да нет! Ты ко мне или я к тебе. Посидели бы за пивом.

– Да я давал уже тебе свой адрес!

– Правда? – И начинал листать свой блокнот. – Ну дай я еще раз запишу.

– Записывай, записывай! Ты уже не первый раз записываешь. Слушай, ну чего ты такой робкий? Думаешь, если не пишешь, так нечего тебе опасаться? Ты же каждому в редакции на треть срезаешь материал. Гонорар сокращаешь.

Головин улыбался. Слатин уходил, и они забывали друг о друге на неделю. Сталкивались в редакционном коридоре: Слатин – в машинное, Головин – из машинного бюро, кивали друг другу на ходу и разбегались. Или вдруг Головин распахивал дверь и кричал с порога:

– Отдел культуры! Две информации на третью полосу! Срочно! – И захлопывал дверь, чтобы не слушать возражений. Слатин добывал информации, нес в маленькую комнатку. Головин, не глядя на Слатина – чертил макет, – брал их у него из рук, быстро просматривал, откладывал в сторону и придавливал металлической линейкой:

– Хорошо. Может быть, пойдут.

И все. Слатин уходил, забывал о Головине, о том, как четко, какой идеальной прямой чертой он вычеркивает пустые слова, как «конвертом» зачеркивает целые абзацы, каким ясным чертежным почерком вписывает новые слова, как рисует макеты новых полос и правит, правит после газетных правщиков и вежливо разговаривает с ответственным секретарем, обсуждает ерундовые первополосные материалы, написанные Лешей Иванченко. А где-нибудь на лестнице Головин догонял Слатина, брал его за локоть, и Слатин спрашивал:

– Поговорить нам с тобой надо?

– Надо, надо нам с тобой поговорить, – не замечая слатинского раздражения, отвечал Головин. – Посидеть хорошенько и потолковать. Есть у меня мысли, хотел с тобой посоветоваться. Думаю, знаешь, засесть и написать кое-что.

– О химии?

– О жизни. Ты в пирожковую?

– Нет, – отвечал Слатин, хотя собирался именно в пирожковую.

– А я за пирожками.

И они расставались. Проходило несколько недель, и опять Головин спрашивал, где живет Слатин, листал блокнот и смотрел растроганно. И Слатин стал его дразнить. Кричал, встречая в коридоре:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Поговорить надо?

– Надо, надо, – грустно отвечал Головин.

– Записать тебе адрес или сам запишешь?

Слабый этот, грустный взгляд раздражал Слатина.

Головин начинал ответственным секретарем краевого альманаха и там жестко и честно правил тексты, написанные областными писателями. Ему предложили уйти, и он перешел в газету помощником Владислава. Но и тут его наивная, но странно твердая грамотность не пришлась по вкусу. И после истории с Белоглазовым редактор ему сказал:

– В обкоме меня спросили, кого направить в многотиражку машиностроительного. Я назвал тебя. Советую. Сам будешь хозяином.

И Головин ушел в многотиражку. В секретариат сажали Стульева, еще кого-то, но через год опять позвали Головина – все-таки он был чрезвычайно грамотен и работоспособен. И за много лет работоспособность и грамотность в нем нисколько не притупились, не поизносились. Он вернулся в секретариат и заперся в маленькой комнатухе, в которую уже нельзя было поставить второго стола. Когда Владислав уходил в отпуск, Головин вел планерку, и сразу сельскохозяйственник переставал выделяться вперед, редактор не обращался с вопросами к кому-то через ведущего планерку, и вообще планерка шла скучнее, без обычного утреннего драматизма. И только самому Головину кто-нибудь давал понять, что он временный, поскольку не обладает политическим темпераментом Владислава Маятина. А если в это время вместо редактора, ушедшего в отпуск или заболевшего, за столом сидел заместитель, страсти и вовсе замораживались и как бы падало обычное для редакции рабочее озлобление. Газета начинала выходить вовремя, как будто выпуск каждого номера не был подвигом, а самым обычным будничным делом. Но возвращались редактор и Владислав, и в редакции опять восстанавливалась горячая атмосфера подвига, утренние планерки наполнялись драматизмом, и Вовочка, который при заместителе редактора и Головине как-то опрощался, опять начинал кокетничать и кривляться.

У Слатина были дружеские отношения со Стульевым и с Головиным, но Слатину нужен был кто-то покрупнее телом, что ли. Кто не так, как Стульев, спешил бы с работы домой. Помоложе, побесшабашнее, что ли. Они нашли друг друга, хотя были очень разными и вызывали друг у друга постоянную напряженность. Звали его Виктор Курочкин. Как потом выяснилось, это был тот самый человек, которого редактор и Владислав Маятин готовили на место Белоглазова. Впервые в отделе культуры он появился в районных сапогах – принес показать стихи. Приехал он из района дня на два – он работал тогда ответственным секретарем районной газеты, – и потому стихи его, против всех правил, читали тут же, при нем.

– Не понравились? – удивился он, когда Вовочка возвратил ему листки. – А Ошанин их хвалил. Я в Москву посылал.

Но огорчен он не был. Не за этим приезжал. Из отдела не торопился уходить – районный газетчик хотел посидеть с коллегами из областной газеты. Выглядел он не просто худым – истощенным: запавшие щеки, отливающие желтизной глаза, тонкие руки. Вовочка любезно спросил, не устал ли он с дороги. Он ответил:

– Вы не смотрите, что я худой. Я очень сильный. Я никому не уступлю. Ему вот, – кивнул он в сторону громоздкого Слатина.

Стихами Слатин не занимался, он работал и не прислушивался к тому, что говорили гостю Вовочка и Стульев, но тут он взглянул на Курочкина. Посетители отдела никогда еще не прикидывали, сумеют ли они справиться со Слатиным. Очень худой человек, только что хваливший свои стихи (он сказал: «Я не считаю, что это классика. Но стихи на уровне. Их можно печатать в любой газете, за это я ручаюсь, что бы мне ни говорили»), показался ему не очень приятным. А Курочкин, уловив его взгляд, сказал без смущения:

– Честное слово, я худой, а жилистый. Вы не смогли бы меня побороть.

(Они потом боролись, и Слатин действительно не мог его побороть, хотя был

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru сильнее и тяжелее – очень быстрым, решительным и жилистым был Курочкин.)

Он уже работал в редакции, а Слатин, встречая его в коридоре, удивлялся тому, что он так долго не уезжает к себе в район. Потом они стали встречаться по дороге на работу – Курочкин поселился рядом со Слатиным. Однажды он пришел к Слатину, его встретила лаем маленькая собачка – помесь болонки и тойтерьера. Мать Слатина из вежливости прикрикнула на собаку, а Курочкин сказал:

– Не беспокойтесь. Если она ко мне полезет, я сверну ей шею.

– Такая маленькая собака!

Но Курочкин не смутился. Он сказал Слатину:

– Если у меня будет сын, я его с детства буду вооружать всякими боевыми навыками. Меня в детстве, знаешь, как били! Во дворе верховодили дворничихины дети. Трое братьев. – Курочкин засмеялся, напряг плечи. – Дворничихины же, вот такие крепкие. Куда я против них! Я не боялся. Просто драться не умел. Махал руками и чувствовал: больно, еще больнее, совсем больно... Всегда со мной что-нибудь случалось. То руку поломаю, то мне палец разрубят, то в глаз железкой ткнут.

С собакой он так и не помирился. Топал на нее ногами, рычал, и песик его как-то тяпнул. Курочкин позеленел. Слатин сказал:

– Приношу мои извинения.

Курочкин молчал, потом сказал:

– Да, это тот случай, когда...

И совсем поразил Слатина:

– Видишь ли, меня еще никто безнаказанно не кусал. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не добраться до вашего пса.

Однажды утром Слатин поднялся на пятый этаж к Курочкину.

– Открыто! – отозвался Курочкин из комнаты, которую от двери отделял коридор прихожей.

Слатин вошел, Курочкин был в постели, только проснулся.

– Ты чего ж не запираешься?

– А я никого не боюсь.

– Ну, это пока бодрствуешь. Но когда спишь, какое значение имеет то, что ты не боишься?

– Все равно.

Он любил это повторять:

– На меня не кидаются. Никто не кидается. Ни воры, ни хулиганы. Я, правда, никого не боюсь. Всегда готов к отпору, и это чувствуют. Токи, что ли.

Один из всей редакции он ходил обедать в ресторан. Однажды там между столиками шатался пьяный тип с наколками на груди. Он лез рукой в тарелки, и все сидели в напряжении, ожидая своей очереди. А он направился к столику, за которым сидели военные летчики.

– Цацек навесил! – сказал он одному из них. – Налей ему водки, – показал он на молчаливого подобострастного подонка, который сопровождал его по ресторану.

Летчик побагровел, стал зачем-то расстегивать китель:

– Ты меня не трогай, я стреляный!

– Я бы, Миша, ему помог, – рассказывал Курочкин, – но их было четверо, и он этому громиле говорит: «Не трожь меня, я стреляный». А я этого громилу откуда-то знал. И он меня тоже. Он шел по ресторану, а меня видел давно, и я его тоже видел. Понимаешь, мы должны были встретиться. Он шел между столиками, и, когда поравнялся со мной, я встал и загородил ему дорогу. Миша, он на голову выше меня. Физически мне с ним делать нечего. Но я подумал: «Пусть все летит к черту. Не кулаком, так тарелкой, вилкой – кишки у него такие же тонкие, как и у всех». Мы с ним глазами встретились. Не случайно встретились, а кто кого. Он мне хотел что-то сказать, но я сразу, Миша, улавливаю эти мелкие движения человеческой души: глаза у него подались. Ему надо пройти, а я стою на дороге. Я ему говорю: «Что за базар?» Тихо говорю: «Что это такое? Резвись! Иди отсюда, чтобы я тебя не видел!» Он мне отвечает: «Я тебя знаю. Ты меня лучше не дразни». А я ему говорю: «Кишки у тебя такие же тонкие, как у всех. Понял?» Тут этот шестерка, подонок, который шел за ним: «Ребята, не надо, чего вы!» Миша, я не хотел помогать этим летчикам, раз они сами не могли себе помочь. Но я его выгнал потому, что это уже касалось меня.

Всегда с ним что-то такое случалось. На автобусной остановке подвыпившие, хулиганящие мастеровые пытались смять очередь. Он сказал самому здоровому и злему из них:

– Я тебе сейчас так дам – из собственных штанов как намыленный, выскочишь. Понял?

Сказал так, как может сказать настоящий уголовник. Тем самым зловеще спокойным тоном, от которого никаких сомнений не остается. До мастеровых дошло, они бы и отстали, но было много зрителей, и они уже не могли удержаться. Тогда Курочкин остановил проходившую машину, утащил здорового за собой и отвез в милицию.

– Не побоялся, что здоровый? – спросил Слатин.

– Миша! – сказал Курочкин с презрением. – На здоровых воду возят.

Во всех его приключениях была одна какая-то нота, привлекавшая и отталкивавшая Слатина.

Не пьющего совершенно, его почему-то всегда тянуло в места, где пьют. В открытом летнем кафе пьяная компания устроила танцы под музыку, доносившуюся с расположенной рядом танцевальной площадки. Курочкин вошел в кафе с двумя девушками. Едва они сели, расхристанный парень взял девушку выше локтя.

– Она не танцует, – сказал ему Курочкин.

Протянувшись через столик, парень пальцем зацепил кармашек на пиджаке Курочкина.

– А тебя не спрашивают, – сказал он Курочкину.

Девушки стали нервничать: «Уйдем». Подошла официантка, Курочкин сказал:

– Заказывайте.

А парню сказал:

– Пойдем. Я тебе сейчас лично объясню, почему с такими, как ты, эти девушки не танцуют.

За ними следили от двух сдвинутых столиков, за которыми расположилась компания. Когда Курочкин проходил мимо, ему подставили ногу, потянули за полу пиджака.

– Ребята, – изумился Курочкин, – вы пьяные или на самом деле такие храбрые?!

За ним увязалось человек пять. С одним Курочкин разговаривал, двое ему дышали в затылок, кто-то сзади мацнул брючные карманы.

– Мацни меня за другое место, – сказал ему Курочкин.

Он потом рассказывал Слатину:

– Тут еще как бить будут! Могут до смерти избить, а унижен не будешь. А могут дать носком под зад – и ничего не сделаешь. Важно не дать им почувствовать свою силу и мою слабость. Я им говорю: «Вот вы стоите передо мной, а через пять минут на коленях ползать будете!» – «Старший лейтенант милиции!» Я говорю: «Гораздо страшнее!» Этот парень кому-то советует: «Дай ему!» Я спрашиваю: «А что у тебя голос дрожит?» Он и клюнул: «Я под хмелем!» – «Дерьмо жрал?»

Слатин спросил у Курочкина:

– А чего ты милицию не позвал?

– Миша! Да разве в этом дело! Иногда с кем-то в редакции споришь – убить хочется, а приходится ограничиваться язвительными замечаниями. А ведь он может оказаться язвительнее тебя. В тот раз я, можно сказать, победил. Их сколько, а я один! А все равно хожу отравленный. Парень-то этот ко мне прикасался, за кармашек тянул, а я ничем не ответил.

Завел себе льва. Настоящую львицу месяцев пяти-шести. Использовал свое влияние газетчика и взял на воспитание из юннатского кружка при зоопарке. Приводил знакомых смотреть на львицу. Худой, спортивный и легкий, он, опережая гостей, поднимался к себе на пятый этаж и ожидал их на лестничной площадке у своей двери. Знакомые немного медлили и спрашивали еще раз:

– Так каких она размеров?

– Вот таких, – показывал Курочкин, невысоко поднимая руку над полом. – Как собака.

Он открывал дверь, и гости застывали в страхе, потому что перед ними был настоящий лев. Потом, когда они успокаивались, они видели, что львица действительно невысока, не выше крупной собаки, но это вовсе не значило, что и во всем остальном она была не больше собаки. У нее было длинное мощное тело, мощные лапы и крупная человеческая голова. И невысокой она казалась только потому, что, примериваясь к размерам коридорчика, ходила на полусогнутых лапах. Эта прицеливающаяся, крадущаяся походка на полусогнутых лапах в первые мгновения особенно пугала гостей. Курочкин, вытянувшийся, стройный, подтянутый, с той же сдержанной улыбкой, с которой он показывал: «Не выше собаки», – предлагал: «Проходите, проходите». И гости шли в комнату мимо львицы, которая в отличие от собаки не умела сторониться. На гостей она не обращала внимания. Она прицеливалась к тому, чтобы пробежать в комнату, куда ее в обычное время не пускали. Она и пробегала, и Курочкину не удавалось ее удержать. Впрочем, «пробегала» не то слово. В этой маленькой комнате львице с ее длинным телом некуда было бегать. Она не вспрыгивала, как это сделала бы собака, даже очень большая, на тахту или кровать, а, будто не замечая разницы между полом и кроватью, оказывалась на кровати. Курочкин замахивался, и она таким же не приметным движением своего плавного тела переливалась, перелетала на кресло, оттуда на пол. На полу был постелен ковер, которым Курочкин очень дорожил. Львица самым обычным кошачьим движением запускала в него когти. Необычными были размеры лапы – когда львица вбирала когти, ковер собирался складками. Курочкин замахивался всерьез. Шкафа для одежды у него еще не было, и весь его гардероб висел на деревянных плечиках, зацепленных за гвозди, вбитые в дверь и над кроватью. Курочкин был женолюб и очень следил за своей одеждой. У него было много галстуков и рубашек, а львица, прыгая на кровать, запускала когти в рубашки и новенький, покрытый чехлом из простыни костюм. Ей не нужно было его дергать, чтобы сорвать с крючка. Все в этой комнате было несоразмерно с ее силой. Костюм просто обрывался с гвоздя, когда она тянулась лапой, чтобы попробовать, что это такое. Курочкин свирепел. Он замахивался на львицу рубашкой, которую отнял у нее, львица пугалась, отпрыгивала и казалась бы совсем безопасной, если бы не желтый, янтарный свет в ее испуганно расширенных глазах и если бы не напряжение и скрытый страх в глазах самого замахивающегося Курочкина.

– А ты сам не боишься? – спрашивали у него.

– Боюсь, – говорил Курочкин, подумав. – Сам видишь – зверь. – И он закатывал рукав рубашки, показывая вспухшие продольные полосы на руке. – Играя!

Он выгонял львицу в коридор и закрывал проход в комнату не дверью, а

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
металлической решеткой, которую ему специально сварили на заводе.

Каждый день он ходил на бойню – там ему для львицы продавали три килограмма конины.

Дважды при Слатине львица вырывалась из квартиры и сбегала по лестнице вниз. Глаза ее в эти мгновения светились особенно, как будто было в ней напряжение, которого она сама, родившаяся в клетке, живущая в этом многоквартирном, густонаселенном доме, не понимала, но к которому прислушивалась. Курочкин и Слатин бросались в погоню, но Слатин только покрикивал, готовый в любой момент уступить львице дорогу, а Курочкин брал решетку и, держа ее перед собой, загонял львицу в квартиру. Когда львица, пробегая мимо Слатина по лестнице, задевала его боком и плечом, он чувствовал, какое это могучее существо.

У Курочкина побывала, кажется, вся редакция. Его львицей хвастались, водили к нему приезжих: «У нашего работника в доме живет лев». Поместили в субботнем номере фотографию – Курочкин со своей львицей. Все это продолжалось месяцев пять, а потом Курочкин вернул львицу в зоопарк. К дому подъехал грузовик с клеткой, приехали зоопарковские служители в толстых стеганках и юннатка, которая ухаживала за львицей до того, как ее забрал Курочкин. Курочкин сказал, что ему трудно смотреть на то, как увозят его львицу, и согласился только вывести ее из дому и посадить в грузовик. Однако увезти львицу оказалось не просто. За эти месяцы она впервые спустилась с пятого этажа, не узнала юннатку, шарахалась от служителей. С Курочкиным она влезла в кузов грузовика, но войти в клетку отказалась наотрез. А когда Курочкин спрыгнул на землю, львица впала в панику, билась о кузов, и деревянные борта грохотали и трещали. Пришлось Курочкину лезть в кузов и ехать в зоопарк.

Слатину он сказал:

– Если будут спрашивать, скажи, что львицу мне подарил капитан дальнего плавания. Мне так надо. Хорошо?

И вообще с приходом Курочкина страшно обострились какие-то события на периферии редакционной жизни. Так что даже Слатин стал их замечать. Однажды, столкнувшись в коридоре с молодым литературным сотрудником Глебовым, он увидел у него под глазом синяк. Глебов любил выпить, но Слатину и в голову не пришло, что работник редакции может позволить себе кулачную драку.

– Что случилось? – спросил Слатин.

– На швабру наступил, – сказал Глебов. И Слатин поверил.

– Видел, – сказал он Родиону Алексеевичу, – какой у Глебова синяк? На швабру наступил в темноте. Хорошо, глаз не повредил.

– М-гу, – сказал Родион Алексеевич, не поднимая головы от работы и не вынимая папиросы изо рта.

А было все очень просто. В редакции – и этого не замечал Слатин – люди группировались самым обычным образом для того, чтобы пойти в ресторан, ухаживать за женщинами. Курочкина позвали в такую компанию, а подвыпивший Глебов не хотел принимать новичка за своего.

История эта ошеломила Слатина. В детстве он дрался положенное количество раз, в юности занимался боксом и борьбой, но потом не то что забыл – выпустил из памяти совершенно. Редакция, считал он, должна быть местом, похожим на храм нового общества. Здесь можно было думать только о высоком, добиваться высокого. Вот почему простейший синяк, который в других обстоятельствах дал бы мыслям Слатина определенное направление, так долго держал его в недоумении. Однако вспомнить о том, что под влиянием алкогольных паров молодые мужчины могут драться, оказалось не трудно, и Слатин оценил ситуацию по обычному счету: учел заносчивость Глебова, риск, на который пошел новичок, и проникся к нему интересом.

Из пирожковой редактору пожаловались, что Глебов оставил в долг корреспондентский билет, и Глебова уволили.

История эта пришла к Слатину из мира, с которым у него почти не было связей. Но

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Глебов, с которым и Слатин, и Стульев и виделись и разговаривали редко, вдруг пришел к ним в отдел, чтобы спросить, правильно ли его увольняют. Он объяснил:

– Мне очень важно именно ваше мнение.

Глебов был пьяница. Как от старых пьяниц, от него несло даже не алкоголем, а вчерашним вишнегретом. Он постоянно был кому-то должен, продавцы пирожковой уже не раз разыскивали его в редакции, и Слатин не пожалел, когда узнал, что его увольняют. Все было правильно: человек, не отвечающий за свои поступки, не должен работать в газете. Но у Глебова оказались неожиданные симпатии, он выбрал их со Стульевым, чтобы узнать, справедливо ли его увольняют, и Слатин заволновался.

– Не знаю, – сказал Родион Алексеевич резко, – как бы я поступил на месте редактора, но таким, как ты сейчас, работник редакции не должен быть.

– А эти? – сделал Глебов неопределенный жест.

– Не знаю, о ком ты говоришь.

– А ты? – спросил Глебов у Слатина.

– Зачем себя с кем-то сравнивать? – сказал Слатин. – Надо отвечать за себя.

– Значит, и вы, – сказал Глебов. Уволившись, он должен был уехать из города потому, что был не местным. А ехать ему было некуда потому, что он воспитывался в детдоме.

Он ушел, а Слатин старался понять, чего он стыдился. Все было правильно: слабый, беспринципный человек, подозревающий всех в дурных поступках. Но зачем он выбрал их в совестные судьи! И что стыдного в том, что ему сказал Слатин. Или, правда, если кого-то увольнять, так нужно начинать с редактора, который не только расправился с Белоглазовым, но и всю редакцию принудил к несправедливости? Курочкину, который сидел на месте Белоглазова, Слатин сказал об этом. Тот закричал:

– Какая справедливость! Миша, о чем ты говоришь? Его давно надо было гнать грязной метлой! Ты меня удивляешь! Справедливость в том, что способного работника сохранили, а бездарного выгнали.

Он четко произносил каждое слово. Как будто, кроме известного всем, оно имело еще и другой, обидный для слушающего смысл. Обидным для Слатина было то, что Курочкин говорил с ним как старожил с новичком. И о Глебове, который еще слоняется по редакционным коридорам; он сказал: «Правильно! Гнать грязной метлой!»

Глебова уволили, он уехал, объявился в Москве, а через год вернулся – приехал искупать вину в том месте, где провинился. Ему разрешили писать для газеты, но в штат не взяли, и он месяца через два исчез из жизни Слатина окончательно. А Курочкин, не став еще старожилом, переругался с половиной редакции. Первыми были корректоры и машинистки. Машинистки были самыми старыми работниками редакции. Их здесь удерживала, должно быть, вот эта мысль – «я работаю в газете». Иначе они давно отыскивали бы себе место полегче. Возможно, это были самые квалифицированные машинистки в городе. И все были с ними очень вежливы. Потом он поскандалил с милиционером, дежурившим в обкоме партии. Курочкину, бывшему в тот день помощником дежурного, надо было отнести газеты из типографии в обком партии. Для этого в здании обкома нужно было подняться на третий этаж. Курочкин оставил газеты у милиционера, сидевшего в вестибюле.

– Передайте наверх, – сказал он и бросил газеты на конторку.

Он делал это уже не в первый раз, и милиционер запротестовал:

– Поднимитесь наверх.

– Я тебе не курьер, – побледнел Курочкин. – Сам отнесешь.

Раньше газеты носил курьер, но редактор решил, что в обком газеты должен носить

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru журналист. Это и имел в виду Курочкин.

Платонов – это был уже третий заведующий, к которому за год перевели Курочкина, – отказывался с ним работать. Он говорил, что Курочкин заваливает одно задание за другим. Когда отношения с начальством становились совсем невыносимыми, Курочкин брал бюллетень. Когда-то у него были туберкулез легких и язва желудка. Все это зарубцевалось или зарубцовывалось, но в больнице для него всегда готов бюллетень. Сидеть дома он не мог, его видели в городе, встречали с женщинами в кинотеатрах. Завы, у которых он в это время числился, нервничали, никто им в отдел на это время людей не давал, работу делали те, кто остался; на Курочкина писали докладные, но пока он болел, никто не решался действовать настырно. Он выходил на работу, ему давали несколько дней «на раскачку», и опять начинались скандалы. Заведующие носили в секретариат материалы, которые писал или правил Курочкин, возмущались его небрежностью, грубыми ошибками, ходили к редактору, а Платонов даже объявлял Курочкину бойкот: не давал ему заданий, не разговаривал с ним, не подписывал материалов, которые он написал или выправил. А Курочкин всем дерзил, находил ошибки в работах Платонова, вырезал из столичных газет передовые статьи, красным карандашом подчеркивал те самые стилистические ошибки, которые ему ставили в вину, носил все это к редактору или в секретариат. А однажды он повесил на доске объявлений вырезку из газеты, подчеркнув в ней слово «проверка».

«Некоторые товарищи думают, что проверять людей можно только сверху, когда руководители проверяют руководимых по результатам их работы. Это неверно. Проверка сверху, конечно, нужна, как одна из действенных мер проверки людей и проверки исполнения заданий. Но проверка сверху далеко не исчерпывает всего дела проверки. Существует еще другого рода проверка, проверка снизу, когда массы, когда руководимые проверяют руководителей, отмечают их ошибки и указывают пути их исправления. Этого рода проверка является одним из самых действенных способов проверки людей».

Это был слишком хорошо известный текст. Слатин подумал, что раздраженный Курочкин затеял смертельно опасную игру. Однако гром почему-то не грянул. Вырезка провисела минут сорок, все ее успели заметить, а потом Курочкин ее снял.

Его вызвали к редактору. Редактор сказал:

– Будем ставить вопрос о вашем увольнении. Ваши товарищи говорят о вас...

– Это ваши товарищи, а не мои, – сказал Курочкин. – Алкоголики! В редакцию войти нельзя – с порога слышно! Я отстаиваю свои взгляды, спорю потому, что я больше вас заинтересован, чтобы газета выходила по-настоящему партийной.

Все знали, что Курочкин не пил и не курил. Курящих он тотчас выставлял из кабинета. А редактор старался не замечать, что вечером в отделах пили. Редактор любил, когда люди поздно задерживались на работе.

Родион Алексеевич говорил Слатину:

– Курочкин – фигура саморазрушающаяся. Его выдвинули из районной газеты, он слишком быстро хочет стать начальником. Слишком самолюбив. Слишком любит жизнь и приключения.

Курочкин говорил Слатину:

– Миша, я знаю себе цену. Во всей редакции только ты да Стульев можете работать так, как я. Ты, правда, используешь рецензии, чтобы протаскивать в газету свои мысли, но не в этом дело. Я сам знаю, как я работаю и как могу работать. И я прямо об этом говорю. А люди не привыкли к тому, чтобы об этом говорили, как я. Они меня осуждают, и я их понимаю. Я даже знаю, что надо было сделать, чтобы меня полюбили. Надо было прийти к тому же Владиславу, сказать: «Слава, понимаешь, я из районной газеты, в большой только начинаю работать, чувствую, что не все у меня получается. Вот тут мой материал идет, пройдишь по нему рукой мастера!» И все! Но я не могу! Тогда это буду не я, а кто-то другой. Я умней Владислава. Я это знаю, я это чувствую, уверен в этом. Я тебе больше скажу: я на своем веку разных людей повидал. И бывших больших начальников, и шпану, и сошку всякую – всех. И знаю – я не глупее кого бы то ни было на свете. Я меньше знаю, но это не от меня зависит. Если бы я сидел в Москве, в правительстве, я бы знал

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru столько же и был бы ничуть не хуже. Правильно, я не люблю писать, у меня нет этой страсти – печататься. Но если я захочу, я могу дать материал любого качества. Я это знаю, понимаешь, нервами своими знаю.

И еще он говорил:

– Шестеркой я по природе своей быть не могу. Я тебе еще не рассказывал: я пацаном связался с беспризорными. В лагере выдал себя за вора. Миша! Я ненавидел их, я был умнее их, но надо было быть или с ними или внизу. Несколько лет по острию ходил! Меня знали на всех командировках. Двое часов на руке носил. В воровских сходках участвовал. Ты не представляешь, как это опасно! Если кто-нибудь доказал бы, что я только выдаю себя за вора, – меня под землей бы нашли. Ты не представляешь, на что идут, чтобы добраться до того, кого собираются убить! Начальство его в карцер за толстые стены посадит – камень грызут, преступления совершают, чтобы в карцер сесть. На другую командировку переведут – найдут способ перебраться за тобой через всю страну, любое преступление совершат, чтобы добиться пересмотра дела и оказаться в этапе. Тут все время надо быть настороже, а я не один год держался! И все важно – что сказать, как ответить. Играешь, например, в карты, мат стоит. Ты кричишь партнеру: «Такой-сякой, карту передергиваешь!» – «Кто передергивает?» – «Ты, так и перетак!» – «Что ты сказал? А ну, повтори!» Вот тут повторить нельзя. Ты кричишь: «Да я тебя в ухо, в глаз, в сестру, в отца и всех родственников!» Он и успокаивается. А если это у тебя не в крови, не в нервах – сбиться можно, тебя и заподозрят. Я многое знал, многое умел, но не все, а главное, ненавидел их. Ты говоришь, справедливость – несправедливость! Я на людей насмотрелся. Люди не за справедливостью идут – за силой. Это вы, интеллигенты, путаете. Я тебе скажу – в истории ничего, кроме силы, не было. Любая общественная организация на стороне тех, у кого нервная система сильнее. Я воров ненавидел, но я их и сейчас уважаю за силу духа. Сила – это ведь, Миша, не мышца, а дух. Понял? Это надо видеть.

Когда Курочкин это говорил, на лице его появлялось выражение презрительной пронизательности, как будто он насквозь видел громоздкого Слатина, как будто точно знал, что Слатин со всеми его мышцами человек слабый. А Слатин думал, что для него существует какой-то предел жестокости, что ли, за которым он уже не в состоянии ее воспринимать как явление той же самой жизни, в которой живет и он сам, Слатин. А у Курочкина этот уровень жестокости был бесконечно отодвинут. Он, например, с восторгом рассказывал, как порезали пацаны-полууголовники. Они поссорились из-за девчонки или еще из-за чего-то и схватились за ножи. Их пытались удержать, но они разбросали удерживающих и нанесли друг другу несколько ран. Ранения, которыми они обменялись, не останавливали их до тех пор, пока они не обессилели. «Скорая помощь» застала их сцепившимися, но ослабевшими. Их растащили – кусающихся, ругающихся. В больнице их уже в бессознательном состоянии уложили на два стола в одной операционной. Один пришел в себя и схватил какой-то режущий инструмент...

– Понимаешь, – говорил Курочкин, – дух! Дух у ребят какой! Жизни осталась минута, а он лезет!

– Сильный человек – это, конечно, хорошо, – говорил Слатин. – Но не родился с сильной нервной системой – и все? Что же тут делать?

Курочкин презрительно улыбался, он знал, что надо делать со слабыми. Голова от этого у него не болела. Но вообще, когда они спорили, Курочкин слушал напряженно, тер пальцами виски – сосредоточивался, хотел понять, но то, что он знал, было гораздо сильнее того, что мог сказать ему Слатин.

– Миша, – говорил он, – когда мой срок подходил к концу, вору в моем бараке собрались пришить трех работяг. Я этого уже стерпеть не мог и пошел к начальнику. Он первым делом спрятал меня в карцер, чтобы до меня не добрались. Мы пошли с охранником, а во дворе к нам бросился человек – за ним гнался вор. Я вору подставил ногу – он упал. Для меня это было уже все! Человека, которого я спас, посадили вместе со мной. Это ж как сказать по справедливости? Я ему жизнь спас, мог рассчитывать на какую-то благодарность. А он ночью деньги у меня украл.

У него в запасе всегда были такие примеры, и он не соглашался со Слатиным, который говорил, что примеры ничего не доказывают уже хотя бы потому, что ими можно доказать все, что угодно.

– Это раньше ничего не доказывали. А теперь многие побывали там, где человек виден насквозь!

О чем бы они теперь ни говорили, все выходило продолжением их постоянного спора. Пожаловался им сосед Слатина: завел дорогую собаку, давно мечтал, а сын таскает ее за хвост, заставляет бегать, как дворнягу, с мальчишками. Пес еще молодой, но уже видно, никакой сторожевой злобности у него не будет.

– Зачем тебе злая собака? – сказал Слатин. – Пусть будет добрая.

– Испортишь собаку, – усмехнулся Курочкин. – Тут надо выбирать – сын или собака. Понятно, сын. Но собаку испортишь. На нее даже замахиваться нельзя. Собака должна быть уверена, что сильнее всех на свете. Что только хозяин сильнее ее.

...Идут вместе на работу под дождем. Курочкин далеко обходит лужи, туфли на нем чистые, брюки наглаженные, новенькое пальто не вымокло, а у Слатина брюки и туфли забрызганы, сам раздражен – повздорил с женой.

– За пять лет ни в чем друг друга убедить не можем.

Курочкин заходит в подворотню, чтобы переждать сильный порыв, и сдержанно улыбается. Улыбка у него имеет десятки оттенков, он точно ее дозирует. Улыбается ровно настолько, насколько считает нужным улыбнуться. Уговорить никого ни в чем нельзя – это ему давным-давно известно. Вести к цели может только сила. Он не говорит этого, но Слатин понимает и так.

Дома у Курочкина иллюстрированные журналы, научно-популярные брошюры. Он их читает. Но знает немало. Имена политических деятелей многих стран, имена генералов, названия городов – все это держится у него в голове. Память у него прекрасная. Не запинаясь, он произносит самые интересные фамилии. Если Слатин говорит: «Надо писать правду», – Курочкин кричит:

– Миша, какую правду?! Что такое правда? Умно надо делать!

Он считает, что все, в основном, у нас делается умно. Сильная внутренняя политика, сильная внешняя. Только ноты протеста, за которыми не следуют решительные поступки, его раздражают.

– Нечего ругаться матом, – говорит он, – если боишься в морду дать!

Себя он считает обойденным только потому, что он мог бы делать все умнее, чем тот же Платонов, но руки у него связаны. Причем умнее для него не значит квалифицированнее, честнее, с большим знанием дела. Курочкин что-то совсем другое вкладывает в это слово. А когда он рассказывает Слатину о своих стычках с редактором, видно, что чувства его раздваиваются – Курочкин всегда примеривает на себе самые высокие должности и себя ни в коем случае не согласен считать униженным и оскорбленным. Инстинкт самосохранения мешает.

– Правильно! – говорит он о редакторе и усмехается. – У редактора всегда в руках должна быть суковатая дубина. И вообще я тебе скажу, инициативные люди нужны только во время войны. Ты вот говоришь, газету надо делать, хорошо писать, честно. Кому это нужно – «хорошо писать»? Газету нужно делать – и все! Ты тут будешь, я. Или ни тебя, ни меня здесь не будет – газета будет та же. Я вот иногда думаю о себе: талантлив же я чертовски, смел, будь война, я бы мог так развернуться! А так талант мой пропадает. А что делать?

И он смеялся и, будто собираясь танцевать, слегка поводил плечами.

Дружил он с ребятами, которые были лет на десять моложе его.

– Мне с ними интересно, – говорил он. – Мы вместе ухаживаем за молодыми женщинами.

Может быть, и к Слатину его привязывало то, что Слатин сохранил еще какую-то мускульную молодость, азартно играл в пинг-понг. Они всегда скандалили, когда играли, и если Курочкин проигрывал, он ругался страшными словами, и лицо его искажалось гримасой. Выигрывая, он говорил, забывая о бюллетенях, которые часто

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
брал:

– Миша, я здоровый. Может, поэтому я никогда ничего не боялся. Всегда чувствовал себя здоровым.

Они и спорить начинали тут же, и Курочкин слушал, напрягаясь, стараясь понять. Прикладывал пальцы к вискам, а в глазах боль, головная боль – так трудно ему отвлекаться от того, что он считает единственно правильным, и так честно он старается сосредоточиться на чужих мыслях. Ни в чем не сходясь, они и людей, работающих в редакции, оценивали по-разному. Если Слатин говорил, что вот Головин настоящий мастер, обладающий журналистской мгновенной грамотностью, то Курочкин только презрительно и снисходительно посмеивался:

– Грамотность, грамотность! Далась она тебе.

Но в редакции дела Курочкина шли плохо, и было время, когда казалось, что его вот-вот уволят.

Однажды он принес в отдел те самые стихи, которые когда-то привозил из района. Он отдал их Вовочке с улыбкой, которая означала: «Тогда я был сторонний автор, а теперь работник редакции». Через несколько дней Вовочка вернул их ему с одной из самых своих очаровательных улыбок.

– Все-таки не понравились? – сказал Курочкин.

Вовочка, все так же улыбаясь, развел руками.

Года через полтора Курочкина назначили заведующим отдела информации.

Слатин как-то спросил у Головина:

– Если бы ты решил написать о нашей редакции роман, какое событие ты бы положил в основу сюжета?

Головин задумался.

– Я бы написал о том, – сказал он, – какие люди уходят и какие приходят.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

По крайней мере, в первый год работы в газете Слатин был счастлив. Слатина отличало одно вполне определенное обстоятельство – у него было постоянное и очень сильное желание понять мир при стойком ощущении, что он его не понимает. Это постоянное ощущение – не понимаю – его мучило. Так много страданий человеческих он видел в детстве, слышал о них, становясь подростком, юношей. Он видел верующих людей и никогда не верил сам. Он знал, что не понимает, и искал книги и людей, которые помогли бы ему понять. Нужен был смысл для жертв военных, голодных и других лет, нужна была логика – логика истории, прогресса, которая давала бы человеческое освещение всему тому, что он видел. Слатин прекрасно понимал, что в момент убийства или насилия факт этот мог не иметь ничего общего с какой бы то ни было логикой. Но потом он обязательно должен был вовлекаться в движение истории, освещаться историческим смыслом, вступать в связь со всеми другими историческими фактами. Связь должна была быть! Поэтому он испытывал такое наслаждение, читая у Маркса фразы, которые звучали примерно так: «Дело не в том, что сейчас думает отдельный рабочий, и даже не в том, что думают целые группы рабочих – дело в том, что вынужден будет сделать весь рабочий класс, чтобы выжить и сохранить себя». Вынужден будет! Слатин, конечно, немного мистифицировал для себя материалистические законы. В это «вынужден» он вкладывал не совсем то, что думали по этому поводу великие Маркс и Энгельс. Но Слатин не был великим. Он был провинциальным интеллигентом, и счастье его было не в том, что он открывал великие исторические законы, а в том, что, испытывая на себе действие этих законов, он испытывал счастье понимающего, принимающего и участвующего. Это было счастье зрячего. Слатин, провинциальный интеллигент, марксист, видел то, чего не могли видеть Маркс и Энгельс, – подтвержденную практикой теорию великого ученого. И это было ни с чем не сравнимое счастье! Слатин нашел великую теорию и великих учителей. Он узнавал – и темные, слепые факты обретали смысл и объяснение. Это было не только объяснение, но и преодоление жизни. У Слатина было то, чего всю жизнь искали ищущие, верующие, избранные: у него была цель, у него была вера, у него было знание, и если бы он

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru был постарше, можно было бы сказать – мудрость. Потому что когда он узнал, он успокоился в чем-то. Он нашел, ему незачем было суетиться. И жизнь и даже возможная смерть во время грядущей большой войны, неизбежность которой он чувствовал, теперь обрели смысл. Даже возможная несправедливость по отношению к нему не пугала его потому, что он в значительной мере утратил страх за себя, увидел то целое, в которое он входил незначительной частью. Соразмерил пропорции. Он мог сжиматься, работать по четырнадцать часов, изматываться до предела, мог отказаться от того, что называют личной жизнью, – знал, ради чего. А разве не этого, как самого высочайшего счастья, добивались думающие люди всех веков и народов – знать, ради чего можно пожертвовать своей жизнью?! Жизнь надо наполнить смыслом, тогда ею легко пожертвовать. У Слатина жизнь была наполнена смыслом.

Отец Слатина был старым революционером. Он был в числе организаторов знаменитой южной забастовки 1904 года. В тридцать четвертом они всей семьей собирались переехать в Мариуполь, на юг, – у отца было плохо со здоровьем. В квартире было голо, даже кровати стояли с пустыми панцирными сетками – мать уже упаковала постели. Отец прилег на голую сетку – до поезда оставалось часа два. В это время постучали...

Через год отец вернулся, и он все-таки уехал в Мариуполь с матерью. А Слатин остался в городе. Потом отец умер, и мать вернулась. Самое главное, что Слатин запомнил об отце, – это то, что отец умел думать против себя. Правильным для него было совсем не то, что было приятней или легче. Может быть, поэтому для Слатина всегда были так значительны слова отца. И вообще отец, больной и слабый, всегда оставался для Слатина значительным, потому что умел думать против себя. Слатину казалось, что он перенял у отца это умение.

С самой возможностью несправедливости Слатин оборачивал дело так, что себя же считал виноватым. Ведь это же мы сами, куда ни взгляни, куда пальцем ни ткни! Слатин как-то не думал об этом, пока не стал работать в газете. Когда-то он считал, что сюда отбирают только самых проверенных, самых дисциплинированных и умных – ведь это те, кто говорят читателям правду! Другой такой газеты в области нет. Но люди, которые работали здесь, не были ни самыми умными, ни самыми дисциплинированными. А некоторые из них, как сельскохозяйственник, вообще не знали своего дела и даже были не в состоянии выучиться ему. При этом они явно не знали того, что знал он, Слатин, но и не стремились это узнать. Пока он не знал этого, у него было ощущение нелепости жизни, своей беспомощности в ней. У них нет ощущения незнания или непонимания. Они знают, поэтому не стремятся узнать еще что-то. Ему было странно, что многие в редакции Маркса вообще не читали, хотя портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина висели почти в каждом кабинете. Не было такой планерки или летучки, на которой не говорилось бы о том, что авторов своих надо знать, что привлекать надо только проверенных. Но брали случайных, печатали незнакомых, потому что невозможно проследить за всеми, кто присылал письма и заметки, и еще потому, что проверенные не могли или не хотели писать, а газета должна была выходить каждый день. Вот и получалось, что куда ни взгляни – это мы сами. И следовательно, все большие наши недостатки идут от наших малых, личных недостатков. От лени, жадности, эгоизма, от неумения жить по законам логики. И Слатин озлоблялся на самого себя, на свои недостатки, на собственную слабость. Надо, надо бить и за слабость, и за трусость, и за эгоизм! Надо заставлять людей работать, вытаскивать страну из технической отсталости. Он был еще молод, и бешеный рабочий темп был ему по силам, и весь новый мир казался ему молодым, бессмертным, а старики были подозрительны потому, что они были оттуда, из другого мира. Конечно, перегибы были, и никто от них не застрахован в будущем. Но дело не в отдельных перегибах – «каленное железо», о котором каждый день писали газеты, было не только средством наказания и устрашения, но и мерой нравственности, которую многие принимали сознательно. Не ниже! И мировая война, и революция, и гражданская война, и коллективизация, и пятилетки – все это было, вот оно. Ни о чем нельзя было сказать, что это вчерашний день. Вчерашним днем было «мирное время» – так пожилые люди называли то, что было до четырнадцатого года. А с девятьсот четырнадцатого мирного времени в стране не было. Была борьба, не имевшая себе равных в истории. На пороге ждала та самая война, к которой поколение Слатина готовилось всю жизнь. Инженеры, рабочие строили оборонные предприятия, а делом Слатина было воспитание сознательности. Его делом было воспитание новой, сознательной дисциплины, самоотверженности, героизма и веры; в такой борьбе ждать прекрасноту от противника или терпеть его в своих рядах – преступление! Так много раз писал в своих статьях Слатин. Это была литая истина, требовавшая почти дословного повторения. В газетном обиходе было немало

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru таких литых истин, и повторять их надо было, избегая перестановки слов в фразе потому, что малейшая перестановка казалась отсебятиной. Даже излишний энтузиазм редактор вымарывал безжалостно. И чаще всего он вымарывал у Слатина потому, что Слатин над этой литой истиной размышлял постоянно и мучительно и размышления его сказывались на том, как он писал. В размышлениях Слатина были и сомнения и озарения. Среди озарений и была мысль о том, как высоко, на какую жесткую и трудную, но нужную человечеству высоту поднимает эпоха свою нравственность. Сомнений у Слатина, пока он учился, пока в тридцатых годах его подростковые сверстники не стали занимать командные посты, не было совсем. Он безоговорочно верил в дело, верил отцу, верил тем, кто был старше его, легко прощал им перегибы, но безоговорочно верить тем, кого он знал с детских лет, Слатин не мог. Спасался он от сомнений работой. Что ни говори, а главным в эпохе была работа. И главное его сомнение начиналось тогда, когда ему начинало казаться, что такие, как Вовочка Фисунов, направляют всю его работу на холостой ход. Суреном Григорьяном Слатин и заинтересовался потому, что это был работающий человек. Правда, вначале Слатину казалось, что Сурен просто отгородился в своем техническом мирке от главных вопросов эпохи. Сколько угодно отгораживаются. Но потом он понял, что характер у Сурена не такой, с каким можно от чего-либо отгородиться. Недаром жена Сурена Лида шутя называла его «враг семьи». И перечисляла: в армии отпуск позже всех получал, самые трудные солдаты ему доставались, в любую драку вмешивается, сам деньги на роту ездил получать, уголовники однажды проследили, едва отбил от них с наганом – на ходу с поезда прыгал. А демобилизовался, в гимнастерке, в шинели еще ходил, только на работу проектировщиком устроился, опять в историю попал. В воскресенье вышел с бидончиком за молоком, а вернулся закопченный, с порезанной рукой – хоть за молоком его не посылай.

Тут Сурен ее обычно перебивал:

– погоди, погоди. Все равно перепутаешь.

И морщился, когда Лида что-то преувеличивала. Вмешивалась дочь:

– Мама, это же не ты тушила пожар. Пусть папа расскажет.

Сурен рассказывал. Шел он с бидончиком по своей улице, уже сто раз тут ходил. Швейная мастерская, магазин и жилой дом с низким первым этажом. В этом доме на первом этаже он и увидел пожар. Комната ярко освещена, кажется, что горит задняя стена, а перед окном девочка лет девяти-десяти с грудным ребенком на руках. Кричит: «Дяденька, помогите!» Сурен поставил бидончик на тротуар, натянул рукав на руку, разбил стекло, открыл окно и стал на подоконник. Оказалось, что горит не задняя стена, а постель перед окном. А девочка стоит у стены с ребенком. Сурен прыгнул в комнату, выбросил на улицу горящую постель, а в это время кто-то открыл запертую дверь комнаты, вошла старуха соседка, которую родители девочки просили присматривать за детьми, вошли еще люди. Делать тут было уже нечего, и Сурен вышел так же, как вошел, – через окно. Взял бидончик и пошел за молоком. Возвращаясь домой, он видел пожарную команду, людей у дома, но прошел мимо. Через день или два в коридоре, в «курилке», инженер, который жил в доме, где случился пожар, рассказывал о нем так, как будто огонь возник в подвале, где курили мальчишки, а Сурен сказал, что это девочка развлекала братика и подожгла целлулоидную игрушку.

– Откуда ты знаешь? – спросил инженер.

Сурен объяснил. В тот же день, или на следующий, областная комсомольская газета напечатала заметку о безымянном герое – воине, который спас двух детей и потушил пожар. Кто-то вырезал заметку, приколот ее к стенгазете проектного бюро и написал: «Это наш Сурен Григорьян». В заметке были такие слова: «Он действовал как в бою». А еще через три дня в бюро принесли новый номер комсомольской газеты с заметкой: «Имя героя известно». Скромным героем, не пожелавшим назвать себя, было напечатано в заметке, оказался демобилизованный командир Красной Армии, ныне начальник охраны табачной фабрики. Имя его Павел Анисимович Федоренко. Областное управление пожарной охраны наградило его денежной премией.

– Что мне было делать? – сказал Сурен. – Только на работу в коллектив пришел, демобилизованный командир, коммунист – плюнуть никак нельзя. Пошел в партбюро, в местком, двух ребят со мной послали. Приехали мы в редакцию. Редактора нет. Встречает нас заместитель. Выслушал и говорит: «Какие у вас претензии?» – Сурен

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru засмеялся. – «Кто автор заметки?» – «Я». Оказывается, он звонил в управление пожарной охраны, там ему дали такую информацию. «Кто дал?» – «Начальник отдела кадров». Поехал он с нами. Пришли в тот дом. Я волнуясь, не знаю даже, как войти. В окно ведь входил. Постучали. Отец дома, говорит: «Я давно на этого человека хотел посмотреть». Девочку позвали: «Узнаешь этого дядю?» – «Нет». – «Ты его никогда не видела?» – «Нет». И тут на мое счастье входит старуха соседка: «А вас тут ищут, ищут. Несколько раз пожарник приходил». Заместитель редактора говорит: «Теперь вы удовлетворены?» Он с самого начала недоброжелательно нас встретил. Знаешь, может, думал, склочник, за премией погнался. Я говорю: «Как „удовлетворены“?» – «А что же вам еще? Товарищи ваши знают, что это вы. А читателям все равно, чья фамилия там стоит. Просто воспитательный факт». И уехал. Я ребят спрашиваю: «Плюнем?» Но они уже разошлись: «Нет, пойдем до конца!» Поехали на табачную фабрику, спрашиваем начальника пожарной охраны, а он выходит к нам: «Товарищи, я вам все сейчас объясню». Как будто ждал нас. «Я здесь ни при чем. Получил по почте перевод, заметку прочитал, устал уже отбиваться на работе. А деньги отнес в управление и сдал под расписку». Мы в областное управление, в отдел кадров. Начальник говорит: «Да, это я давал сведения в газету. Я составлял приказ на Федоренко. Мне начальник управления дал его кандидатуру». А начальник управления нас уже ждал. Вот так встретил нас. – И Сурен показал, как почти лежал, откинувшись на спинку стула, начальник пожарного управления и ногами сучил: – «Товарищи, товарищи! Но я же несколько раз посылал бойца. Почему вы так долго не объявлялись?» А ему, понимаешь, надо было показать, как хорошо у него люди работают, и деньги на премию были, он и решил воспользоваться случаем... Через два дня я получил грамоту и приглашение получить премию. Позвал ребят, которые со мной ходили, и других еще, поехали за премией. Сто рублей получил – и сразу же в ресторан. Своих еще рублей пятьдесят доложил – премию отметили.

Слатину неудобно было слушать, как наивно говорил о газетчиках Сурен:

– Понимаешь, может, и правильно, что они свой авторитет оберегают.

Но все равно Слатин был счастлив тем, что работал в газете. Как-то в их длинную комнату заглянул один из секретарей обкома партии, приходивший знакомиться с газетчиками. Слатин встал, и редактор, который сопровождал секретаря, сказал Слатину с одобрением:

– Сиди, сиди. Не в армии!

Но Слатин хотел чувствовать себя в армии.

А какие люди приходили к ним в их длинную темноватую комнату! Несколько раз приходил изобретатель телескопа. Он сам вытачивал удивительные стекла из круглых корабельных иллюминаторов, вставлял в раздвижную трубу. Мастерскую он оборудовал у себя в сарае, там у него и хранился телескоп, а он хотел подарить его городу. Приходил географ-энтузиаст, возмущавшийся тем, что на новых картах Северский Донец назван Северным, требовавший, чтобы название было исправлено. Изобретателей и энтузиастов Вовочка встречал сурово. Но они все шли и шли. Но чаще, конечно, в отделе появлялись авторы на мелкие поручения. С утра приходил старый актер Абрам Завадовский. Всю жизнь ходивший в сочинителях, всю жизнь искавший соавтора на пьесу, он располагался надолго, писал рецензии на эстраду, на самодеятельные спектакли, рассказывал анекдоты и передразнивал писателей. Чаще всего рассказывал, как областной писатель номер один Курков читал актерам свою пьесу. Куркову сказали, что у него плохо выписан меньшевик. Курков ответил:

– Много чести ему будет хорошо его выписывать.

Завадовский, подражая Куркову, произносил это так, будто у него забит нос, а язык в два раза толще, чем у обычных людей. Курков его поразил, и Завадовский охотно повторял, как областной писатель номер один произносит:

– Много чести ему будет хорошо его выписывать.

И интонация у него в этот момент была генерал-губернаторская.

Нет, не всем навстречу выходил Вовочка из-за стола. Приходил старый писатель – газетчик Слатин еще мальчишкой читал его фельетоны – Гершкович. На некоторое время, как он сам сказал, он уходил из литературы в адвокатуру, а теперь опять

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru ходил в редакцию. Гершкович поздороваётся со Слатиным и Стульевым, пройдет две трети длинной комнаты, и только тогда Вовочка начнет улыбаться. Когда Гершкович останавливался против Вовочки, Вовочкина улыбка делалась любезнее и любезнее, но Вовочка еще не поднимал головы – не мог оторваться от работы. Потом он перекидывал папиросу из правой руки в левую и стремительно поднимался, похватывая плечом падающий пиджак. Теперь улыбка его была любезной и извиняющейся в одно и то же время – не сразу поднялся навстречу старому человеку. Он подавал руку, все так же стоя, открывал ящик письменного стола, доставал пачку рукописных листов, протягивал их Гершковичу:

– Не пойдет.

Стоял, ожидая, что скажет Гершкович, а затем садился, поправлял пиджак и добавлял:

– К тому же вы это нам уже приносили.

Гершкович не смущался или не подавал вида, что смущается.

– Разве? – говорил он. – То-то я еще подумал, а не показывал ли я вам уже? Значит, уже показывал.

Вовочка любезно улыбался, глядя на него снизу вверх. В этот момент Гершкович был неприятен Слатину. Старый писатель, старый адвокат, он должен был понять, как к нему относится Вовочка, а он держал в руках пачку старых, пожелтевших листов бумаги, делал вид, что все это, так сказать, в обычном рабочем порядке, и говорил:

– Не пойдет? Странно. – И это «странно» было не возмущенным, а ненатурально отстраненным, раздумчивым. – А кто-то мне говорил, что это неплохая вещь. Но если вы так считаете... – Он медленно направлялся к выходу, но вдруг останавливался – образованный человек, старый адвокат! – и выражение ненатуральности в глазах его усиливалось. – Нет, у меня, конечно, бывают срывы. – Он протягивал «бы-ва-ют сры-вы». – Недавно я послал рассказ знакомому редактору в «Крокодил» – он мне заказывал несколько фельетонов. И что же вы думаете? Он мне этот рассказ вернул с такой надписью: «Не узнаю старого мастера». – Помедлил и двинулся к выходу, сказав «м-да». Будто только сейчас почувствовал грустный смысл этих слов, будто и останавливался, пораженный их печальным смыслом. И все это была неправда, и Слатину она была неприятна. Вовочка не отвечал. Во время всей сцены он любезно улыбался и потихоньку клонил голову набок, будто вслушиваясь и сочувствуя. И только когда Гершкович закрывал дверь, Вовочка переставал улыбаться и возвращался к работе.

Слатина никак нельзя было назвать терпимым человеком. Он был раздражительным борцом за справедливость – так это можно было бы сформулировать. С юношеских лет он был уверен, что логика для всех одна, что образованный человек руководствуется в решениях своих логикой. Одним из самых ошеломляющих открытий было для него то, что логика не действовала на всех одинаково. Больше того, было сколько угодно людей, на которых логика не действовала совершенно. В начальнические качества Вовочки фисунова, например, входило принципиальное незнание каких-то самоочевиднейших вещей. Он обладал вот этой способностью чего-то не знать и не понимать. И вот как раз в этой сфере, где не спрашивают, не отвечают, где Слатин постоянно попадал впросак, Вовочка ориентировался лучше всего. Приносил, например, кто-нибудь в редакцию сборник университетских философов и предлагал сделать на него рецензию. Вовочка улыбался и разводил руками:

– Не пойдет.

Слатин точно знал, что ни одной философской статьи ни в этом сборнике, ни в каких бы то ни было других Вовочка не читал. В другой раз Вовочка сам приносил Слатину на стол какую-нибудь книжечку и говорил:

– Сделаешь аннотацию строк на шестьдесят. Это интересно.

Вначале Слатин кричал:

– Кому интересно? Тебе интересно? Мне интересно? Ты туда даже не заглядывал!

Он очень быстро понял, что Вовочкино «интересно» к тому, что Вовочке на самом деле интересно, никакого отношения не имеет. Это было газетное «интересно», и Слатин со временем научился сам его произносить. Был тут соблазн приобщенности к той самой сфере, где точно знают, какой философ сегодня «интересно», а какой переместился в опасную зону «неинтересно». В сфере этой часто многое менялось, и люди, не работавшие в газете, не могли за этим поспеть. Когда Слатин был студентом, ему нравились научные поправки к старым аполитичным словам «правда» и «справедливость». Нравились не только научной обоснованностью, но и научным романтизмом. Научный романтизм даже составлял для него главную привлекательность. Слатин собирался перестраивать старый мир, и без этих научно обоснованных, заряженных политической энергией слов в такой работе нельзя было обойтись. Поступив на работу в газету, он был счастлив тем, что попал к самым главным «держателям правды». Но Вовочка ежеминутно на его глазах лишал прекрасные слова «правда» и «справедливость» их научного романтизма. За те 39-40-й годы, которые Слатин работал вместе с Вовочкой, множество газетных тем переместилось из сферы «интересно» в сферу «неинтересно». К обширной сфере «неинтересно» прибавилась еще более обширная «не в компетенции областной газеты». Слатин, конечно, понимал, что не Вовочка виноват в том, что возникает душевная пустота, душевная незагруженность, но, конечно, Вовочка поручал ему, способному решать алгебраические задачи, работу на уровне четырех арифметических действий. Правда, и тут Слатин все поворачивал так, что обвинял самого себя. Дело было в недостаточной интенсивности его чувств, в несовершенстве его собственного воспринимающего аппарата. Решались такие задачи! Он, конечно, восхищался перелетами через Северный полюс, строительством огромных машиностроительных заводов, но не был способен жить этим восхищением каждый день и каждый час. В самом восхищении, в его оттенках, в сопоставлении с новым восхищением находить глубины, необходимые для жизни духа. На собраниях, куда он приходил, настроившись аплодировать и восхищаться, жить единым порывом со всеми, он страдал от косноязычия или глупости докладчиков, считая, что это они, читающие по бумажке, мешали залу соединиться в едином душевном порыве. Хотя большинство, несомненно, хотело соединиться и соединялось.

Конечно, можно было так, как Стульев, не поднимать головы от стола, но Слатин так не хотел и не мог. Иногда ему вдруг приходило в голову, что Стульев, поворачивающий свои способности в любую сторону, даже хуже Вовочки. Из всех принципов у него остался только один: бессмысленно чему-либо сопротивляться. И Слатин приходил все к тому же: надо работать, надо выписываться потому, что даже ясная, грамотная фраза сопротивлялась тому, что в газете происходило каждый день, – переводу «интересных» тем в «неинтересные». В конце концов, были в редакции люди, которые лучше его знали, что нужно делать, которые по должности своей должны были лучше разбираться во всех важных политических вопросах. И первым таким человеком был над ним Вовочка Фисунов. Над Вовочкой стояли Владислав, замредактора, редактор. Они не советовались со Слатиным, а давали ему задание, направляли на завод или в село. Он приезжал, шел в партком, завком, разговаривал с людьми, писал. Очерки его хвалили, люди, о которых писал Слатин, были прекрасными работниками, ударниками, стахановцами. Но чем-то эти очерки самому Слатину не нравились. Была в них какая-то неправда. Он даже сам не мог понять какая.

Хуже было, когда Слатин привозил совсем не тот материал, за которым его посылали. Самое тяжелое столкновение с Вовочкой и редактором было у него, когда он вернулся из поездки в моторно-рыболовецкую станцию. Это была первая в стране МРС, и Слатина посылали за юбилейной статьей. Добираться в станцию Екатеринбургскую, где была расположена МРС, нужно было двумя речными трамваями. Слатин приехал туда под вечер, а разговаривал с директором МРС Ковалевым ночью, потому что вечером он разговаривать со Слатиным отказался: у него был гость – врач из соседнего городка, они вдвоем играли в карты. Причина, по которой директор МРС отказывался разговаривать с корреспондентом областной газеты, изумила Слатина. Он бы обиделся, но деться ему было некуда, речные трамваи уже не ходили. К тому же, пока он разыскивал домик директора, было еще светло, а теперь стемнело, и он запутался бы на станичных улицах, перерезанных ериками. Дома здесь ставились на сваях или на высоких фундаментах. Весной улицы и фундаменты уходили под воду, следы привычных наводнений были видны на всей станице. Директор МРС был первым человеком, на котором Слатин увидел флотские командирские ботинки, а не резиновые сапоги. Слатин сказал ему, что приехал не от себя самого и потому не уедет, пока не поговорит. Ковалев вынес ему во вторую, не обставленную комнату три толстых бухгалтерских книги:

– Изучишь, тогда поговорим.

Слатин остался один, а Ковалев и его гость продолжали играть в карты. В комнате, где сидел Слатин, был только длинный деревянный стол и длинные деревянные скамейки. Бухгалтерские книги оказались чем-то вроде корабельного журнала. Изодня в день велись записи о состоянии обширной акватории. Направление ветра, уровень воды, уровень паводковых вод, мощность льдов, движение льдов, штормы, ливни, дожди, град. Читать это было интересно: река жила, вздувалась, мелела, сковывалась льдом, увеличивалась и падала скорость течения, менялась температура воды, насыщенность взвешенными частицами, илом, который она несла. В книге назывались суда, которые выходили в реку и в море на лов рыбы: «Плотва», «Дельфин», «Тюлень», «Малек», «Пассат», учитывался улов. Однако разобраться во всем этом в короткое время было нельзя. Ковалев и сам это понимал. Часа через два он позвал Слатина ужинать, забрал книги и больше о них не заговаривал. Ужинали они не у Ковалева, он жил холостяком, а у соседки, председателя рыбколхоза.

– Все говорят, моя любовница, – сказал Слатину Ковалев. – Правду говорят.

Ужин был с водкой. За столом пели песни, на Слатина не обращали внимания. Потом провожали друга Ковалева к затону, где на якорях стояли «Плотва», «Дельфин», «Тюлень», «Малек». Доктора на лодке перевезли на один из кораблей, а Ковалев сказал Слатину:

– Может, и ты уедешь? «Дельфин» тебя вместе с доктором довезет, а там на поезд – и домой. Утром у себя будешь.

Но Слатин остался, и «Дельфин», застучав мотором, выдвинулся из правильного ряда судов и ушел в темноту.

Они вернулись к Ковалеву, и Ковалев опять не позвал Слатина к себе в комнату, где были и стулья, и письменный стол, и кровать, а остался с ним в первой, необжитой. Удивительная это была ночь. Слатин слушал Ковалева, и ему становилось жутковато оттого, что он сидел с этим пожилым человеком в одной комнате. Ковалев спросил, помнит ли Слатин «рыбное дело», по которому было осуждено несколько больших и малых областных начальников?

– Они ко мне за рыбой приезжали, – сказал он. – У нас красная рыба, черная икра.

Это требовало разъяснений. Ковалев молча смотрел на Слатина, ждал, что тот скажет.

– И вы давали им рыбу?

– Начальство!

– Вас судили?

– Я ведь как делал, – сказал Ковалев. – Приезжают ко мне будто с инспекцией. Но я-то вижу, что им надо. Даю им катер, вызываю бухгалтера, иду с ним по улице и говорю: «Съездишь с ними на тоню, пусть увезут по рыбине». Сам никогда не ездил, с бухгалтером на людях не разговаривал. На следствии он сказал, что действовал по моим указаниям. Следователь молодой, вроде тебя, упрасивал меня сознаться: «Стыдно! Бухгалтер же на вас показывает!» – Ковалев засмеялся. – Ну прямо просил. А я бухгалтеру на очной ставке сказал: «Не ладили мы с тобой на работе, ты и льешь на меня». И с начальством этим областным очную ставку мне делали. Они вспомнили о своих партийных билетах, каются начали. Один молодой, вроде тебя, на очной ставке у следователя стал мне выговаривать: «Дмитрий Николаевич, надо признать свою вину перед партией». Мол, он уже все понял, а я еще не осознал. Я ему и сказал: «Ах ты, хапуга! Я революцию делал, а ты ко мне за красной рыбой ездил, водку пил под черную икру! Рыбаков не стеснялся! А теперь политграмоте учишь, призываешь разоружиться перед партией! Хапуга ты и есть хапуга!»

Ковалев, не мигая, смотрел на Слатина.

– Вот ты хочешь спросить, почему я не боюсь тебе это рассказывать? А чего мне тебя бояться? Свидетелей нет. Вообще почему я с тобой говорю? Не очень-то я на

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru твою помощь рассчитываю, а так, вдруг... Сам я уже столько раз писал в Москву, говорил где только можно. Я зачем давал тебе книги? Сколько колхозов обслуживает МРС? Семь. Население в этих колхозах шесть тысяч человек. А мне нужно пятьсот. Ну хорошо – тысяче человек я могу работу дать. А остальные? Даже пятьсот человек мне много. Сети у меня теперь новые, суда. Раньше на дубах в море выходили, десять дней до места добирались. В шторм сети теряли. Теперь мы можем взять всю рыбу, лишь бы она пришла. А здесь живут потомственные рыбаки. Ты на катере к нам ехал, видел: чем ниже по реке, тем хаты в хуторах лучше. А лес и все строительные материалы привозные. Откуда богатство? Рыба! Вот ты и посчитай: из пяти-шести тысяч на работе числятся семьсот человек, еще двести-триста сторожами в магазинах, на почте, матросами на причалах – лишь бы при месте. А живут рыбой. Браконьерствуют. Не хотят уходить из родных мест, а полеводческой работы здесь нет – море земли заливаает, очень они низкие. Поиграет низовка дня три, вода и приходит. К тому же рыба – деньги. Сколько в городе на базаре пара рыбцов стоит? Вот и не боятся ничего. Да и нечего особенно бояться. Рыбнадзор слабый, катер маломощный, браконьеры от него на веслах по мелководу уходят. Мы собрали активистов в колхозах и решили своей властью с браконьерами бороться. Не на тоне их ловить, а в городе. Два раза на городской пристани и на базаре рыбу отнимали – всех же в лицо знаем. А на третий милиция нас на базар не пустила. На базаре спекулянт у милиции под защитой. На базар прошел – ничего не бойся. Нас же еще в партизанщине обвинили. Говорят, ловите на месте преступления. А как его на месте преступления поймаешь? Вот мы мобилизуем иногда весь актив: коммунистов, комсомольцев, выезжаем в заповедники, а браконьеры знают, куда мы едем... Недавно я одного знакомого подстрелил, меринком сделал, свадьбу ему расстроил. Он увидел, что я на моторке еду, и в воду пошел сети выбирать. Я кричу, а он и не торопится! Правильно рассчитал, пока подъеду, он сети свернет, никаких доказательств мне не оставит. У меня мелкокалиберная винтовка была, я на него винтовкой, а он не верит, что выстрелю, дело свое делает... Теперь в суд на меня подал. Ну да прокурор член райкома и я член райкома.

– Вы его попугать хотели? – спросил Слатин. – Случайно попали?

– Такого напугаешь! – сказал Ковалев. – Но то, что я тебе рассказал, только часть дела. Вторая часть – разница между государственными закупочными ценами и рыночными. Разве удержишь людей от воровства? Мы с активом однажды решили посмотреть, что там делается в сараях хуторян. Обыск произвести. Я и говорю секретарю парторганизации: «Давай с тебя начнем». Пришли к нему, а у него на чердаке тридцать пар рыбцов. И получается, что город рыбой снабжают спекулянты и браконьеры, а мы бы сами могли базар рыбой завалить. Да нам не разрешают...

Так и шла эта ночь. Юбилейная статья, в которой МРС надо было сравнить с МТС, погибла. Слатин не задал Ковалеву ни одного запланированного вопроса. Потом Ковалев сказал:

– Кровать у меня одна, стелить тебе нечего, устраивайся как можешь, а я пойду посплю.

Улечь на узкой лавке было невозможно. Слатин навалился грудью на стол. Дрему его прервали какие-то люди в стеганках. К ним из своей комнаты вышел в нижнем белье, в шинели, наброшенной на плечи, Ковалев. Он заглянул в плетеную корзину, которую принесли люди в стеганках. При свете керосиновой лампы Слатин увидел черное лоснящееся соминое тело. Сомы спустили в подпол, Ковалев вернулся к себе, и Слатин еще пытался подремать, и сон у него был какой-то твердый, деревянный и холодный, как стол, который давил ему грудь. Утром в комнату с этим столом и деревянными лавками стали приходить рослые обветренные мужики в стеганках. Они садились за стол и каждый ставил поллитровку. Это были председатели рыбколхозов. Закуску они тоже доставали из карманов – вяленую рыбу и хлеб. Ковалев вышел к ним не сразу, ему тоже налили водки в стакан, он сказал, что плохо себя чувствует, но водку выпил. Слатин догадался – это была утренняя планерка. Председатели ушли, а Ковалев еще некоторое время приводил себя в порядок и вышел на улицу в черных флотских брюках, в черной морской шинели с якорями на медных пуговицах, в морской высокой фуражке с крабом. Он горбился и, несмотря на то что погода была теплой, надел шелковое белое кашне. Слатин шел за ним. Ночной разговор вновь не завязывался, и Слатин, вспомнив ночного сома, спросил Ковалева, не надоедает ли ему рыбное меню.

– Я знаю четыреста способов приготовления рыбы, – ответил Ковалев.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Дом Ковалева стоял во дворе двухэтажной конторы МРС. Так что получалось из двери в дверь. Ковалев медленно поднимался по деревянной лестнице, отвечая на приветствия мужчин, поджидавших его. Эти крепкие люди стояли в вольных позах, курили и, заметив Ковалева, подтягивались вовсе не в такой степени, как ожидал Слатин. Только один парень лет двадцати пяти, сильно покраснев, шагнул вперед, дотронулся пальцем до рукава директорской шинели:

– У вас рукав в мелу, – и сделал такое движение, будто собирался почистить.

Ковалев отстранился, несколько мгновений смотрел на парня.

– Так ты и не вспомнил, как это получилось, что Федорчук получал деньги по твоей доверенности?

В глазах у парня появилась какая-то пьяная муть, он стал что-то объяснять Ковалеву, но тот не слушал:

– Ну подумай, подумай еще, – сказал он, проходя. В директорский кабинет вместе с Ковалевым и Слатиным вошло сразу несколько человек, и один из них спросил:

– Будем дело передавать в суд?

И Ковалев ответил словами, которые тогда были очень необычны и сразу запомнились Слатину:

– Суд и милицию сюда пускать нельзя. Нам надо такого человека, который сам на этом деле помучился. А в суде да в милиции могут кровь без толку пустить.

Потом Ковалеву передали телефонограмму и два билета в кино. Телефонограмма вызывала его на сессию райисполкома, билеты принесли из клуба – там сегодня лекция и кино. Слатин слушал и запоминал. Запомнил он и то, что Ковалев в своем директорском кабинете не раздевался, даже фуражку не снял, только пальто расстегнул, словно не собирался долго здесь задерживаться. И то, что за директорским столом кто-то сидел и не торопился уступать место Ковалеву – знал, что он не сядет. Запомнил Слатин и некрашенные полы, и пыльные знамена в углу. «Переходящие», – догадался он. Слатин делал свою работу. Он понимал, что у него слишком мало времени, чтобы разобраться во всем, но боялся пропустить какую-то деталь, какой-то разговор, который лучше объяснил бы ему Ковалева.

– Ты же учишься на плановом отделении судомеханического техникума, ты же сама просилась в контору, – говорил он девушке, которая просила его перевести ее на работу в клуб.

– Я же комсорг, – говорила она, – мне нужна такая работа, где к людям поближе. Хоть бы еще годик без бумаг.

– Нет, тут что-то не так, я тебе ничего не обещаю. Ты подумай сначала. И я тоже подумую. И потом я еще не знаю, ближе ли к людям в клубе...

А на свою секретаршу, женщину незаметную и медлительную, он накричал:

– Я вас отстраню от работы. Вы не ребенок, я вам десять раз уже говорил: содержание бумаг, которые вам приходится читать, не должно быть известно никому, кроме меня.

– Дмитрий Николаевич...

– Молчите, – пристукнул он кулаком по столу, – молчите и слушайте!

Обедать Слатина он опять повел в тот самый дом, где они вчера ужинали.

– После «рыбного дела», – сказал он, – меня во всем обвиняли. Бытовое разложение приписывали. Любовницу, мол, себе завел. Можно было бы нам с ней зарегистрироваться. А зачем? Я пожилой, у нее взрослые дети. Так и живем.

И опять был обед с водкой.

Ковалева находили и здесь. Видно, его и не ждали в конторе. Бухгалтер принес на

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
подпись бумаги, приходил ответственный за ночное дежурство в заповеднике, пришел капитан катера, выделенного колхозникам для поездки в город.

- Мы готовы, – сказал капитан. – С вашего разрешения будем отходить.
- Будешь идти мимо Клавдии, – сказал ему Ковалев, – предложи, может, она поедет.
- Так она знает, Дмитрий Николаевич.
- Ничего, ты зайди еще раз, скажи, от моего имени. Я сегодня погорячился, отругал ее, а за дело ли, сам точно не знаю.

И Слатин догадался, что Клавдия – это секретарша Ковалева.

А Слатину Ковалев сказал:

- Все-таки настоящий разговор у нас получится только после того, как ты по-настоящему ознакомишься с нашими отчетами. Возьми обзорные отчеты, начиная с года тридцать пятого. Почитай, а я отдохну.

...Иногда Слатину приходило в голову, что Вовочка очень смелый человек. Не печатал он не только Гершковича, но и руководителя областного отделения писательского союза, человека со звучной двойной фамилией Волович-Соколенко. У Воловича была та мужественная форма черепа, при которой и облысевшая голова кажется обритой. Большой, с подрагивающей челюстью, часто ложащийся в больницу, он поражал Слатина своими манерами. Сидя на стуле, покуривая, он посмеивался и пошучивал, а выйдя на трибуну, сразу же начинал с самых верхних нот ненависти, разоблачения и осуждения. Ни одного слова в обычной, нормальной интонации. Как будто полутонов он и не знает. Осуждал он и московских уже разоблаченных писателей, и своих местных.

Лысый мужественный череп наклонен вперед, правая рука, болезненно подрагивая, рубит воздух, но не опускается на кафедру – движение закруглено, рука останавливается в нескольких миллиметрах от кафедры. Когда-то, может быть, и стучал, но с тех пор научился выступать, отшлифовал жесты.

Не печатал Вовочка и самого способного и медлительного местного писателя Устименко. Этот и на кафедре и не на кафедре говорил голосом монотонным, наставническим, и голубые глаза его так при этом выцветали, что к концу третьей фразы становились совсем прозрачными и бесцветными. В том, что он говорил, было много прописей, и он сам чувствовал, что периоды его длинны, рассудочны и не могут заечь собеседника. И он раздражался: да, прописи, да, скучные! Но их надо повторять. Надо! Он не был пустым человеком. Напротив, это был человек определенный, устойчивый. Представитель эпохи, один из лучших ее представителей. Очень прямолинейный и не гибкий. И то, что он говорил, говорила его эпоха.

Не то чтобы Вовочка совсем не печатал то, что эти писатели могли принести в газету. Но он всячески тянул и сопротивлялся. Как будто чувствовал в этих людях угасающую политическую энергию. Но писатели вообще не интересовали газету. Даже те, которым Вовочка иногда звонил домой. Рассказ или глава из нового романа планировались в воскресный номер, но потом и эта норма была сокращена – в самом писательстве было для газеты что-то несерьезное. Редактор говорил на планерках, что писателей нужно учить работать в газете.

Прочитав материал об МРС, Вовочка два дня ходил мимо Слатина с поджатыми губами. Материал лежал у редактора. Слатин видел, как Вовочка туда его отнес.

На третий день редактор сам заглянул в отдел:

- Владимир Акимович, зайди.

Вовочка прошел мимо Слатина. Вернулся он преображенным. Не походка – танцевальные па, означающие любезность и благорасположение.

- Иди, – игриво сказал он Слатину, – зовет.

В кабинете Слатину пришлось долго ждать. Редактор правил полосы и не поднял головы, когда Слатин вошел. Потом он диктовал поправки к передовой статье по

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru телефону. Глаза его останавливались на Слатине, но видел он не Слатина, а того, с кем говорил по телефону. Руки редактора были перебинтованы широким бинтом, пальцы, выступавшие из-под бинта, шелушились. Редактор, словно надорвался, стал часто болеть, в редакцию приезжал с перевязанными руками – у него обнаружилось какое-то нервное заболевание кожи. Однажды Слатин увидел его сидящим на стуле вахтера.

– Отдыхаете? – поздоровался Слатин и вдруг поразился: это же он от автомобиля перешел через тротуар!

Теперь на планерках Владислав не так быстро реагировал, когда Петр Яковлевич его переспрашивал. А однажды и совсем не ответил. И ничего не произошло, все разошлись, оставив редактора в кабинете. Потом Владислав опять четко отвечал на вопросы Петра Яковлевича, бегал к нему в кабинет с развевающейся полосой в руках, но уже нельзя было забыть, как однажды самый осведомленный в редакции человек обошелся с редактором.

В телефонном разговоре возник перерыв, редактор плечом прижал трубку к уху, придвинул забинтованными руками полосы, в глазах его было ожидание, но отнеслось оно опять-таки не к Слатину, а к тому, с кем редактор говорил по телефону. Прижимать трубку к уху плечом было неудобно, и в этом неудобном положении редактор, наконец, заметил Слатина. В глазах его появилось какое-то выражение.

– Возьми! – показал он глазами на стопку машинописных материалов. Стопка эта всегда лежала на одном и том же месте, по левую от редактора руку. И каждый журналист, входивший сюда, тотчас же на нее смотрел. И Слатин давно уже увидел свой материал об МРС. Он лежал сверху, и в его газетном паспорте не было ни Вовочкиной подписи, ни подписи Владислава, ни подписи редактора. Слатин взял свои странички и вопросительно глянул на редактора. Но тот уже не видел Слатина – слушал, что ему говорят по телефону.

– Поговорили? – встретил Вовочка Слатина любезной улыбкой. – Что же он тебе посоветовал?

– Посоветовал послать в другое место, – сказал Слатин.

– В другое? – И Владимир Акимович неподражаемым – в одно и то же время светским и балетным – жестом развел свободные, расслабленные кисти от плечей в стороны. Руки его раскрыли нечто очень приятное, какой-то забавный вопрос, ему соответствовала любезная, чуть-чуть наивная улыбка, голова склонилась набок. – Просто надо умерить свой темперамент и обрести чувство меры.

И пока он произносил эти несколько слов, лицо его стремительно менялось. Руки закрылись, улыбка соскользнула, «чувство» – назидательно, «меры» – угрожающе. Но поставив точку и выдержав небольшую паузу, Владимир Акимович опять кокетливо улыбнулся, как будто раскланиваясь и приглашая Слатина еще раз полюбоваться на то, что он сказал и сделал. Как будто приглашая Слатина еще раз прислушаться к этим словам: «чувство» и «меры».

Никогда еще он не разговаривал со Слатиным так угрожающе.

– В другом месте, – сказал Вовочка, – такие же упрямые люди сидят.

Стульев поднимал голову от работы только для того, чтобы выпустить табачный дым, – он, как всегда, курил, не вынимая папиросы изо рта. Он где-то достал толстое настольное стекло – ни у Слатина, ни даже у Вовочки такого не было, – под стеклом у него скапливались и время от времени менялись фотографии и рисунки. Рисовал он сам чернильным пером, а фотографии ему дарили. И еще одно новшество ввел Родион Алексеевич. Как-то он принес в кабинет театральную афишу и приколот ее кнопками к стене напротив своего стола. Вовочка долго косился на эту афишу, но потом как будто смирился. Афишу сменил киноплакат. Афиши и киноплакаты Стульев выбирал из тех, которые в редакцию приносили театральные администраторы и работники кинопроката. И теперь он иногда, отрываясь от работы, откидывался на спинку стула, засовывал руки в брючные карманы и несколько минут смотрел на афишу. Потом что-то рисовал той же самой ученической ручкой, которой правил газетные материалы. Рисунки выбрасывал в корзину. И только некоторые укладывал под стекло.

Все эти годы Родион Алексеевич пытался освободиться от Вовочкиной власти. Когда Вовочка ушел в отпуск, Стульев и Слатин дали в два раза больше материалов, чем при Вовочке. Папка готовых материалов пухла, и редактору это нравилось. «Мы должны делать полтора номера в сутки» – был один из главных его производственных принципов. Это означало, что треть материалов, запланированных, набранных, с которыми у журналистов связывались свои надежды, каждый день летела в корзину. «Невидимые миру слезы». Зато у редактора был выбор. Когда Вовочка вернулся из отпуска, его ждал страшный удар – редактор выделил Стульева в отдельный «сектор». Родион Алексеевич перебрался в каморку, в которой до этого фотокорреспонденты сушили под вентилятором свои фотографии.

Вовочка страшно страдал и очень настойчиво добивался возвращения Стульева в отдел.

Родиона Алексеевича переводили в секретариат, возвращали в каморку, Вовочка и Слатин несколько месяцев работали вдвоем. Потом Стульева опять направили в отдел, он сел за свой стол, но теперь это был человек, который недавно работал самостоятельно и которого в любой момент могут направить работать самостоятельно. Вовочка мог сколько угодно разговаривать со Слатиным, Стульев ничего не слышал.

Однако Вовочка говорил и для Родиона Алексеевича.

* * *

В ночь с субботы на воскресенье 22 июня 1941 года к Слатину позвонил Курочкин. С вечера у Слатиных долго задержался Сурен Григорьян, в комнате было жарко, спали тяжело, и звонок прозвучал в этом тяжелом сне. К дверям вышла мать, она вернулась и сказала:

– Это Курочкин. Никуда не ходи, скажи, что не можешь, что у тебя аппендицит.

Слатин, не зажигая света, прошел по темному коридору, открыл дверь и увидел Курочкина. На лестничной площадке горела лампочка. Курочкин стоял, прислонившись спиной к перилам. На нем была белая рубашка, отглаженный костюм. И все это было тревожно и необычно, потому что он был так тщательно одет, а было два часа ночи, и свет на лестничной площадке был ночным, безлюдным, сторожевым.

– Миша, – сказал Курочкин, – мне нужна твоя помощь. Оденься и скажи своим, что у меня не открывается дверь и я прошу тебя помочь.

Почему-то не задавая вопросов, Слатин пошел одеваться. Он затягивал шнурки на туфлях, наклоняться ему было тяжело, он чувствовал свою взрослость, свою громоздкость, и эту душную комнатную темноту со вздохами матери, с шорохами, с привычным расположением световых пятен от уличных электрических фонарей и понимал, что ввязывается в историю, в которую ему ввязываться не следует.

На улице оказалось не так темно, как это представлялось из комнаты. Асфальт был сероватым, пустые тротуары выглядели широкими, и полосы трамвайных рельсов блестели.

– Миша, – сказал Курочкин, – тебе нужна эмоциональная встряска.

Они уже прошли квартала два, а Курочкин не торопился объяснять Слатину, куда он его ведет.

– Так в чем же все-таки дело? – спросил Слатин.

Дело, как он и предполагал, было глупейшим. Курочкин с его необычным женолюбием уже много раз попадал в такие истории. Его заставляли с женщинами мужа и женихи этих женщин, он вылезал в окна, спускался по пожарным лестницам или вступал в объяснения с разъяренными и оскорбленными мужчинами. И на этот раз он засиделся у девчонки, родители которой уехали к родственникам на субботу и воскресенье. Жених этой девчонки тоже был в командировке, но он вернулся ночным поездом и сразу же направился к невесте. Девчонка перепугалась – жених был человеком очень сильным и неуравновешенным. Вначале он просто стучал, потом стал грохотать и, наконец, ломиться. Не замечать этого грохота уже было нельзя, и Курочкин сказал девчонке, чтобы она попыталась спровадить парня. Девчонка

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru попробовала. «Ночью я тебя не пушу, – говорила она. – Ты пьяный. Я не хочу тебя видеть. Ты хулиган». Но все это только разъярило парня. Он притащил со двора какую-то железку и попытался взломать дверь. Девчонка закричала: «Караул!» Она кричала на все многоквартирное парадное, но ни одна дверь не приоткрылась. Тогда Курочкин посоветовал ей:

– Обмани его. Возьми на пушку.

Девчонка сказала:

– Мне говорили, как ты ведешь себя в командировках! Я тебя не пушу!

И парень, только что пытавшийся взломать дверь, уже заподозривший, что девчонка не одна, вдруг затих. Стал требовать:

– Кто говорил? Я его сейчас приведу!

Девчонка назвала какое-то имя, и жених убежал. Курочкин предложил:

– Пойдем ко мне.

– Он же вернется и сломает дверь.

– Ну и сломает, – сказал Курочкин. – Скажешь: испугалась, убежала. Квартира пустая, он ничего не докажет.

Девчонка стала собираться, а Курочкин сбежал по лестнице во двор. И тут столкнулся с женихом, который вел какого-то парня. Они оглядели Курочкина, но он выдержал их взгляды и ушел. Так что девочка осталась одна с этими ребятами. И судя по всему, там должно произойти что-то недоброе.

– Ты понимаешь, – сказал Курочкин Слатину, – я боюсь, что он ее убьет.

– Ну уж убьет, – сказал Слатин. Они шли по черному проспекту, и он был абсолютно пуст. Окна в домах черны, асфальт все так же подсвечивал серым, как будто в тумане или в росе. Все было нелепым в этой истории. И энергия Курочкина, переходившего от одной девчонки к другой, которого не то что остановить – сдержать ничто не могло. И решительность жениха, который, несмотря на свою хулиганскую напористость, оказался наивнее и Курочкина и даже собственной невесты. Но самое досадное – сама девчонка. Поджарый Курочкин в своем новом костюме и модных лаковых туфлях пришел к ней на несколько часов и выкрутился, благополучно ушел; парень-хулиган, которого она боится и все-таки держит возле себя женихом, запугивает ее. Вот она и расплывается сейчас за все. И некому ее защитить по-настоящему.

Курочкин сказал:

– А что, в такую минуту может и убить. Я бы за себя, например, поручиться не смог. Ревность, оскорбленная ревность – тут что хочешь может произойти.

– Откуда у тебя ревность? – сказал Слатин, – Ревновать может тот, у кого одна на всю жизнь. Ты же их все время меняешь.

– Нет, Миша, ты все неправильно понимаешь.

– Ты что же, влюбляешься каждый раз? – грубо спросил Слатин.

– Влюбляюсь, – сказал Курочкин. – Ты этого не понимаешь. Просто у тебя ни разу не было такой, чтобы ты ходил за ней по всему городу, под окнами стоял бы. Настоящей девчонки у тебя не было.

– Когда я был мальчишкой, – сказал Слатин, – я ухаживал за девчонками.

– Нет, ты не понимаешь. Тогда было одно, а сейчас другое.

– Ну о чем бы я сейчас говорил с молодой девчонкой? – сказал Слатин, и Курочкин ему не ответил.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
И Слатин подумал, что оба они друг друга немного презирают. Слатин Курочкина за то, что тот не любит работать, плохо пишет, за то, что много лет сохраняет себя на каком-то мальчишеском уровне, а Курочкин Слатина за то, что он спит вот такими ночами и ничего не понимает в жизни. За то, что он, Курочкин, сильнее Слатина. В такие минуты и самому Слатину казалось, что Курочкин сильнее, что работа – это просто укрытие, в которое Слатин прячется от настоящей жизни. А настоящая жизнь там, куда ведет его сейчас Курочкин.

Они пришли к центру. Прошли мимо окружного армейского штаба, мимо здания горкома и горисполкома и вошли в тень боковой улицы. Курочкин держался ближе к дороге – отсюда ему что-то было виднее.

– Вот это окно, – показал он Слатину.

Окно было таким же, как и все окна большого четырехэтажного дома, но теперь темнота его завораживала.

Свет в парадном был такой же, как в парадном Слатина: безлюдный, тревожный, сторожевой. На втором этаже Курочкин постучал вначале осторожно, а потом все громче и громче.

– Люди сбегутся, – сказал Слатин.

– Тот парень целый час грохотал, – сказал Курочкин презрительно, – никто не выглянул.

За дверью было тихо.

– Увел с собой или убил, – сказал Курочкин. – Что делать?

– А я думаю, – сказал Слатин, – все проще. Надоели вы ей. И ты и жених. Сами выпутываетесь, а ей расхлебывать. Она и не отвечает.

– Ты думаешь? – сказал Курочкин и усмехнулся.

– Ну позвони в милицию. Если опасаться всерьез, надо звать милицию. Мы же не можем взломать дверь. Нас как грабителей заберут.

Милиция, конечно, отпадала. Милиция – это скандал, который невозможно скрыть. Они постучали еще. Курочкин стучал кулаком, стучал условным стуком – за дверью молчали.

Они вышли на улицу, покричали под окном. За черным стеклом молчали, и они двинулись домой. Решили ждать утра. Они шли по тому же длинному проспекту, и Курочкин говорил:

– Что я могу поделывать, Миша, любят меня женщины. Любят! Нет такой, которая могла бы передо мной устоять. Я не хвастаюсь – говорю то, что есть. В лагере было два разговора: кто что на воле ел и у кого какая баба была. Ни разу я не был среди тех, кто говорил о жратве, – всегда там, где говорили о женщинах. Я вот смотрю, ты пишешь вечерами, ночами сидишь, а я не могу, хотя мне есть что сказать. Не могу, когда рядом столько женщин ходит! Честно говоря, мне не очень нравится то, что ты пишешь. Ты не обижайся. В редакции есть люди, которые говорят, что у тебя получается, что ты стилист, а я этого не нахожу. Если бы я сидел за столом столько, сколько ты... Но у меня нет времени, Миша, не хватает. – Курочкин засмеялся. – Сколько девок – один я! Но я тебе дам дружеский совет – ты сам видишь, меня что-то к тебе привязывает, – не прислушивайся ты к тем, кто тебя хвалит. Я присматриваюсь к тебе – ничего особенного, обыкновенный ты парень. Неглупый. Но талант – это не то. Ты и сам понимаешь. Ты вот ругаешь городских писателей, а по-моему, среди них есть ничего. Люди книги написали. А тебя в натурализм тянет. Это в твоём очерке о полярниках я прочел, как трудно в пургу и мороз умываться и совершать туалет, – не помню, как это у тебя выражено. Я бы это ни за что не пропустил. Не знаю, как редактор просмотрел. Но это же голый натурализм! Что касается славы, то ты сам знаешь, как слава создается. Особенно такая, провинциальная слава! Кто-то сказал, кто-то поддакнул. Да и кто говорит – люди! А ты знаешь, какие у нас в редакции люди.

С тех пор как Курочкин сделался заведующим отдела, он перестал играть со

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Слатиным в пинг-понг, а стены своего кабинета, с легкой руки Стульева, оклеил афишами и киноплакатами.

– Переходи ко мне в отдел, – сказал Курочкин. – Ты не представляешь, каким авторитетом у редактора я сейчас пользуюсь.

Дома Слатин сказал матери, вышедшей его встречать:

– Замок у него сломался, никак не могли открыть.

Он лег, но не сразу заснул, а рано утром пришел Сурен, и они делали полочку для вешалки, а потом пошли по городу.

Выступления Молотова по радио они не слышали, и только на главной улице им сказали о войне. У газетных киосков собирались люди, но утренние газеты уже прошли, в них ничего не было – Слатин это прекрасно знал. Над Вовочкиным столом на специальные крючки накалывались полосы, которые курьер приносил утром и в обед для вычитки. На первой полосе сегодня шла передовая «Командир запаса». Тут же были информации о закрытии итальянских консульств в США и о том, что Дамаск занят английскими войсками. Основные сообщения о войне регулярно печатались на четвертой странице под обширным заголовком «Война в Европе, Африке и Азии». В заголовке этом иногда выпадала Африка или Азия, но в общем он не менялся уже много месяцев, сделался привычным, как сделался привычным тон сообщений, печатавшихся под этим заголовком. Первый абзац – «сообщается в сводке германского командования». Второй – «согласно коммюнике английского командования». В субботу, например, на англо-германском фронте была некоторая активность авиации. Немцы, по сообщению германского командования, бомбили портовые сооружения Грейт-Ярмута, а также аэродромы в Южной Англии, а английские бомбардировщики, «согласно коммюнике английского командования», совершили налет на доки в Гавре и промышленные объекты в Кельне и Дюссельдорфе. В сообщении на воскресенье все повторялось. Только, «по сообщению германского командования», на англо-германском фронте была «значительная активность авиации», а по сообщению агентства Рейтер, английская авиация совершила непродолжительный, но ожесточенный налет на французское побережье, оккупированное Германией. Еще было сообщение о том, что продвижение английских частей вдоль дороги из Сайды на Бейрут задерживается вследствие сильного сопротивления французских войск. Оставив Сурена, Слатин побежал в редакцию. Вовочка уже был в отделе.

– Что будем делать? – спросил Слатин.

– Пока ждем, – сказал Вовочка. – Редактор в обкоме. Почитай газету.

У Слатина на столе лежал свежий номер газеты. С первой полосы улыбалась Зоя Федорова. В подписи под фотографией было сказано, что вчера в наш город прибыла лауреат Государственной премии артистка Зоя Федорова, снимавшаяся в фильме «Подруги». Слатин отложил газету в сторону, потом спрятал ее в ящик стола. Он подумал, что этот номер нужно сохранить – исторический номер. Но он еще не знал, не мог знать, не мог даже предчувствовать, какое значение в жизни страны, в жизни близких ему людей и в его собственной жизни будет иметь этот день...

ГЛАВА ПЯТАЯ

В то самое время, когда Валентина собиралась домой, Женя ехал на завод.

Ехать на завод надо было минут пятьдесят через весь старый и новый город – Женя несколько раз хронометрировал. Вначале трамвай шел бульжной Гоголевской, и хоть тут он начал ходить не так давно, лет через десять после революции, улица эта казалась искони трамвайной. Потом сворачивал в узкие переулки бывшей окраины, на поворотах наезжал – места для рельсового поворота не хватало – на заборы, царапался о ветки акаций, объезжал пустырь, который уже несколько лет превращали – никак не могли превратить в стадион, подбирал редких пассажиров на остановках, названий которых никто не мог запомнить, и вдруг, поднырнув низким узким туннелем под железнодорожную насыпь, оказывался на асфальтовой улице типа «новый быт». Дальше шли остановки с названиями, сразу осевшими в памяти: «Универмаг», «Школа», «Стадион», «Заводская».

По этой улице мимо трех-, четырехэтажных домов шел троллейбус, и улица казалась искони троллейбусной. На трамвай здесь и садиться было как-то неприятно – таким он тут выглядел старым, жестким, жарким и дребезжащим.

Пятьдесят трамвайных минут Жене всегда казались потерянными. Троллейбусом до завода – Женя хронометрировал – можно добраться быстрее, минут за тридцать. Но трамвайная остановка была рядом, а до троллейбусной надо было идти три квартала. Кроме того, Женя вообще не любил ездить. Лет шесть назад, еще до женитьбы, у него был принцип – никогда не ездить. В любую погоду и зимой и летом на работу и с работы он бежал «на выдержку» вдоль трамвайной линии. Получалось час двадцать – час десять – почти столько же, сколько на трамвае. И время не пропадало: ежедневная тренировка на марафонской дистанции, закалка организма – Женя очень серьезно относился к спорту.

Интересно, что никто на заводе не считал Женю чудачком. Что-то спортивно-серьезное было уже в самой его одежде: зимой – пригнанный, даже будто притертый к его фигуре лыжный костюм, летом – синее гимнастическое трико на резинках. И бежал он по-настоящему легко, не на пресловутом втором дыхании. Осенью и весной не забрызгивался до колен, летом не помирал от жары. И никому свой способ передвижения не навязывал. А если кто-нибудь восхищался его выносливостью, Женя пожимал плечами: «Тетки-молочницы за двенадцать километров на рынок к шести утра поспевают, а у каждой по два ведра на коромысле». Женя не на теток равнялся, у него была своя теория, но однажды он от кого-то так отмахнулся.

И специалист Женя был первоклассный – модельщик по литью, слесарь-инструментальщик. Его давно прочили в мастера, но он отбивался. Дураком был бы он, если бы с такими специальностями в руках перешел на зарплату мастера! Хотя для самого Жени (он над этим не очень задумывался) не это было решающим.

Но, пожалуй, дело было не только в специальностях Жени, не в его спортивных плечах. Время, что ли, было такое. Сейчас, через двадцать лет после войны, и завод разросся, и спортсменов на нем в десять раз больше, но тогда, до войны, каждый Женин сверстник в глубине души считал, что и он, как Женя, должен бегать за трамваем. Во всяком случае, в этом видел что-то новое. Передовое. Страна строилась, изменялась. Перемены, строительство были поэзией революции. Мир, темный до семнадцатого года, до всеобща, открывался заново. Он открывался и на уровне всеобщего обязательного семилетнего обучения, и на том уровне, где наука переходит в научную фантастику. Казалось, все можно построить и перестроить: и завод, и собственный организм, и вообще человеческое общество. Нужны только вера и серьезность. А веры и серьезности Жене было не занимать. Он все делал серьезно. В армии был прекрасным артиллеристом, отличным вычислителем – на стрельбах удивил инспекторов необычным умением положить в цель первый же снаряд. Ему привинтили на петлицы треугольники сержанта – это продлевало службу на несколько месяцев, уговаривали поступить в командирскую школу – он отказался. В артиллерии было много такого, что интересовало его: моторы, машины – техника вообще, математические задачи, головоломки, решать которые он любил. И соответственно этой технике, с которой не так-то просто обращаться, обращение с людьми. Почти такое же, к какому он привык на заводе. Ему даже расстегнутый воротничок прощали. И все же он не захотел остаться.

Правда, придя из армии, он не вернулся в свой цех. Из инструментального перешел в литейный. А мог бы вообще не возвращаться на завод. И резон был – далеко. Не век же ему бегать через город за трамваем. Не мальчик уже. С его способностями можно отыскать работу поближе к дому и позарботнее. Обычно мать не решалась ему советовать, а тут его три года не было, и у нее накопилось. Она робко кивала на соседского парня, старого жениного приятеля. У него редчайшая, а по тем временам уникальная специальность – наладчик рентгеновских аппаратов. Во всех больницах врачи с ним на «вы», парню двадцать четыре года, а он – Николай Алексеевич. И в армии не служил – специалист незаменимый. И заработки – как у незаменимого специалиста. Теперь он сам предлагает Жене компаньонство – не справляется один. Раньше аппараты были только в тубдиспансере, в областной поликлинике, еще в двух-трех больницах, а теперь их устанавливают всюду, и Николай боится потерять монополию. Женя несколько раз помогал ему. Рентгеновские аппараты радовали его своей сложностью, близостью, что ли, к миру научной фантастики. Женя считал, что все по-настоящему важные проблемы и сегодня и завтра будут решаться техникой. Совсем недавно, например, у города был отстало-трамвайный, бульжный вид, а теперь троллейбусы, автомобили и асфальт изменили его, хотя центр города почти не перестраивался. Но, освоившись с новыми схемами, побывав в затемненных шторами аппаратных тубдиспансера, областной больницы, Женя быстро охладел. Его тянуло на завод. Во-первых, там много знакомых. Идешь от проходной, и каждый

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru тебе говорит: «Здорово, Женя!» Во-вторых, завод не только самый большой в городе, но и один из крупнейших в стране. Свой стадион, своя водная станция, свой Дворец культуры. И наконец, рядом с заводом и при заводе институт с вечерним и заочным отделениями. Нет, Женя не учился в институте. Ему еще и так было интересно жить. Но все же ему приятно было думать, что и он когда-нибудь поступит в институт. Если захочет, конечно. С этим институтом у Жени были семейные неприятности. Когда он вернулся из армии, мать – три года собиралась – предложила:

– Мы с Ефимом подумали и решили, что ты можешь поступить в институт.

Ефим – это отец. Но отцом его в семье почти никогда не называли. Маленький, нахохлившийся, похожий на ссохшегося, постаревшего Женю, Ефим молча сидел тут же. Это означало, что он не вмешивается. Он вообще не вмешивался. Это была его старая, угрожающая, томящая всех позиция – молчать, не вмешиваться и осуждать. Сейчас он даже не смотрел на жену и сына, и материно «мы с Ефимом подумали» можно было понимать как угодно. Как женскую глупость, например. Как Ефимову снисходительность. Мало ли он терпел женских глупостей! Сейчас этот глупый разговор, затеянный глупой женщиной, закончится, и Ефим уйдет в свою комнату. Так Ефим молчал для матери. И она сбивалась, бледнела, не успев произнести ни одного слова. Для Жени Ефим молчал по-другому, даже с некоторым оттенком извинения: «Не я затеял эту канитель, ты взрослый, я тебе не указ. И вообще, подумаешь: институт – не институт!» Так у Жени с Ефимом было всегда. Когда Женя был маленьким, Ефим говорил ему: «Не маленький, думай сам!» Это была суровость, сквозь которую Женя вначале не мог пробиться, а потом и не стал пробиваться. Но только жалел мать, терявшуюся под этим уничтожительным молчанием. Но тут он ей ничем не мог помочь. Разве успокаивающе притронуться к плечу: «Ладно, ладно, мать». От этой снисходительности мать терялась еще больше – получалось, что она и вправду затеяла разговор невпопад. Но Женя ничем не мог ей помочь.

Странно все-таки, что Ефима почти никогда не называли в семье отцом. Он был на восемнадцать лет старше Жениной матери и словно сам старался всем показать, что настоящая жизнь была у него давно, еще до того, как он встретился с Жениной матерью, и что важное и значительное для него происходило в той, настоящей жизни. Что у него там могло быть важного и значительного, Женя не знал. А главное, и не старался узнать. Что там могло быть? Ни спорта, ни техники, ни науки. Досадно, конечно, что у Ефима с матерью не сложилось – на Жениной памяти Ефим не сказал матери ни одного ласкового слова, – но сама досада у Жени была непостоянной, летучей. Во-первых, Женя привык, а во-вторых, не сложилось как раз в то время, когда ни у кого не складывалось. До революции. Не то чтобы Женя так примитивно думал – это было как раз тем, над чем он вообще не думал, – просто принимал, как принимали почти все его знакомые. До революции и должно было не складываться. Всё. У всех. В историческом масштабе. Во всяком случае, вовсе не удивительно, если не сложилось.

Женя видел, что Ефиму не нравятся новые порядки. Сам Ефим редко прямо об этом высказывался. Так, колупнет ногтем кожпропитовую подошву на полуботинках местной фабрики: «Подошва! Кожпропит!» Или с отвращением нюхает пахнущую керосином и еще бог знает чем краску для полов, только что купленную в магазине: «Раньше хозяин собачью будку такой краской поганить бы не стал». Или вдруг увидит на параде командиров, несущих сабли наголо, и возмутится плохой выправкой: «Как жандармы свои селедки!» С особым вкусом он произносил: «Хамье!» Помнут ему рубашку в трамвае, наступят на ногу, жена спросит, где это он так, а он закричит на нее: «Что ты хочешь? Хамье! Ну!» – и бешено смотрит на нее, будто глупее и оскорбительнее вопроса она ему задать не могла. Но больше он осуждал молчаливо, и хотя революция ничего не могла у него отнять – до революции он у местного купца был мелким конторщиком, – молчал он так, словно она отняла все или не дала то, что обещала. Оживлялся Ефим только на уровне разговоров о международной политике. Тут он был патриотом и даже человеком общительным. В общем, Ефим для Жени был загадкой. Но такой загадкой, которую совсем не обязательно разгадывать. Нет интереса. И не спорил Женя с Ефимом никогда. Как-то без спора переспорил его. В их тесной квартире у Ефима была своя комната. То есть комната, куда без нужды никто не решался войти, хотя Женя и не помнит, чтобы Ефим кого-нибудь выпроваживал оттуда. Женя маленьким тоже опасался входить в эту комнату даже днем, когда Ефим был на работе. Жене передавалась тревога матери, всегда боявшейся, чтобы, не дай бог, на столе у Ефима кто-нибудь что-нибудь не переставил, не перепутал. А на том столе лежали железная линейка, сделанная так, чтобы, прочерчивая линии железным пером, не ставить кляксы, посеребренный

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru железный пенальчик для карандашей и две чернильницы с конусовидными крышечками. И еще на столе лежали обыкновенные конторские счеты. Вот по этим счетам, если пощелкать костяшками, а потом забыть их сдвинуть к правой стороне, и можно было заметить, что кто-то без Ефима хозяйничал у него на столе. В детстве Женя заиграется во дворе и вдруг даже вздрогнет – это ему представляются счеты Ефима, на которых костяшки разбросаны как попало. А потом у Жени в общей комнате появилась своя книжная полка с Бремом, энциклопедией, Джеком Лондоном, самоучителями, а на кухне ящик со слесарным инструментом, и как-то забыл Женя, что когда-то с трепетом подходил к столу отца и с трепетом притрагивался к конторским счетам. И сам Ефим, уходивший по вечерам отсиживаться с газетой в свою комнату, перестал Женю интересовать. Жалко даже отца Жене становилось – ну что он там делает со своей газетой? Так, дурной характер побороть не может. А дурной характер Жене казался чем-то пустым, чем-то вроде женского каприза. Дурные характеры, которые нельзя побороть, были для него чем-то оттуда, где все у всех не складывалось. Из той, дореволюционной эпохи. Себе Женя никогда бы не позволил иметь дурной характер.

Правда, слишком хороший характер, такой, как у матери, тоже мог быть оттуда, из дореволюционной эпохи. Когда мать разговаривала с отцом, Жене всегда казалось, что у нее слишком хороший характер. Женя давно понял, что и грозный Ефим всей семье кажется только потому, что таким он кажется матери. Со всеми остальными Ефим был просто замкнутым, немногословным человеком. С соседями, например. Но кажется, и соседи слегка опасались его, считали его яростным и грозным потому, что и им невольно передавалась всегдашняя готовность Жениной матери испугаться того, что скажет Ефим, как он посмотрит. Когда за обедом Ефим вдруг откладывал в сторону ложку и производил, уставившись на мать: «Сто раз говорилось – недосол на столе, а пересол на спине», – все – гости, родственники, сидевшие за столом, – тягостно замолкали, ожидая, когда же Ефим отведет глаза от Жениной матери. Но Ефим надолго замирал, даже остолбеневал, словно потрясенный бабьей глупостью, словно пораженный тем, что и сто раз сказать недостаточно. Способность вот так сказать, спросить и долго не менять грозно-вопросительного выражения лица у Ефима появлялась, только когда он разговаривал с матерью или безлично ругал новые порядки. Для остальных случаев у него была обычная, довольно гибкая мимика. Но почему-то всем, и Жене тоже, Ефим запомнился по вот этому грозно-окаменевшему выражению лица, по тому, как он оборачивался к матери, когда та что-то говорила, и торопил ее: «Ну? Ну!»

В детстве Женя все ждал, что мать в ответ на это «Ну!» топнет ногой, накричит на Ефима. Теперь он знал, что мать никогда не закричит, никогда не топнет, хотя до сих пор не понимал, что мешает ей это сделать. Мать всегда казалась Жене и умней и шире отца. В доме у них при нелюбимом и желчном Ефиме всегда было полно народу. Гостили племянники и племянницы – из Мариуполя, родственники из Одессы, свои, местные племянники. Женина мать была всеобщей теткой. Обременяли ее не задумываясь, не извиняясь, не обращая внимания на грозного Ефима. Мать была главной в доме. Это понимали все, кроме нее самой. Все, в том числе и грозный Ефим, придиричиво принюхивавшийся к кухонным запахам, присматривавшийся к воротничку свежееотглаженной белой рубашки – не отливает ли желтизной. Когда он наконец надевал эту рубашку, сменял свое грозно-вопросительное выражение лица на буднично-деловое и стремительной походкой легкого, очень худого человека выходил из дому, мать юмористически вздыхала: «Ах ты боже мой!» – и возвращалась к обычным своим делам, от которых на несколько минут отвлекалась, провожая Ефима: кормила племянников, выгоняла из комнаты мух, занавешивала от солнца газетами окна, протирала мокрой тряпкой старые, много раз крашенные полы, иногда посыпала их травой, чтобы сохранить в комнатах прохладу и чистый воздух до тех пор, пока вернутся с работы Ефим, Женя, жена Жени Валентина, стирала, гладила, готовила обед и делала тысячу других маленьких дел, ни разу не опоздав с обедом, ни разу не пересолив, не пережарив. То было время столовых, судков – специальных кастрюлек, в которых холостяки или работавшие на производстве хозяйки носили из столовых обеды домой, – а у Жени, Ефима и Валентины был дом. У них весна всегда вовремя начиналась редиской и салатами, лето – молодой картошкой и огурцами, у них были здоровые желудки, и Ефим мог позволить себе быть брезгливым потому, что чистоплотной была Антонина Николаевна. И потому что у них был дом, к ним в маленькую старую квартиру тянулись родственники, у которых и квартиры были получше и зарплата повыше. Родственники приезжали из Одессы, Севастополя, Мариуполя, и Женя давно считал, что город, в котором он живет, лучше и Одессы, и Севастополя, и Мариуполя. Когда Женя женился, он не стал искать себе квартиру, а привел Валентину к матери – не мог представить, как будет искать в другом месте. Шесть лет прошло с тех пор, а мать ни разу не поругалась с невесткой, хотя

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Валентина вовсе не была покладистой и обходительной. Лишь иногда Антонина Николаевна поглядывала на Валентину с тревогой, когда та слишком решительно что-то от Жени требовала. Вот хотя бы чтобы Женя поступил в институт.

– Пусть он сам. Пусть сам, – говорила она Валентине, едва ей начинало казаться, что Женя сердится. – Ты не требуй от него.

Женя смеялся тому, как мать учит насквозь современную самолюбивую Валентину:

– Нет, мама, она имеет право требовать.

Валентине очень хотелось быть женой инженера, как тогда говорили – итээровца, начальника цеха. А еще больше ей хотелось, чтобы Женя по вечерам ходил вместе с ней в институт, а не на водную станцию, где бывает так много хорошеньких физкультурниц.

– Они спортом занимаются, чтобы скорее выйти замуж, – говорила она Жене. – Щеголяют в купальниках. Будто я не знаю, сама на водную станцию ходила.

Женя смеялся: физкультурницы в купальниках ему не угрожали – он был очень уравновешенным человеком как раз там, где у других всякая уравновешенность кончалась. Вот и этот институт! Не хочется, хоть ты убей! Еще и так интересно жить. И начальником цеха не хочется. Женя не мог этого объяснить ни матери, ни жене (особенно жене!). Такой характер, что ли. А может, друзья просто все такие подобрались – токари да слесари. А может, возраст не подошел, с водной станцией расстаться неохота. Или еще что-то...

– Нет в тебе этого... азарту, – говорила с досадой Валентина. – Я на третьем курсе, а до сих пор к тебе за консультацией и по математике и по чертежам. Тебе бы и делать нечего – только экзамены сдать. Не понимаю, как такой неазартный человек спортом занимается. Девчонкой я думала про тебя – вот фанатик, за трамваем бегаешь. А ты просто тюлень. Ты просто притворялся фанатиком.

Валентина была подвижная, немодного по тем временам высокого, почти в уровень с Женей роста. Ей все казалось, что Женя недостаточно внимателен к ней, что любит он ее слишком спокойно. И улыбка его казалась ей излишне спокойной, и то, что его трудно, почти невозможно вывести из себя, раздражало ее. И обижало то, что он ей самой предоставил налаживать отношения со свекровью и свекром и никогда не вмешивался в домашние дела.

– Вот получу диплом, стану твоим начальником, – говорила она, – посмотрим, что ты тогда скажешь!

Женя смеялся, но не спорил (а Валентине было бы легче, если бы спорил). Он и правда не очень переживал, если проигрывал на соревнованиях, не казнил себя самолюбиво, но фанатиком он все же был. Проиграв, он пробовал для себя новый режим тренировок, придумывал диету – ни грамма алкоголя, ни одной папиросы, не больше пяти стаканов жидкости в день – и вообще всячески, испытывал свой организм. Начал он бегать за трамваем, например, после того, как проиграл встречу по боксу. Боксом он до этого почти не занимался – на соревнованиях выступал потому, что некого было выставить от завода, – а проиграв, взялся за тренировки всерьез. Точно так же всерьез он занимался рентгеновскими аппаратами, когда помогал Николаю, всерьез решал кроссворды в «Огоньке», и вообще он о себе говорил: «Нет, в этом я ничего не понимаю», – если не знал дела полностью и всерьез. Всем домашним Женя чинил часы сам, а когда Валентина похвасталась подругам, что Женя и часы умеет чинить, он сказал: «Нет, в этом я ничего не понимаю». Он очень легко так говорил о себе и смеялся, когда Валентина раздражалась и ругала его.

* * *

Женя вскочил в прицепной вагон трамвая – он всегда ездил в прицепке – и остался на подножке. Вагон был полупустым – трамвай только что развернулся на конечной остановке – и по-особому, по-воскресному пыльным и жарким.

– Войдите в вагон, – сказала Жене утомленная воскресной жарой кондукторша (все сегодня гуляют, а она на работе!). – Что мне, за вас отвечать?

– Воротничок белый, – улыбнулся кондукторше Женя. – Вспотею – испачкается. Увижу

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru милиционера – поднимаюсь.

И хороший человек кондукторша бледно улыбнулась.

– Вы что, не слышали – война!

– Как не слышал! – сказал Женя.

– Германия на нас напала, да? – спросила кондукторша. – Немцы на нас пошли? А то пассажиры говорят, говорят, а я не разберусь. – И она опять бледно улыбнулась: так устала от жары, что и война где-то там, за полторы тысячи километров, не страшна. – Я сейчас одного пьяного везла. Ему говорят: «Война!» – а он ничего не понимает.

– Проспится, завтра поймет.

Это поразило кондукторшу:

– Все уже знают, а он только завтра узнает! Вот что водка с мужиками делает! Зальют глаза! Несчастные их жены. Я вчера одного возила, три круга сделали, вылезать не хотел, не знает, где его остановка.

Она ругала мужиков, но с каким-то оттенком восхищения. Она заигрывала с Женей и хотела, чтобы он увидел, какая она баба понимающая и широкая.

Женя сочувственно кивал. На остановке у центра, где садилось много людей, он поднялся в вагон, ближе к горячей, накаленной солнцем крыше, от кондукторши его оттеснили пахнущие духами, табаком и потом взволнованные пассажиры. Но кондукторша все время помнила о нем и время от времени улыбалась ему.

Жене везло на хороших людей. Женщины, как эта девчонка в короткой юбке и спортивных тапочках (никогда она спортом не занималась, Женя это мог определить с первого взгляда, спортивные тапочки носит потому, что дешевы), по-доброму расцветали, когда он улыбался им, желчный отец редко повышал голос, начальство ценило, друзья уважали, а если Жене попадался плохой человек, какой-нибудь хулиган, то и он, взглянув в Женины серьезные, не ускользающие глаза, на его прочную шею, на время притворялся хорошим. Так что мир для Жени был наполнен почти исключительно хорошими людьми.

На заводской остановке он попрощался с кондукторшей, помахал ей и спрыгнул, не дожидаясь, пока трамвай станет. Площадь у завода была по-воскресному пустой, асфальтово-душной и жаркой. На деревянном киоске облупилась недавно подновленная голубая краска. Вахтер, который по случаю воскресенья один дежурил у пропускных коридорчиков, не удивился тому, что Женя хочет пройти на завод. Этого рябого вахтера на заводе дружно не любили (Женя поступил на завод лет десять назад, а он уже давно был вахтером). Сколько ни ходи, не пройдешь, не показав пропуск в развернутом виде. И не поздороваяешься. «Проходи, проходи!» – скажет он. Работой вахтера была бдительность, он не любил всех этих опаздывающих, толкающихся, норовящих обойти правила и инструкции людей. А работу свою он любил. Это было видно и по его цепким глазам, и по желтой кобуре револьвера, которую он носил сдвинутой на живот, будто оружие ему ежеминутно могло понадобиться, и по тому, как он сверял фотографии с лицами владельцев пропуска, и по тому, как непоколебимо загораживал дорогу тем, кто за несколько минут до гудка хотел уйти домой. Женя видел однажды, как пожилая подсобница с усталым, злым лицом, в мужской спецовке, не по-женски испачканная ржавчиной (на заводе все так или иначе пачкаются о металл, но эта ржавчина на худом женском лице почему-то Жене запомнилась), ругала вахтера:

– И зачем таким власть дают! Обостряют только людей.

Жене была симпатична эта старая и, видимо, больная подсобница. Но он не осуждал и вахтера. Вахтер был добросовестным работником, он делал свое дело, отстаивал каждый пункт инструкции, а инструкция была написана разумными людьми, в этом у Жени никогда никаких сомнений не было. Женя только инстинктивно опасался встретиться глазами с вахтером, как опасаются встретиться взглядом с сумасшедшим – вдруг он с тобой заговорит! – но вообще-то симпатии ему хватало и на вахтера. И вахтер это чувствовал и по-своему Женю выделял.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru – Тут до тебя, – сказал он ему, – этот косоглазый прошел. – «Косоглазым» вахтер без всякого почтения называл Котлярова, секретаря заводского комитета комсомола. И спросил: – Выходит, коварно нарушили договор? А наши, значит, верили? Не ожидали?

Женя достал носовой платок, который у него был проложен между воротником и шеей, – его удивила пренебрежительная интонация вахтера: «верили», «не ожидали».

– Вам, папаша, воевать не придется, – сказал он. – Так?

– Так-то так... – сказал вахтер и нехотя отступил, пропуская Женю к металлическим вертушкам. Женя толкнул вертушку и вошел в один из узких коридорчиков, на которые проходная была поделена перилами из гнутых крашенных труб. Вахтер недовольно смотрел ему вслед. – Не придется... Ишь, акробаты! – сказал он.

Если Жене случалось в нерабочий день прийти на завод, он всегда с удовольствием прислушивался к особой, воскресной заводской тишине. Тишина эта в низком туннеле проходной протягивается сквозняком, пахнет маслом и железом – запах, который сюда на своих спецовках занесли тысячи и тысячи людей. А выйдешь на заводской двор – и перед тобой остывающий красный кирпич цехов. Он еще шелушится от недавнего жара и грохота, от звуковой и световой вибрации, а за начерно прокопченными, мохнатыми от металлической пыли глухими окнами цехов ни отсветов плавок, ни вспышек электросварки – цехи остывают. И где-то вдалеке – на складе, что ли, – непривычную заводскую тишину подчеркивает обязательный воскресный звук: кто-то лениво бросает железо на железо, словно пересчитывает детали – раз, два, три... Вчера не успели закончить, а сегодня не работается.

И это безлюдье и эта тишина рожают особое, воскресное, какое-то хозяйское чувство. Не был бы хозяином всего этого, не пришел бы в воскресенье.

В коридорах заводоуправления тоже воскресная тишина. Но пахнет она не маслом и железом, а табаком и холодом длинных и темных коридоров. Воздух ночной или даже вчерашний – все двери и окна заперты. А стены тоже будто шелушатся, оттаивают, остывают. Здание заводоуправления Женя знал хорошо. Знал и эту тишину в сотнях пустых комнат, и то место в коридоре, где, как в цехе, потягивает железом, подоконники лоснятся от масла, а стены вытерты ржавыми спецовками. Подоконники эти напротив бухгалтерии и профсоюзного комитета. Сюда приходят подписывать больничные листы, выбивать квартиру, уголь, дрова, путевки для детей или выяснять, почему в прошлом месяце зарплата была такая, а сейчас на десять рублей меньше. Жене до сих пор ни разу не приходилось здесь выстаивать.

Дальше по коридору тянул постоянный сквознячок. За поворотом – большой бесхозный зал. Раньше там занимались заводские гиревики и штангисты. Но однажды физкультурников прогнали, исцеленный штангой и гирями помост вытащили в коридор, а в зале поверх обычных полов настелили паркет. Сказали – будет столовая. Но потом мастера ушли, а за ними никто стружки не подмел – зал так и остался бесхозным. И постепенно все, что когда-то стояло в бесхозном зале, втащили назад: и помост для штанги, и старую мебель, не умещавшуюся в служебных кабинетах, и какие-то стенды, и стулья из зала заседаний, связанные в ряд по шесть. Паркет ступенькой возвышался над полом коридора, об эту ступеньку многие спотыкались и постепенно потревожили плитки. Теперь их можно было свободно вынимать рукой.

У Жени эти разболтанно лежащие плитки вызвали оскормину. Он и сейчас не мог пройти – поправил плитки, осторожно наступил на них, прошел коридором, поднялся по лестнице этажом выше и двинулся на звук включенного на полную мощность громкоговорителя. Котляров в комитете комсомола включил. Тарелка громкоговорителя дребезжала, слов нельзя было разобрать, и от этого Женю охватила тревога. Он толкнул дверь с табличкой комитета и спросил с порога:

– Что-нибудь новое?

(Вчера он сказал бы: «Пора зал за кем-нибудь закрепить: паркет будет целее».)

– А, это вы! – сказал ему Котляров.

Перед финской войной Котляров окончил военно-мореходное училище, у него осталась флотская командирская привычка говорить подчиненным «вы». В комсомоле говорят

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru друг другу «ты», но Женя на Котлярова не обижался – парень ему нравился. Правда, слаб он в чем-то, легко срывается на крик. Но ведь во время войны с Финляндией сам отпросился с Черного моря на фронт и получил тяжелейшее ранение. Вот и пишет теперь левой рукой, а правой, желтым протезом в перчатке, придерживает бумагу и на входящих смотрит двумя разными глазами. Один глаз у него светло-голубой, подвижный, с маленьким зрачком, а второй – стеклянный, стеклянно-голубой, с неестественно крупным зрачком. И соответственно левая половина лица неподвижная, холодная, командирская, а правая живая и смущающаяся. И странно идущие к этим разным глазам, разным половинам лица жесткие пшеничные воинственные усики.

– Вы были в армии? – спросил Котляров.

– Ты же знаешь, – сказал Женя.

Котляров посмотрел на Женю своим неподвижным стеклянным глазом. И Женя понял – Котляров, который по-настоящему был в армии, сейчас хотел напомнить об этом.

– Кажется, артиллерист?

Женя не ответил. Вытер платком шею, посмотрел на грудь и на живот, нет ли пятен на рубашке, подошел к закрытому окну и стал дергать замазанный густой масляной краской шпингалет. Никак Котляров к штатской работе не может приспособиться. И кличку уже себе заработал – «адмирал». То командует, как на мостике, то вдруг шарахнется, всем «тыкает».

– Окна не открываешь никогда, – сказал Женя, расшатывая в гнезде неподдающийся шпингалет.

В комитете комсомола тоже сильно паховало маслом и железом, а подоконник и стены лоснились, вытертые спецовками. Приходили сюда во время обеденных перерывов, и после работы, и по делам, и в шахматы поиграть, и так поболтать, папиросу выкурить. Правда, с тех пор, как секретарем стал Котляров, ходят реже. Котляров запретил в комнате курить. Сделал он это запальчиво, как будто боялся, что его не послушают: «Все, ребята, в комитете больше не курить! С папиросами в коридор. Здесь мое рабочее место». И запальчивость и «мое рабочее место» другому не простили бы, но Котляров был герой, и был он болен, ранен, – его послушали, но ходить стали реже.

Окно, наконец, поддалось, склеившиеся половинки треснули, из пазов пошла пыль. Котляров смутился, посмотрел на Женю живым глазом:

– Понимаешь, простужаться стал. Жара на дворе, а я простужаюсь.

Вошел Гриша Лейзеров – инженер с длинной кличкой «Лейзеров играет на фортепиано». Он был из механосборочного цеха, здоровый, веснушчатый, с тонким проникновенным голосом, с манерой брать во время разговора за пуговицу, вертеть ее любовно и говорить: «Понимаешь, я давно собирался тебе сказать...» Никогда он на фортепиано не играл. Год он просидел на том самом месте, где сидит сейчас Котляров, и все тогда было в этой комнате как сейчас: тот же стол, та же красная скатерть и даже стулья те же. Потом заболел туберкулезом, учился в институте при заводе и, когда болел, все равно оставался таким же плотным, веснушчатым и здоровым на вид. Лечился тут же при заводе – на все лето пошел сторожем в заводское подсобное хозяйство. Встречаясь со знакомыми, все так же доверительно брал их за пуговицу, смотрел любовно в глаза и дышал в лицо, рассказывая, как старается круглые сутки быть на воздухе. Одним словом – «Лейзеров играет на фортепиано».

– Здравствуйте, – сказал Лейзеров и на секунду задержался в дверях, чтобы своим любующимся взглядом посмотреть сначала на Котлярова, а потом на Женю.

– Входите, – энергично пригласил Котляров и, прежде чем Лейзеров успел сесть, разрешил: – Садитесь!

Лейзеров сел и спросил:

– Товарищи, что же это такое?

И так как Лейзеров всем своим тоном напрашивался на то, чтобы ему разъяснили,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Котляров сказал:

– Это война, товарищ! Понятно?

То, что сказал Котляров, было глупо, но Женя подумал, что тон у него верный. Умнога никто сейчас не скажет – никто ничего не знает, – но у кого-то должен быть верный тон.

Женя много лет знал эту комнату. Он знал многих бывших секретарей. Знал до того, как их избирали секретарями, знал после того, как они возвращались в цехи. Помнил, как в этой комнате разоблачали подкулачников, пробравшихся на завод вредителей, готовили субботники, утверждали списки комсомольцев, едущих «на смычку» в село. Двое из бывших комсомольских секретарей высоко пошли. И другие были тоже дельные ребята, и Лейзеров тоже дельный, он и сейчас дельный, толковый инженер и общественник – его постоянно выбирают во всякие комиссии: жилищные, профсоюзные и всякие другие, где нужен человек со сметкой, умеющий договариваться с начальством. Но никто из них не умел так разговаривать, как Котляров. Все секретари уважали и побаивались заводского начальства – сами редко ходили, ждали, когда позовут. И бесхозный зал, который гиревики и заводские спортсмены хотели бы за собой закрепить, ни один из секретарей не сумел «выбить» для комсомольцев. И Котляров тоже не сумел. Но Котляров, пожалуй, был самым смелым из секретарей: его можно было «завести», и он шел, требовал, стучал протезом по столу, партизанил – ничего не боялся. И когда он кричал, это и было видно прежде всего – «ничего не боюсь!». Жесткие усики топорщились, стеклянный глаз смотрел пристально, не мигая. И собеседник в этот момент почему-то видел не все его лицо, а только жесткие усики и немигающий стеклянный глаз. Зато Котляров и любил, чтобы ему потом рассказывали, как он смело разговаривал с начальством, как стучал, протезом по столу. Спрашивал: «Правда? – И добавлял подробности: – Ты не видел, я его потом отозвал в сторону. Ты, говорю, хитрый, как амбарная мышь. Зерно жрешь, а говоришь: газеткой шуршу. Да я тебя, – и переходил на восторженный полушепот, – такой-сякой, так и перезетак... Да тебя бы ко мне в штурмовую группу, когда мы финский дот брали. Да я бы тебя...» – и смеялся довольный, потирал протез здоровой рукой.

А иногда расскажет о себе такое, что и при желании поверить невозможно. Как-то он сказал Жене: «Вчера у меня была гонка! Жена отравилась консервами, я позвонил в „Скорую помощь“. Говорят: „Нет машин, ждите“. Я кричу: „Доставайте машины где хотите, с вами говорит секретарь заводского комитета комсомола“. Не едут! Я на трамвай. Вбегаю во двор „Скорой помощи“ – машина стоит! „Ах вы, гады! Где бригада, где шофер?“ – „На обеденном перерыве“. – „Человек умирает, а у вас обеденный перерыв!“ Вскрываю в машину, включаю зажигание – завелась! Даю газ и вылетаю на полном ходу из ворот. Врач успел вскочить на ходу, шофер бежит за мной. А я включил сирену – на красный свет, на толпу! – как раз поспел. Врачу говорю: „Если что-нибудь случится...“» И показывал, как вел машину, как крутил рулевое колесо, а Женя смотрел на его желтый протез и прикидывал: нет, никак не получилось бы у Котлярова то, о чем он рассказывал.

Женя знал, что на заводе многие подсмеиваются над Котляровым за эти его неожиданные рассказы о себе, но Женя считал – что ж тут такого! Любит человек похвастаться – пусть хвастается, кому от этого плохо? Женю только удивляло, что Котляров никогда не хвастается своими воинскими подвигами. И когда Котляров «заводился», Женя говорил ему:

– Рассказал бы лучше, как воевал.

Но о том, как воевал, Котляров рассказывал скучно. Женин двоюродный брат, газетчик Миша Слатин, который беседовал с Котляровым, сказал: «Ни одной живой детали». Женя не понял. «Ну такой, которой выдумать нельзя, – сказал Мишка. – Как будто газетную статью пишет: „Героическим натиском... Вдохновенные... Самоотверженно...“».

Женя сел рядом с Лейзеровым к столу, накрытому длинной красной материей, – на столе шахматные доски и шахматные часы, подвинул к себе часы и щелкнул пальцем по пусковому рычажку. Часы заработали, стрелка двинулась, будто отмеривая время, отпущенное на обдумывание хода. Но Женя тут же выключил часы.

– Так что будем делать? – спросил он Котлярова.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru – Бить их будем! – ударил кулаком левой здоровой руки Котляров. – Я вот написал заявление в военкомат. Добровольно! Командовать я смогу. Сейчас командиры будут нужны. Култышка мне не помешает, – показал он на протез. – А стрелять даже лучше – прищуриваться не надо. – Жесткие усики шевельнулись в смущенной улыбке.

– А по мобилизационному плану нас не возьмут? – сказал Женя.

– Мы авангард! – сказал Котляров. – Мы обязаны подать пример. А по мобилизационному плану, – опять посмотрел на Женю живым смущенным глазом, – нас пока не возьмут. Я инвалид. Освобожден по чистой. А у тебя будет бронь. Я-то знаю. Незаменимый специалист.

Внизу хлопнула дверь, кто-то топал по лестнице. Женя прислушался.

– Еще идут люди, – сказал он.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Антонина Николаевна была второй по старшинству дочерью в большой семье отца. Отец был из воронежских крестьян, из бедной семьи, из бедного села Пичаево. Он перебрался сюда, на юг, еще в прошлом веке и обосновался в этом городе потому, что здесь жили дядья. Дядьев было четверо, фамилия их была Слатины, держались они дружно, были «политиками», работали на железной дороге, у одного был даже собственный выезд – две лошади и дрожки. Лошадей мобилизовали в 1914 году. О том, как лошадей отводили на рыночную площадь к пункту сбора, как чужие люди хватили их за морды, задирали им губы, как долго удавалось спасти молодого коника, самого любимого, заражая его какой-то неопасной лошадиной болезнью, Антонина Николаевна помнила, как об одном из главных событий того времени. У отца Антонины Николаевны не было лошадей, и вообще он был далековат от дядьев. Они помогали ему, но не очень приближали, однако это были родственники, семья – люди, обязанные помнить друг о друге и помогать друг другу. Правда, отцу Антонины Николаевны и ей самой ни разу не пришлось помогать дядьям, но сочувствовать им Антонина Николаевна могла, и она сочувствовала. Она умела сочувствовать не только членам своей семьи, не только родственникам, но семья ее была такой большой, столько у нее было братьев, сестер, теток и дядьев, так много у них было детей, что Антонины Николаевны едва хватало на всех. Они занимали ее память и сердце почти целиком. Девушкой Антонина Николаевна немного работала в конторе машинисткой-делопроизводителем – была такая должность, – но потом вышла замуж и вернулась в семью. И только пока она работала в конторе, ее называли Антониной Николаевной. В семье она была просто Тоней. Тоней звал ее не только Ефим, но даже малолетние племянники. И только те племянники, которые бывали у нее не очень часто, звали ее тетей Тоней.

Оттого что Ефим был намного старше ее, сестры и братья, которые ссорились и мирились со своими мужьями и женами, переживали всяческие семейные потрясения, считали, что Тоня по характеру своему ни к чему такому не способна. Тридцать из своих сорока семи лет она прожила в одной и той же квартире в Братском переулке. Это был старинный городской район со старыми домами и дворами. Он казался вечным оттого, что ни тротуары, ни мостовая, ни дома ни разу на памяти Антонины Николаевны не ремонтировались. Даже ступеньки железных наружных лестниц ни разу не менялись. Это полуистлевшее лестничное железо внушало опасение всем, кто на него ступал. Лестницы эти назывались черными, выходили они во дворы, но жильцы обычно пользовались только этими лестницами, потому что парадные давным-давно, еще во времена революции, гражданской войны, голода и беспризорщины, были забиты, захлаплены, превращены в кладовки. А некоторые вестибюли превращались – временно, разумеется, – в квартиры, в которых люди, поселившись, жили до сих пор.

Дом, в котором жила семья Антонины Николаевны, помещался в глубине мощного мелким, стертым белым камнем двора. В дом вела деревянная лестница. Без поворотов одним маршем она приводила на второй этаж к двери в квартиру. Наверху было темно, и входившие ориентировались по шуму примуса. Днем дверь не запиралась никогда, а летом и не закрывалась. Входивший отодвигал рукой надутую сквозняком занавеску, оттянутую книзу специальным грузом, и попадал в освещенный гудящим примусным огнем тамбур.

Сквозняк тянул от балконной, тоже занавешенной марлей двери через комнату с обеденным столом, диваном, трюмо, этажеркой и кроватью. Это была самая большая комната в квартире, но вся перечисленная мебель едва помещалась в ней. Тщательно

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
выбеленные стены пачкались мелом, поэтому над кроватью, над диваном и во всех других местах, где можно было прислониться или опереться, висели предохранительные коврики или холсты, вышитые разноцветными шелковыми нитками. Вышивки иногда менялись, но три были постоянными: головы кошки и собаки и длинный аист с алым клювом и алыми ногами. Над диваном в старом черном футляре отсчитывали медленное время старые часы с бронзовым маятником, а над кроватью висел настенный календарь, отрывные листы которого скапливались на этажерке. Много раз крашенные, каждый день мывшиеся полы были стертые, вокруг сучков в досках образовались бугорки, которые Антонина Николаевна знала наперечет. Это была старая, но, в общем, прекрасная южная квартира с окнами на восток и на север, со сквозняком, который тянул из тени. Этот сквозняк приятно было ощутить обожженным солнцем лицом, приятно было после уличной, магазинной или рыночной толчеи услышать медленный, успокаивающий маятник. Приятно было посидеть на обширном, наклонившемся в сторону двора, но безопасном балконе – он опирался на два металлических столба. После двенадцати на балконе была тень.

С балкона была видна общая длинная крыша дворовых сараев. Ее подновляли блаком, она липко лоснилась, шершавилась пылью, налипшим пухом акаций, пахла смолой. С балкона был виден весь мощный камнем двор: водонапорная колонка, крыша уборной за сараями, дикий виноград вдоль глухой стены соседнего дома, летние печки во дворе. Печек было три, иногда четыре, и одну из них каждую весну складывал Женя. Печка эта была лучшей во дворе, с коробом, с двумя конфорками, с кирпичной трубой, на которую было надето старое ведро без дна. Печка горела весь день, потому что Антонина Николаевна считала недобросовестным пользоваться примусом или керосинкой – приготовленное на вонючем керосиновом огне совсем не то, что приготовленное на угле или дровах. Примус чаще всего разжигала Валентина, чтобы скорее раскалить утюг или согреть утром чайник.

Антонина Николаевна и утюги всегда держала на печке – на огне или рядом с конфорками, если конфорки были заняты своими или соседскими кастрюлями. Соседки пользовались печкой Антонины Николаевны так же часто, как она сама.

К тому времени в доме уже был электрический утюг, электрический – ныне уже забытый – кипятильник, электрический чайник и даже такие новшества, как обогревательный рефлектор и лампа «синий свет». Но в этом старом доме и электричество казалось ветхим и ненадежным, оно текло по старым, еще довоенным проводам, от которых отпадали чешуйки мела: провода забеливались во время каждой побелки.

Забеленными были и все выключатели и штепселя, электричество в них слабо потрескивало, а в лампочках часто мигало и не накаливало их до конца. Поэтому и пользовались электрическими приборами редко. Блестящий электрический чайник с коротким рыльцем и массивным основанием вообще стоял только для красоты – раза два его включали, грел он медленно, а воды вмещал мало, не то что старый полуведерный медный чайник, из которого можно было напоить всю семью. И электрический утюг никак не мог сравниться с набором чугунных утюгов – от самого большого, за которым во двор посылали Женю или Ефима, до самых маленьких, которыми могли играть младшие племянники. В доме были специальные, с желтыми, неотстирываемыми опалинами тряпки, о которые эти утюги вытирали.

И вообще электричество еще довольно часто подводило. Поэтому в доме держали заправленными керосином две лампы и несколько свечей. И если вдруг электричество гасло и Антонина Николаевна вносила зажженную керосиновую лампу, Ефим ругался: «Стекла в лампах надо чистить». Медный чайник, керосиновые лампы, самовар, которым давно никто не пользовался, – все это были вещи, сделанные в «мирное время».

В квартире были еще комнаты Ефима и Жени. Когда приходили гости, Антонина Николаевна говорила: «Здесь комната Ефима, тут Женя с Валентиной, в большой комнате у меня спят племянники, на балконе внук играет, а я всему этому хозяйка».

В комнате Ефима почти не было вещей – кровать, стул и письменный столик со счетами и чернильным прибором. Заходить сюда не хотелось еще и потому, что голые стены были выбелены до синевы, ужасно пачкались и казались как-то не по жилому, неуютно высвеченными. Лишь охотничье ружье в черном чехле и темный кожаный патронташ, висевшие над кроватью, что-то здесь смягчали.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
В Валентиновой комнате тоже не было ни вышивок, ни настенных ковриков. Только кровати, платяной шкаф и книжная полка. К стене, чтобы не пачкалось одеяло, канцелярскими кнопками были приколоты две развернутые газеты. Валентина и тут стремилась сохранить быстрый и легкий быт общежития.

Может быть, Антонина Николаевна и позавидовала бы тем из своих родственников, у которых квартиры были побольше и получше, если бы она ходила к ним в гости. Но в гости Антонина Николаевна не ходила. В гостях выглядела испуганной, не ела, ни пила, будто боялась что-то сделать не так. Все получалось так, что к ней прийти удобней. Братья и сестры с детьми приходили к ней по праздникам и воскресеньям. И соседи приходили к ней, а она к ним через лестничную площадку ходила так же редко, как и к родственникам через город.

Антонина Николаевна и не помнит, когда она сделалась собирательницей семьи – в гражданскую войну, когда погиб отец, в холеру, когда умерла старшая сестра, или раньше. Это сделалось как бы само собой и словно было всегда. Младшие сестры меняли квартиры, выходили замуж, уезжали из города, возвращались, оставляли ей своих детей на неделю, на месяц, на год. Двое из четырех дядьев Слатиных при царе сидели «за политику», в гражданскую воевали, ходили в чинах, затем сникли, ушли со своих постов, перестали говорить о политике и вообще на несколько лет исчезли из города. Оба входили в Общество политкаторжан, но политкаторжанином в семье звали только дядю Максима Григорьевича Слатина. Это был единственный из дядьев, которому Антонина Николаевна могла помогать. Он много болел, курил, хотя при его легких нельзя было курить, и вообще умел полностью забывать о себе, о своем здоровье, об опасностях, которые ему угрожали. И жена у него была такая же – фесья. Их сына Мику Антонина Николаевна подолгу держала у себя.

Года два тому назад Максим Григорьевич умер. Мика вырос, работал в газете и год от году делался все более похожим на отца. Изнутри его что-то постоянно жгло. Каждое воскресенье он приходил к Антонине Николаевне. Называл ее Тоней.

О политике в семье теперь больше всех говорил брат Семен. Во время империалистической войны дядья Слатины помогали ему уклониться от призыва. Но потом его все-таки забрали, он воевал в Румынии, привез из армии две медали (их сдали в торгсин), румынскую фразу, которую любил повторять: «Шпунурманешт? Нуцты?» – странно не растраченную воинственность и фотографию, на которой был снят с бравой выпяченной молодой грудью, с лихими усами, с рукой, опертой на штык в ножнах. В гражданскую он прятался от белых, от немцев, от казаков, а потом стал работать посыльным в государственном банке, выдвинулся постепенно, его послали в Москву на курсы руководителей машиносчетных станций – банки выписывали из Америки машины, переходили на механизированный учет. Семен воевал со старыми специалистами (спецами), или, как он сам говорил, занимался «разоблачением вредительства в системе механизированного учета госбанковских контор».

Антонина Николаевна когда-то сама посещала кружки политического самообразования при домовом комитете, но к тому, что говорили Семен или Ефим, не очень прислушивалась. Она считала, что все идет правильно, потому что жизнь шла так, как надо. Сестры вышли замуж, родили детей. И Женя вырос и завел семью. И каждый день надо было ходить на базар, утром готовить обед, а вечером еще раз кипятить остатки борща и соуса, чтобы за ночь не скисли: летом у Антонины Николаевны было в два раза больше работы, чем у нынешних хозяек, у которых есть холодильники.

Антонина Николаевна прислушивалась к тому, что говорил Женя. Семен и Ефим все-таки были не шибко грамотными, а Женя много читал. Правда, чем больше он читал, тем меньше говорил дома. Так, кое-что сообщал. Скажет, например, кто-нибудь, что на железной дороге вместо керосиновых фонарей вводят новые, аккумуляторные, сцепщиком с таким фонарем придется побегать – тяжелый! «Сколько ж он весит?» – спросит Ефим. И Женя, который до сих пор к разговору не прислушивался, сообщит: «Четыре с половиной килограмма».

Он рано повзрослел. Он как-то легко взрослел. Еще мальчишкой забегается, Антонина Николаевна у него спросит: «Проголодался? Устал?» Он подумает и скажет: «Да нет, не очень». И лихости у него мальчишечьей не было. Договориться с ним можно было. Вырос – как будто лихости прибавилось. В детстве дрался редко, а теперь дерется на соревнованиях, плавает на шлюпках и яхтах по морю – чего-то добивается. После семилетки сам решил уйти из школы в ФЗО, из ФЗО – на завод. Но читать и учиться не перестал. Рядом с домом была картографическая мастерская, он стал туда ходить, учился чертить, а потом стал чинить и затачивать чертежникам

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
чертежные инструменты. Однажды принес домой авторское свидетельство на какой-то «пунктирник для проведения точечного пунктира». И еще на «точечник для изображения точечных знаков кустов». Антонина Николаевна спросила Ефима: «Что это?» Ефим оскалился: «Развитые теперь все стали. Свыше всякого ума развитые!»

У самого Ефима были знания, а не развитие, как у нынешних. Он знал бухгалтерский учет, знал конторские счета и арифмометр, печатал на пишущей машинке, умел по запаху определить качество постного масла и масляной краски, а по тому, как горит и скручивается нитка, отличить чистую шерсть от поддельной или смешанной. У него был ясный почерк, и он годы потратил на то, чтобы сделать его еще лучше. Он никому об этом не рассказывал, но свои первые деньги он стал зарабатывать еще подростком – на городском почтамте. Писал неграмотным письма. У него было больше клиентов, чем у других таких же подростков, потому что почерк у него был лучше. Он сам научился печатать на машинке и получал у хозяина надбавку за то, что по вечерам оставался в конторе перепечатывать бумаги. Ко всему, что он умел, присоединялось умение быть честным. Ни у хозяина, ни у государства он не взял ни зерна, ни копейки. В двадцатых годах он работал на элеваторе, вел учет продналога, справки подписывал. Ему и взятки предлагали, и убить собирались, и не сосчитать, сколько раз грозили расстрелом. Ефим знал, что он нелегкий и неприятный человек, – он был честным.

Хозяин Ефима был легкий и приятный человек, и приятели хозяина были легкие и приятные люди, а Ефим был честным. Он не ходил в рестораны и не брал взяток. У его знакомых конторщиков на столах стояли шуточные плакатики, на одной стороне которых было написано: «Надо ждать» – а на другой: «Надо ж дать». Ефим себе таких плакатиков не позволял. Он был доволен своей работой и своей жизнью потому, что не стоял на месте. От хорошего почерка шел к арифмометру, к пишущей машинке, прекрасно разбирался в качестве товаров, которыми торговал хозяин, а тем временем на его честность постепенно нарастали проценты, и хозяин делал ему надбавки, по мере того как другие деловые люди в городе хотели переманить Ефима к себе. Но Ефим не уходил от хозяина, хотя надбавки его были скупы, а Ефиму предлагали значительные деньги. Не хотел портить своей репутации. А потом все это рухнуло. Репутация Ефима оказалась ни к чему, товары на много лет исчезли совсем, а когда они появились вновь, то и мыло, и гвозди, и краски, и столярные инструменты были такого качества, что тут знания Ефима были ни к чему. У него дома было две бритвы, одна сточенная, стаявшая, лезвие которой все упрятывалось в ручке, и вторая новая, нетронутая, он показывал их иногда гостям: «Золингенговская сталь, довоенные вещи. Теперь таких не делают». Бритвы он направлял сам. Как в парикмахерской, у него над столом на гвозде висел черный толстый ремень для правки бритвы. Собираясь бриться, он занимал весь стол: обваривал кипятком помазок, чашечку для мыла, стаканчик для чистой воды, ставил зеркало, готовил бумагу, которой снимал с бритвы мыло и срезанные волосы. И долго правил бритву, с силой бил ею по ремню, смотрел лезвие на свет, дул на него, заглаживал на другом, мягком ремне. Остроту лезвия пробовал ногтем и выглядел в эти минуты особенно грозным и значительным. Когда он брился, никто не рисковал подходить к столу, чтобы не толкнуть Ефима. И вообще вещи, о которых Ефим знал все, были такого свойства, что требовали особого умения с ними обращаться. Без этого умения ни оценить эти вещи, ни пользоваться ими было нельзя... Пока не вырос Женя, Ефим все делал сам по дому. И еще была одна особенность у этих знаний, которую очень хорошо чувствовал Ефим и которую почему-то плохо улавливал Женя. Это были как бы истинные знания. Им было и сто, и, может быть, тысячу лет. Если бы Ефима перенести на двести лет назад, то и там эти знания были бы истинными. Как умение сеять, собирать и печь хлеб. И эту истинность и значительность знаний Ефима очень хорошо чувствовала Антонина Николаевна.

Однако, по мере того как в мире убывало значение простых вещей, убывало и значение знаний Ефима. И когда он слышал о новых промышленных методах, о заменителях, о химии, о скрещивании, он оскаливался, ругался: «Пробовали скрестить овчарку с пинчером. А какой результат? Ни ума, ни силы!»

Конечно, его знания, нюх, его цепкий глаз и честность еще многого стоили. Он работал бухгалтером, его включали в ревизионные комиссии, он распутывал сложные дела, а однажды спас жизнь выдвигенцу, неумелому человеку, у которого обнаружили растрату в триста тысяч рублей. Выдвигенца непременно бы расстреляли, потому что шла компания борьбы с расхитителями и растратчиками, но был он заслуженный человек, и его дело еще раз передали на консультацию опытным специалистам. Ефим в первые же десять минут обнаружил то, что пропустила до него другая ревизионная

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru комиссия, – дважды заприходованный один и тот же документ.

Жене родственники приносили чинить часы, а Ефиму – направлять бритвы. И он радостно осклаблялся, когда вынимал бритву из футляра. Он знал бритвы своих родственников так же, как свои. Презирал красивые бритвы с широким лезвием, с белыми броскими ручками, уважал скромные, из прочной стали. Уходил с ними в свою комнату и там долго правил их на мягком, маслянистом оселке, на своих ремнях, пробовал лезвие и на звон и на остроту, дышал на сталь и смотрел, как быстро сходит с нее матовость и возвращается блеск. Отдавать бритву не торопился, и только когда гость собирался домой, приносил ее из своей комнаты, укладывал на жало волосок, дул – и волосок распадался. Родственник благодарил, Ефим осклаблялся, но тут же отворачивался и замыкался.

* * *

Первым в воскресенье обычно приходил брат Антонины Николаевны Семен с сыном. У Семена Николаевича была вьющаяся шевелюра, голову он закидывал назад, носил косоворотки навыпуск и подпоясывал их витыми поясками с кистями на концах. Серую и черную косоворотки он подпоясывал черным пояском, а белую – белым. Семен Николаевич был разведен, много лет жил один, а сын приходил к нему на субботу и воскресенье. Сыну было четырнадцать, и был он довольно высоким подростком с полноватым женственным лицом и с напряженным выражением глубоко посаженных глаз.

Они входили в калитку больших деревянных ворот, под которые со двора от водонапорной колонки подтекала вода, шли через двор мимо сараев, мимо летних печек к дому, на балконе которого в это время уже сидел с газетой Ефим. Ефиму они были видны от самых ворот, они здоровались с ним, а он кивал им через газету и оставался на балконе. Утром балкон был косо освещен солнцем, и Ефим в белой воскресной рубашке, заправленной в аккуратные серые воскресные брюки, в очках, которые он надевал только когда читал или писал, был очень хорошо освещен.

Нервный, не выносивший солнца, переходивший на теньевую сторону улицы сын Семена Николаевича всегда с удивлением смотрел на белую застегнутую рубашку Ефима, на его плотные, жаркие брюки, на газету, просвечивающую под солнцем, на непокрытую голову, на всю его свободную, вольную позу.

Семен Николаевич здоровался с соседями Антонины Николаевны, а если во дворе была сама Антонина Николаевна, говорил ей:

– Здравствуй, сестра!

С соседями он раскланивался любезней и задерживался с ними дольше.

– Как жизнь молодая? Нашими молитвами? – И смеялся громче, чем нужно, потому что шутил всегда одинаково. – А вот сын в бога не верит. Когда он был поменьше, мы с ним ехали из Пятигорска в Кисловодск. Он задремал, а потом испугался: «Папа, кажется, проехали». Я говорю: «Если кажется, надо креститься». А он спрашивает: «Папа, а что такое креститься?»

Соседей во дворе было не так-то много. В двухэтажном доме Антонины Николаевны жило еще четыре семьи, и пятая – семья настройщика рентгеновских аппаратов – жила во флигеле.

Как только Семен Николаевич подходил к калитке в старых, красной краской крашенных воротах, в его походке что-то менялось. Она становилась как бы совсем воскресной, и Анатолий это очень чувствовал. Семен Николаевич запускал большой палец под пояс, проводил им от живота к спине, натягивая косоворотку на груди, и больше, чем обычно, закидывал голову назад. Перекинутым через левую руку он нес свой пиджак или пиджак сына. Этот-то ненужный пиджак, перекинутый по-особому через согнутую руку, и делал его походку особенно воскресной. Этот пиджак да еще косоворотка, напущенная на брюки и стянутая черным пояском. К тому времени почти все носили рубашки заправленными в брюки, но Семен Николаевич твердо держался своего. Так они шли через город по главной улице, и Анатолий, истомленный жарой, – отец, как и Ефим, прекрасно чувствовал себя на солнцепеке, – все время видел отца с рукой на отлете, с закинутой назад шевелюрой.

Они останавливались, когда отец встречал знакомых. Знакомые всегда говорили одно и то же:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– У тебя такой большой сын!

Семен Николаевич смеялся:

– Большой, говоришь? – И притягивал Анатолия к себе за плечо или гладил его по голове, как будто проникался к нему мгновенной нежностью. – Отца догоняет!

Утром, как только они выходили на улицу, отца изнутри что-то подмывало. Пока они собирались, отец раздражался, одергивал на Анатолии рубашку, счищал с него что-то веничком, застегивал верхнюю пуговичку на воротничке, которую Анатолий не любил застегивать. При этом чистые пальцы сильной отцовской руки подрагивали. Потом они молча шли вниз и выходили через парадное на асфальт главной улицы. И тут солнечный свет, зелень, троллейбусы, множество прохожих преображали отца. Рука его, до этого вольно державшая пиджак, сгибалась особым образом, шевелюра откидывалась назад, он выходил на середину тротуара, туда, где уже совсем не было тени, и шел той самой походкой, по которой сразу было видно, что ему нравится идти вот так с пиджаком на согнутой левой руке. Проходя мимо университета, отец говорил:

– Бывшее купеческое собрание.

Отцу нравилось показывать вот такую свою осведомленность.

Отец был еще совсем моложавый, крепкий и недурной собой мужчина. К нему в гости приходили женщины, казавшиеся Анатолию красивыми, отец говорил им, что он «живет для сына». Иногда отец водил Анатолия в гости к другим женщинам, где Анатолия закармливали сладостями. На улице рядом с отцом Анатолий все время ощущал эту моложавость, подмывавшую отца, его готовность с кем-то поздороваться, остановиться и засмеяться совсем от ничего, захохотать даже, откидывая свою шевелюру. И когда отец притягивал его к себе, Анатолий не мог не вспомнить, как подрагивала рука отца, защемляя пуговицей кожу у него на шее. У отца всегда были как-то связаны и бодря моложавость и раздражительность. Они так легко переходили друг в друга.

В Братском они сворачивали с главной улицы и попадали в тень и тишину переулка. И когда подходили к воротам, отец отряхивался, охорашивался, топал парусиновыми белыми туфлями, которые он, перед тем как выйти на улицу, тщательно закрашивал разведенным водой зубным порошком – от туфель шла белая пыль, – наклонялся, чтобы почистить брючные обшлага, осматривал Анатолия и толкал калитку.

Во дворе отец, раскланявшись со всеми, поздоровавшись с Антониной Николаевной, не задерживался возле нее, а поднимался вверх. И Анатолий, утомленный жарой, пылью, а главное, постоянным ощущением, что бодрость отца вот-вот превратится в раздражение, с облегчением входил в лестничную полутемноту, ступал по разболтавшимся в своих гнездах деревянным ступеням, отодвигал марлеву занавеску и через темный, пахнущий керосином тамбур проходил в большую комнату, в которой под сквозняком, тянущим от балконной двери, слегка покачивался абажур из красной «жаты» бумаги. По этому абажуру вокруг летели черные бумажные ласточки.

Анатолий брал с книжной этажерки стопочку оторванных календарных листов, а отец проходил в комнату Ефима и возвращался оттуда без косоворотки, в одной нательной сетке. На книжной этажерке слегка потрескивала черная картонная тарелка радио. Радио не выключали, вещание тогда шло с большими перерывами, чем сейчас, но к радиопотрескиваниям, шорохам и дребезжанию уже успели привыкнуть и обращали на них внимание, только когда передавали известия и метеосводку.

Ефим по-прежнему оставался на балконе со своей газетой. Это была вчерашняя газета, и читать ее можно было сколько угодно.

Отец тоже брал в комнате Ефима вчерашние и позавчерашние газеты, брал коробку с маникюрными ножницами, с большими и маленькими пилками для ногтей, подхватывал стул и тоже отправлялся на балкон. Слышно было, как двигал стулом, освобождая отцу место, Ефим, как ставил свой стул отец, как садился на него и спрашивал у Ефима, что нового в военных действиях Германии и Англии. Сколько помнит Анатолий, разговор отца и Ефима всегда начинался с обсуждения газетных военных сводок. Разговоры эти удерживали Анатолия у балконной двери, заставляли слушать. Ефим отвечал односложно, он вообще мог разговаривать, только поднявшись со стула и походив предварительно по комнате или по балкону, будто разогревая себя. Он не

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru делался от этого красноречивее, но выражение лица у него становилось хищным, пристрастным, так что смотреть на него было невыносимо. Ефим как будто бы и сам это знал. Говорил он не глядя на отца, чтобы не оскорбить его своим взглядом или такой же непереносимо презрительной улыбкой:

– Немцы еще покажут нам, дуракам! Договор! Мы им хлеб – они нам договор!

С каждой минутой спора Ефим становился желчнее, а в отце возбуждались бодрость и воинственность. После таких споров отец мог даже как-то разыгаться, показать, по просьбе Анатолия приемы штыкового боя или сабельной рубки (в кавалерии отец не служил – в германскую был телефонистом), сам себе командовал, подражая голосу какого-то своего бывшего начальника: «Ко-ли!» Или показывал, как ему когда-то приходилось рапортовать: «Рядовой такого-то полка, такой-то роты, такой-то дивизии». Рапорт был забавен тем, что без запинки нужно было произнести множество цифр: номера дивизии, полка, роты, взвода. Были в нем и еще сложности: полк – гренадерский, дивизия – «его императорского величества». Было здесь что-то старинное и шутовское. Отца, который кому-то вот так рапортует, Анатолий не мог себе представить.

Спор очень быстро накалялся так, что стоять под дверью и слушать, как Ефим ругает тех, «у кого память короткая», «кто не умеет читать между строк», становилось неприлично. Но отец всегда вовремя вспоминал о своей контузии, начинал хронически недослышивать, говорил Ефиму что-то про погоду, Ефим оскаливался: «Погода как погода!» – но утихал, отвечал отцу односложно, и опять устанавливалась тишина. Сквозняк поднимал занавеску над балконной дверью, шуршал страницами журнала, оставленного на столе, а на балконе как будто никого не было. Так каждый раз для Анатолия начиналось воскресенье.

Иногда, правда, отец еще во дворе спрашивал:

– Ты во дворе или поднимешься?

Как ни прост был этот вопрос, Антонина Николаевна видела, что Семен не очень-то свободным голосом его произносит. Сын приходил к Семену Николаевичу на субботу и воскресенье, но за это время они успевали поссориться. Семен, считала Антонина Николаевна, уж больно много требовал от мальчика. Конечно, если бы они жили вместе, мальчик бы терпел, поступал так, как велит отец. Но они жили врозь, и Анатолий вдруг переставал ходить к отцу. Не ходил неделю, две, потом они опять появлялись вдвоем, и Семен Николаевич не мог спросить естественным тоном: «Ты во дворе или поднимешься?» Антонина Николаевна думала, что Семену надо быть поласковее с сыном, раз уж так получилось, что дома с матерью и отчимом мальчик чувствует себя вольнее, но советовать брату не решалась. Она видела, что Семен и сам старается быть ласковее, но не может себя побороть, не может отказаться от своей родительской власти, и голос и руки у него подрагивают, когда он делает Анатолию замечания, и глаза у него становятся скорбными и в то же время напряженными, как у сына. Так они и смотрят весь день друг на друга напряженно, а вечером, когда прощаются, Семен Николаевич берет в руки веник или щеточку, чтобы очистить Анатолия от мела, в котором тот обязательно выпачкается. Анатолий стоит молча, а Семен ожесточенно трет его щеткой или обмахивает веником, и видно, что он это делает сильнее и больнее, чем нужно.

Поговорив с соседками Антонины Николаевны, Семен Николаевич берет у сына рубашку, чтобы ему легче было в майке или совсем без майки бегать по жаре, и поднимается в дом. Соседки смотрят ему вслед – красивый холостякующий мужчина, который не хочет связывать себя второй женой, чистый, следящий за собой, с интересной седеющей шевелюрой и такой бодрой походкой. Они видят, что Семен Николаевич переживает «из-за сына», и спрашивают Анатолия:

– Почему к отцу не ходишь?

– Болел.

– Отец для тебя живет!

Анатолий и старался любить отца так, как этого заслуживает человек, который для тебя живет. Но никогда ему это не удавалось. Если бы Анатолий мог себе это до конца объяснить, он, может быть, подумал бы, что просто отец появился в его жизни гораздо позже матери. Еще в том времени, о котором Анатолий ничего не

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru помнил или помнил что-то смутное и нерасчлененное, они были вдвоем с матерью. Потом появилось слово «отец». В квартире раздавался звонок, и мать говорила: «Этот отец». Приходил кто-то безразличный Анатолию, опять исчезал на целый день, иногда на неделю – уезжал в командировку. В первый раз отец и остался в памяти Анатолия приехавшим из командировки. Отец вошел в комнату – Анатолий уже твердо знал, что это отец, – развернул большой сверток, поставил на паркетный пол зеленый паровоз. «Это моему мальчужке», – сказал он, и Анатолию не понравилось слово «мальчужке».

Немного позже отец и мать стали разводиться. Как-то ночью мать разбудила Анатолия. Мать чего-то очень боялась, и страх этот передался Анатолию. Она всюду водила его по квартире: шла в ванную и его брала, на кухню – и его туда же. Он боялся вместе с ней и понимал, что они вместе боятся отца. Отец пришел, мать усадила Анатолия к себе на колени, и колени, на котором он сидел, все время вздрагивало – отец подбегал к матери с раскрытой бритвой, и Анатолий чувствовал в этот момент внутри невыносимую боль, потому что весь изо всех сил сжимался. Так продолжалось очень долго. Отец ходил из комнаты в комнату, и был у него такой вид, будто он на что-то решается.

В той комнате, в которой они сидели с матерью, горела лампочка, а в комнате, куда убежал отец, свет не был зажжен, и в этих переходах со света в темноту отец был невыносимо большим, быстрым, чужим и страшным.

Анатолий завизжал и ударил отца. Он запомнил это на всю жизнь, а отец и не заметил, что сын ударил его.

Потом они с матерью переехали в другой дом, на другую улицу, и Анатолий просил мать, чтобы не было ни отца, ни других мужчин. Но на второй день в новом доме Анатолия появился отчим. Вот тогда Анатолию и стали говорить, что у него есть один настоящий отец, который для него живет.

Однажды Анатолий прошел пять кварталов, которые отделяли его новый дом от старого. Отец был растерян, говорил, что вот он что-то сделает, что-то починит или отремонтирует и тогда обязательно заберет его к себе. И еще отец говорил обиженно: «А я думал, ты меня уже забыл. Не идет ко мне мой мальчуша и не идет». С тех пор Анатолий, не рассказывая матери, стал изредка ходить к отцу, а потом мать и отчим об этом узнали, и он стал ходить регулярно по субботам и воскресеньям. В старом доме пацаны немного отвыкли от Анатолия и принимали его не так, как своего. Как-то один из них усадил Анатолия на скамейку, в которую была воткнута иголка. Анатолий, по хохоту догадавшийся, что над ним зло подшутили, с яростным плачем схватил кирпич и бросился на обидчика. Камни таких размеров в обычных драках мальчишки не применяли, и Анатолий заработал кличку психованного.

Анатолию нравилось у тети Тони, нравилось ее спокойное смуглое лицо, ее седеющие волосы. Седина казалась Анатолию признаком не старости, а постоянства. Нравился летний запах свежих огурцов, праздничный или воскресный запах печеного теста. Мать не любила и не умела печь пироги и вообще готовить. Отчим и она много работали, еду приносили из магазина, и радости поэтому дома были магазинные. В это время в гастрономах появились холодильники, и одним из главных домашних удовольствий было принести из магазина холодное молоко или какао на молоке и холодным его выпить.

Нравилось Анатолию таинственное Ефимово ружье – его при Анатолии ни разу не вынимали из чехла. Даже умывальник с вращающимся краником, с ведром, которое ставилось под раковину, нравился Анатолию. Этот умывальник давно не использовался по назначению – проще было черпать воду кружкой из ведра и прямо сливать ее себе на руки, чем ту же воду прежде наливать в умывальник. Всегда сухой, похожий на кухонный шкафчик с дверцами и на тумбочку с зеркальцем в центре довольно большой белой облицовочной плиты, он казался Анатолию самой старинной вещью у тети Тони.

В раннем детстве Анатолий с отцом и матерью жил в большом четырехэтажном новом доме. Дом назывался банковским, потому что построил его госбанк для своих работников. Жили в нем люди молодые или, во всяком случае, такие моложавые, как отец. Никто из этого дома не выезжал, никто здесь не умер и даже не заболел серьезно. Дом был ровесником Анатолия.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Дому, в котором они жили сейчас с матерью и отчимом, было больше тридцати лет. В доме была парадная лестница и две черных. На лестничные площадки черных лестниц жильцы выходили разжигать примуса, выносили мусорные ведра. Здесь пахло керосиновой копотью и кошками, ступеньки черных лестниц были цементными, а лестничные марши крутыми. Анатолий испытывал страх каждый раз, когда ему по этой лестнице приходилось выносить мусорное ведро. Никто из ребят в этом доме не играл. Зимой здесь росла шлаковая гора из котельной, летом воздух был отравлен запахом огромной подворотни.

Их комната была на пятом этаже, звонить к ним надо было пять раз. Каждый раз, когда кто-то звонил или стучал – звонок часто бывал испорчен – после третьего звонка возникало ожидание: «Кажется, к нам». Однако и после пятого следовало подождать, потому что в квартире было семь жильцов и звонить могли и шесть и семь раз. От входной двери коридор шел длинной буквой «Г». Темный в начале, он на повороте начинал светлеть и приводил в коммунальную кухню, в которой была холодная, не действующая печь и стояло семь кухонных столиков. В кухне была дверь на черную лестницу. Считалось, что если в квартиру заберется вор, то он обязательно войдет через эту дверь. Однако именно кухонная дверь запиралась хуже всего – она держалась на слабом крючке. Ночью черная лестница не освещалась.

А парадная лестница была великолепной – тяжелые мраморные ступени, длинные марши, фигурная металлическая оградительная решетка, черные массивные перила. Обширный вестибюль выложен мраморными плитами, а дверь высоченная и такая тяжелая, что Анатолию не просто было ее открывать. Но и мрамор, и массивные перила, и высокая дверь Анатолию были неприятны.

Дом был построен в самом центре города и рассчитывался когда-то на состоятельных людей. Поэтому и было здесь по две двери на каждой лестничной площадке: квартира направо, квартира налево. Но жили в этих квартирах богатые люди или нет, Анатолий не знал.

Улица, на которую выходил дом, имела три названия. Старое, промежуточное и новое. Все улицы в этом центральном районе города имели по два и по три названия. Когда надо было куда-то пройти, спрашивали старое название улицы – в новых пока еще путались.

На главную улицу выходили витрины продуктовых, винных, промтоварных магазинов, а на улицу, где жил Анатолий, – их склады. Сюда, во дворы, заезжали драгили, пахло здесь рогожами, лошадиным потом, бочками из-под огурцов.

У ребят была улица. Играли на мостовой и расходились на минуту, чтобы пропустить драгиля или грузовик.

Ходили играть и на площадь, огороженную огромным деревянным забором, за которым лежали развалины взорванного городского собора.

Раньше к собору примыкала рыночная площадь, теперь здесь строился Дом Советов – самое большое в городе здание.

Мальчишки лазили через забор играть в недостроенном, но уже захламленном здании.

Анатолий переехал на эту улицу, когда ему еще не было шести лет, отсюда он пошел в школу, но так и не привык к своему пятиэтажному дому, к черной лестнице, к тому, что к ним домой надо было звонить или стучать пять раз, к тяжелой парадной двери, к улице, на которой у него были уже приятели и знакомые. Своим он считал двор в доме отца. И когда он приходил сюда в субботу, то сразу же застревал – не мог, был не в силах оторваться от своих ребят даже для того, чтобы подняться к отцу и сказать: «Я пришел». Он заигрывался до темноты, а когда все-таки поднимался к отцу, отец говорил: «Но ты мог бы, по крайней мере, подняться и сказать мне, что ты пришел». Ребята во дворе казались Анатолию умнее и талантливее уличных. Здесь не было грубых кличек, каких-нибудь Коли-бубу, Сметаны или Меченого. Даже дворового толстяка звали не кабаном, не жирным, а моржом.

Анатолий ужинал, мылся в ванной и ложился к отцу в кровать – второй кровати отец себе не завел. Утром они одевались, отец раздраженно обмахивал его веником, и они отправлялись к тете Тоне. Тут было все спокойно, постоянно и так, как, наверно, должно быть. За столом отец обязательно заговаривал о борьбе с

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru вредителями и вредительством, которую он ведет у себя в банке, читал письма, которые писал куда-то в Москву. Читал отец увлеченно и тут же, за обеденным столом, вносил какие-то поправки. Прежде чем написать заглавную букву, он, как бы примериваясь и разминая руку, проводил по воздуху несколько коротких закругленных черточек, затем быстро писал, и опять его рука, прицеливаясь, раздраженно подрагивала над бумагой.

Выправленную фразу отец опять прочитывал – он любил и, как считалось в семье, умел писать. Читал он при всех и спрашивал совета и одобрения.

Ефим слушал его, наклонив голову, иронически оскаливаясь, а тетя Тоня говорила:

– Рыба свежая. Ешьте.

Если за столом сидел Михаил Слатин, отец обращался к нему:

– А что скажут газетчики?

– Не знаю, не знаю, – говорил Мика, – вам виднее.

Волосы у отца тоже начали седеть. Но о седине тети Тони никто не говорил, а седые волосы отца все замечали и говорили о них так игриво, что отец откидывал шевелюру и смеялся. Разговоры об отцовской седине были Анатолию неприятны. Отец казался ему все время к чему-то стремящимся и раздражающимся оттого, что не может полностью добиться того, к чему стремится. Он стремился, например, чтобы у него в комнате было не просто чисто, а очень чисто, и раздражался, если Анатолий ставил какую-нибудь вещь не на место, и всегда смотрел ему на ноги, когда Анатолий входил. Он делал это и открыто: «Вытри ноги о половичок», и скрытно, чтобы Анатолий не заметил. Вдруг войдя в комнату, взглядывал на паркет, и делал свой взгляд рассеянным, если царапин не было, или же, если царапины были, начинал возмущаться, но не тотчас, а взволнованно походив по комнате, скрывая, что увидел царапины сразу. Но Анатолий все равно видел, как отец смотрел на паркет. А если им вдвоем случалось пойти на фабрику-кухню, то и тут отец стремился к тому, чтобы все было по правилам, и раздражался, если скатерть была грязной, а борщи и котлеты плохо приготовленными. Он требовал официантку и шеф-повара и говорил им, что в наше время так готовить и обслуживать советских людей – преступление. И еще он говорил, что время равнодушных прошло, что сейчас время активных, умеющих видеть политику во всем. Из Москвы, где он учился на курсах, отец привез специальные книги и красочные американские журналы с яркими изображениями счетных машин. До сих пор у отца не было ни журналов, ни книг – только газеты.

Анатолию не нравилось, когда у него спрашивали: «Ты знаешь, что отец для тебя живет?» В этот момент взрослые казались ему либо глупыми, либо лицемерными. Но Анатолий всегда был на стороне отца, когда тот говорил, что надо бороться за то, чтобы жизнь была лучше, чем сейчас. А улицу свою и пятиэтажный дом Анатолий мог бы сразу забыть, как будто бы их вовсе не существовало. За все эти годы ни дом, ни улица так и не вошли в его память, будто не жил там Анатолий, а только ждал, когда эта жизнь кончится.

Просмотрев оторванные календарные листочки, Анатолий начинал томиться и выходил на балкон, где к этому времени обычно оставался один отец, – Ефим, высидев с отцом несколько минут и поспорив с ним о договоре с Германией: «Они к нашим границам войска стягивают. Зачем? Ну?» – уходил с газетой в свою комнату. Отец пилкой обрабатывал ногти, рука его, двигавшаяся привычно, как будто он этим всю жизнь занимался, подрагивала от нервного возбуждения: отец никак не мог успокоиться после спора с Ефимом. Сквозь редкую нательную сетку было видно тело отца, белое, безволосое, в редких родинках, нагретое солнцем.

– Не закрывай мне солнце, – скажет не остывшим после спора голосом отец.

Прижатые камнем, чтобы ветер не унес, рядом с отцом прямо на полу балкона лежат газеты. Эти камни Антонина Николаевна держит на балконе, чтобы придавливать ими крышки кастрюль.

– Пойду во двор, – скажет Анатолий.

– Не забегай далеко. Спроси у Тони, когда обед.

Анатолий выйдет во двор и спросит у Антонины Николаевны:

– Тетя Тоня, а где Женя?

– Сама бы у кого-нибудь спросила, да не у кого, – засмеется Антонина Николаевна.
– Не докладывает.

Женя был двоюродным братом, но он редко замечал Анатолия. Он приходил к обеду, садился за стол, и мужчины как-то заискивающе раздвигались. Только Ефим не поднимал головы. Пока Жени не было, отец казался Анатолию крепким, сильным и даже хорошо загоревшим мужчиной. Но когда появлялся Женя, сразу было видно, что и Ефим и даже отец уже очень пожилые люди. А Женя что-то быстро съедал и не задерживался за столом, не ввязывался в разговоры. И хотя он все время улыбался, посмеивался, отвечал на вопросы, было видно, что отвечает он гораздо короче, чем ответил бы своим сверстникам. Женя нравился Анатолию больше, чем громоздкий Мика Слатин. Мика и Женя садились рядом, но Женя ел мало, не пил никогда, а Мика пил и, выпив, предлагал Жене бороться. Они когда-то вместе ходили на каток, на водную станцию, потом Мика бросил и теперь задибался. А Женя смеялся, и было видно, что он уклоняется не потому, что боится громоздкого Мику.

И отец и другие часто спрашивали Мику о газете. Женя на памяти Анатолия задал ему только один вопрос:

– Сколько ты за все это получаешь?

Анатолию хотелось знать, что думает Женя о войне Германии и Англии, о том, придется ли нам воевать. Но Женя на эту тему с Анатолием отказывался разговаривать. Он отделялся неожиданным вопросом:

– А тебе хочется, чтобы была война? Нет? Ну тогда мы с тобой об этом потом поговорим.

Во дворе играли мариупольская и одесская племянницы Антонины Николаевны. Одиннадцатилетняя мариупольская Вика учила десятилетнюю Иру:

– Девушка должна быть надменной!

И показывала, как это: голова откинута, веки опущены. И двоюродные сестры начинали игру. Вика спрашивала «надменно»:

– Ира, ты пойдешь гулять?

Ира отвечала, глядя из-под опущенных век:

– Когда?

Так они разговаривали друг с другом «надменно». Ира живет у Антонины Николаевны давно, она спокойная, тихая, а Вика, нехорошая, истеричная, что-то выдумывает. Мужчина у ворот закурил папиросу, и она плачет, кричит, показывает пальцем: «Там, там!» – и рот у нее кривится. Иру она подговаривает:

– Пойди к Тоне, просись гулять на улицу.

– Тоня не пускает.

– А ты ей надоедай, она отпустит.

Анатолию Вика сказала:

– Ты что ей говоришь – тетя Тоня?

– А как?

– Тоня!

Анатолий был из тех племянников, которые говорили Антонине Николаевне «тетя Тоня». Эта истеричная Вика чувствовала себя здесь более своей, чем он.

Если зайти в это время в комнаты – тишина, только маятник да на балконе иногда газеты шушат. До обеда мужчины не будут разговаривать, но не потому, что неприятны друг другу, а чтобы не выговориться. Потом Семен Николаевич поможет Ефиму раздвинуть обеденный стол, подтащить его поближе к дивану и скажет, глядя на то, как Антонина Николаевна разливает горячий борщ:

– Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!

И глаза его заблестят от радостного чувства. Чувство это вызвано и ощущением семейного благополучия, и верой в то, что благополучие – это следствие чего-то большего, чем просто семейная удача. В этот момент Семену Николаевичу хочется обрадовать всех какими-то умными, значительными словами, которые наполняют смыслом самое простое, самое повседневное. Когда он повторяет сталинские слова, его пронизывает счастье понимания, счастье какой-то большой, не личной, а исторической удачи. Правда, Семен Николаевич шутит немного, но лишь чуть-чуть, только начиная фразу, а потом говорит серьезно и заканчивает с настоящим энтузиазмом и с некоторой застенчивостью, с которой все-таки произносишь такие слова в обыденной обстановке.

А шутит он потому, что все сидят за столом по-домашнему: женщины в летних платьях-сарафанах, с голыми загорелыми плечами, мужчины в майках или нательных сетках, – сидят на низком старом зачехленном диване, потому что стульев на всех не хватает да и ставить их некуда. Анатолий даже уселся на валик дивана, и Семен Николаевич опасается, что, ерзая, он может сломать его.

Пичаевские, деревенские, и выговором и внешностью отличающиеся от южан, они за тридцать лет немало испытали и повидали, но укоренились и вырастили детей.

На столе перед Ефимом стоит бутылка сухого вина, он один пьет такое вино, остальные водку или сладкое – портвейн или вермут. Семен Николаевич разливает водку, поднимает рюмку и с тем же выражением радостного волнения произносит:

– За Сталина!

Ефим слушает Семена Николаевича, наклонив голову и оскалившись иронически.

Но, в общем, все принимают слова Семена Николаевича так, как надо. Правда, ни Антонина Николаевна, ни Ефим, ни сестры Антонины Николаевны – никто из других гостей таких тостов не произносит. Но им вообще не хватает смелости заявить о себе каким-нибудь тостом даже за столом. И они благодарны Семену Николаевичу за его смелость и глупым его не считают за то, что он все норовит повторять слова больших людей. Никогда они не считали себя слишком умными. И ведь на самом деле жить стало лучше, и все, в общем, идет как надо, стоит только посмотреть на этот стол, на эту марлевою занавеску над балконной дверью, которую продувает летний сквозняк, на загорелые руки соседок, послушать эти сытые разговоры не о еде вообще, а о салатах, соусах, сухариках, с которыми лучше готовить отбивные.

К борщу Антонина Николаевна подает свежий хлеб и сухари белого и ржаного хлеба, сушеные в коробе. Сухари она держит в специальном мешочке. Привычка сушить, а не выбрасывать черствеющий хлеб осталась с тяжелых времен, но теперь сухари к супу или борщу – на любителя. Дети, например, размачивают в тарелках сухари – так им больше нравится.

Для Семена Николаевича у Антонины Николаевны есть черствый, слегка подсушенный хлеб – у него больной желудок. Водку Семен Николаевич пьет маленькими глотками, прислушиваясь к тому, как она идет по пищеводу. Это чтобы не обжечь больной желудок – если пьешь медленно, водка впитывается стенками пищевода.

За полчаса перед обедом Семен Николаевич, морщась, принял один порошок, потом еще один. Все видели, как он брал графин с кипяченой водой, налил воду в стакан, как запрокидывал голову и сыпал привычно на язык какой-то порошок из белой бумажки, как потом аккуратно сворачивал бумажку, а порошок держал во рту – давал ему раствориться. И все морщились, ждали, когда же он наконец запьет, чтобы прошла оскомина. В семье не очень-то верили в болезни Семена Николаевича, считали его мнительным – выглядел он человеком здоровым и ни от водки, ни от вина никогда не отказывался.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru И хоть он был раздражительным, нервным, но и жизнерадостным тоже был. Зимой и осенью ходил в одном и том же демисезонном пальто и голову не накрывал. В особые уже холода, в метель, брал шапку в руку и так шел, запорошенный снегом, и лишь изредка подносил руку в перчатке к ушам – не тер, а прикладывал, слегка склоняя голову. И короткий воротник на своем пальто никогда не поднимал, как бы ни сыпал снег. Пальто у него было старое, изменившее свой первоначальный цвет и вид, но по-прежнему аккуратное, и вся его одежда – и брюки, и два костюма, и рубашки, и косоворотки – были старыми, штопаными, но аккуратными. Стоило посмотреть, как он снимает запорошенное снегом пальто, выворачивает его особым образом и встряхивает, отказываясь от веника, который выносят хозяева – под веником снег тает, и пальто отсыревает, – чтобы почувствовать, как умело и аккуратно Семен Николаевич обращается с вещами.

Лет с тринадцати он работал мальчиком в магазине и до сих пор умел необыкновенно хорошо сворачивать бумажные пакеты. Каждое воскресенье он приносил Антонине Николаевне на стирку свои рубашки и забирал постиранное. Рубашки сворачивал сам, делал из них удивительные конверты, а затем эти конверты заворачивал в бумагу – и сверток получался идеальным.

И туфли свои носил очень долго. Даже парусиновые белые не менял по несколько сезонов. Не сбивал каблуки, не стирал подошвы.

Чистил их два раза в день. Когда шел к Антонине Николаевне и когда уходил от нее. Вернее, за час до того, как собирался уйти, потому что туфли мокрели, становились серыми и нужно было время, чтобы они просохли.

И хотя его аккуратность в семье считали нудноватой, но и уважали его за эту аккуратность: холостой мужчина, так тщательно следящий за собой! И не отказывали, когда он просил сестер что-то ему почистить или постирать. Он и не просил ничего чрезмерного – так, рубашки, которые жаль отдавать в прачечную, чтобы не испортили. А паркетные полы у себя в комнате натирал сам.

* * *

22 июня 1941 года семья собралась к столу без молодых: Валентина еще утром ушла из дому с Вовкой, Женя уехал на завод. Ждали Мику Слатина, но и он не явился. Семен Николаевич надеялся, что Мика что-то расскажет. Может, все еще прояснится, и окажется, что это не война, а просто очередная грандиозная провокация.

Ефим расхаживал по комнате, на лицо его невыносимо было смотреть: такое хищное и презрительное выражение появлялось у него, когда Семен Николаевич рассуждал о возможности большой провокации.

Сбылись самые худшие прогнозы Ефима, но и сейчас он со своей желчностью был один в семье. Антонина Николаевна, Анатолий с большим вниманием прислушивались к тому, что говорил Семен Николаевич.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На следующий день после начала войны завод перешел на военную продукцию. Делали трубы и опорные плиты для минометов.

Когда Женя потом вспоминал первые военные месяцы на заводе, они ему представлялись сплошной ночной сменой, хотя работал он и ночью и днем, а случалось, сутками не уходил домой.

До войны Женя даже любил работать в ночной смене. Ночью завод менялся. Он становился шире, пространственней и тише. В ночную смену работали не все цехи, а там, где работали, будто увеличивалось расстояние от станка до станка – в ночь выходило меньше рабочих. В литейном выше поднимался потолок. Под потолком и днем было темновато, а ночью он исчезал совсем – над станками горели электрические лампочки, и за этими лампочками уже ничего не было видно. Грохот формовочных станков переставал сливаться – слышно, как работают отдельные станки, можно было даже разобрать человеческие голоса. Придешь к себе, включишь над верстаком свет, пройдешь по мастерской из конца в конец – один! За дверью литейный цех, грохот, дым от холодных сквозняков, а здесь комнатная неподвижность воздуха, тишина и рядом с верстаком высокая трехногая табуретка. И комнатная неподвижность воздуха, и тишина, и табуретки – все это не так-то просто дается на заводе. Станков, тачек, сварочных аппаратов, электрокаров на заводе тысячи, и все это – под огромными потолками огромных цехов. Все в тесноте, движении и шуме, все на

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru глазами друг у друга... Цехов с закрывающимися дверями, за которыми не очень холодно зимой и не так-то уж жарко летом, совсем немного. Здесь работают те, у кого золотые или, если угодно, умные руки. Входя в свою мастерскую, Женя не мог не чувствовать этого перехода от цехового грохота к спокойствию мастерской. Работалось ночью Жене всегда хорошо. Руки не слабели, мозг работал ясно, и глаза видели как будто даже острее, чем днем. С заданием Женя справлялся за час-полтора до конца смены. Он мог бы обернуться и быстрее, но никогда не спешил – к работе у него был интерес, а жадности не было. Что касается денег, которые платят за сверхурочные, то тут Женя исходил из того, что всех денег все равно не заработаешь.

В оставшееся до конца смены время Женя чистил и затачивал инструменты, делал заготовки и думал. Ночью само течение времени казалось Жене значительным. Валентина спит, мать и Ефим спят, Вовка спит, сколько людей спит, для них это время мертво, а Женя работает, и для него это время живо. Но живо не так, как днем. Все-таки это не дневное, а ночное время. И к чему ни прикоснешься, все поворачивается какой-то непривычной, не примеченной днем стороной, заставляет думать. Будто побывал человек там, где ему природой не положено быть. Не то чтобы эти мысли были какими-то значительными – нет. Но они были медленными, какими-то объемными, непрерывными и чем-то приятными. Чем – Женя так и не знал, потому что мысли эти никогда не додумывались до конца. Уходя домой, Женя испытывал странное удовлетворение оттого, что это надо еще додумать днем, на свежую голову, но всегда днем об этом забывал.

И еще эти мысли были приятны тем, что как бы не связывались с работой. Руки делали свое, а мысли шли своим путем. Днем такого разрыва не было. Днем вообще не было места каким бы то ни было мыслям. В мастерской всегда было много народу, всегда шумно. Днем голова была просто отключена – работали руки. И время проходило суетливой, быстрее, неотличимой. Сегодня – как вчера, вчера – как на прошлой неделе. А ночью время как бы обновлялось, становилось объемным, окрашенным, тяжеловатым, но и торжественным. И потом эта торжественность распространялась на весь день. Утром хорошо уходишь с завода. Было что-то неправдоподобное в том, что ты идешь навстречу густому потоку спешащих людей. Им только начинать, а ты уже все сделал. Трамвай на конечной остановке пуст. Дома кровать разобрана – Валентина перед тем, как убежать, расправила простыню, взбила подушку, а угол одеяла отвернула. Ложись. Часы тикают. В комнатах не разговаривают, и день видишь перевернутым и еще таким, каким он видится отпускникам, большим, домохозяйкам и детям. В обычные дни Женя редко читал художественную литературу, а когда приходил после ночной, его тянуло почитать. Вообще в этой странной перестановке привычных дел было что-то заманчивое. Придут с работы – ты всех встречаешь. Со всеми обедаешь, даже в кино можно с Валентиной успеть. Правда, после шести-семи вечера внутри начинает посасывать – надо что-то сделать, прилечь или побриться. Дома уже что-то мешает: то ли сын громко кричит, то ли Ефим с кем-то зло спорит, показывает дурной характер. И ты в конце концов прощаешься, едешь на завод в ночном трамвае вместе с теми, кто возвращается из театра или просто после шарканья по главной улице.

За несколько военных месяцев все изменилось. Сутки теперь были поделены не на три, а на две смены. И ночная смена начиналась еще при полном свете этого дня. Человек в первый раз уставал еще и в этом дне. Уставал оттого, что несколько часов ждал, пока кончится этот день, и начнется тот, с которого и можно будет начать отсчет истинной ночной смены; уставал от работы и потому, что все люди, работающие и не работающие, к полуночи устают. Тер глаза, утомленные сумерками, а потом темнотой, обожженные электрическим светом, очень сильным, но все же не способным высветить все углы цеха, в котором так много станков, такой густой и дымный воздух и так много темного цвета: глухого цвета асфальтового или цементного пола, пыльного цвета станков, темного цвета необработанного железа. Этот темный цвет поглощал огромное количество электрического света, и глаза человека уставали от постоянной борьбы света и темноты. Так было и раньше, но теперь из-за светомаскировки в цехах убрали много верхних лампочек, светивших всем, и станочникам и подсобникам, и оставили лампочки, направленные на станки. Свет этих ламп рикошетирует от блестящих поверхностей токарных, фрезерных, сверлильных станков, от прессов и ножей гильотин. Всплески рикошетирующего света, то яркие, то тусклые, будто пригашенные в станочной щелочной воде, тоже сильно утомляли людей.

К полуночи приходила, быть может, самая тяжелая за всю ночь усталость. Люди здоровые переживали первый приступ сонливости. Цеховые звуки начинали терять

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru свое истинное значение, таять, гул станков как бы выносился на улицу, а свет лампочки над станком мерк, мерк, становился мягким, красноватым, потому что смотрели на него сквозь сомкнутые веки.

Люди со слабой нервной системой, уже успевшие получить военные невроты, уставали еще быстрее. Ночная смена не давала им и днем остыть от цехового лязга. Их усталость размыкалась только тогда, когда они работали днем, а ночью спали. А днем не очень-то поспишь, а поспишь – не выспишься. Переход в ночную был теперь особенно тяжел потому, что каждое воскресенье начиналось воскресником.

Но хуже всего приходилось подросткам, пришедшим из ремесленных и фабрично-заводских училищ. Не научившиеся еще планировать свою жизнь не то что в пределах месяца, но даже одного дня, они неожиданно стали мобилизованными. И голод, и холод, и общежитейское сиротство (война в любой момент могла их сделать сиротами настоящими), и ночная смена – все это страшно изнуряло ребят. Все вместе они, конечно, это переносили. Но было удивительно, как это переносил каждый из них.

Ребята первыми заметили, как быстро город из места, где много еды, превратился в место, где голодают. В считанные недели, а может быть, даже дни – теперь это уже трудно вспомнить – продукты схлынули с магазинных полок. Закрылись или почти закрылись многие гастрономические, кондитерские, бакалейные магазины – торговать стало нечем. Раньше они были самыми скромными в городе, а теперь очереди к ним занимали с ночи, на рассвете приходили на переключку и еще в темноте становились на свои места и ждали, пока приедет хлебная развозка.

У взрослых, родившихся в начале века, был опыт, и они постепенно начали приспособливаться. А ребята вдруг остались один на один со всей этой пайковой безнадежностью и невозможностью. Они первые почувствовали, как обезжирился, лишился запахов пищи заводской воздух. Кто бы мог подумать, что раньше в заводском воздухе присутствовали запахи пищи! При больших заводских цехах были столовые. И раньше в них пищей пахло меньше, чем заводом, цехом, спецовками, эфиром, а теперь в этих заводских столовых уже совсем не пахло едой, а только цементными полами, окатанными водой цинковыми раздаточными прилавками и паром.

Обилие станков, железа, цемента, камня – всего того, что нельзя есть, – теперь бросалось в глаза ребятам. Все это и раньше было здесь: электроточилка с грубыми обдирочными и мелкозернистыми шлифовальными камнями, молочного цвета щелочная вода, охлаждающая резцы токарных и сверлильных станков, маслянисто-желтый песок и земля для формовочной массы, рукоятки из прекрасного дерева на фрезерных станках, переплетения электрических проводов, – но раньше все это не мучило своим видом и уж никак не напоминало и как будто бы и не могло напоминать о еде. Еда была сама по себе, а цех сам по себе. Еда была в столовых, но раньше, должно быть, сам воздух в цехе был сытым, и потому, например, так просто можно было смотреть на крашенные зеленым, лоснящиеся от подтекающей смазки кожухи электромоторов или на то, как кто-то набивает металлической лопаткой скользкий и жирный цилиндр тавотницы тавотом. Ребят мучила неосознанная мысль: если всего этого так много, если так много кирпича, бетона, так много точных приборов, мраморных щитов электросети, рубильников, так много тачек и электрокаров, так много красивой медной проволоки и вообще этих шурупов, гаек – простых и сложных вещей, – то должно быть и много еды.

От голода ребята болели изжогой. Это была заводская изжога. Начиналась она не в желудке, а в легких.

И раньше мальчишки любили лазить в отдаленных местах заводского двора, где ржавеет бракованное железо. Теперь их туда вела та же неосознанная мысль – может быть, именно в этих забытых взрослыми местах сохранилось то, что можно есть.

Ночью перед сном подростки были беззащитнее всех.

Правда, они же как будто быстрее всех приспособивались к бессоннице. Из механических цехов многие добровольно переходили в литейный. Взрослых забирали в армию, и бывшие ремесленники становились к формовочным станкам. Багровые вспышки расплавленного металла в копотном свете, пулеметный грохот формовочных станков, рев от конверторного литья, малиновый отсвет остывающих после литья корпусов будущих мин больше всего напоминали фронт и фронттовую работу. И многие шли сюда добровольно. «На прорыв», то есть когда в армию уходило особенно много людей, к

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
формовочным станкам становились револьверщики, лекальщики, слесари-инструментальщики и те из ремесленников, которые были здоровьем покрепче. Комитет комсомола теперь был почти круглосуточно открыт. Котляров ночью проходил по цеху, останавливался у формовки, просил:

– Ребята, постарайтесь и за меня. – Похлопывал по желтому протезу: – Руку, гады, оторвали, а то бы я их тоже. – И улыбался живым глазом, топорщил в улыбке командирские усыки.

В грохоте литейного цеха, в горячке работы не все было слышно из того, что говорил, вернее, кричал Котляров. Но ребята видели, что он поворачивался к ним своей живой, улыбающейся половиной лица.

Литейный, пожалуй, был единственным на заводе цехом, в котором люди почти не замечали перепадов сонливости – слишком плотным был здесь грохот, слишком потной и горячей работа. Да и работали формовщики в паре. Ни на минуту не оставались сами с собой или со своим станком. Зато утром в толпе литейщиков можно было узнать по глазам. Они блестели у них, как у людей, перенесших болезнь на ногах. За неделю работы в литейном вчерашний паренек становился взрослым. Терялась суетливость движений, походка делалась спокойной, расчетливой, как у человека, который знает, зачем бережет силы. С достоинством получали они дополнительный паек за горячую и тяжелую работу. Они становились рабочими, и взрослые рабочие сами постепенно переставали их выделять, считать младшими. Ежедневно в литейном вывешивались две «молнии»: ночная и дневная смена показывали, сколько мин они дали фронту. У «молнии» останавливались, цифры сопоставляли ревниво. Тут же, у этих «молний», вывешивались фронтовые сводки, призывы: «Заменим у станков тридцать семь товарищей, ушедших на фронт бить наглого врага!», «В цехе как на фронте!», «Фронт ждет снарядов!», «Товарищ литейщик, минута простоя конвейера – двадцать батальонных минометов без мин!»

Самые дисциплинированные рабочие были в литейном цехе. Самоуважению, сосредоточенности учила работа с расплавленным металлом. В цехе поднимался крик, когда мостовой кран нес ковш с металлом. Сам ковш казался черным оттого, что воздух над ним был накален до красноты. Воздух горел над расплавленной поверхностью металла. Металл горел ровно, но искры, которые он выплескивал, на лету схватывались чернотой, окалиной. Бежать надо было от такого ковша, и те, кто его сопровождал, для этого и кричали. Но люди кидались к ковшу, занимали свои места.

Литейщики охотнее всех оставались на сверхурочные...

Во вторую половину ночной смены, когда проходила первая, естественная, здоровая и потому самая тяжелая сонливость, взрослые чувствовали, как сон отступал, а из мышц исчезала та тяжесть, которая делает приятным ощущение своего тела. Печи и руки становились неощущаемыми и потому неверными. Все тело делалось неощущаемым. И все в цехе становилось шире, холоднее и выше. Сосед, который стоял рядом с тобой, теперь, казалось, отодвинулся очень далеко, так что и крикнуть ему трудно – надо напрягаться. Опасно менять ритм своих движений – трудно к нему вернуться. И вообще, если ты раньше ориентировался в шуме станков, мог по желанию прислушаться к тому, что делается за десять метров (для этого надо сосредоточиться на том, что тебе нужно), то теперь всякая сосредоточенность была физически неприятной. Какая-то жилка билась у тебя в виске. Она билась в ритме цехового гула, и менять этот ритм, отвлекаться от этого гула было болезненно. Со стороны не видно, как ты устал. Те же движения, тот же ритм, тот же наклон головы, только кожа на лице посерела, стала как у шофера к концу рабочего дня, будто вся в тонкой бензиновой пыли; но ведь не увидишь глазами, обожженными усталостью и электрическим светом, как меняется цвет кожи на лице твоего соседа. И только по тому, как часто стал промахиваться, закладывая деталь в патрон, как много лишних движений сделал, пока поймал пальцами промасленную заготовку, сам замечаешь, как легки и неверны твои руки.

Однако когда гудела сирена на перерыв, люди не пытались вздремнуть. Переставали свистеть приводные ремни на старых станках, с коротким воем затихали электромоторы новых – наступала тишина, от которой все клетки организма, вибрировавшие в цеховом гуле, успели отвыкнуть. И только в вышине, под потолком цеха, еще продолжало характерно щелкать электрическое реле – это крановщик, который «держал» на крюке своего крана деталь, прежде чем спуститься вниз, ставил ее на место. С минуту крановая каретка, за которой теперь невольно

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru наблюдали все, делала маневры, и промасленный трос начинал разматываться – крюк с грузом шел вниз.

На время перерыва сонливость исчезала. Люди собирались у сушильных печей, у газовых горелок, садились на горячие трубы радиаторов, терли руки ветошью. До войны это имело самый определенный смысл – руки вытирали для того, чтобы развернуть сверток с едой.

Перерыв был самым голодным временем за смену. Как раз в перерыв и вспоминалось, что сейчас время есть. Настроение было напряженным. Часть цехов была эвакуирована, они стояли ободранными, без станков, без электропроводки, с зарядами тола, заложенными в специальные камеры. Эти камеры долбили в стенах цехов специальные команды и те заводские ребята, которые были в эти команды назначены. Камеры были готовы и в тех цехах, где работа шла полным ходом, и в тех, где собственные краны снимали с фундаментов станки. И хотя можно привыкнуть к тому, что работаешь рядом с мощным зарядом тола, забыть об этом все же нельзя. Немцы продолжали наступать, и сообщения в газетах делались все более смутными. И хотя неизвестно, кого в этом нужно винить, виновного нашли бы и тут, у сушильной печи, если бы люди дали волю своему раздражению. Все друг друга знали хорошо, помнили, кто и что до войны говорил на собраниях. Однако настроение было мрачное, а разговоры мрачными не были. Говорили те, кто умел это делать лихо. В ходу была шутка о калориях. О том, что тонна воды по калорийности заменяет грамм сливочного масла.

Вчерашние ремесленники, мальчишки, учились здесь тому, как вести себя на заводе, учились верному тону, обязательному для всех, кто уважает себя. Были мелочи, которые перенимались бессознательно, а были и такие, которые требовали наблюдательности и душевной дисциплины. Как ни мал перерыв, с грязными руками нельзя подойти к людям. Руки надо тщательно отмыть маслом или керосином, продрать их песком, вытереть ветошью. Работаешь в грязи – покажи свою чистоплотность. Если кто-то скромно жует в сторонке, а у тебя хлеб уже съеден, посмотри на него равнодушно и отчужденно. Долго смотреть или слишком быстро отводить глаза одинаково неприлично. Садись на радиатор, на кучу разогретого песка, на металлическую чушку – подложи рабочие рукавицы, свернутый брезентовый фартук, если он у тебя есть, найди кусок картона – просто так не садись. Если в компании больше трех человек, говорить об усталости, слабости, голоде, вообще на что-то жаловаться – верх неприличия. Пожаловаться на то, что одолевает сон или голод, можно, только если ты с приятелем вдвоем. А если вас уже трое, лучше всего уверять, что ни спать, ни есть не хочется и никогда не хотелось. Для того чтобы это звучало убедительно, нужно выработать убедительное выражение лица – холодность, за которой просматривается угроза: «Я говорю, значит, так и есть!» Если же тебя уличили в том, что ты дремал над станком, лучше всего посмеяться первому над собой. Вообще голод, холод, сонливость, болезненность годятся только для того, чтобы смеяться над ними. Мальчишки учились достоинству. И тот, кто не стеснялся обнаруживать свою слабость, осуждался и осмеивался прежде всего потому, что он нарушал приличия.

Обнаруживать свою слабость было никак нельзя еще и потому, что, помимо всего прочего, существовало убеждение: может быть, немцы и сильнее нас пока технически, но уж, конечно, духовно наши люди мужественнее. И если это еще не сказалось на фронте, рано или поздно все равно скажется.

Что-либо просить – плохо. Но можно попросить докурить. Однако твое достоинство пострадает меньше, если ты будешь не первым в очереди. Собственно, просит первый – следующие только занимают очередь. Однако и тут есть своя тонкость. Нельзя терять лицо и занимать очередь, скажем, пятым или шестым. Все равно от папиросы ничего не останется.

В общем, немало надо знать, от многих соблазнов нужно себя уберечь, чтобы сохранить достоинство и не потерять лицо. И никогда, кажется, мальчишкам не приходилось так много учиться достоинству, как в эти военные месяцы.

Среди взрослых они выделяли, как сказали бы теперь, авторитетных. На перерывах разыскивали их, старались держаться поближе. Сохраняли им верность, о которой сами взрослые не догадывались. Женя, несомненно, был авторитетным. Нравилась его рассудительность, спокойствие, немногословность. Нравилась готовность к улыбке. Мальчишки покуривали, а Женя не курил, и это нравилось тоже. Мальчишки понимали, что это обеспечивало ему в чем-то независимость. На перерывах многие были

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru обеспокоены желанием покурить, а Женя был выше этого. Чистоплотность и бодрость его тоже, казалось, не зависели от времени суток, от длины смены, от работы, которую он выполнял. За эти месяцы Женя работал не только на переналадке конвейера, не только готовил модели для нового литья, но становился на время прорывов на формовку, разгружал и нагружал вагоны. Теперь часто случались авралы. «Не своя» работа раздражает. Женя тем и был хорош, что не умел обижаться на любую работу. И ребята чувствовали это. Они видели, что Женя так же ловок с лопатой, как с молотком и зубилом. Мальчишки, конечно, не думали об этом такими словами, но они очень хорошо чувствовали: дело не только в работе, в войне – дело в том, как Женя относится ко всей жизни. И снисходителен Женя был. Кто-то накричит на ремесленника, а Женя и раздраженного и обиженного успокоит какой-нибудь фразой...

..Опять гудела сирена. Люди сидели еще несколько минут – вставать никак не хотелось, – но где-то хлопал приводной ремень, над станком зажигалась выключенная на время перерыва лампочка, кто-то включал общий рубильник, и свет зажигался везде. Включался с воем электромотор, с характерным всасывающим звуком щелкало реле на мостовом кране, промасленный трос медленно наматывался на барабан, крюк, покачиваясь, шел вверх. Люди вставали, шли к станкам, а кое-кто только после sireны направлялся в уборную – продлевал себе перерыв. В цехе включался обычный шум. Становилось холоднее. Падала температура на улице и в цехе, падала сопротивляемость организма холоду. Гул снаружи и гуд внутри очень быстро, за несколько минут, съедали бодрость, накопленную во время перерыва. Завод опять включался на полную мощность, а люди уставали все больше и больше, все меньше попевали за своими станками, все хуже ориентировались в заводском грохоте и электрическом свете. Они теряли в весе и росте. Им было уже слишком много работы, шума, слишком много завода, но они продолжали и продолжали работать. И вдруг среди грохота станков замечали, что дверь на улицу, брошенная кем-то открытой, посерела. Начинался рассвет.

Минут за двадцать до конца смены по цеху проходил кто-то из дневных. То ли мастер явился пораньше участок принимать, то ли у человека дома часы остановились, и он побоялся опоздать. Человека замечали, это было сигналом для всех расслабиться. За десять минут до sireны станки всюду выключались – десять минут даются на уборку рабочего места. Под сводами цеха скапливалась рассветная серость, уши глохли от тишины. Все, что так долго мучило, внезапно отступало, работа закончена, сонливость смята рассветным холодом, осталась надежда услышать от тех, кто идет на завод, какие-то обнадеживающие новости. И попросить у кого-то докурить. Эта надежда жива, пока ты еще в цехе. Поэтому ночники немного мешкают на своих рабочих местах, собираются у конторки мастера.

С завода идут навстречу потоку дневных. Несколько минут равновесия между сменами – как бы ничейное время, его еще не жалко, и оно проходит по-человечески. Но уже что-то потихоньку начинает сосать внутри: вот-вот прогудит сирена – и время побежит минута за минутой, а еще надо ехать трамваем домой, ложиться в кровать и ловить сон. А сон не будет идти...

* * *

Еще запомнился Жене утренний завод. Ноябрьский заводской двор. Железо отяжелело от первого мороза. Лежит ржавыми ледяными глыбами. Снега еще нет, только земля отвердела и кое-где в ямках сухой, засыпанный пылью лед недавних луж. И все бы ничего – только вот железо! То же на вид, та же ржавчина, но что-то все-таки с ним произошло. Никак оно не может примерзнуть к деревянным подкладкам, на которых лежит, а кажется, что примерзло. Станешь поднимать – не оторвешь. Нельзя этого делать нормальными руками в такой мороз, страшно. Выходя на заводской двор после ночной смены, Женя видит ремесленников и сам чувствует – опять в твоей жизни новое утро, новый мороз, совсем не такой, как в мирное время, а другой, военный мороз. Из рта у тебя идет пар, но пара этого совсем немного, мало тепла у тебя внутри, и с каждой дозой выпущенного пара его становится все меньше и меньше. И весь двор перед тобой в стальных ржавых слитках льда. И железный этот лед ребятам надо брать руками и носить. Поэтому они в эти первые утренние минуты кажутся себе маленькими. Кажутся, пока жалость к самому себе не пройдет несколько мгновений стадий и не упрется в этот железный двор, в эту железную необходимость, в этот холодный мороз с клубами заводского медленного пара над котельной, с длинными двенадцатью часами заводской смены впереди, когда среди дня выдается несколько сравнительно теплых часов, так что даже поверхность сухих ледяных луж на солнце немного помокреет. И вслед за кем-нибудь они шагают из холодного помещения во двор. Мороз неподвижный сменяется для них морозом на

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru ветру. В ледяном помещении холодом охватывало, коченило, а теперь продувает. И тут надо или бежать назад, или же идти вперед, хватать железо и, удивившись тому, что оно поддается, тащить его в цех. Давай, подсобник, работай!

Несколько раз Женя добровольно вызывался разбирать не остывший еще огнеупорный кирпич в электропечи. Кирпич разрушается после нескольких плавок, поэтому одна из двух печей всегда в ремонте, а другая дает сталь. В первые же военные дни в цехе решили сократить сроки ремонта. И Женя с отбойным молотком первым полез в электропечь. Прокаленный вулканическим огнем электропечи, кирпич остро пахнет креозотом, смолой. С печи снята многотонная металлическая крышка, к кирпичу уже можно прикоснуться рукой без рукавицы. Но только первое ощущение таково, что жар кажется терпимым. Через мгновение кожу опалает. Жар поднимается по ногам. Отбойный молоток как будто пробивается к самому центру вулканического жара. На потную кожу садится едкая, пахнущая креозотом, горячая пыль. Несколько отбойных молотков тучей поднимает ее, обостряя запах смолы. Грохот сливается с жаром и темнотой – электрический свет перестает пробиваться сквозь пыль. Толстые каучуковые подошвы из обрезков автомобильных шин накаляются так, что стоять на них невозможно. Через них ты уже прямо соединен с окаменевшим, застывшим в кирпиче огнем вчерашней плавки. И вообще уже можно представить, что творится здесь, когда плавится металл! Ребята выпрыгивают из печи пить воду. Женя кричит:

– Не пейте!

Пить бесполезно. Вода тут же выливается через поры и только сильнее притягивает к коже горячую пыль. Чтобы осела пыль, перестают работать отбойными молотками. Но это даже не пыль – кирпичная пепельная вулканическая пудра. Она так тонка, что легко держится в горячем воздухе, проникает в рот, прикипает к щеке. Но все-таки пепельная темнота рассеивается, видны шланги, идущие к отбойным молоткам, красноватая внутренность разбитого кирпича. Поверхность кирпича – оплавленное, пузырящееся стекло. Но внутри это еще кирпич, а естественная его краснота на изломе кажется неостывшим огнем. Под печи особенно изуродован плавкой. Он весь в фиолетовых напльвах шлака, лопата, наталкиваясь на них, издает стеклянный звук. Кирпич так плотно сплавлен, так слился, что приобрел металлическую плотность и звонкость. Пика молотка отскакивает со звоном, напрасно ищешь место послабее – шов или трещину. Везде кирпичная броня. Не очень понятно даже, зачем ее разбивать. Опять включают молотки – грохот и лихорадочный ритм, военная работа. Но дело подвигается медленно. В цехе дневной свет сменяется на вечерний, а в печи все пыльная, пепельная, электрическая темнота. Никто не уходит – добровольцы! Кричат, ругаются, смеются. Без крика тут работать нельзя.

На заводе теперь работал Женин младший двоюродный брат, сын Семена Николаевича Анатолий. Его «устроили» в электромастерскую при заводском гараже. Работу ему на первых порах дали самую простую – выбивать тонкие длинные палочки, которые удерживали и изолировали на якоре электрообмотку. В мастерской была обычная для таких мастерских чистота. Цементные полы подметены, но подошвы ботинок слегка скользят, все металлические предметы лоснятся от смазки, даже рукоятка молотка на ощупь жирна. Работать не выпачкавшись невозможно. Если раньше Анатолий выпачкивался, он немедленно мылся. Теперь выпачкиваться надо было на весь день. И он по неумелости и неопытности выпачкивался гораздо больше, чем другие. Он выбивал палочки, снимал старую обмотку – «раздевал» электроякоря, – а лицо и шея у него были в масле. В обеденный перерыв он шел к Жене в мастерскую. Там во всю длину комнаты вдоль окон тянулся верстак. Он был похож на большой кухонный стол с дверцами, за которыми были полки с инструментами. А сама доска стола была толстая, тяжелая, со стесанными, скругленными краями и такая промасленная, что масло из нее должно было сочиться. На ней в ряд были укреплены тиски, рядом с тисками лежали толстые железные плитки – маленькие наковальни, – чтобы можно было тут, на верстаке, бить молотком по детали. Еще в мастерской были токарные станки, сверлильный станочек, ручная гильотина и балка или рельс с ручной талью, но главным все-таки был верстак. От него, кажется, от его темного цвета, от залапанных тисков и тускло поблескивающих, поцарапанных плит-наковален (каждая плита оттого, что по ней много били, была вогнута) шло в мастерскую тепло.

Женя, увидев Анатолия, улыбался.

– А, уже время! – говорил он, как будто сам не замечал, пришел ли уже обеденный перерыв, открывал дверцы под своими тисками и доставал сверток с едой.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Женина улыбка никогда не обижала Анатолия. Даже если в мастерской было много народу, Анатолий смотрел на всех, а видел Женю. А Женя освобождал место на верстаке, откладывал в сторону зубило, гвозди, какие-то металлические и деревянные детали.

– Чтобы не съесть, – говорил он.

В свертке бывал хлеб, намазанный жидким повидлом, иногда перловая каша в кастрюльке. Семен Николаевич был в армии, отчима Анатолия взяли еще раньше, мать работала, Анатолий после семилетки пошел на завод, и как-то само собой получилось, что заботу о том, что он будет есть на заводе во время обеденных перерывов, взяла на себя Антонина Николаевна. Исчезли жиры, не хватало соли. Резко уменьшилось не только количество разных продуктов – происходило какое-то военное уничтожение вкусовых качеств этих разных продуктов. Все они стали чем-то напоминать перловку. Но Антонина Николаевна и перловку умела готовить так, чтобы она не имела шрапнельной твердости и вкуса. Как-то поджаривала ее на сухой сковородке, томила в кастрюле, пока у перловки не появлялся слабый гречневый запах. И когда Женя снимал крышку с кастрюльки и подвигал ее к Анатолию, Анатолий слышал этот домашний запах.

И раньше тетя Тоня, ее темная от раннего рыночного и дворового печного загара кожа открытых рук, ее седеющие волосы под платочком – платок для того, чтобы волос не попал в борщ или соус, – как-то соединялись у Анатолия с запахом свежих салатов и сдобного теста. А теперь мысли о тете Тоне совершенно соединились с едой. Антонина Николаевна всегда за столом казалась Анатолию усталой, потому что ела мало. Она бы совсем не ела, но боялась обидеть гостей. Она охотно рассказывала, как вымочить и выварить мясо кролика, чтобы оно по вкусу напоминало куриное, как надо не упустить момент, когда домашняя икра из синеньких станет на сковородке скользкой, но сама в этот момент и на кролика и на икру смотрела равнодушно. И теперь, когда Анатолий приходил в дом в Братском переулке, Антонина Николаевна лезла в короб, ставила перед ним картошку, соль, отрезала ломоть хлеба и смотрела, как он ел. И еще запомнилась тетя Тоня Анатолию с кастрюльками в больницах. Кто-то из пожилых родственников постоянно болел, и Антонина Николаевна неизменно приходила в больницу со своими кастрюльками.

И Женя, и Валентина, и Ефим в эти первые военные месяцы не голодали.

К ноябрю большую половину завода уже вывезли. Еще в начале августа по цехам прошли сумрачные военные в сопровождении главного инженера. И хотя ничего не было сказано, в тот же день все знали – будут вывозить станки, а здание готовить к взрыву. В те дни отношение к армии еще только начало складываться. Не к той армии, которую люди видели на парадах и в кино, а к той, что пришла в город и стала здесь главной властью, властью в форме, которая оттеснила и городскую, и заводскую администрацию, и милицию, и НКВД. Потому что все, что решит армия, теперь касалось каждого. Это была власть, усиленная стократно. С этим чувством люди смотрели на группу военных в полевых гимнастерках. Военные шли вслед за главным инженером. Он им что-то показывал, а они будто и не слушали, только двое что-то записывали, раскрыв свои планшеты.

Завод был одним из крупнейших в стране, с 23 июня, когда с потока была снята обычная продукция, он работал только на войну. И то, что такой завод, расположенный так далеко от фронта, от западной границы, стали подготавливать к взрыву, к уничтожению, поразило всех. Не было цеха, мастерской, складского помещения, где об этом не говорили бы во время обеденных перерывов или перед работой. На военных, готовивших взрывные камеры, смотрели с недоверием. Говорили, что если это предусмотрительность, то она хуже всякой халатности, потому что приводит за собой такую мысль, которая сама по себе не имеет права на существование, – военные расписываются в том, о чем они по природе своей не имеют права даже думать. Они допускают, что немцы могут прийти и сюда. Говорили о том, что это, конечно, тыловые военные, что это следствие тылового страха и тыловой предусмотрительности, за которую надо было бы кое-кого как следует взгреть. И никакие собрания, на которых проводилась специальная разъяснительная работа (нечего паниковать, суровой действительности надо уметь смотреть в глаза, предусмотрительность есть предусмотрительность, приказы не обсуждают, а выполняют и т. д.), не могли помешать этим разговорам. Анатолий их слышал и у себя в электромастерской и у модельщиков, когда приходил к жене обедать. Он и сам в них участвовал, и дома говорил об этом с матерью.

В эти дни Женя подал заявление в военкомат. У Жени по этому поводу были свои соображения. Он считал, что нескромно добиваться зачисления добровольцем туда, куда тебя и так возьмут по мобилизационному плану. Он с самого начала считал, что война большая, хватит на всех, со дня на день ждал повестки. Но и у него все усиливалось беспокойное чувство: где-то без тебя что-то не так делают. Однако ему сказали, что он нужен на заводе. Перестраивался весь поток, и без высококвалифицированных мастеров не обойтись. Может, Женю этот ответ и удовлетворил бы, но и на всем заводе и в мастерской постоянно происходили изменения: людей забирали в армию. Каждый день кто-то приходил прощаться, а Женя оставался на своем месте, за своим верстаком. Поэтому он еще раз подал заявление. Но и на этот раз его оставили на заводе.

То, что завод готовили к взрыву, потрясло Валентину. Сколько людей в армии, сколько мужиков – и отступают! То, что у немцев больше техники – танков, самолетов, – не казалось Валентине достаточным объяснением того, что немцы наступают. Если бы каждый стоял насмерть, ни танки, ни самолеты не прошли бы. Ее сжигала невозможность перелить свою страсть в других. Раньше, на собраниях, ей казалось, что страсть, сжигающая ее, разлита во всех равномерно. Раньше ей казалось, что нет ничего проще, как перелить свою страсть в других, если, конечно, они, как Ольгин муж Гришка или сама Ольга, не оглохли к голосу большой правды. Валентина знала, что ее считают раздражительной. Женя никогда ей этого не говорил, но, несомненно, считал ее раздражительной. И Антонина Николаевна считала ее раздражительной, а девчонки из общежития, с которыми ей приходилось жить, слегка опасались ее. Но оказывается, она была еще недостаточно решительной и бдительной.

Сейчас не время для спокойных, для тех, кто хорошо считает. Как ни считай, результат будет не в нашу пользу. Вся Европа работает на Гитлера – драться надо, а не считать. Слово «предательство» тоже ей ничего не объясняло. Как можно предать миллион вооруженных мужчин! А ведь речь шла именно о миллионах! Вначале Валентина ждала, что немцев остановит кадровая армия, потом стала ждать, когда в армию вольются рабочие, мобилизованные на заводах, – они будут стоять насмерть. Но немцы продолжали наступать, и Валентина стала присматриваться к тем, кто работал рядом с ней. Она опять вернулась в шисьельный цех, стояла в ряд со всеми, набивала формы шисьельной массой, ее сделали бригадиром. Она первая подписывалась на заем, брала на себя повышенные обязательства и только в одном испытывала неудобство перед своими женщинами – когда оставляла их на собрания. Собраний теперь было очень много. Бывало, до конца смены несколько минут, и все решали, что сегодня обойдется, как вдруг бежал мастер: «После работы в красный уголок!» У Валентины отпрашивались, и она отпускала двух-трех с самыми уважительными причинами, а остальным говорила: «Всем надо явиться». И сама мучилась – опять Вовка дома без нее.

* * *

Женя все больше задерживался на заводе и все меньше вникал в домашние заботы, но когда он приходил, Антонине Николаевне казалось, что вся надежда семьи в Жене. Эвакуировалась, уезжала куда-то в Среднюю Азию соседка врач-пензионерка Розалия Моисеевна. Антонина Николаевна напекла ей в коробе пирожков с картошкой, сказала Жене:

– Отнеси ты. Она уезжает и очень боится.

Еще несколько месяцев назад Розалия Моисеевна казалась Жене бодрой пожилой женщиной. Теперь это была старуха с коричневыми пятнами под глазами и на щеках. Вся мягкая, испуганная. Вот-вот заплачет. Увидела Женю – заплакала:

– Еду умирать. Тяжело старость приходит.

Женя положил на стол пирожки:

– Мать передала.

Еще молча постоял, потом вдруг наклонился и поцеловал старуху. Она благодарила его за то, что он пришел, молодой, к ней, и в глазах ее была безумная надежда, что кто-то такой же молодой и здоровый, как Женя, придет и что-то отменит: войну, немцев, необходимость куда-то ехать, болезни, близкую, неизбежную смерть.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
На заводе все более утверждался дух вокзального ожидания, железнодорожных запахов и вокзальных страхов опоздать, не услышать нужного объявления. Больше работы стало для вспомогательных цехов, для электромастерских, для автомастерской и гаража – с фронта стала поступать побитая техника. На первые грузовики ЗИС, на полуприцепы, на первые танки, пригнанные на железнодорожном эшелоне, на бойцов, их сопровождавших, приходили смотреть всем заводом. Был митинг, на котором Валентина испытала настоящий душевный подъем. Трехтонки эти и полуприцепы со следами осколков и пуль на бортах побывали под немецким огнем, они были повреждены, но все же уцелели, их можно было отремонтировать и опять отправить на фронт. К технике у Валентины никогда не было такого живого чувства, как у Жени. На заводе она всегда хорошо делала свое дело, как когда-то хорошо училась в школе, но не испытывала особого интереса или любви к своей работе. Она не считала это недостатком – на заводе нужны были сознательность и дисциплина. Но к этим грузовикам с расщепленными пулями бортами, с выбитыми стеклами в кабинах она испытывала сочувствие.

На митинге все обращались к бойцам, сопровождавшим эшелон. Обещали им трудиться не покладая рук, давать фронту больше оружия. У бойцов были обветренные, худые лица, шинели их тоже были обветренные, как белье, долго висевшее на веревке во дворе, – в открытых вагонах эшелона их долго продувало ветром. На митинге они тоже выступали охотно, но потом, когда их спрашивали поодиночке, ничего толком рассказать не могли.

На этом митинге было решено построить свой бронепоезд и посадить на него свою, заводскую команду. Бронепоезд составляли из нескольких бронированных платформ с пушками и зенитными пулеметами и бронированного паровоза. В команду были зачислены люди, казавшиеся Валентине пожилыми, – бывшие красногвардейцы, когда-то водившие бронепоезд. Бронепоезд провожали на фронт, и командир его в кубанской папахе с красным верхом говорил на митинге речь.

Но в остальном многое еще шло как обычно, и Нина-маленькая говорила Валентине:

– Валя, я должна тебе рассказать. Меня недавно познакомили с одним капитаном. – Лицо у Нины-маленькой только что было старым, усталым, а тут она заулыбалась. – Володей. Женатый. Где их, неженатых, возьмешь! Говорю этому Володе: «Саша! Вы, – говорю, – Володя, не обижаетесь, что я вас Сашей называю? У меня был друг по имени Саша. Он меня обидел».

В Валентиной бригаде работали мобилизованные колхозницы. Работали они дисциплинированно, жили в общежитии и на квартирах и казались Валентине похожими друг на друга своей худощавостью, своими увеличенными работой мужскими кистями сильных рук. Но Валентина с удивлением замечала какую-то непонятную ей ревность и соперничество между ними. Для них имело значение, кто где жил, кем работал. Худенькая, маленькая, с голубыми внимательными глазками тетечка лет сорока спрашивала во время перерыва двух женщин помоложе:

– Девки, а кем вы дома работали?

Девки, которые ели домашнюю снесь, завернутую в платочке, набычились, долго молчали. Потом одна спросила;

– А вам зачем?

– Да просто.

– А-а! – И девки переглянулись с непонятным Валентине вызовом.

– Так, правда, кем?

– Я в яслях работала, – с тем же вызовом сказала первая.

– В детском саду?

– В я-с-лях!

Вторая молчала. Тетечка у нее спросила:

– А ты?

– Я лаборантка.

– А я простая колхозница, – сказала тетечка, – выращиваю виноград, а вы вино пьете.

Она сказала это наставительно, с торжеством. По каким-то недоступным Валентине признакам она догадалась, что эти две самого колхозного, самого рабочего вида девки все-таки не простые колхозницы.

– А где вы выращиваете виноград? – спросила ее Валентина.

Тетечка посмотрела на нее своими голубыми глазками.

– Да нет, это я так. У нас в колхозе шестьдесят гектаров винограда, так я там и не работаю.

Та, что работала в яслях, была решительная, обо всем имела свое мнение, часто ставившее Валентину в тупик.

– Не люблю Игоря Ильинского, – говорила она. – Что там любить! Умный человек дурака с себя строит.

За ней ухаживал колхозный хлопец, которому через месяц надо было идти в армию. Он подходил к ней во время перерыва, и она затевала с ним громкий разговор:

– Чего смотришь? Скажи врачу, пусть тебе глазные капли пропишет.

Парень прятался за чью-нибудь спину и оттуда выглядывал.

– Чего, как уж под вилами, крутишься? – спрашивала она.

– Да вот человек наклоняется, и я наклоняюсь.

– Не слышу.

– Повторять неохота.

– Повтори.

– Один раз пожар горит, – говорил парень и крутил головой. – Девчата из Орловского!

Орловское было районным центром. И «девчата из Орловского» звучало у парня как «столичные девчата» – с восхищением и осуждением.

Девки не боялись никакой работы, но дымный воздух литейного, запах формовочной земли их пугали. Та, что работала в яслях, говорила:

– По мне, так пусть камни с неба падают, лишь бы на свежем воздухе. А разве это земля? – Она брала формовочную землю. – Скажи ты, что с землей делают?

Это удивляло и раздражало Валентину. На заводе появились новые люди, много новых людей, и у всех оказывались какие-то неожиданные взгляды на вещи, с которыми Валентина давно свылась. Люди эти как бы покушались на Валентинину ясность, их надо было воспитывать. А за ними чувствовалось еще множество таких же людей. И это Валентину раздражало.

Та, что работала в яслях, чем-то болела, но не боялась физических страданий, первой шла сдавать кровь для раненых и говорила девкам:

– Фу, чего там бояться! У меня печень больная, так у меня один раз полтора часа брали желчь на анализ – плохо желчь шла. И ничего!

Была в бригаде Валентины еще одна цепкая, языкатая женщина, которая о себе говорила:

– Я от семи собак отбрешусь. Ты лучше со мной не связывайся.

Было ей под шестьдесят, и она охотно вспоминала:

– Я помню еще то время, когда на базар ходили с вот такой кошелкой из лыка или из мочала. Да, из мочала. За мясо платили четыре копейки. Четыре копейки за фунт...

Звали ее Мефодьевна. Валентина ее очень ценила. Мефодьевна никогда не унывала и как будто не уставала, хвасталась тем, что никогда не болела.

– Девчата, чем порошки принимать, лучше бы песню спели. Я никогда порошков не принимаю. Лучше на улицу пойду, похожу, погуляю.

Валентина жаловалась Жене, что ее утомляют бригадирские дела, в которые входит обязанность выслушивать рассказы Нины-маленькой, вникать в заботы других работниц. На самом деле даже рассказы Нины-маленькой она выслушивала с жгучим интересом. И сельских родственников и родственниц своих девушек приводила ночевать к Антонине Николаевне, когда те приезжали в город. Валентина уставала так же, как и все, и ноги у нее отекали от двенадцатичасового стояния, и руки отсыхали, разбитые деревянным пестиком, которым она утрамбовывала шишелъную массу. Но стоило ей немного отдохнуть, и она опять испытывала острый интерес к жизни своих товарок. До войны ей казалось, что она все об этой жизни знает по своей окраине, и охотно отдалялась от этой жизни. А теперь она опять тут была своей. И Женя тоже был посвящен в эту жизнь, потому что Валентина, имея в виду какую-то постоянную свою мысль, постоянное свое раздражение против Жени, рассказывала ему, как трудно приходится ее девушкам. «Бедные бабы», – говорила она ему.

Если на заводском комсомольском собрании осуждались чьи-то антиобщественные поступки, Валентина голосовала за самые суровые решения. Но своих девушек она защищала до последнего.

Во время перерыва, когда в цехе пригасал свет, к Валентининым стерженщицам собирались формовщики. Приходили ребята из дальних цехов. А за старшими тянулись младшие – чуть в стороне устраивались ремесленники и фезеушники.

Стал появляться здесь и Анатолий. Он еще не оценил по-настоящему свою электромастерскую, еще не понял, что это прекраснейшее место. Волнения возникают, только когда приходят люди за отремонтированным электромотором. Его включают тут же в мастерской, он гудит, а сдающие и принимающие, пока его пробуют, спорят и ругаются. Только в эти минуты Анатолий еще чувствует себя непосвященным. Потолок в мастерской высокий, и днем в комнате светло от одной его высоты. Ни грохота, ни звона. Так, позвякивание или скрежет напильника. И оттого, что здесь тихо и тепло, оттого, что тут мало людей, Анатолия тянет туда, где шумно и собирается народ. Во время большого перерыва Анатолий приходил к шишелъному цеху, устраивался с ремесленниками и изо всех сил старался не показывать, как его интересуют разговоры ухаживающих друг за другом мужчин и женщин.

Крупная и, должно быть, здоровая и сильная стерженщица с накрашенным большим ртом приставала к молодому парню. Парню было больше семнадцати лет, но по здоровью его не брали в армию, он этого стеснялся и говорил, что ему семнадцать. Стерженщица была ему чем-то опасна – Анатолий это видел. Она и говорила и шутила свободно. И приставала свободно, а парень только отбивался и путался. Парень работал наладчиком. Вообще-то он сутуловатый, сумрачный, молчаливый и глуповато-значительный, а тут – никуда. Девка ему говорит:

– Пойдем? – и смеется.

– Не могу, – говорит он.

– Может, не умеешь? Я научу!

– Я для тебя слишком мал.

– Клещами вытянем! – смеется девка. – Пойдем в кузнечный – попробуем.

Тут парень впервые храбрится:

– Одна попробовала – семерых родила.

Видно, что фраза эта ему чужая. Он где-то ее слышал и расхрабрился ее произнести. Девка говорит:

– Рискую. Пошли.

К разговору многие прислушиваются. Похоже, что стерженщица действительно пойдет. Все смеются, а парень только краснеет и отдувается.

Доставалось и Анатолию. Раза два его по какому-то поводу замечали. Он краснел и каменел от застенчивости, давал себе слово сюда не приходить, но на следующий день приходил опять. А однажды какая-то Майя назначила ему свидание. В ночной смене его вызвала из электромастерской молоденькая подсобница. Некоторое время она его молча и значительно рассматривала, потом сказала:

– Я от одной девушки. Ты Майю знаешь?

Анатолий не знал, кто такая Майя, но не посмел – именно не посмел – этого сказать.

– Знаю.

В его памяти и правда возник какой-то неясный образ.

– Приходи к выходу из цеха.

Анатолий знал это место. Там, между дверью, ведущей на цеховой двор, и второй дверью, ведущей в сам цех, из-за светомаскировки была абсолютная темнота. Свидания назначались в укромном уголке под лестницей. Там Анатолия ждали. Он услышал в темноте чье-то дыхание, потом его взяли за руку.

– Это я, – предупреждающе сказала подсобница. – А вот Майя. – И она вложила в руку Анатолия чью-то шершавую холодную руку. – Оставайтесь, – сказала подсобница, – а я пойду.

Рука, шершавая, крупная, рабочая, была по-женски расслаблена. Но Анатолий не знал, что с ней делать – все-таки это была слишком крупная рука. За эти несколько минут он привязался к подсобнице и неизвестно почему надеялся, что Майя – это она сама. Девушка в темноте подвинулась к нему. Она ждала. Так они стояли молча, наконец Майя спросила:

– Ты любишь книжки читать?

– Люблю.

– Когда я тебя увидела, сразу подумала: «У него, наверно, есть интересные книжки». Принеси какую-нибудь.

Голос у Майи был взрослый и тоже как будто бы шершавый, как ее рука. Анатолий не то чтобы подумал – он еще не умел так думать, – почувствовал: Майя книжек не читает. Из цеха сквозняком, который дул под лестницей, доносило гул и звяканье. От Майиной спецовки пахло холодом и ржавчиной. Руку ее надо было греть – Анатолий догадывался об этом, – он даже попробовал осторожно потереть ее, но только чувствовал, какая она шершавая.

– Пойду, – сказала Майя, – а то мастер кинется.

Анатолий постоял еще несколько минут – боялся выйти с Майей на свет. Закончилось первое в его жизни свидание. Он потом так и не узнал, какая это Майя вызывала его под лестницу.

Цеховому начальству не нравилось, что к стерженщицам во время перерыва собирается много парней. Валентину вызвали в комитет комсомола к Котлярову. Котляров смотрел на нее своим стеклянным глазом, стучал желтым протезом по столу, жесткие усики его командирски топорщились.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Война идет, товарищ, – говорил он, – война!

Потом он с Медниковой – работницей профсоюзного комитета, молодой и энергичной женщиной, – пришел на производственное собрание в цех. Собрание шло в красном уголке литейного. Собрание, как всегда, началось после смены. В красном уголке было еще холоднее, чем в цехе. Медникова и Котляров сразу же по-хозяйски прошли в президиум. Глядя своим пристальным стеклянным глазом в зал, Котляров долго говорил о сложности исторического момента. Потом он уступил место на трибуне Медниковой. Она была в пальто и сером пуховом платке. Перед войной Медникова разошлась с мужем и вышла замуж за главного технолога завода. История эта приобрела огласку потому, что жена технолога жаловалась в партком.

Медникова сказала, что не все стерженщицы понимают, какая ответственность сейчас легла на плечи женщин. Она назвала Нину–маленькую, большеротую стерженщицу Нюру, но тут ее перебили.

– Позорница! – крикнула ей из зала Мефодьевна. – На весь завод опозорилась, а теперь девок позоришь! За что ж ты их позоришь?

Котляров застучал протезом по столу. Медникова побледнела под своим пуховым платком:

– Все равно я скажу...

– Все равно! – крикнула Мефодьевна. – Раньше дедушка плевал на пол, а теперь на бороду! Все равно!

Мефодьевну надо было остановить, но Валентина сидела молча. Она знала, что стучащий по столу протезом Котляров сейчас разыскивает взглядом ее взгляд, и потому смотрела себе под ноги.

Котляров поднялся из-за стола, повернулся к залу своей живой, смущающейся половиной лица:

– Бабоньки, женщины! Никто никого не собирался позорить. – И он потер рукой протез. – Бабушку черти на том свете заждались, а она тут всех мутит.

– Правильно, заждались, – сказала Мефодьевна. – Согласна! Только ты, нахал, и туда первым придешь.

В зале шумели, смеялись. Первые ряды стульев были пустыми – как ни уговаривал в начале собрания Котляров, никто сюда не садился. Пустых рядов было довольно много, потому что зал цехового красного уголка был большим. В пятом, шестом сидели по двое, трое, а начиная с восьмого или девятого сидели плотно в ряд. Мужчин почти не было. Только у дверей курила группка. Эти были из ночной смены, они пришли сюда покурить и остались послушать.

Валентина взяла слово и призвала всех к порядку. Говорила о необходимости соблюдать жесточайшую рабочую дисциплину. Бойцы на фронте отдают свои жизни, и мы ради победы над проклятым врагом должны не щадить ни сил своих, ни самой жизни. От того, как мы здесь трудимся, зависит судьба наших бойцов на фронте. Валентина перечислила тех, кто работает хорошо. И среди тех, кого она называла, были фамилии Нины–маленькой, Нюрки и Мефодьевны.

Женя удивлялся энергии Валентины, ее умению разобраться во всех этих делах. Тому, что ей на все это хватает интереса. Особенно Валентина любила рассказывать ему, как воет со своим мужем, пьяницей и хамом, некрасивая, но быстрая на язык фрося. Это была долгая война со вмешательством родственников, заводской общественности и даже милиции. Каждый вечер там что-нибудь случалось, и поэтому на каждое утро у фроси был готов новый рассказ.

– Пришла с работы, – говорила она Валентине, – надышалась в цеху до рвоты, а он заявляет: «Чего лежишь? Уходи. Хочу лежать просторно». Перешла к дочке на кровать. И отсюда гонит. Спала у соседки на полу. Где я только не спала! Утром приду – спрашивает, где была. Не верит, что это он меня гонял.

– Бедная баба, – говорила Валентина Жене. – Кто-то под руку с женой идет, а она завидует: «Мне бы месяц на свете было бы довольно пожить, только нашелся бы

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru человек, который бы ко мне ласково относился». Вот до чего женщину довели!

Женя предлагал простейшие решения:

– Пусть разойдется! Зачем она с ним живет?

Валентина замыкалась. Она и сама бы по-настоящему объяснить этого не смогла, но она-то прекрасно понимала, почему Фрося не уходит от Федора. Женя видел, что Валентина не просто рассказывает ему о несчастьях своих женщин. Таким странным способом она выясняет отношения с ним, Женей. И удивляется: он-то не пьяница, не хам. Откуда же это непонятное, мстительное раздражение, с которым Валентина рассказывала ему о Фросе и Федоре? Будто и не о Федоре речь ведет, а о нем самом, Жене.

Иногда Женя пытался возражать:

– Ну почему «бедные бабы»? Теперь все равны. Ты бы не стала со мной жить, если бы я тебе был не по душе?

– Тебя давно пора бросить, – говорила Валентина.

Фрося первой в Валентиной бригаде получила похоронную. Она не вышла на работу – заболела. И Валентина с Мефодьевной пошли ее проведать. В хате было холодно. Фрося как выходила на стук, так в пальто и платке села на кровать, а Валентина и Мефодьевна сели на стулья напротив нее. На табуретке в углу ведро с водой, накрытое чистой дикточкой. На дикточке кружка. Стол придвинут к окну. Небольшой книжный шкафчик, который используется не для хранения книг, а для посуды. Детская кроватка. На полу по углам поломанные игрушки.

Фрося рассказывала, как ей было плохо. Как прочла похоронную, голову заломило, поясницу, ноги.

– Я ж худая, – говорила она немного смущенно, – так мне мослы крутило.

Мефодьевна сказала:

– А ты больше ходи, а то слабость тебя одолеет.

– Я хожу, – сказала Фрося.

В комнату решительной походкой вошла пятилетняя Фросина дочка. Увидев маленькую коробку с конфетами, которую Валентина с Мефодьевной сумели достать для Фроси, она сказала:

– Я возьму торт.

– Это не торт, – сказала Фрося.

– А что?

– Конфеты, – сказала Мефодьевна. – Их твоей больной маме принесли.

Но мамина болезнь не интересовала девочку. Она открыла коробку и забрала бы все конфеты, если бы Мефодьевна не остановила ее.

Потом в бригаде сразу три женщины получили похоронные. Получила похоронную и та, что работала в яслях. Мефодьевна ее утешала:

– По пехоте бьют. Твой же, наверно, в пехоте. Это тем, кто в танках да самолетах, полегче.

Пришли письма и от первых раненых.

А в Валентиной семье умерла баба Васса...

* * *

Утром Женя отводил Вовку в детский садик. Садик был не по дороге на завод. Удобнее, конечно, было бы на заводе, но туда Валентина не могла дождаться

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru очереди. Она просила Женю поговорить с начальником цеха, сходить к директору – они бы ему не отказали, – но Женя упирался. Валентина попросила Ефима, и тот за три дня сделал то, что Женя не мог сделать за полгода. Зато и ездить теперь далеко.

Лицо Жени теперь было как бы в несмываемом загаре – и утром он не мог смыть заводскую усталость. От трамвайной остановки к садику Женя вел Вовку быстро. Бежать Вовка отказался.

– Почему? – спросил Женя.

– Драчуны бегают.

– А ты не драчун?

– Не хочу сам себя наказывать.

– Как это? – изумился Женя.

Оказалось, так говорит воспитательница: «Кто дерется, тот сам себя наказывает». Женя засмеялся.

– Драчунов наказывают?

Вовка кивнул.

– А они все равно дерутся?

– А-а! – Вовка почувал неладное. – Мне скучно драться.

В садике обнаружилось, что Женя забыл дома Вовкину сменную обувь. Женя извинился перед воспитательницей, вытер подошвы Вовкиных ботинок тряпкой, потом достал носовой платок и протер ботинки платком.

– Вы уж извините нас, – сказал он воспитательнице.

– Да что уж теперь, – сказала она. – Мы уж за этим и не следим.

Он стал прощаться с Вовкой, и Вовка заволновался:

– Привези мне тапочки!

Женя опять наклонился с носовым платком к Вовкиным ботинкам:

– Но мы же попросили разрешения.

– Галина Петровна не разрешит.

– Кто эта Галина Петровна?

– Другая воспитательница. Она после сна придет. – Вовка говорил шепотом, испуганно смотрел на Женю.

– Давай! – сказал Женя нетерпеливо: он мог опоздать на завод. – Давай, давай, – поворачивал он Вовку, освобождая его от теплой одежды и подталкивая к двери детской комнаты.

Женя шел к трамваю и думал, что, должно быть, Вовке будет очень трудно объяснить Галине Петровне, что тапочки забыли дома, а в ботинках разрешили ходить. То, что жизнь открывалась Вовке такой сложной, Женю ставило в тупик. Жизнь могла быть голодной, трудной, но сложной она Жене никогда не казалась. Год тому назад Женя пришел после работы в садик за Вовкой. Вовка был зареванный – целый день выдерживал осаду, не давал сделать себе прививку. Их двое на весь садик оставалось таких отчаянных трусишек – девочка и он.

Пожилая женщина-врач осуждающе посмотрела на Женю:

– Папа, помогите нам.

Она устала уговаривать Вовку. Женя сказал смущенно:

– Он боится врачей, много болел. – И предложил Вовке: – Доктор сделает укол мне, а потом тебе.

Вовка смотрел, как Женя закатывал рукав и подставлял руку, но закричал опять, когда врач направилась к нему. Уже сделали укол девочке, и она пришла уговаривать Вовку, приходили воспитательницы, мальчики из Вовкиной группы, но он, оглохший, ослепший, никого не видел и не слышал. Тогда Женя крепко взял его за руку и сказал:

– Делайте укол.

Вовка рванулся:

– Разве ты отец!

Врач, уже направившаяся к Вовке со шприцем, остановилась. Она сказала:

– Папа, уходите. Все-таки у нас без родителей лучше получается.

Женя вышел в коридор, услышал звуки борьбы, отчаянный визг.

Дома Женя рассказал Валентине, как Вовка кричал: «Разве ты отец!»

Конечно, все это было оттого, что Вовка много болел. Трехлетний Вовка подходил к большим собакам, лез в воду, захлебывался и опять лез. Но Вовка рос, и росли страхи. Едва он засыпал и начинал посапывать, Валентина принималась считать его дыхание. Она и ночью поднималась – ей все казалось, что он часто дышит и у него поднимается температура. Увы, она очень часто не ошибалась. В груди у Вовки начинал играть органчик, щечки его розовели, расцветали, он раскидывался, а над тельцем его поднимался потливый температурный парок. Теперь он боялся и собак, и воды, и врачей. Играл охотнее с теми, кто был поменьше и не мог обидеть.

То, что Валентина любит Вовку, было понятно. Было привычно, что Антонина Николаевна любит детей. Женя и сам к ним неплохо относился. Хотя не очень-то занимался постоянно гостившими в доме младшими двоюродными братьями и сестрами. Теперь он понимал это изумление Антонины Николаевны, которая в какой уже раз в своей жизни поражается тому, что живой кусочек мяса, который смотрит на мир совершенно прозрачными глазами, вдруг сам начинает становиться целым миром. Женя приходил с работы, и ему рассказывали: «Вовка завозился у трюмо, потом затих и тяжело так вздохнул: „Ах ты, горе луковое. Боже ты мой!“» Встревоженная неожиданной тишиной, Антонина Николаевна подошла к трюмо. Все как будто было в порядке. И только потом обнаружилось, что Вовка запихал в пузырек с вазелином колпачок от Валентиновой авторучки.

Не терпевший никакого беспорядка Ефим жутковато скалил желтые зубы – растроганно улыбался.

В доме всегда были дети и всегда повторялись какие-то детские словечки. Игорек из Одессы говорил «тути» – туфли. Кто-то говорил «па по полу». К Вовкиным словечкам прислушивались особенно. Детские словечки были в доме всегда, и Женя не очень обращал на них внимание. Теперь он знал, как теплеет от них жизнь. А недавно Женя заметил, что Вовка в трамвае перестал смотреть в окно – лицо у Вовки было отвлеченным. И Женя вздрогнул от догадки – взрослеет сын, мечтает.

Женя немного думал об этом, пока шел от садика к трамвайной остановке. Потом ехал в переполненном вагоне, шел на завод. Работал в первую смену и остался на вторую потому, что в ночную не вышел заболевший модельщик.

Ночью Женю вызвали в инструментальный цех. Он там работал, а потом прилег за ящиками на часик – все-таки почти сутки на работе. Когда он вернулся к себе в мастерскую, ему сказали:

– Жена тебя разыскивала. Сказала: «Передайте Женьке, что он зараза. Баба Васса тяжело заболела».

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru

Женя посмотрел на электрические цеховые часы. Стрелки показывали без десяти минут четыре. Он и без часов мог определить время. По усталости, по тому, что как будто стало легче дышать – ночь уже преломилась, похолодало, и воздух в литейке прочистился. По тому, как изменились звуки – звякало теперь как будто бы не в цехе, а просто звенело в ушах, как у пьяного. То, что Валентина назвала его заразой, Женю не удивило. Он привык к Валентиной раздражительности. Вернее, к ее постоянной готовности на ссору. Валентина не спорила даже, а как бы сразу прекращала отношения, будто все годы совместной жизни не имели никакого значения. Женя считал, что в Валентине так сильны гордость, самолюбие, принципы, что они каждый раз берут в ее душе верх над любовью к нему. И уважал Валентину за силу принципов, гордость и самолюбие. Здравый смысл, которым Женя был наделен от природы, говорил ему, что, пожалуй, слишком часто и легко идет Валентина на ссору. Но здравому смыслу Женя привык не доверять, а принципы, принципиальность, стойкость в принципах ставил очень высоко. Самого себя Женя считал человеком недостаточной принципиальным. Это его немного угнетало, хотя он давно решил, что этот уровень принципиальности соответствует его характеру и с этим ничего не поделаешь. Он не любил тех, кто брал на себя больше, чем мог. Валентина не брала на себя больше, чем могла, ссорилась сразу, никогда не передумывала, отключалась – не слышала или не слушала – и никогда не уступала ни одного слова. За все годы, которые они прожили вместе, она ни разу не пришла первой мириться. И бог знает, чем бы кончилась любая из этих ссор, если бы Женя не брал каждый раз вину на себя. Вообще-то вначале он считал правым себя, готов был даже поспорить – верил в то, что люди, придающие словам одинаковое значение, должны быстро договориться. Ссоры Женя терпеть не мог – в семье ссорился только Ефим. Но он всегда был готов к ссоре. К этому привыкли, что желчный, вздорный характер Ефима объединял всех остальных. Он был как глухой среди говорящих. А когда говорил он, глохли остальные. Женя привык к уступчивости матери и удивлялся, когда Валентина ее осуждала: «Она все сделает, чтобы не заметить, не увидеть! Лишь бы спокойствие не нарушалось!» К ссорам с Валентиной Женя никак привыкнуть не мог. Однако быстрота, с которой она вспыхивала, ее замкнутость во время ссоры, готовность отстаивать свое до конца и чего бы это ни стоило, как раз и убеждали Женю в том, что Валентина права. Сам Женя, натолкнувшись на Валентино возмущение, начинал рассуждать. То есть пытался разобраться, кто прав, кто виноват. Он считал, что так же поступает и Валентина. И так как Валентина только укреплялась в своей готовности завести ссору как угодно далеко, Женя начинал подозревать себя в душевной черствости. Он искал, где виноват он, и, конечно, находил. Как ни странно, эти ссоры и то обстоятельство, что Валентина была единственным человеком, который ссорился с Женей столь решительно и столь решительно его осуждал, увеличивало Женино уважение к ней. У приятелей были жены с ровными или вздорными характерами, мгновенно ссорившиеся и мгновенно мирившиеся. Или вообще не ссорившиеся. Жены, любившие мужей за то, что они пьют, и за то, что не пьют, за то, что умны и не очень умны. Были ревнивые жены, жены – завистницы, рукодельницы, жены – общественницы и домоседки. Второй Валентины среди них не было. Она жила с ним не потому, что ей это было хорошо, – она еще и судила его, старалась воспитать. И так как Женя всячески стремился к саморазвитию, то и эта нравственная гимнастика казалась ему полезной даже тогда, когда она была ему неприятна.

Женя, если бы у него спросили, не сразу вспомнил бы, какого цвета глаза у Валентины, как не сразу вспомнил бы, какие глаза у него самого. Он не думал о Валентине как о другом, отдельном от себя человеке. Ему и в голову не пришло бы, что она могла быть другого роста, что волосы ее могли иметь другой цвет. Если Валентина делала новую прическу, Жене это мешало. Несколько минут ему было нужно, чтобы привыкнуть к ней снова. А вот новое платье или кофточка были Жене приятны – он лучше видел то, что в Валентине своего, родного. Пожалуй, только в первые дни знакомства Женя видел Валентину со стороны. Потом это исчезло, и это означало для Жени любовь. Без Валентины он испытывал беспокойство и шел к ней, чтобы успокоиться. И когда они поженились, он прекращал все ссоры, чтобы успокоиться, не чувствовать ее отдельно от себя. Женя обо всем этом не думал, он не любил подыскивать слова тому, для чего слов нет. Но Валентина готовность превратить каждую размолвку в ссору беспокоила его. Он чувствовал что-то незаконное в том, что сама Валентина так ясно видит его со стороны. В законах супружеской любви этого не должно было быть. Однако время сейчас, наверное, было такое. И то беспокойство, которое Валентина вносила в семью, ту требовательность, с которой она обращалась к нему, Женя считал выражением времени. Валентина была передовой женщиной, и Женя этим гордился. Он гордился ее честностью, самостоятельностью, независимостью от родителей, от него самого, от тех привычек, которые сразу же проникали в другие семьи, стоило молодым ребятам

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
сойтись. Если Жене случалось уезжать, она не провожала и не встречала его. Если Женя заболел, она не нянчилась с ним, и Женя поднимался с постели раньше, чем поднялся бы, если бы за ним ухаживала мать. Валентина и сама в болезни была терпелива, вынослива.

Единственным человеком, от которого Валентина была в полной зависимости, был Вовка.

Все это Женя знал давно. Поэтому он не обиделся на то, что Валентина назвала его заразой. Хуже было, что она не сказала, что ему нужно делать. Женя продолжал работать, но потом все-таки отпросился, чтобы выйти с завода на час раньше и поехать с первым трамваем.

Поехал он прямо на окраину, не заезжая домой.

Было около семи, когда он, постучав, вошел в дом Валентиной матери. В комнате горела лампа. Ее свет отражался на старой желтой клеенке. Кровать была убрана. Поверх одеяла на ней лежала глухая бабка. Она приподнялась на локте, чтобы посмотреть на Женю. Ольга собиралась на работу, Надежда Пахомовна шила, выложив из коробки на стол нитки и какие-то лоскуты. Увидев Женю, обе женщины удивились. Потом Надежда Пахомовна догадалась:

– Женя, а где Валентина? – И будто нашла верный тон: – А Валентина тебя вчера искала!

Ольга перебила ее:

– Женя, тебе надо к Юльке. Это они тебя искали. Я тебя провожу.

У Юльки тоже как будто не сразу догадались, зачем Женя здесь. В комнате было холодно. На табуретках, на стульях в платках и пальто сидели несколько женщин. Чувствовалось, что Юлька – центр этой компании.

– Женя, – сказала она, – мы тебя вчера так искали. Мужиков дома нет. Степан только сегодня вернется из поездки, дед не в уме стал, твой тесть в мостопоезде. Я и послала за Валентиной и за тобой. Взяли у нас бабку в больницу. Я с ней поехала. Ей операцию нужно делать, а хирург вышел к санитарам: «Несите ее в инфекционное». Те за носилки, а я не даю. Он кричит: «Я здесь распоряжаюсь!» А я говорю санитарам: «Кто вас так учил носилки носить? Разворачивайте! Несите головой вперед!» Этого хирурга Юрий Осипович зовут.

За спиной Жени открылась дверь, вошла Надежда Пахомовна. Она остановилась у стены. Сидевшая рядом с Юлькой молодая женщина сказала:

– Юля, всего не расскажешь. Женя не знает, зачем его позвали. Давай я ему скажу. Женя, я медсестра. Я тоже с Юлей ездила. Мы там, конечно, нашумели, накричали. Хирург, может, и не захотел бабку принять. А у вас там есть знакомый рентгенолог. И вы сами с рентгенологами работали.

Женя и сам давно понял, зачем его позвали. Он сказал:

– Не рентгенолог. Наладчик. Хорошо, я поеду.

Он опять пошел на трамвайную остановку. Он устал, хотел спать. Дело, которое ему навязывали, казалось ему бессмысленным. Сам Женя с врачами никогда дела не имел, но никогда не сомневался в том, что они говорили. Если бы заболела Антонина Николаевна и врачи положили бы ее в инфекционное отделение, ему бы и в голову не пришло протестовать. А эти женщины скандалили, спорили с врачами, чего-то требовали. В любом другом случае он бы отказался от того, что считал бессмысленным. Но было здесь нечто такое, от чего Женя отказаться не мог. И вовсе не потому, что Валентина назвала его заразой.

Николая Женя отыскал в той самой аппаратной, в которой он когда-то помогал ему. Николай был в гимнастерке, сапогах, но шапочка у него была белая, накрахмаленная. В армию его призвали, но он и в армии сумел устроиться так, чтобы остаться в городе.

– Юрий Осипович? – удивился он. – А, Юрка! Так он моложе тебя.

Они пошли в хирургическое отделение. Оттого, что по двору ходили раненые в серых халатах, больница утратила часть своей воинственности. Стала напоминать казарму. Раненые выходили на улицу к трамвайной остановке. Там женщины торговали семечками. Сюда же подносили махорку в мешочках. Махоркой стали торговать чуть ли не на второй день войны.

В приемнике хирургического отделения Николай велел Жене подождать. Пока Женя сидел на скамейке, мимо него проходили хромающие, несущие перед собой перебинтованные руки, пронесли бледного от потери крови раненого. Лицо его было страшно не зеленоватой бледностью, а равнодушием. Несколько раз санитарка выносила ведро с грязной водой. Женя стал засыпать, когда пришел Николай и сказал, что надо подождать еще.

– Занят, – сказал он.

Женя кивнул, не раскрывая глаз.

..Молодость Юрия Осиповича смутила Женю. Казалось, только белый халат мешал этому мускулистому парню делать быстрые, резкие движения. Странно было говорить с ним о болезни семидесятипятилетней женщины.

– Вчера тут было много ваших родственников, – сказал Юрий Осипович. – Ваши родственники... – И он обескураженно покрутил головой. – Не понимаю, почему они так боятся инфекционного отделения. Самая малолюдная палата сейчас. Операцию ваша бабушка не выдержит. Я вам честно скажу, у нее нет, – и он посмотрел на Женю и пожал плечами, – или, скажем так, почти нет шансов. Я не мог взять ее в хирургическое отделение. Не имел права. Болезнь ее заразна.

Женя извинился и распрощался. В инфекционном отделении он спросил у санитарки, открывшей окошечко на его стук:

– К вам вчера привезли старую женщину, Кононову. Как она?

– А, хорошо, хорошо, – сказала санитарка. – Поднимется, говорит.

Дома Женя застал Валентину, отпросившуюся с работы, Юльку и Степана. Степан, вернувшийся из поездки, умылся, но отмыться не успел. Они привезли с собой дочку. Степан расстегнул Насте пальто, развязал тесемки на шапочке, снял кашне. Пальто Настя сняла сама и оказалась в замызганном платице и в такой же замызганной теплой жакетке.

Юлька говорила Валентине:

– Тюль у меня есть. Тапочки новые. На Вассу они будут малы, придется разрезать.

Женя посмотрел на Валентину. Что-то его поразило. Валентина кивала или, вернее, покачивала головой. Механически так покачивала, как покачивают головой старухи, когда разговаривают сами с собой, кивают своим мыслям. И лицо у Валентины было старческим, прозрачным, морщинистым, и была она в этот момент усташающе похожа на бабу Вассу.

Женя сказал:

– Я был в больнице. Санитарка сказала, что ей лучше. Говорить начала.

Он думал, Юлька встрепенется, но она сказала:

– Ой, Женя, эти нянечки всем так говорят: «Лучше вашей бабушке, лучше. Разговаривает». А что она скажет? Она же знает, что от нее хотят услышать.

Валентина сидела, все так же покачивая головой, словно соглашаясь с чем-то таким, с чем невозможно согласиться. Валентина не была похожа ни на бабу Вассу, ни на Юльку, ни на Надежду Пахомовну. Словно была не из этой семьи. А вот сейчас стало видно, что она совсем как баба Васса. А Юлькино заплаканное лицо было без морщин, и в заплаканных ее глазах был молодой блеск.

– Костюм у нее есть. Ненадеванный. Под матрацем держала. Она мне говорила: «Ты

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru не беспокойся. Я тихо умру». – Юлька мгновенно переходила от причитаний к деловому тону: – Гроб Степан сделает. Или на кладбище заказать. Дело коммерческое.

Валентина, все так же глядя перед собой, сказала:

– Сколько раз Вассе в жизни приходилось плакать! Крупно плакать... Двоих малолетних хоронила. Взрослых... Жизнь какую прожила... А забитой не была. Читала. В бога не верила. Была выше среды своей, хотя и у нее были свои жестокие предрассудки... И жизнелюбка была. И веско говорить умела. Мужу, пьянице, к которому никто и не подойдет – побоится, могла сказать: «Как же тебе не совестно! Ты же здоровый! У тебя дети!» Самые обыкновенные слова, а чувствуется за ними что-то. Нет пустоты...

– Валя, – говорила Юлька, – во что же это обойдется! Вечером чай подать бабам. А на поминки! Суп, я считаю, человек на пятьдесят, пюре. Канун надо варить.

И тут Валентина удивила Женю. Она сказала:

– Канун я сделаю.

– Что это такое? – спросил Женя.

– Рис с изюмом или монпансье, – сказала Валентина.

Женя помял пальцами шею.

– Надо в больницу сходить, – сказал он. – Что-нибудь ей передать.

– Что же ты ей передашь? – сказала Юлька. – Она же ничего не ест.

Но все же Юлька стала собираться. Поднялся и Степан. Валентина тоже поднялась.

В приемнике инфекционного отделения Женя постучал в то же окошечко, в которое он стучал час назад. Выглянула санитарка, но уже не та, с которой он разговаривал, а другая, спросила, к кому. Женя отступил, давая возможность говорить Юльке и Валентине, но они, испуганные, отодвинулись в глубь приемника. Степан, смущенный, тоже стоял в сторонке. Женя сказал:

– Кононову к вам вчера привезли. Как ее здоровье?

Нянечка быстро осмотрела всех и сказала:

– Сейчас.

Закрывает окошко.

Через минуту она выглянула опять и еще раз сказала:

– Сейчас. Врач выйдет.

И врач была не той женщиной, которая принимала вчера бабу Вассу. Она спросила:

– Вы к Кононовой? Все? Родственники?

– Внуки ее, – сказала Юлька.

– Умерла ваша бабушка, – сказал врач. – Три часа назад умерла. В сознание не приходила.

Должно быть, врач недавно приняла дежурство. На лице ее еще были утреннее оживление и утренняя бодрость. Она переждала, пока Юлька переплачет, вздохнула и сказала:

– Горе, конечно. Но ваша бабушка уже пожила. А сколько сейчас гибнет молодых. Им бы жить да жить.

Валентина плакала тихо, а Юлька заголосила. Врач слушала молча, потом сказала,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
что вскрытие будет завтра.

– Если кто-нибудь из вас уезжает на фронт, – сказала она, – и вообще, если вы пойдете и без крика попросите, то это могут сделать пораньше.

Они вышли. Запертый, с пустынным двором перед ним инфекционный корпус выглядел загадочно.

– Куда теперь? – спросил Степан. Женя предложил:

– Пусть женщины идут домой к детям, а мы узнаем, когда выдают справки и как вообще это делается.

Как только женщины ушли, Степан сразу повеселел, и Жене стало полегче. Они шли по больничной аллее и потихоньку оттаивали. Тяжелые сутки эти кончились, все было позади.

– Отсюда будете хоронить или из дому? – спросил Женя.

– Что ты! – сказал Степан. – Из дому. Юлька хочет, чтобы люди с бабкой попрощались, а бабка с домом. Завтра заберем, послезавтра хоронить.

* * *

Гроб стоял не на столе, а на двух табуретках. Когда Женя с шапкой в руке вошел в комнату, он не сразу понял, почему баба Васса лежит так низко.

Мужчин в комнате не было. Мужчины входили, минуту стояли у стены и, осторожно ступая, выходили.

В пальто и платках вокруг гроба сидели женщины. Дом был выстужен, печка не топилась, и двери почти не закрывались. Под тюлем было видно желтое неподвижное лицо. Когда Женя вошел, Юлька, сидевшая в голове гроба, отвернула тюль, чтобы Женя мог посмотреть на бабу Вассу.

Юлька устала от плача и причитаний, но когда кто-то новый входил, она опять принималась причитать. Поправив тюль и посмотрев на лицо покойницы, она вскинулась:

– Васса моя, простишь ли мне, что я тебя ругала? Злые языки уже разносят, что мы тебя в больницу умирать отвезли! Да как это я могла тебя не везти, золотая Васса! Мы тебе «скорую помощь» вызывали, все вместе тебя спасали, спасти не могли.

Гроб был просторный, сбитый из необструганных досок, обтянутых красной материей. Женя прикинул – тяжело будет выносить сквозь узкий коридорчик и сени. Еще он заметил: все в этой холодной комнате тепло одеты, а на покойнице то ли платье, то ли тонкий костюм и тапочки на войлочной подошве.

Женя приехал сюда прямо с завода. Валентина приехала раньше. Она сидела рядом с Антониной Николаевной и плакала тихо, без причитаний. Женя не знал, что мать собирается на похороны, но не удивился, увидев ее здесь. Когда кто-то умирает, собираются все родственники. Немного удивило Женю, что среди других женщин мать кажется маленькой.

Рядом с Антониной Николаевной сидела глухая бабка, мать Надежды Пахомовны. Юлькина соседка, тоже глухая старуха, известная всей улице бывшая блатнячка по прозвищу Зоя Косая, сказала ей:

– Смотришь, смотришь – ничего не понимаешь. Лучше бы ты умерла. – И тем же громким несмущающимся голосом спросила у Юльки: – Костюм на Вассе чистый?

– Чистый, чистый, – сказала Юлька. – Она же все его в узелке держала. Я у нее спрашивала: «Чего ты его не надеваешь? Чего не носишь?» – «Жмет». Теперь не жмет! – И сорвалась на причитания: – Да ты ж всегда шутила! Кто ж теперь будет шутить?!

Все эти дни Женя испытывал какое-то давление. Ни дома, ни на работе оно не отпускало его. Бабу Вассу он не жалел: почти не знал ее. Юлькина дочь Настя,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru которая эти два дня жила у них, тоже как будто не жалела бабу, ни разу даже не вспомнила о ней, и Женя очень удивился, когда услышал, что она плачет во сне. Когда он вошел в эту комнату, он почувствовал, как усилилось давление. Оно шло от этого желтого лица.

Жене и раньше приходилось участвовать в похоронах. Умирили дореволюционные старики и старухи – Женины родственники. Женя приходил, когда надо было уже выносить, брался за гроб в широкой его части и нес, напрягаясь, видя перед собой пепельные волосы и желтый лоб. Он очень скоро об этом забывал. Женя был молод, и жизнь все прибывала в нем. Это ощущение прибывающей жизни было очень сильно. И было оно как бы не только его собственным, а историческим. Женины сверстники, которые росли вместе с молодым государством, очень хорошо бы поняли его. Военная, революционная смерть казалась тем более героической и жертвенной, что случалась она на пороге возможного всеобщего научного бессмертия. Женя, конечно, засмеялся бы, если бы у него кто-нибудь спросил, думает ли он так всерьез. Но он так чувствовал.

Дважды Женя перенес смертельную опасность, но было в ней что-то несерьезное, лихое, и страха смерти он не почувствовал. В туристском палаточном лагере на Черноморском побережье он заигрался в домино, а потом взял электрический фонарик, чтобы посмотреть что так сильно шуршит в кустах. До кустов он не дошел – электрический луч отразился в воде. Палатки стояли в долине почти пересохшей горной речушки. Воды в ней едва хватало на то, чтобы утром умыться. Женя быстро всех разбудил. Но они успели только три раза сходить с вещами от лагеря до ближайшей возвышенности. Третий раз они уже шли по колено в воде. Женя и еще двое пошли в четвертый раз – им казалось, что кто-то остался в лагере. К лагерю они прошли, а вернуться уже не могли – вода валила. Пришлось пробиваться к ближайшей возвышенности, на которой росли деревья. Они взобрались на деревья и перекликались в темноте. Внизу, метрах в пятистах по течению, был пионерский лагерь. Брезентовые домики-палатки стояли на деревянных щитах. Домики эти были пусты – днем ребят на автобусах отвезли на железнодорожную станцию, утром должна была приехать новая смена. В домиках горело электричество. Было видно, как гас в очередном домике свет: вода поднимала щит, и домик уносило на нем в море. Вода залила и автобусы, стоявшие рядом с домиками. В автобусах замкнуло электрические сигналы. Гудели автобусы, ревели вода, а низкорослое дерево, на котором сидел Женя, казалось, вот-вот поплывет.

Утром Женя увидел воду прямо под ногами, а берег – в значительном отдалении. Вода несла коряги, деревья со свежей листвой, несла овец и коров. Их захватило где-то в горах. Люди на берегу пытались вытащить коров, набрасывали им на рога веревки. Появилась пожарная машина. Пожарники покричали, помахали руками и уехали. А через час пришли бойцы. Один обвязался веревкой, зашел повыше и прыгнул в воду. Три раза он промахивался, потом попал-таки на Женю. Когда их вытащили, Женя сам обвязался веревкой и вытащил товарищей.

Вода ушла так же быстро, как и появилась. Дожди в горах прекратились.

И второй раз Женя едва не утонул. На двухмачтовом парусном катере они плыли вдоль Черноморского побережья. Плыли ночами, потому что ночью дул бриз – береговой ветер, – а днем было тихо. Ночью они и попали в шторм и опрокинулись. У них была ракетница. Женя успел выстрелить. И было удивительно, что в такую ночь сигнал заметили и их самих нашли.

Если бы Женя задумался об этом, он, может быть, и решил, что спортом занимается потому, что сильнее всего чувствует в себе жизнь, когда, разогретое солнцем, пахнет сухое, шлюпочное дерево. Когда воздух над водой накаляется, как в печи, и вальки на веслах делаются горячими. Этот запах чистого нагретого шлюпочного дерева жил в нем всегда.

Женя смотрел на желтое лицо под тюлем и думал, что, наверно, сильно устал, и еще думал, что старуху надо бы уже похоронить. Он вышел во двор. Было холодно, и Женя направился в недостроенную Гришкину хату. Запора на двери не было, но полы уже были настланы, топилась печь. Гришка в цинковой ванне делал глиняный замес. И стены и полы в хате были цвета замеса – серые, нештукатуренные, некрашенные. На Гришке были ватник и заляпанные брюки. Он сказал Жене:

– Надо закончить хату. Дурак – не сделал вовремя. Теперь я поштукатурить не успею.

Гришка получил уже вторую повестку из военкомата – у него была отсрочка по болезни.

По хате бродила курица. Когда Женя вошел, она с квохтаньем побежала по комнате.

– Что это? – спросил Женя.

– Курица, – сказал Гришка смешливо. И добавил: – Я здесь вожусь, чтобы это...

– Развеяться?

– Ага.

Женя слышал, как женщины ругали Гришку: ни разу к бабке не зашел.

Гришка похудел, очки у него были в металлической оправе, на стеклах капельки брызнувшего замеса. У поддувала на жестяном листе стояла пустая бутылка, валялась яичная скорлупа. Гришка заметил Женин взгляд:

– Наша теща так говорит: «Бей, жинка, в борщ всё яйцо. Нехай люди дывуются, як мы гарно живем!»

Он как-то приходил к Жене домой, приносил дамскую сумочку – подарок Валентине, которая помогла Гришкиному приятелю поступить в институт, сделала для него зачетные работы по математике и физике.

– Десять дней назад с фабрики вынесли, – сказал Гришка. – Таких и в продаже нет. Ты объясни Валентине, что не отказываться надо, а удивляться, что так мало принесли.

Женя сказал:

– Валентины дома нет, ты ей сам и отдашь.

– По правде сказать, – засмеялся Гришка, – я бы мог эту сумку передать с тещей, но человек просил, чтобы я сам отвез. – Он посмотрел на Женю, полез в карман, позвенел мелочью, потом демонстративно выгреб все, что там было. – Надо бы, конечно, оставить на трамвай, чтобы не идти домой пешком, но ничего, я сбегая в магазин.

Женя принес бутылку и стакан.

– Не пью, – развел он руками.

Было время, когда Гришка смутился бы или возмутился. Но сейчас он согласился:

– Я могу и сам, – и сказал: – У Сурикова есть картина «Иван Грозный убивает своего сына». Вот на эту картину смотрят так, как ты смотришь на меня.

– Что ты! – сказал Женя.

– С другой стороны, я думаю, Женя: ну не пил бы, что изменилось бы? С Ольгой в воскресенье ходил бы гулять? Вежливо с ней разговаривал бы?.. Ты не обижаешься, что я к тебе пришел?

– Работу тебе, наверное, надо менять, – сказал Женя.

Гришка сидел боком к столу. Он поставил стакан, спросил вилку. Вилка лежала тут же, но он ее не заметил. «А!» – сказал он, взял вилку и подцепил на нее картошку.

– А между прочим, – сказал он, – ничего не надо менять. У нас на работе есть такие, которые не пьют. Не пьют. – И Гришка картинно развел руками. – И не собьешь их.

Он был чем-то доволен. Правдивостью своей, что ли.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Вот ты не пьешь, – сказал он Жене. – Это жаль. – И отвернул борт пиджака – показал, что и сейчас во внутреннем кармане у него лежит завернутая в газетку вяленая рыба. Рыбу он сунул назад, но одумался:

– Будешь? Или Валентине оставить? Сыну? Сам вялил.

– Тебе она каждую минуту может понадобится, – сказал Женя, и Гришка опять засмеялся. Все-таки он уже прошел сквозь что-то, через какой-то период, когда обижаются, возмущаются. Теперь он соглашался.

– Много ловишь? – спросил Женя.

– Больше харчей проедаю. Ольга говорит: «На здоровье!»

Так они говорили, смеялись, но напряжение, неудобство, возникшее между ними, не проходило. Жене и сейчас было не очень удобно с Гришкой.

Открылась дверь. Вошли с улицы Степан и еще двое мужиков-соседей.

Пришла с ведром воды Ольга. Вылила воду в замес. Сказала Жене:

– Женя, ты веришь, что это Гришка построил?

– Да, я уж восхищаюсь, – сказал ей Женя в тон. – Гладко он штукатурит.

– Вот-вот! Гладит-гладит... И еще долго будет гладить. – И повернулась к Степану:
– Как ты вчера спал! Мы тебя будим, а ты мертвый. Мертвее бабки!

Степан смутился. А Ольга сказала:

– Днем я не боялась. Ночью боялась. Сидим над бабкой с Юлькой. Калитка щелкнула, а я думаю: не поддамся! Вижу, Юлька боится, и думаю: не скажу ей про калитку. А Юлька сама говорит: «Кто-то идет. Калитка хлопнула». Я ей говорю: «Да никого!» А тут постучали. Я к Степану, а он свистит, как паровоз. Так и не добудилась!

Пришла Надежда Пахомовна, посмотрела на горящую печь, сказала Жене, показывая на Ольгу и Гришку:

– Угля себе не покупают! Я им говорю: «Вы же пользуетесь моим углем!» А Ольга мне говорит: «А если бы нас не было, ты бы не топила?» Видишь, логически рассудила! Все дело в том, чтобы логически подвести!

Ольга сказала:

– Это что-то новое! Раньше ты говорила: «Логически я рассуждаю? Логически!»

Гришка, не поднимая головы, копался в замесе. Надежда Пахомовна сказала:

– Пока Васса была жива, Юлька ее ругала: «Висишь на мне, ничего не умеешь», – а теперь убивается. Все вы одинаковые. Пойди спроси у Юльки, где у нее соль. У меня нет.

Надежда Пахомовна готовила суп и пюре для поминок.

С улицы пришли сказать, что приехала подвода, пора выносить. Надевая шапки, выходили все вместе. Не торопились, пропускали друг друга вперед. Только Гришка остался.

– А ты не пойдешь? – спросил у него Степан.

– Нет, – сказал Гришка.

К Юлькиному дому шли по дорожке, обложенной кирпичом. Степан сказал:

– Юлька обложила. Я ей говорил: «Не бели, будет как на железной дороге». Побелила!

Сквозь открытые двери было видно, что в хате стало теснее. Кричала женщина.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Степан сказал Жене:

– Фрося, соседка, кричит. Вчера кричала.

– По своим покойникам кричит, – сказал пожилой мужик. – Похоронные получила. Теперь многие по своим покойникам кричат.

Кто-то сказал:

– Ну, хватит, пора выносить.

Но пожилой ему ответил:

– Куда торопишься? Пусть прощаются.

Еще постояли, покурили. Вошли в комнату, и старший мужик сказал:

– Довольно, будем выносить.

И женщины послушно стали выходить из хаты.

Васса лежала ногами к порогу. Была минутная заминка, надо было браться за гроб. Женя подхватил его в широкой, тяжелой части. Его остановили. Надо было раньше вынести бумажные цветы. Потом мужчины взялись опять и с трудом, пачкая спины и рукава о побелку, стали разворачивать гроб.

Кто-то выбежал вперед с табуретками. Гроб поставили во дворе у порошков дома, и мужики еще раз отошли:

– Прощайтесь.

Юлька кинулась на гроб:

– Да, может быть, мы тебя не так одели!

Подошла Надежда Пахомовна:

– Не дождалась ты сына своего. Не смог он к тебе с фронта приехать!

Опять подняли гроб, поставили на дроги, и Юлька закричала:

– Васса, моя золотая! Кто ж мне калитку откроет, когда я ночью с работы приду, кто ж мне скажет: «Душа моя истлела. Где ж ты была?» А я отвечу: «А я чеки считала!»

Женщина в темном платке крикнула:

– Ты ж там моему Сашеньке привет передай!

Женя услышал, как Надежда Пахомовна сказала:

– Если сейчас все начнут с ней приветы передавать, женщина и не донесет их на своем горбу. Та Сашеньке, эта Коленьке...

И Женя вдруг что-то почувствовал. Как будто эта невоенная смерть больше его потрясла, чем военная. Вассу он ведь почти не знал. Один раз она с ним разговаривала. Сказала о Вовке: «Рассеянный он у тебя. Ему говоришь, а он глазенки вытаращит: „Бабочка, бабочка!“ Аж неприятно». А теперь он как будто бы понял, почему Юлькина Настя плакала во сне, а у мужиков, которые, посмеиваясь, стояли во дворе, в какой-то момент Юлькиных причитаний влажнели глаза. И почему пожилой мужик удерживал торопящихся: «Пусть прощаются».

Дроги качнулись под гробом, и лошадь переступила с ноги на ногу.

– Пятый гроб отсюда выносят! – кричала Юлька. – Из этого проклятого дома. Зачем ты его строила!

Кладбище было недалеко. На могиле Степан сразу же установил ограду, которую он

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru заранее принес сюда. Оградка получилась маленькой, Степан подгрёб холмик, укоротил его, и Юлька представила себе, что голова и грудь Вассы в ограде, а ноги наружу.

– Что ты сделал! – закричала она на Степана. – Если бы это была твоя мать, ты бы ограду до кладбищенских ворот дотянул! Чтоб твоя мать сюда легла, а моя Васса встала.

Степан успокаивал ее. Как она на него ни кричала, что ему ни сулила, он только говорил:

– Юля, я исправлю. Сейчас негде и некогда – ты же знаешь, куда я еду. Но постепенно исправлю.

– Всех ты похоронила, – кричала Юлька, – всех сюда проводила, а теперь сама легла! Сколько ж тебе в жизни плакать пришлось! За что тебя господь так покарал!

Женя хотел с кладбища уйти домой, но Валентина его удержала.

– Юлька обидится, – сказала она. И он остался на поминки.

В Юлькиной хате еще было холодно, но печка уже топилась, а Надежда Пахомовна и Ольга к приходу гостей вымыли полы. В хате и пахло холодом, сыростью только что вымытых полов и сухим запахом раскаляющегося печного железа. Дверь во вторую комнату была открыта, через две комнаты были составлены столы.

– Проходите, – приглашала Юлька.

Женя хотел присесть с краю, но ему показали во вторую комнату.

– Родственники, – сказали ему, – там.

На дальнем конце стола тесно друг к другу сидели дед Василий Петрович и его брат – краснодеревщик Иван Петрович. На кладбище Василий Петрович ехал, сидя на дрогах. И обратно его привезли. Теперь он молча сидел за столом, а Иван Петрович что-то ему говорил. Оба деда были маленькими, сухонькими. Василий Петрович любил говорить о себе: «У меня святые ножки». Дед Василий, казалось Валентине, должен был быть грамотнее своего брата. Дед работал железнодорожным кондуктором, бывал во многих городах, а Иван Петрович не так-то давно перебрался из деревни в город. Но когда они собирались вдвоем, говорил всегда деревенский брат. Поговорить он любил страстно и не смотрел при этом собеседнику в лицо, а как бы воспарял взором. Говорил он о боге и о философии и часто повторял сами слова «Христос» и «философия». В детстве Валентина спрашивала у матери с тоской: «Ну скоро он перестанет?» Слова эти на нее почему-то производили впечатление удушающее. По его же детским впечатлениям, дед Василий не понимал того, что ему говорил брат. А тот спрашивал:

– Правильно?

– Правильно, – кивал дед.

Жена Ивана Петровича в девушках «гуляла». По уличным понятиям, Ивана Петровича с ней окрутили. Будущий тесть позвал его в дом «на дочек» – деревенский же, ничего не знает... В доме за ним ухаживали: «Пейте, Иван Петрович, чай с маслом». Он взял ложку масло и бросил его в чай. А в доме будущей жены, доме старомещанском, большое значение придавали манерам, «приличиям». Ложку масла, брошенную в чай, Ивану Петровичу запомнили на всю жизнь. Однако окрутили-таки его, приняли в зятя и уж тут показали ему! У жены Ивана Петровича были принципы, сводились они к тому, чтобы поддерживать постоянный порядок в доме, где какая-нибудь фарфоровая кукла утверждалась на сто лет. Дом вылизывался, вычищался до блеска. Из приложения к «Ниве» вырезались фотографии, картинки, вставлялись в ореховые рамки, которые выпиливал дед, и все это вешалось на стены. И в том, как были подобраны эти картинки, был даже какой-то вкус, потому что в доме вообще не возражали против книг, кое-что читали, а подшивки «Нивы» хранились здесь тщательнее, чем в любой библиотеке. На все книги был приобретен один специальный клеенчатый переплет, куда книга вставлялась, когда ее читали.

С возрастом неприязнь к словам «Христос» и «философия» у Валентины только

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru усилилась. Она и сейчас враждебно посматривала на Ивана Петровича. На нем был черный пиджак, а на жене его черное платье и черная косынка, которая почему-то казалась Валентине лицемерной. Валентине казалось, что во всем этом доме только эти двое не встревожены тем, как шли дела на фронте.

Фрося, которая плакала «по своим покойникам», попросила девочку-соседку прочесть письмо от своего третьего, приемного сына.

– «Дорогие папа и мама», – из деликатности скороговоркой прочитала девочка и засмушалась из-за того, что ей приходится читать на людях чужое письмо.

Фрося забрала у нее письмо и отдала другой соседке. И та еще раз прочла:

– «Дорогие папа и мама, – чтобы все слышали, как приемный сын обращается к Фросе и ее мужу. – Наши трудности временные. Скоро мы погоним фашистов. Мои товарищи передают вам привет...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Однажды Анатолий увидел военного с двумя револьверными кобурами на ремне. Потом это военное впечатление было вытеснено другим.

Как раз против дома, в котором жил Анатолий, выстраивалась очередь в магазин «Молоко». Гудение толпы начиналось еще в предрассветной темноте. Магазин был расположен на главной улице. В магазин пускали по двадцать человек. Отсчитывали два десятка очередных, и они, держась друг за друга, в сопровождении добровольных дежурных шли в магазин; на центральной улице очереди выстраиваться не разрешали. Давали молоко, иногда маргарин. И вот на заполненную людьми улицу один за другим на мотоциклах с колясками приехали военный летчик и милиционер. Казалось, они специально заехали сюда, чтобы на боковой, а не на главной улице решить какой-то опасный и важный спор. Оба мотоцикла подкатили к ближайшей подворотне и одновременно остановились. Милиционер, судя по всему, хотел задержать летчика, а летчик считал одинаково невозможным и убежать от милиционера и подчиниться ему. Встав с мотоциклов, они повернулись друг к другу. Милиционер требовал, чтобы летчик следовал за ним, а летчик отвечал негромко, но, видимо, очень дерзко, потому что милиционер то и дело хватался за кобуру. Летчик отталкивал его, собираясь опять сесть на мотоцикл. Тогда милиционер расстегнул кобуру и достал револьвер. Ни разу до сих пор Анатолий не видел на улице среди дня обнаженным оружие. Невероятным было и то, что человек, которого милиционер хотел задержать, тоже достал свое оружие и при таком стечении народа направил его на милиционера.

Кольцо любопытных, которое собралось вокруг спорящих, шарахнулось, в очереди закричали, а напряжение нарастало или падало в зависимости от того, направляли летчик и милиционер револьверы друг другу в грудь или опускали стволы.

И то, что летчик грозил открыто выстрелить в милиционера, и то, что милиционер в какой-то степени признавал право летчика разговаривать с ним вот так, – все было необычным. Они приехали сюда потолковать – пацаны, стоявшие в очереди, очень чутко уловили этот оттенок в их споре. Зачем им иначе было уезжать с главной улицы! Милиционеру это уж совсем было ни к чему. Но, видимо, он сам хотел в чем-то сравняться с военным летчиком. То, что сейчас здесь народу было гораздо больше, чем на центральной улице, уже не останавливало ни летчика, ни милиционера. Милиционер решительно показал летчику на подворотню – мол, дело можно завершить там, в цементных стенах. Не сводя глаз друг с друга, они вошли в подворотню и мгновенно направили стволы друг другу в грудь.

До сих пор Анатолию не приходилось видеть оружие открытым. Это же безумно обнаженное оружие грозило всем, кто был на улице. И тем, кто стоял поблизости от магазина, и тем, кто на противоположной стороне улицы не решался уйти из очереди за сепарированным молоком. Казалось, не выстрела люди ждали, а взрыва.

Но выстрела все-таки не последовало. Подержав друг друга на мушке, продержав в напряжении всю толпу, в которой никто не мог уйти с места, потому что с утра стоял за молоком, милиционер и летчик вложили оружие в кобуры и направились к своим мотоциклам. Первым поехал летчик, милиционер двинулся за ним.

Что у них было дальше, Анатолий не знал. Так эта история разыгралась перед его глазами, такой он ее и запомнил. И еще он запомнил вот что: летчик был пьян и,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
судя по всему, не прав, но в симпатиях своих очередь была единодушна. Все были на стороне летчика.

И первого раненого Анатолий видел еще до того, как фронт приблизился к городу.

В какое-то из воскресений, когда на завод почему-то не надо было идти, Анатолий с Женей пошли за город, на реку, к рыбакам. Они несли кое-какие вещи – собирались выменять их на рыбу. Кусты на левом берегу были еще рыжие, а деревья черные и пустые. Все спортивные базы покинуты. Понтоны заведены на берег, настил с мостиков снят – торчали одни столбы, вбитые в воду. Верховой ветер согнал воду, обнажились мели и близко от берега и на самой середине реки. Мель – как сыпь. Почему-то стыдно на нее смотреть. Была вода, а под ней такая грязь и черные ракушки. Лодки лежат на этой грязи. От них по земле тянутся грязные цепи к ненужным якорям.

Вышли они рано и видели, как солнце поднимается между фермами железнодорожного моста. На мост влетел железнодорожный состав, локомотив вошел в солнце и на секунду исчез. И так весь состав с теплушками, платформами, на которых стояли покрытые брезентом машины и пушки, проходил сквозь солнце. Вагон за вагоном на секунду исчезали в огромном солнечном диске.

И железнодорожный и автомобильный мосты немцы уже бомбили, но еще ни разу в них не попадали.

Женя и Анатолий шли по пляжу. Верховой ветер так быстро согнал воду, что песок еще не успел просохнуть, весь был в потеках, сливных стоках. Там, где песок просох, он белел, становился тверже. Наступишь – пружинит, и видно, как к тому месту, на которое наступил, приливает вода.

Два вола за длинную веревку вытягивали на пляж сеть. От веревки на песке оставался длинный след. Волы пахли смолой и дратвой, а вовсе не коровником, рядом с ними шагал рыбак в ушанке, стеганке и высоких сапогах-бахилах.

Другие рыбаки, среди которых было много женщин, медленно ступали по воде. В своих высоких сапогах-бахилах они довольно далеко входили в воду и тянули сеть. То есть вначале за длинную веревку сеть на берег вытаскивали волы, а потом уже на мелком месте ее перехватывали рыбаки и выбирали руками.

По воде рыбаки ступали медленно, сеть выбирали неторопливо. Суетились те, кто пришел сюда на менку. Они подступали к воде, заглядывали в рыбачий баркас. Рыбаки не обращали на них внимания. Обменом ведал пожилой краснолицый рыбак, которого называли то боцманом, то бригадиром, то Николаем Евграфовичем. А он всем говорил:

– Нет, какая рыба! Ты ж видишь! Отойдите, гражданин!

Потом он кого-то намечал, отходил с ним в сторону. Но отходил как будто бы для того, чтобы еще больше привлечь к себе внимание.

– Нет! – кричал он оттуда. – Я ж не имею права!

Женя и Анатолий пробыли на тоне долго. Пошел дождь – такой сильный, что на песке стали застаиваться небольшие лужи. Меняльщик дождь разогнал, а Женя отвел Анатолия на спортивную базу, и они через реку смотрели на потемневший от дождя город, на то, как по крутой, спускающейся к мосту улице идут два потока грузовых машин. Один поток вниз, другой вверх. Вниз машины набирают скорость, растягиваются, увеличивают интервалы, наверх – догоняют друг друга, идут на малой скорости за какой-нибудь телегой.

Водка, которую они принесли с собой, сделала «боцмана» сговорчивым. Домой возвращались с рыбой.

Все это Анатолий хорошо запомнил. Впервые от Анатолия зависело, будет ли дома еда. Впервые он шел вместе с Женей и, пожалуй, впервые испытывал такую изнуряющую усталость от долгой ходьбы. Долгая ходьба пешком тоже была одним из военных впечатлений.

Но главное, из-за чего он запомнил этот день, произошло потом, когда они уже

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru перешли мост и свернули на улицу, ведущую к дому Антонины Николаевны. Более впечатлительный, чем Женя, Анатолий почувствовал какое-то еще невидимое движение, которое задержало прохожих, заставило повернуть головы. Потом он увидел бегущего человека с портфелем. Улица в этом месте шла со значительным уклоном, человек бежал сверху вниз, полы его расстегнутого пальто развевались. Он убегал. Среди дня, среди нескольких прохожих его гнал невыносимый страх. И Анатолий подумал, что это шпион. Невыносимый страх вдруг заставил бегущего нелогично вильнуть, он выбежал с тротуара на дорогу, повалился на спину, на свое расстегнутое пальто и с паническим криком выставил поднятые руки и ноги. Одновременно Женя и Анатолий увидели догоняющего. С ножом в руках он бежал по коридору, который остался среди прохожих после мужчины с портфелем. Догоняющий тоже был расстегнут до рубашки, шапки на нем не было. Цепко вильнув вслед за мужчиной с портфелем, он, отстраняя беспорядочно машущие руки, наклонился над ним с занесенным ножом.

Женя бросил свою рыбу и побегал к ним, как только увидел человека с ножом. Но он явно не успевал. И тут Анатолий увидел третьего догоняющего. По тому же коридору из прохожих, топя сапогами, бежал совсем молоденький мальчик-милиционер. Он протянул к спине мужчины с ножом револьвер. Собственно, Анатолий увидел револьвер после того, как прозвучал выстрел, и удивился тому, что то, что милиционеры носят в кобурах, такого ярко-синего вороненого цвета.

Этот вороненый револьвер в руках милиционера был на несколько мгновений сильнейшим впечатлением Анатолия. Человек с ножом, не поворачиваясь к милиционеру и как будто не обращая на него внимания, выпрямился, бросил нож, а мужчина с портфелем поднялся со своего пальто, подобрал нож и что-то закричал милиционеру.

Милиционер стоял растерянно, револьвер в его руках был все таким же большим и ярким. Тогда мужчина с портфелем бросился на своего преследователя, ударил его и потянул за собой. Но тут Женя, который уже подбежал к ним, поступил, на взгляд Анатолия, странно. Он удержал, а потом решительно оттолкнул все яростнее наскакивавшего мужчину с портфелем. К ним прибежала женщина в сбившемся платке, вцепилась в рукав стеганки того, кто только что бежал с ножом, и закричала, как будто он был далеко:

– Петя! Петька-а! в больницу! Да ведите ж его в больницу!

Мужчина в стеганке шевельнул рукой, отстраняя женщину, сделал несколько шагов в том направлении, куда его тянула женщина, но остановился и вдруг стал раздеваться. Он бросил на тротуар стеганку, пиджак, потянул через голову свою расстегнутую рубашку, снял майку и оказался по пояс голым. Тело его было смуглым, в синих тенях татуировки. Холода он как будто не чувствовал. Женщина подхватывала одежду, которую он бросал на тротуар:

– Что же ты делаешь!

А он, все так же не обращая внимания на милиционера, на мужчину, который еще пытался на него наскакивать, на женщину, которая тянула его, старался рассмотреть что-то у себя на смуглом животе. И Анатолий увидел: как раз над брючным ремнем у него было небольшое розовое пятнышко. Ранка совершенно не кровоточила. Точно такое же пятнышко у него было над брючным ремнем на спине.

Женщина пыталась набросить ему на плечи стеганку или пиджак, но он тут же сбрасывал их. На ногах он держался твердо, не качался, не собирался падать. Он только не шел туда, куда его тащила женщина, хотя тащила она его в ближайшую городскую поликлинику. Постепенно вокруг них образовалось кольцо. Но это было редкое кольцо, совсем не похожее на плотное кольцо любопытных, которое собирает какое-нибудь привычное уличное происшествие. Милиционер, словно забывший вложить в кобуру свой потускневший, не привлекавший внимания револьвер, держался за спинами и даже не пытался как-то направить события. И мужчина с портфелем, который все еще возбужденно размахивал руками и требовал, чтобы раненого везли в милицию, постепенно оказался в стороне. Анатолий глаз не мог отвести от голой груди и спины раненого. На уличном холоде кожа его не тускнела, а, казалось, становилась все ярче, и только живот посмуглел. Он все так же сбрасывал одежду, которой пыталась прикрыть его женщина. Женя, помогавший ей, сказал милиционеру:

– Машину останови!

И молоденький милиционер послушно сунул револьвер в кобуру и побежал ловить машину. Он тут же остановил «эмку», однако раненый отказался лезть в машину. И тут Анатолию показалось, что Женя ожесточился. Он несколько раз быстро ударил раненого по щекам, закричал на него, надел на него стеганку и потащил в машину. И тот, уже не сопротивляясь, пошел к «эмке» и, как почему-то ожидал Анатолий, не сел, а повалился на заднее сиденье. Милиционер, мужчина с портфелем, женщина влезли в машину и уехали, а Женя вернулся к Анатолию, взял свою рыбу, и они двинулись к Антонине Николаевне.

Анатолию не терпелось все рассказать, но когда он стал рассказывать, ему показалось, что Женя недоволен им. Антонина Николаевна испуганно заахала:

– Ах ты боже мой! Что делают!

А Валентина сказала то, что Анатолию самому хотелось сказать:

– Я бы сама этого бандита убила. Не на фронте героитствует, а над своими безоружными.

Женя молчал. А когда Валентина еще сказала ему что-то сердитое, он ответил:

– Ранение у него тяжелое. Может, и не выживет.

– И лечить я его не стала бы, – жестко сказала Валентина.

Антонина Николаевна с беспокойством посмотрела на Женю.

– А может, у него дети есть, – сказала она Валентине примирительно.

Ефим вдруг уставился на нее, остолбенел, замер с разведенными в недоумении руками. Все замолчали, пережидая, пока у него пройдет это остолбенение, не очень ясно себе представляя на этот раз, что оно означает: упрек Антонине Николаевне, недовольство сыном или невесткой. Антонина Николаевна, как всегда, смутилась:

– Что я такого сказала?

– Глупость! – сказал Ефим. – Глупость! – И вдруг, выкатив глаза, яростно заорал на кошку, которая под столом потерлась о его ногу: – Пошла! П-шла, гадость!

И топнул ногой, но не замахнулся, не толкнул кошку, а, будто брезгуя, отстранился от нее. Кошка не испугалась, выгнувшись, она опять потерлась о Ефимову ногу – ее волновали запахи обеденного стола. Подняв скатерть, Ефим некоторое время смотрел под стол, потом отпустил скатерть, так и не прогнав кошку.

– У хороших хозяев кошки и собаки к столу не подходят!

Ефим теперь почти непрерывно был в самом мрачном своем настроении. Если он возился во дворе или что-то делал в доме, а у него спрашивали, чем он занят, Ефим отвечал: «Будку себе делаю. Доски себе на гроб строгаю».

Завод, на котором работали Женя, Валентина и Анатолий, все больше сворачивался. Станки в деревянных ящиках с надписями «верх», «низ», «не кантовать» поднимали на железнодорожные платформы. Первый эшелон ушел еще в конце августа. В цехах, намеченных к эвакуации, за сутки, а то и за двое, с вещами собирался народ. Вещи приносили, привозили на тачках, располагались ожидать семьями. Уезжали с заводом не все, но уезжавших было очень много. Выбирали старшин вагонов, объединялись в коммуны, из общего пайка варили суп на всех. На каждую семью полагалась норма багажа, но большинство до нормы не добирало. Потом на заводские железнодорожные пути загоняли эшелон, люди грузились в теплушки, ждали – вот-вот тронется. Потом старшины вагонов бегали к начальнику эшелона, тот – к директору завода. Наконец поезд трогался – выходил за пределы заводской территории. Но редко эшелон в тот же день уходил из города. Стояли на запасных путях пассажирской станции, на перегонах вокруг города, на подходах к товарной станции. Ночевали в вагонах, а город был все еще рядом. Вначале на этих остановках опасались отходить далеко, потом начинали разбредаться подальше. Кое-кто даже уходил домой за какой-нибудь забытой керосинкой или кастрюлей, которую оставил за ненадобностью и без которой

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
теперь нельзя было обойтись.

На заводе об эшелоне все было известно. Те, кому очередь еще не подошла, нервничали так же, как те, кто сидел в теплушках. Зенитные пулеметы были на одном или двух эшелонах, но большинство составов ничем не прикрывалось от нападения самолетов. А с окраины город казался беспорядочным, одноэтажным, слабым.

Женя должен был оставаться на заводе до последнего дня (если этот день все-таки наступит). Заводская команда, в которую он был зачислен, завершала эвакуацию и поступала в распоряжение саперов, взрывающих цеховые здания. Но Валентина уже могла бы уехать. Эвакуироваться можно было и с учреждением Ефима. Валентина хотела ехать с заводскими, а Женя настаивал, чтобы Вовка и она ехали с Ефимом и Антониной Николаевной.

Литейный еще работал, но многие шисьельницы из Валентиновой бригады уже уехали, чтобы раньше устроиться на месте, чтобы не ехать под бомбежкой в последний момент.

Уехала подруга Лариса, дочь школьной Валентиной учительницы. И Валентина прибегала после работы, чтобы отоварить карточки Ирине Адамовне. У Ирины Адамовны было больное сердце, и она почти не выходила из дому. С Ириной Адамовной Лариса оставила свою дочь Милу.

Ирина Адамовна разговаривала с Валентиной как с повзрослевшей своей ученицей. Она говорила:

– Дети – жертвы неустроенных браков. Одна моя приятельница так пугает своего внука: «Вот приедут отец с матерью и заберут тебя к себе». И что ты думаешь – отец и мать раз в год приезжают к сыну, а он прячется от них в другую комнату, плачет, не хочет оставаться с ними наедине. Мать его успокаивает: «Ну чего ты боишься? Ты же знаешь, что забрать нам тебя некуда. У папы работа такая, он все время в разъездах. Так что мы тебя не заберем». Вот и Миле со мной лучше.

Семья Ларисы, так казалось Валентине, всегда жила в атмосфере каких-то несчастий. И то, что отца у них взяли в тридцать седьмом году, было не главным несчастьем, а только одним в ряду других. Лариса тогда тяжело болела, и Валентина приходила к ней. Лицо у Ларисы было земляное, сказочного уродства, с наростами, утолщениями, старушечье, со следами старушечьего страдания: приниженности, убогости. Одета она была в темное, состарившееся на ней пальто, повязана толстым серым платком. Так она сидела в комнате, обставленной донельзя нелепо: в крошечной комнате большой обеденный стол, туалетный столик, кровать, несколько стульев и два шкафа – посудный и платяной. Если учесть, что в комнате печка-голландка, а у входа вешалка, едва выдерживающая тяжесть старой и новой одежды, то станет понятно, что пройти в этой комнате можно только что-то отодвигая, между чем-то протискиваясь. И странный вид этой комнате придавало необычное в таком окраинном домике обилие китайских безделушек: тусклых лакированных коробочек, фонариков. Комната сумеречная, с окнами на север, никогда не просыхающая до конца, комната без воздуха и пространства. Здесь и мебель, и одежда, и покрывала на кровати, и скатерть на столе постоянно пачкались от одной тесноты, оттого, что рядом печка, на которой готовят еду, вываривают белье, подогревают воду, когда собираются купаться. Оттого что здесь не любят друг друга, постоянно враждуют, оттого что живут прошлым и надеются на будущее, а настоящим пренебрегают. Комната, в которой заперты безнадежные, нелепые страсти, некогда бывшие вполне здоровыми, но со временем состарившиеся, неосуществленные, ставшие составной частью воздуха этой комнаты.

Так казалось Валентине. Она считала, что и несчастья должны быть здоровыми у тех, кто живет интересами страны. Могут быть, конечно, и болезни, и смерть, и еще что-то такое, чего не предскажешь заранее. Но несчастье – это ведь нечто, что может случиться только с тобой, с твоими близкими, нечто личное, частное и в конечном счете мелкое. Твое нездоровье никак не должно отразиться на здоровье народа, страны. Валентина не любила тех, кто долго жил своими несчастьями. Но с Ларисой она несколько раз сидела за одной партой, а Ирина Адамовна преподавала им в школе историю.

Когда арестовали Ларисиного отца, Валентина не удивилась. Она не думала, что он враг народа. Но он был «не свой», как тусклые китайские безделушки, которые он

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru привез сюда из Харбина. Он работал на КВЖД, называл себя кавэжедеком, упорствовал в мелочах, переводчиков именовал драгоманами, адвокатов – присяжными поверенными, у него была коллекция «романовок», «керенок», он любил спорить, громко говорил в трамвае и вообще привлекал к себе внимание. И характер был у него тяжелый. Платяной шкаф стоял у них не вплотную к стене, а как бы выступив на середину комнаты – символ нелепости и враждебности самой атмосферы в доме. Это Ларисин отец без чьей-либо помощи, силой одного своего раздражения вытолкнул его из своей комнаты в комнату Ирины Адамовны и Ларисы: «Вот ваш шкаф, и в мою комнату совсем не заходите». Ссора эта потом рассеялась, а шкаф так и остался стоять.

Теперь Ирина Адамовна и Лариса жили в комнате двухэтажного заводского дома. Комната была пустой, темноватой. Ирина Адамовна много лежала, и кровать ее выглядела серой не только потому, что серым было одеяло. Дом они продали еще перед войной. Лариса все хотела как-то уйти от того, что она считала своей несложившейся судьбой: продать домик на окраине, переехать в центр, уехать из города вообще, сменить профессию. Матери она кричала:

– Как можно с тобой жить! Ты яйца варишь в чайнике!

Они теперь часто ссорились, и хотя Ирина Адамовна чаще всего переносила Ларисины вспышки молча, Лариса кричала ей:

– Зачем мне мать с университетским образованием! Бывают же у людей матери – простые женщины с языком, который подвешен не так хорошо!

Она и на дочь свою, умненькую красивую девочку, кричала:

– Не дергайся!

Ирина Адамовна говорила Валентине:

– Я за нее боюсь. У нее характер отца. В гневе она бьет посуду.

Жаловалась:

– За Ивана ей не надо было выходить. Я ей говорила «Не сживетесь. Ничего тебе не даст его крестьянское происхождение». А теперь выгоняет его, когда он к Миле приходит. Говорит ему, чтобы не приходил. А он ей сказал: «Могу и не приходиться». И не приходит. Он, конечно, скупой и неумный, но стекло в окно он мог вставить.

Ирина Адамовна смеялась:

– Его теперь сделали прокурором. Знаешь, Валентина, я удивляюсь. Он за обеденным столом сказать двух слов не мог. Это было мучение какое-то. Не знаю, как теперь, а раньше в суде прокуроры говорили. Я у него спросила: «Иван, как же вы делаете свою работу?»

Лариса одной из первых уехала из города на новое место.

Валентине нравилось, что Ирина Адамовна при ее болезни сохраняет бодрость духа. Теперь, когда у всех была большая беда, ей даже нравилось приходиться к Ирине Адамовне. Ирина Адамовна поднималась с кровати, говорила подругам Милы (в комнате всегда было несколько девочек, с которыми Ирина Адамовна занималась):

– Всё, девочки, идите.

Она говорила так, не думая девочек обидеть и действительно не обижая их.

Валентина всегда торопилась, но Ирине Адамовне нужно было поговорить.

– Валя, – как-то сказала она, – я стала верить в бога.

– Решили, что бог есть?

– Нет, Валя, но у меня сейчас бывают такие состояния, когда хочется помолиться. А когда молишься – начинаешь верить. И знаешь, мне помогло. Я молюсь, чтобы бог дал мне дожить до тех пор, пока немцев погонят и Лариса сумеет взять к себе

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Милу. К моей соседке поселилась женщина-врач, очень хороший человек. Когда мне становится плохо, я стучу в стену, и она приходит. У меня терпнут руки, холодеют ноги, дыхание прерывается – вот-вот умру. А она мне говорит: «Ну вот и все в порядке. Это обычные симптомы вашей болезни. Еще немножко – и пройдет». Сядет ко мне на кровать, ноги укутает, даст что-то выпить. А мне нужно, чтобы живой человек рядом посидел. И она сидит терпеливо. Полчаса сидит: «Ну вот вам и легче». Я уж Милу подготавливаю, говорю: «Ты не бойся, это все естественно. Если ты проснешься, а я уже не буду живой, ты просто походи и позови соседей». Денег только совсем нет. Вчера я собрала кое-какие вещички: Милкину блузку, из которой она уже выросла, носочки теплые, поехала на базар, стала около женской уборной – знаю, что там иногда спекулянтки стоят. Еле живая стою, а меня кто-то как тряхнет – женщина-милиционер. «Плати рубль!» – «Девочка, если бы у меня был этот рубль, я не стояла бы здесь!» – «Тогда уходи отсюда!» И так я от всего этого растерялась и испугалась, что уронила в эту грязь весь свой сверток.

Забывать стала. То есть все стала забывать. Пришла в аптеку, заплатила в кассу пятьдесят девять копеек, протягиваю продавщице чек и молчу. Она спрашивает: «Что вам?» А я не помню. Она меня торопит, у нее другие покупатели, а я ничего не могу вспомнить. Она мне стала называть: «Аспирин? Вазелин? Детская присыпка?» Весь свой прилавок перебрала, а я ничего не могу сказать. Она говорит: «Ну пойдите посидите, подумайте. Может быть, вспомните». Я села в стороне на скамеечку, а ко мне женщина подошла, у нее в авоське «пиретрум» – то, за чем я пришла! В другой раз в продуктивном магазине заплатила рубль двадцать, подошла к прилавку и, хоть убей меня, не могу вспомнить, зачем я сюда пришла. Стали мы с продавщицей перебирать, что бы могла купить на рубль двадцать. Взяла я пакет соли, принесла домой и до сих пор не уверена, что я за ним ходила в магазин.

А вообще, Валя, бог есть. Тех людей, которые купили наш дом, обворовали. Унесли у них ковры. Это, конечно, нехорошо, что я радуюсь. Но они очень непорядочно вели себя при покупке. Они богатые люди, и не землянушку нашу они покупали – им участок был нужен. В нашем доме они временно поселились и сразу стали строиться. И война им не мешает. Знаешь, что они мне сказали, когда были подписаны все бумаги? «Чтобы через два часа вас здесь не было». Мы с Ларисой бросились искать драгиля или грузовик какой-нибудь, чтобы перевезти вещи. Вещей этих у нас, конечно, немного. Но все-таки что-то было, и сразу погрузить все мы не смогли. В сарае у меня остались книги. И методические пособия. И учебники, и политическая литература. И хорошие книги: Пушкин, Лермонтов, классики. Сколько лет я преподавала – накопилось! И пальто у меня в сарае висело. Не очень хорошее пальто. Но пальто. Другого у меня не было, и я не собиралась покупать. Я сказала этой женщине, что, как только я устроюсь на новом месте, дня через два приеду и все заберу. Я, правда, не через два дня приехала, а через полторы недели. Нелегко же мне это. Пришла к ней, говорю: «Я хочу взять пальто, которое висит в сарайчике». А она мне отвечает: «Какое пальто? Тут нищая приходила, я ей и отдала эту рухлядь». – «Ну как же, – говорю ей, – рухлядь. Это было еще не старое пальто. У меня не было другого. А книги?» – «Хлам я сожгла». Валя, а она учитель истории. Он заведует складом или столовой, а она в школе историю преподает. Я ей говорю: «Этого вы не могли сделать, вы же культурный человек. Там были такие книги!» А она отвечает: «Буду я в хламе рыться!» Валя, я ей сказала: «Вы разрешите мне срезать с этого розового куста несколько веток? Его мой муж сажал». – «На этой земле нет ничего вашего», – сказала она мне и не разрешила. Знаешь, я ушла от этой женщины. Я боялась расплакаться при ней. Так стало мне жалко мужа. Я хотела розы у себя здесь посадить. Вышла я за калитку и не заплакала, а закричала. Я так кричала, что сама себе бы не поверила. Хочу остановиться и не могу. Наломала через забор веток со сливы и вишни и ушла. Ларисе я всего, конечно, не рассказала. Ты же знаешь Ларису. Но когда Ларисе понадобилась выварка, она пошла за ней. Та женщина не хотела ее пустить, но Лариса такого ей наговорила. Когда она мне рассказывала, я очень смеялась. Так что выварку она принесла. И вот теперь их обворовали. Я понимаю – они все быстро восстановят, но теперь я знаю, что подлецы могут быть все-таки наказаны и на земле. Ты вот мне скажи, Валентина, почему такого человека не привлекут к суду, хотя бы по условиям военного времени? А мужа моего посадили в тюрьму, хотя он никогда ничьей копейки не присвоил. Характер у него, конечно, был тяжелый и язык ядовитый, но ведь нельзя же сажать в тюрьму за дурной характер. И потом, Валя, мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь у нас за слово произнесенное будут сажать в тюрьму.

– Ирина Адамовна, – говорила Валентина, – вот вы говорите – бог! Но ведь не бог вам помогает, а живой человек.

Ирина Адамовна смеялась:

– Я старая учительница, Валя. Я сама всю жизнь учила тому, что бога нет. Разве я говорю – бог? Я говорю, что у меня теперь такое состояние, когда ничего, кроме молитвы, не помогает.

Валентина отоваривала в магазине карточки Ирины Адамовны, приносила продукты, просила соседку присматривать за Ириной Адамовной и бежала домой. И раньше Валентина дома часто садилась обедать сама, не ждала, пока все соберутся или пока Женя придет с работы. А когда он приходил, не торопилась звать его к столу: «Голоден – сам скажет». Так что Антонина Николаевна не выдерживала: «Женя, иди обедай». Теперь за столом вообще встречались редко. Только Антонина Николаевна подавала и Ефиму, и Жене, и Валентине и сама с ними присаживалась за стол. Сидела чуть в стороне, положив руки на колени, ждала, когда надо будет подать или убрать тарелку. Все силы, всю изобретательность и она и Ефим вкладывали в то, чтобы тянуть семью. Всё это уже было в жизни Антонины Николаевны и не застало ее врасплох. Мешочки с крупой, вермишелью, домашней лапшой, солью у нее всегда хранились про запас. Продуктов этих было не так-то уж много, но все же это был запас, который Антонина Николаевна всячески старалась сохранить.

* * *

День, в который невозможно было поверить, все-таки наступил. Как будто все пришло в первобытное состояние. Между всеми предметами на заводе разом порвались жизненные связи. Куча песка стала просто кучей песка, глина – просто глиной. Раньше все это было основой для формовочной массы. Снег запорошил и глину и песок. Было видно, что много дней никто к ним не прикасался. И во всем появилась неподвижность. Воздух прочистился, мороз убил запахи, и только цвет глины и песка как будто прояснился. Песок и глина были отборными, и цвет у них был яркий, он светил сквозь тонкий покров снега.

На крыше механического цеха появились люди. Срывали толь, железо, доски со стропил. Доски сбрасывали вниз. Тонкие, длинные, высохшие, они со стеклянным звуком лопались, ударившись об асфальт. Из десяти сброшенных едва ли одна могла еще пойти в дело. Людям на крыше было ветрено и скользко. Работали они на самом краю – отрывали доску, на которой только что стояли. Даже если они старались бросать аккуратно, доски все равно бились. Однако в движениях людей уже появилась какая-то злая лихость.

Рушилось нечто такое, что само по себе, не задевая окружающего, разрушиться не может.

Должно быть, человеческая фантазия имеет свои пределы. Разрушенный, разваленный огромный завод был за ее пределами. Завод этот строился с помощью большинства работавших на нем людей. Многие помнили пустырь, на котором стояли сейчас цехи. Но фантазия обратного хода не имеет, обратного действия, что ли. Представить себе пустырь уже было невозможно. Пустырь давно перестал быть реальностью. Реальностью был огромный завод. Пятнадцать лет строительства, работы, жизни, которая складывается из выходов на работу, обеденных перерывов, собраний, получения зарплат, волнений по поводу этой зарплате, по поводу квартиры, по поводу бог знает чего. Вся жизнь у многих прошла здесь – вся, без остатка. Для кого хороший, для кого плохой, для кого ни хороший, ни плохой – обыкновенный завод простоял здесь пятнадцать лет.

Он связывал людей, которые и не думали, что они связаны, и вот теперь его разрушали. И это была великая жалость, а для кого-то и странное, мерзкое веселье. Вернее, жалость, осложненная каким-то злым, лихим чувством. Ломались ведь не только стены – ломался уклад, ломалась жизнь, монотонность, ломались будни. То, что надвигалось, было неизмеримо хуже уходящих будней. Но где-то между будущим страхом и прошлой монотонностью зияла странная пропасть. Уходили те, кто так долго утверждал и строил – утверждал свой порядок и строил завод. Уходили хозяева, и это рождало какую-то отчаянную мысль. Она возникала только на мгновение, потому что вслед за ней тотчас следовал трезвый и холодный страх. Не просто страх – ужас. То, что еще до появления своего вызывало такие ужасные разрушения, само по себе должно было быть еще ужаснее. Это чувствовали все. И все-таки в самой этой ломке, в исчезновении порядка, в перерыве монотонности была скрыта возможность для какой-то лихости. Кто больше, кто меньше – люди были отравлены ею.

Женя уже несколько дней не уходил с завода. Еще не все оборудование было вывезено, и его спешно старались вывезти. Работали днем и ночью, но уже не хватало вагонов, паровозов, и уже не к кому было за ними обращаться. Неподвижность стала утверждаться и на железной дороге. Еще появлялись время от времени паровозы с платформами (на паровозе вместе с паровозной бригадой приезжал Котляров – он добывал транспорт), но появление очередного поезда казалось неожиданностью. Его уже не ждали, и Котляров, щетиня командирские усики, бесстрашно поглядывал своим стекляннным глазом, кричал:

– Давай, давай! – И показывал на паровозную бригаду: – Нервничают! Чего вы нервничаете?

Но потом поезд уходил, и опять по путям можно было ходить, не испытывая обычного опасения – вот-вот свистнет и налетит... Рельсы схватывало ржавчиной. Оказалось, что несколько часов перерыва между поездами достаточно, чтобы на рельсы легла молодая, яркая ржавчина. Завод захламливался. По трубам и проводам еще подавались вода и энергия, и эта текущая по трубам ненужная заводу вода и подающаяся по оборванным проводам электроэнергия были сейчас удивительны.

На заводской территории располагались воинские автомастерские. Потом свернулись и они. Теперь на заводе осталась небольшая стрелковая часть, которой командовал капитан Дремов, несколько саперов и заводская команда, старшим в которой был Котляров.

Лейтенанта, который командовал саперами, Женя знал. Это был приятель Мики Слатина Сурен Григорьян. Жене нравилось, как он учил своих подчиненных.

– Глаза боятся – руки делают, – говорил Сурен, показывая, как укладывается заряд.

Вечером, когда все собирались в комнате заводоуправления, где топилась железная печка, Сурен говорил:

– Лишь бы здоровья хватило – выпутаемся. Я всегда себе в таких случаях говорю: хватило бы здоровья – выпутаемся.

Подчиненные у него были пожилые, необученные. Он их успокаивал:

– Любую сложную работу можно разбить на простейшие операции.

Важно было, как он это произносил. Как будто радовался, что слова у него так здорово укладываются в эту ловкую фразу. Сурен не просто что-то делал или говорил, он еще и восхищался тем, как это у него получается. Даже когда он очень сильно уставал, ему хватало радостного изумления по поводу того, что он так наработался. Это не все понимали, но чувствовали все. Это передавалось.

– Я брату твоему предлагал, – сказал как-то Сурен Жене, – давай сделаем автомобиль. «Я же ничего в технике не понимаю». – «Ты мне и нужен, чтобы было кому объяснять! Я тебе один раз объясню, второй – и сам лучше разберусь». А потом, – как бы извиняясь, говорил Сурен Жене, – напарник нужен для энтузиазма. С работы придешь, устанешь, ничего делать не хочется, а напарник придет, глядишь – начали. А начали – пошли дальше.

Он часто говорил о том, что он устал, наработался, как будто больше любил себя в этом состоянии.

– Устал! – говорил он с восторгом. – Нарботался!

Объяснял он – как будто загадывал и тут же разгадывал замечательные загадки. И в глазах его в этот момент зажигался огонек восхищения – переживал удовольствие оттого, что его собственный мозг так хорошо работает. Оттого, что не все так просто, но если хорошенько подумать...

– Строительный мусор лучше высыпать в подпол. Зачем?! Ты не замечал, что в подпол сыплют строительный мусор? Или заливают известь? Дезинфицируют! Против грибка. Плохо, когда вместе с известью засыпают стружку, щепки – тогда это очаг гниения.

Но он не только о работе так говорил. Казалось, он обо всем успел подумать, ко всякому месту в жизни успел себя примерить. Как-то, когда зашел неизбежный разговор о женщинах, он сказал:

– Понимаешь, бабники берут женщин «своего круга». Может быть, поэтому у них такое ощущение, что перед ними любая женщина не устоит. А мне всегда нравились женщины, которые выше меня, лучше...

Он любил говорить о себе. Как о человеке, который то восхищает его, то удивляет, то заставляет огорчаться. Как о ком-то, за кем он давно и заинтересованно следит, чьи душевные движения ему известны лучше всего.

– Понимаешь, – говорил он с огорчением и в то же время с интересом, – полгода не курю – и не хочу и не тянет. Это плохо – здоровье на убыль пошло. Я заметил: как хорошо себя чувствую, так сразу закурить хочется.

Наивно изумлялся и восхищался тем, как его постоянно испытывает судьба. Чаще всего рассказывал свои армейские истории:

– Жена со мной была, а рожать уезжала к матери домой. Договорились с ней, что телеграмму пошлет не в часть, а на почтовое отделение: боялись, что телеграмма затеряется среди красноармейских писем. А почтовое отделение было на железнодорожном полустанке. Я месяц с того дня, как она должна была родить, в метель, в мороз ходил туда после работы за шесть километров. «Нет!» – говорят. Устал я, а тут еще отчаиваться начал, прислонился к притолоке вот так, почтовая работница меня и пожалела: «Вы каждый день ходите по такому морозу. Наверное, ждете важное письмо». – «Телеграмму, – говорю, – жена должна была родить». Она и говорит своей напарнице: «Тася, посмотри, нет ли у тебя телеграммы». А Тася отвечает: «Есть, как же. Одна давно уже лежит. – И прочла по складам: – Григорьян». – И Сурен, заикаясь от полноты чувств, захохотал. – К ним на полустанок телеграммы приходили очень редко. Тася эта и не знала, что с ней делать, не положила ее в ящик «до востребования».

Истории его были как будто совсем не о войне, но слушали их внимательно, было в них что-то обнадеживающее.

Жене Сурен говорил:

– Вот ты спортсмен, а мне всю жизнь на это времени не хватало. Я, понимаешь, спортсменом стал, чтобы лучше работать. Рота моя была распределена по участкам вдоль железной дороги. Так я велосипед купил. Грузился с ним в поезд, слезал на ближайшей к моему участку станции и катил себе по бровке. В темноте ездил, потом удивлялся, как не разбился! Инстинкт, наверное...

Любая рабочая удача его возбуждала. Свинтить ржавую гайку, которая не давалась его саперам, – этого ему было достаточно.

– Я тебе не рассказывал, – говорил он, – как я в первый раз машину повел. Послали нас из техникума на практику в первый раз. Но это ж так говорится – практика! Моя специальность – мосты, а работал я на строительстве горной автомобильной дороги: лес валил и вывозил. То грузчик, то экспедитор. Погрузим бревна на грузовик, сажусь к шоферу в кабину и еду с ним вниз, в поселок, бревна сдаю. Бревна длинные, на спусках и поворотах дорогу цепляют. А дорога – сплошные повороты. Вниз посмотришь – тошнит. И узкая – не разойтись. Не дорога еще – тропа. Один раз приехали с шофером в поселок под праздник, он куда-то исчез. Надо ехать назад, а его нет. Потом пришел пьяный и полез в кабину спать. Я его посадил, забрал у него ключи, завел мотор и тронул. Восемнадцать километров той дороги было. А я не испугался – обрадовался, что он пьян. Я пока с ним ездил, внимательно следил, как он все делает, и был уверен, что сам так смогу. На следующий день он ко мне пришел в страхе: «Сурен, как ты не удержал меня? Это чудо, что мы с тобой живы!» Думал, что это он пьяный вел машину. – Сурен смеялся, а потом говорил, наивно удивляясь сам себе: – В самолете я ни разу не сидел. А знаешь, если надо будет, мне так кажется, что разберусь и полечу...

Жену и детей он отправил к родственникам в Ереван и беспокоился, как они добрались, удивлялся:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru – Я ж там в первый раз в жизни в прошлом году побывал. Отец давно говорил: «Я уже старый, надо на родину съездить». Нормальные люди как делают? Садятся на поезд и едут! А я всю свою семью на своем самодельном автомобиле туда довез. Честное слово, – изумлялся Сурен, – мировой рекорд поставил. Столько людей на мотоциклетном моторе поднял на такую высоту, на такие перевалы! Когда мы к Еревану подъезжали, нас автоинспектор остановил: «Откуда?» – спрашивает. Я сказал. Он своему напарнику кричит: «Подежурь за меня! Дорогие гости приехали». Садится на свой мотоцикл и говорит нам: «Езжайте за мной, я недалеко живу, сегодня вы мои гости». Едва его убедили, что нам к родственникам надо. «Завтра поедете к родственникам». Обижался. Дал адрес: «Если не приедете, за кровную обиду считать буду». А мы так и не заехали к нему: отпуск маленький, родственников много. Сегодня у одного погости, завтра у другого. А тут и уезжать надо. Так он сам к нам в город приехал, два дня у меня жил. Свадьба тут была, его родственница замуж выходила. Смотрю, во двор к нам человек заходит – а я с машиной возился, – спрашивает: «Не узнаешь?» Я не узнал, а жена говорит: «Так это ж автоинспектор!» А он меня по машине узнал. Совсем, говорит, уже мимо прошел. «Смотрю, машина во дворе...»

Беспокоило его, что жена и дети не знают языка.

– Я сам такой армянин, что только в армии немного научился – нужда заставила. У меня ж в роте, – смеялся Сурен, – армяне, аварцы, кумыки. На сто человек семьдесят национальностей. Такое было мое счастье. Спасибо, старшина-азербайджанец четыре горских языка знал. У меня ж были такие, кто паровоз в армии в первый раз в жизни увидел. Один от паровозного свистка бросился бежать. Его военкоматовцы ловили, думали – дезертирует. А один совсем ребенок оказался. Старший брат у него умер, а родители, по обычаю, новорожденному дали имя умершего. И метрику на него новую заводить не стали. Парень рослый, в военкомате не сумели разобраться, с мобилизацией у них всегда сложности. Я и сам не сразу ему поверил. Но вижу – ребенок! Стал я докладывать, писать. А время идет, письма по инстанциям медленно переправляются. Год прошел. Я ему и говорю: все равно время уходит – служи! При себе его держал, работу легкую находил. Думал, отслужит – будет свободен. Школу такую пройдет! А тут, видишь, как получилось! Опять, наверное, в армию пошел. Как жизнь повернулась!

Рядом с заводоуправлением на асфальтированной аллее уцелела общезаводская Доска почета. Стекло было разбито, но фотографии еще держались. С фотографий смотрели литейщики, слесари, токари, техники, инженеры, профсоюзные работники, управленцы, сфотографировавшиеся в похожих двубортных пиджаках. Было несколько женских портретов. Фотографии подмокли и кое-где отклеились, подписи, сделанные черной чертежной тушью на полосках ватмана, расплылись. Но разобраться в них было еще можно. Мимо Доски почета проходили много раз и не обращали на нее внимания. Но однажды Сурен сказал:

– Надо бы фотографии снять. – И застеснялся. – До лучшего времени.

О том, что город еще в наших руках, теперь судили почти исключительно по тому, что в проводах есть электроэнергия, а по водопроводным трубам течет вода (следовательно, электростанция и водопровод еще не взорваны), но говорить о том, что здесь будут немцы, еще не решались.

– Семьи у кого-то, наверное, остались, – сказал Сурен. – Фотографии наведут на них беду.

Фотографии сняли, и Сурен сказал Жене:

– А тебя тут нет.

Женя засмеялся:

– Да я ж не очень передовой.

Сурен сказал с сожалением:

– Я тоже на такие доски не попадал.

Капитана Дремова, командовавшего стрелковой частью, звали Иван Власович. Это был кадровый военный. Вся его жизнь прошла в армии. Был он плотный, кругловатый,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru сильный, хотя и с одышкой. Громко командовать не любил. И говорил вполголоса. Чтобы его слышали, подходил совсем близко, становился, почти касаясь животом, смотрел в глаза и улыбался, будто любясь. Говорил с придыханием: ах-ха! Много лет служил на Дальнем Востоке и на Севере.

Он был не въедлив, не зол, скорее добродушен, но осторожен. Когда заговаривали о том, почему отступаем, он уходил или делал вид, что не слышит. Прекратить эти разговоры он уже не мог. Спросят прямо – разведеет руками и все так же доверительно смотрит спрашивающему в глаза: «Румыны, – говорил он, – я же и на румынской границе служил – они же плохие вояки. У них мундиры желтые и фуражки с углами. Пять углов на фуражке».

Или вдруг скажет:

– В органы сейчас много молодых набрали. Но ведь это дело такое... Тут не каждый сможет...

И замолкнет. Считает, что и это уже сказал неосторожно. Но не сказать не может – это у него затаенное. Жена его уже давно эвакуировалась вместе с дочкой. Они привыкли переезжать, но до сих пор ездили втроем. На Дальнем Востоке жена работала, а девочку смотрела интеллигентная старушка. «Хорошая старушка, – подтверждал Дремов, – очень честная старушка, никогда копейки не взяла. Сын у нее, правда... Ах-ха...»

Когда-то, солдатом, капитан Дремов был запевалой. Он и сейчас любил петь. Но пел плохо. Голос ему, должно быть, отказывать начал или слух. Над ним подшучивали. Он сетовал:

– Теперь молодые стали плохо петь. Песен тех не знают. А я, бывало, домой в деревню на побывку приеду. Выпьем, а потом затянем: «Конь вороной...» А? А как же иначе!

Заводские ребята его перебивают, кто-то подсказывает слова не той песни: «Ах ты, милая моя, я тебя дождался. Ты сама меня нашла, а я растерялся...» Он не сердится, не возражает. Пережидает, пока шутник угомонится. И продолжает свое. Называет новую нравящуюся ему песню: «Заседаю я...» Песни он называет хорошие, слова, которые он помнит, тоже хороши. Правда, помнит он не много. Давно перестал быть запевалой, давно не жил в такой вот смешанной военно-гражданской обстановке. И оказалось, что он не подготовлен для таких разговоров, для такого обмена колкими репликами и даже вроде беззащитен тут, но и не озлился оттого, что эти штатские над ним смеются.

Он и фаталист немного. Такого навиделся! Самых разных неожиданностей. И в приказах и вопреки приказам. И это всем заметно в его характере – и этот фатализм, и эта терпеливая улыбка. Он и по службе давно перестал продвигаться, и командовать научился улыбаясь и вполголоса. И молодые давно стали его теснить, а он только иногда пожалуется: «Мода пошла молодых набирать». И улыбается, ожидая реакции собеседника, – вдруг тот тоже над капитаном Дремовым подшутит, ответит каким-нибудь злым словечком. Но если и не ответит, Дремов ничего больше не прибавит. Скажет только: «Да-а!» И подышит собеседнику в лицо.

В технике подрывных работ он разбирался слабо. Так, кое-что выучил, когда приказали, но часто ошибался и предпочитал, чтобы техническую сторону дела брал на себя Сурен Григорьян. Сам он любил и понимал армейский порядок.

Каждый день он тщательно проверял, как уложены заряды, проходил по территории, которую вот-вот должны взорвать, на которую рухнет груда обломков от цеховых зданий, и заставлял бойцов подметать ее.

– Непорядок, – говорил он. – Это непорядок.

Над ним смеялись. Говорили ему, что все это будет под немцем, что все это вот-вот к чертовой матери взорвут. Пусть не смешит людей, пусть не создает солдатам лишней работы, пусть люди поживут спокойно. И поддевали носком сапога или ботинка банку из-под консервов. Но он заставлял бойцов и копался сам, брал лопату, отгребал мусор с асфальтовых дорожек, а остатки еды, окурки, выброшенные за порог или в окно, заставлял выметать подальше. Заставлял закапывать в стороне.

– А то скажут, что жили здесь свиньи!

– Кто скажет?! – надрывался Женин напарник литейщик лиманов. – Кто?!

Дремов не отвечал. Ответить «немцы», как добивался Лиманов, он не мог, сказать «наши» не имело смысла. Стреляли совсем рядом. В вечернем воздухе было видно, как над заводской территорией взмывали и угасали зелененькие и красненькие рои – очереди трассирующих пуль.

* * *

Как-то еще в сентябре на склад одного из механических цехов завезли несколько мешков картошки и консервированной тушенки для заводских столовых. Больше на этот склад продуктов не завозили, и очень скоро не стало там ни картошки, ни тушенки. Однако на складах других цехов этих продуктов вообще никогда не было, и люди возвращались мыслью к этому складу. Не то чтобы они не видели и не знали, что там давно уже ничего нет, но ведь в других местах точно ничего не было. И в тот день, когда стало ясно, что наши уходят, что город вот-вот займут немцы, у этого склада собралась толпа. Как она собралась, кто сюда пришел первым – узнать было нельзя. Помимо главных ворот, на заводе было еще несколько добавочных входов: железнодорожные, никогда не закрывавшиеся ворота и несколько дополнительных автомобильных транспортных въездов. Была подворотня и напротив этого склада. Люди шли с улицы. Толпа росла и росла. Тот, кто проходил мимо и видел куда-то рвущуюся толпу, не мог не присоединиться. Кто-то, напрягая кадыкастую шею, кричал: – Немцам оставляете?!

Анатолий оказался в этой толпе. С утра он пришел на завод с дворовым приятелем. Подростки вошли в ворота, когда толпа вдруг подалась вперед, а потом хлынула назад, на улицу. Кто-то из бежавших крикнул:

– Будем взрывать!

Однако, чувствуя, что кто-то остался во дворе, бежавшие постепенно останавливались, оборачивались и, секунду поколебавшись, бежали назад. И ребята оказались уже в самом центре толпы. Они видели над головами людей, над шапками, над темными стеганками и пальто – не было ни одного светлого пальто – потного кричавшего человека в одной гимнастерке. Он кричал одно и то же, надрывая грудь, напрягая горло:

– Через десять минут взорвем! Уходите! Через десять минут! Я прошу!.. Через десять минут – всех в клочки!..

В толпе опять крикнули:

– Немцам хочешь все оставить?!

Военный приседал от усилия крикнуть громче и убедительнее. Лицо его было отчаянным. Он был единственным человеком в военной форме во всей этой штатской толпе. И эта его военная форма и это его одиночество в толпе доводили его крик до такой пронзительности и устрашающей убедительности, что толпа останавливалась перед закрытыми воротами склада и не решалась сдвинуть со своего пути человека в форме. Толпа чувствовала: человек на такой грани может все: и себя, и других – в клочки! У ребят эта уверенность была даже сильнее, чем у взрослых. Они видели взрослого мужчину, военного, который, несмотря на такой холод, несмотря на ветер, снял с себя шинель, расстегнул ворот гимнастерки и еще вытирал пот со лба. Неодетый человек на таком холоде уже был чем-то необычным. И хотя все вокруг было необычным, хотя привычное сейчас ломалось, в этот момент для ребят все же самым необычным и устрашающим был этот раздевшийся отчаянный взрослый человек.

Но военный этот все же только удерживал толпу на месте, лишь не пускал ее в склад. Заставить людей уйти он не мог. Те, кто стоял сзади, пожалуй, и ушли бы – от склада все равно их отделяла густая толпа. Их надежда что-то добыть и унести домой была слабой. Но передние не уходили. Они оставались на месте не потому, что не верили человеку в гимнастерке. Люди верили в приказы и в то, что эти приказы исполнятся. Но человек обещал десять минут до взрыва. Эти десять минут можно было использовать. Толпа на секунду отступала, а когда военный поворачивался, чтобы уйти в склад, тотчас же возвращалась на место. Военный,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru конечно, был отчаянным человеком, но сейчас все были готовы на риск. А те, кто пробился вперед, были готовы на двойной риск потому, что они уже захватили первые места в толпе. Помощников военного не было видно, у него не было солдат, чтобы выгнать людей на улицу и удерживать их там до взрыва. Все его помощники были заняты, а договориться с толпой он не умел или не хотел. Ему и в голову не приходило открыть перед людьми ворота склада и показать, что там ничего нет. У него был приказ – взорвать. И он собирался взорвать. Но те, кто отдавал ему приказ, не могли предположить, что склад будет осажден такой большой толпой. И он не собирался вступать ни в какие переговоры. Время от времени он оборачивался в сторону склада и поднимал руку. Лицо его перекашивалось, как перед последней яростной командой, он взмахивал рукой и кричал:

– Приготовиться!

Толпа замирала, впивалась глазами в его руку. Задние, надежда которых на какую-то добычу была слаба, с каким-то даже облегчением поворачивались и бежали на улицу. Спиной они чувствовали дыхание догоняющих, слышали крик сбившихся в подворотне. Но оказавшись на улице, в относительной безопасности, люди останавливались и смотрели, как вываливается из подворотни толпа. Подворотня не была узкой, но людей было так много, что образовалась пробка. Ребята видели только спины и затылки. Их давило, стискивало, кто-то пронзительно кричал, но большинство молчало; во всей подворотне было не больше десяти – пятнадцати метров длины, выход был рядом, рукой подать, а выйти нельзя. Анатолий инстинктивно поджал ноги и почувствовал, как в ту же минуту поплыл по течению. Так его и вынесло наружу, и только у выхода из подворотни он опять ступил на землю и побежал.

В городе как будто поменяли освещение. Все стояло на своих местах, и все было другим. Трамвай не ходил с тех пор, как начались бомбежки. Но только теперь появилось ощущение, что трамвайные рельсы никуда не ведут. Из дому Анатолий с приятелем вышли в шесть утра. По дороге к заводу они не встретили ни одного человека в военной форме. Было тихо. Час утренней бомбежки немцы пропустили, чувствовалось, что сегодня вообще бомбить не будут. Но от этого почему-то становилось еще страшнее. На заводе Анатолий хотел разыскать Женю, но пробиться сквозь толпу к подрывникам не смог. Тогда они с приятелем решили уходить из города. Вначале шли одни, потом втянулись в группу таких же отступавших. Спускаясь к реке, Анатолий еще из города через лед замерзшей реки видел грязевые вспышки. Их сопровождали громовые удары. Снаряд, угодивший в реку, выплеснул на лед грязь и ил. Лед у берега был ненадежный, с промоинами, с грязевыми и пылевыми наносами. И дальше он был слоеный, в длинных пологих сугробах. И только на середине становился зеленоватым, темным в глубину, скользким. Снег тут не держался. Здесь же попадались обширные площади пористого светло-зеленого льда. В полыньях, оставленных снарядами, с шуршанием на мелкой и медленной от густоты волне терлась ледяная крошка. Всю почти тридцатидневную бомбежку Анатолий перенес в городе. Пальбу зениток, сотрясение воздуха, давление ударной волны – все это он воспринимал слухом. Видел, да еще так ясно, впервые. Снегу на земле было немного, но все же и город – дворники давно не работали – и все заречье казались белыми. А взрывы были черными, и только внутри грязной вспышки угадывался огонь. И на войну все это не было похоже, а на какую-то работу. Во взрывах была рабочая правильность. Звук выстрела не был слышен. В воздухе зарождался клекот, а затем следовал удар. Стрелявший не был виден, но сам видел все – такое было у Анатолия ощущение. Анатолий тогда не знал этого военного термина – «обработка», но он чувствовал, что дорогу обрабатывали. Нигде не было видно военных, никто взрывам не оказывал никакого сопротивления – по дороге шли люди в штатских пальто, в штатских шапках, с узлами в руках.

Выходить на дорогу было опасно, и Анатолий с приятелем пошли замерзшей болотистой низиной. Они шли, сбивая ботинками иней с камышинок, оскользаясь на примятой снегом траве. До ближайшей станции им надо было пройти километров двенадцать, и они шли часа четыре. Еще издали было видно, что станция горела, в морозном чистом воздухе дым поднимался высоко, стоял плотным облаком, не рассеивался потому, что получал все новые порции черного дыма. Облако только меняло свой цвет. Внизу, у земли, оно было сажистым, копотным, а вверху пепельным. Над этим облаком кружили самолеты – немцы не прекратили бомбежку, они перенесли ее дальше. Идти туда было безумием, надо было переждать, выбрать момент, но облако притягивало: казалось, там война, там определенность, – и ребята вошли в одноэтажные, сельские улицы пристанционного городка. Название этого городка каждый горожанин узнавал еще в детстве, как название соседней

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru улицы. Весной отец водил Анатолия показывать, как широко разливаётся река. С правого, гористого берега были видны электрические огни городка, они отражались в воде длинными колеблющимися лучами. Однако оказался здесь Анатолий впервые в жизни. Он и реку по льду сегодня перешел впервые в жизни.

Улицы были безлюдными, безлюдными были и дома, окна которых закрывали ставни. Возле жилья страх стал сильнее. Но война здесь действительно шла. Стреляли зенитки и зенитные пулеметы. Горело возле самой станции. Подходы к станции были забиты подводами, техникой. Где были люди, Анатолий понял только тогда, когда их окликнули из ближайшей щели.

– Черт вас носит, пацаны! Жить надоело? – сказал им боец, когда по обмерзшим глиняным ступеням они скатились вниз.

На стенах щели проступала белая изморозь, небритое, в серой, неумытой щетине лицо бойца было возбуждено, глаза блестели, казалось, появление ребят его развлекло и заинтересовало. В щели расположилась воинская часть, тут были шинели, винтовки, каски; кто-то звал командирским голосом:

– Петров!

Анатолий решил, что они пришли. Теперь только не отставать. Но в это время закричали:

– Выходи! Выходи!

И красноармейцы, подхватывая винтовки, наклоняя головы, выбегали наверх. Ребят отстранили сразу же:

– Идите домой! Вас тут не хватало!

Потом пришли бойцы, которые сидели в щели очень долго. Их все не вызывали наверх. С некоторыми из них ребята успели познакомиться. И новые знакомые тоже уговаривали идти домой:

– Идите, пока не поздно.

Приносили раненых, и раненые казались Анатолию страшнее убитых. Смотреть на них было болезненнее, пронзительнее. На руках принесли бойца с раздробленной ногой: должно быть, ранило совсем недавно. Лицо его было живое, он видел тех, кто его нес, чувствовал свою ногу, понимал, что его сейчас опустят на землю, и опасался, что опустят жестко. Но потом в лице его что-то отхлынуло, запрокинулось, и появилось то казавшееся Анатолию особенно страшным выражение, когда человек жив, но с живыми его нет. Приводили легко раненых. С перевязанными руками, с бинтами под шапкой. Глядя на раненых, Анатолий стал понимать лихорадочное возбуждение здоровых, их выкрики, громкие команды и торопливую сосредоточенность на чем-то. И не обижался, если кто-то вдруг начинал кричать:

– Кто такие? Что делаете?

Трижды одну и ту же группу бойцов вызывали наверх и возвращали в щель.

– Выходи! – кричали им.

Они выбегали охотно, торопливо, догоняя друг друга, и ни зенитная пальба, ни бомбовый вой не пригибали и не задерживали их. Возвращались они минут через двадцать, обескураженные, недовольные. Прыгали через две-три ступеньки, ругались. И опять:

– Выходи, выходи!

Вечером в щели было светло от пожаров, а ночью немцы несколько раз вывешивали на парашютах осветительные ракеты, так что даже белая изморозь на стенах щели, на глиняных ступеньках начинала сиять. Ночью ребят сморили усталость, подземный холод, и под утро они, почувствовав, что в бомбежке наступил перерыв, двинулись в город, домой.

Шли по целине, забирая так, чтобы перейти реку не против центральных улиц

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru города, а ближе к окраине. Навстречу им попадались беженцы с узлами. Множество этих узлов валялось на земле. Перед самым городом их остановили двое военных. Один, весь мятый, с расстегнутым воротом, сказал:

– Туда идете? К ним?

И потянул автомат, который на ремне висел у него за спиной. И Анатолий, глядя в безумные, расширенные зрачки, почувствовал – всё! Они столько ходили под снарядами, бомбежкой, что где-то их должна была ждать вот такая случайность. Но второй военный схватил своего товарища за руки:

– Это же пацаны! С ума сошел!

В городе шли мимо разбитого винного склада, от которого вниз по улице стекал мутный пахучий ручеек. Видели, как двое катили по мостовой бочонок. Катили торопливо. Руками толкая, поддавая ногой. И вдруг обручи на бочонке сдвинулись и клепки разошлись – бочка распалась прямо на мостовой. В бочонке было масло или какой-то жир. Двое стояли в растерянности, а на улице, которая только что была пустой, появился человек с кастрюлей, потом еще один – и жир за несколько минут растащили. К центру улицы становились пустыней, сильнее делалось ощущение, что в городе поменяли освещение. За квартал до Братского переулка они зашли в знакомый двор, чтобы расспросить о том, что делается в городе. И остались там потому, что началась стрельба. Стрельба сосредоточилась на баррикаде, перегораживающей главную улицу. Стреляли от баррикады и по баррикаде. Потом пробежали несколько красноармейцев, и кто-то из них крикнул:

– Раненые в техникуме! Заберите раненых!

Стрельба прекратилась, и Анатолий видел, как улицу перешел пожилой человек с бородкой и в пенсне. В руках его был чемоданчик необычной формы, который Анатолий назвал для себя «саквояжем». Он шел, выставив вперед бородку, как будто уверенный, что в него стрелять нельзя, что для него войну на время остановят. Что-то в этой его маленькой демонстрации было наивное, что-то от мирного времени. Но и надежду какую-то она возбуждала. Это был врач, он шел в техникум к раненым. Через несколько минут стрельба опять возобновилась. Теперь стреляли от баррикады к реке. Переулок был абсолютно пуст. От баррикады он просматривался на несколько кварталов, потому что был прям, нигде не сворачивал. Немецкий пулеметчик бил трансирующими, было видно, как роились пули, как, догоняя одна другую, шли совсем не так быстро, как можно было ожидать от пуль. Куда стреляли, понять было нельзя, потому что пулеметчику никто не отвечал. Из окна полуподвального этажа Анатолий следил за трассами и даже успевал посмотреть пулям вслед. Стрельба прекратилась, и тотчас из соседнего дома выбежали женщина и девочка. Женщина несла узел и тащила девочку за руку. Они перебежали дорогу. Над ними возникла трасса, пули шли выше, потом трасса, будто поддразнивая или сомневаясь, заколебалась, опустилась, и над головой девочки тонко дымящие следы вошли в женщину. Женщина, словно не выдержав тяжести узла, рухнула, а девочка пыталась ее поднять. Узел, накрывший женщину, откатился, а в доме, к которому перебежала женщина, открылось парадное, из-за двери поспешно высунулась старуха, схватила девочку за руку и втянула ее в дом. Вслед им ударила очередь. Пули били в притолоку двери, за которой скрылись девочка и старуха. Женщина осталась лежать на дороге. Пулеметчик опять перенес огонь в глубину переулка, и пули, опережая свои дымные следы, пошли над женщиной.

Наконец пулемет замолк, наступила долгая тишина, и Анатолий почувствовал, что сейчас и придет то самое, к чему и прикосновение ужасно.

Где-то совсем рядом ударил взрыв, зазвенели стекла, и кто-то закричал:

– От окон! Отходите от окон!

Еще ударил взрыв, и Анатолий отпрянул от окна. Он увидел на другой стороне улицы двух немцев. Они остановились у дома, имевшего полуподвальный этаж. Один немец ткнул прикладом в стекло, бросил в окно гранату, и оба проворно отступили к стене. Из окна пахло дымом, грохнул взрыв. Второй немец со странным и, должно быть, тяжелым ранцем за спиной протянул к разбитому окну трубку, соединенную шлангом с ранцем, и на конце трубки возник окрашенный по краю черным дымом язык пламени. Он был длинный и широкий, как язык воды из пожарного шланга, если наконечник слегка перехватить пальцем. Пламя перелилось в окно, исчезло там, и

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru немцы перешли к следующему дому. Анатолий прятался в комнате Фаи-армянки, которую знали все мальчишки в районе. Эта толстая женщина летом всегда сидела на низкой скамейке возле своего дома, она торговала жареными семечками. Сейчас ее комната напоминала кладовую: соседи с верхних этажей хранили здесь свои чемоданы, какие-то вещи. В комнате было несколько человек. Все бросились к дверям. Едва Анатолий успел выскочить, как грохнуло, уши заложило болью. Из пазов между досками на полу, со стен и потолка ударило пылью. Лицо и руки чем-то посекло, запахло нефтью и пламенем. Женщины бросились назад, Анатолий вошел за ними. Фая лежала на полу в пальто. Казалось, ткань пальто лопнула под напором подкладочной ваты – серая подкладочная вата вываливалась во многих местах. Горело на столе и полу, огонь подтекал под фаино пальто. Женщины, развернув завернутый в скатку чей-то ковер, накрывали им огонь. В тех местах, где удавалось потушить, оставались жирные смоляные пятна. Фаю с трудом переложили на диван. Когда пыль и гарь немного осели, Анатолий увидел, что у Фаи то страшное выражение лица, которое появлялось у раненых, потерявших сознание.

Во дворе закричали, чтобы мужчины выходили на улицу. Кричали по-русски, и это почему-то было особенно страшно. Анатолий с приятелем несколько минут колебались – не мужчины все-таки, – но потом вышли во двор, и их вместе со всеми погнали на главную улицу к баррикаде. Там за столом, поставленным на тротуаре, сидел немецкий офицер. К столу выстроилась длинная очередь. Тут были мальчишки и пожилые. Очередь двигалась быстро. Опрошенных не отпускали – солдаты в серо-зеленых шинелях отводили их в сторону и оставляли под присмотром таких же солдат. Немцы громко переговаривались, ходили спокойно, и не было у них той лихорадочной сосредоточенности, возбужденности, которую Анатолий недавно видел у наших бойцов. Очередь немного задержалась – офицер допрашивал молодого мужчину в черной кепке. Потом мужчину повели, но не к общей группе, а к баррикаде. Вели его два немца: солдат с автоматом и унтер-офицер. Мужчина шел спокойно, и немцы шли вольно. Унтер-офицер показал ему, куда надо стать, повернул лицом к баррикаде, взял у солдата автомат и выстрелил в затылок под черную кепку. Офицер не оглянулся на выстрел, очередь вздрогнула, заколебалась, солдаты подняли оружие, и Анатолий понял, почувствовал, что это не жестокость, не безжалостность, не злобность – все эти слова сейчас не годились, – а нечто гораздо более страшное. Он это чувствовал, когда на его глазах обрабатывали дорогу с беженцами, когда убили женщину с узлом, бросали гранаты в дома. И то чувство, которое сейчас рождалось в нем, тоже уже нельзя было назвать ненавистью. Ненавидел он, когда уходил из города, сидел под бомбежкой в щели, видел раненых бойцов, видел, как возбуждены и обеспокоены взрослые здоровые мужчины. То чувство, которое рождалось в нем сейчас, было сильнее этой первой ненависти. Оно становилось всеобъемлющим, распространялось на серо-зеленый цвет шинелей, на звуки речи, на форму касок, на цвет и форму автоматов, на все, что принесли с собой эти люди. И еще он думал о том, какую непоправимую ошибку они с приятелем совершили, когда решили вернуться домой, в город.

...Немцы действительно обрабатывали улицу. Они собирались пустить по ней через город свою технику.

* * *

В вагоне кисло пахнет спертым человеческим дыханием, на скамейках по пять и по шесть человек. На верхних полках тоже не лежат, а сидят, свесив ноги на плечи и головы нижних. И только третья, багажная, полка – лежачее место. Уже установлена очередь: кто когда лезет на третью полку отдыхать. Антонина Николаевна, Ефим, Валентина и Вовка сидят в крайнем купе, рядом с туалетом. Здесь резкий запах дезинфекции и нечистот. У Вовки отдельного места нет – его поочередно берут на колени Антонина Николаевна, Ефим и Валентина. В купе пробились не сразу. Валентину с Вовкой в вагон протолкнули, а Ефим с Антониной Николаевной остались на подножке. Ефим сзади, схватившись за поручни, поддерживал Антонину Николаевну. Антонина Николаевна наваливалась на него все тяжелей и тяжелей, руки ее не держали, и тут Валентина сумела втянуть ее в вагон. Часа два ехали стоя. Потом как-то распределились. Ефим даже выходил за горячей водой и сумел вернуться. В проходах мешки, чемоданы. На них тоже сидят. Все окна закрыты, так что вагон наглухо закупорен. Пока поезд движется, есть иллюзия вентиляции, а когда останавливается, сразу чувствуется, что в вагоне в десять раз больше народу, чем это было бы нормально. Из города выехали на грузовой машине. Дважды, пока добрались до станции, машину собирались реквизируют, но шофер как-то выкручивался, говорил, что грузовик неисправен. Один раз их даже выгнали из кузова, и Ефим выгужал документы своей конторы прямо на асфальт. Однако у нового шофера мотор не завелся. Документы все равно пропали – погрузить их в

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
поезд не удался. Поезд тоже скоро придется покинуть – эвакуист действительно только до ближайшей крупной станции. В купе едет женщина, уже побывавшая «под немцем». Она рассказывает своей соседке:

– «Не бейте, дяденька, мне больно, – каже. – Не бейте, мне больно». Малый же и каже: «Мне больно». А они его бьют... Звери же. Зверье. Я бы их жен каждый день клевала. Хоть бы повисли у тех зверей на руках, когда они свои винтовки брали, чтобы идти на войну.

Женщина говорит вполголоса, в купе тихо, все слушают. Кто-то вступает и рассказывает, что где-то во время бомбежки ограбили банк, много денег увезли. Но женщина перебивает:

– А хай берут. Деньги то деньги. А то живое...

Ефим было собрался поспорить:

– То есть как «деньги то деньги»? – Но сам замолк, не стал продолжать свои мысли.

* * *

К дому Антонины Николаевны в Братском подошел немецкий бронетранспортер. Уставшие от железного лязга, от танкеточной раскочки своей машины немцы выпрыгивали на землю, разминали затекшие ноги. Они открыли ворота, ведущие во двор дома Антонины Николаевны, увидели водопроводную колонку, длинный ряд сараев, накрытых одной крышей, балкон на двух металлических опорах, сухие плетни дикого винограда на заборе. Немцев интересовала водопроводная колонка, они принесли канистры, ведро, но воды в колонке не было. Тогда немцы разошлись по соседним дворам. Воды не было нигде. Жители не показывались. Постепенно, однако, к бронетранспортеру стягивались любопытные мальчишки. Их притягивала низколобая бронированная машина, у которой передние колеса были как у грузовика, высокие, с рифлеными шинами, а задние – как у танкетки, перематывавшие гусеницу. Немцы мальчишек не отгоняли и даже как бы оставляли бронетранспортер без присмотра. Через некоторое время однако возле бронетранспортера поднялся крик, мальчишки разбежались, а немцы вошли во двор дома Антонины Николаевны, плеснули из канистры бензин на деревянную лестницу, которая одним маршем приводила к дверям квартиры, на деревянные стены сараев и подожгли. Немцы не ушли тотчас, а дали огню разыграться. Сухое дерево схватилось сразу, огонь над сараями загудел. Крышу в нескольких местах пронзило пламенем, горячим воздухом сорвало толь, загорелись дрова и уголь, и, как в печи, когда туда вместо угля попадает кусок породы, начались маленькие взрывы. Дом разгорался медленнее, но и он скоро запылал.

Бронетранспортер ушел. Это был одиночный, оторвавшийся от главной колонны бронетранспортер – основное движение немецкой техники шло квартала за три от Братского переулка.

К вечеру пожар стал стихать. Сгорел не только дом Антонины Николаевны, но и два соседних дома, уголь, оставшийся в сараях, тлел еще несколько дней. На этом тлеющем угле соседи из уцелевших домов кипятили воду.

Точно никто не мог сказать, почему немцы подожгли дом. Говорили, что кто-то из мальчишек утащил кожаные перчатки из бронетранспортера.

* * *

Толпа, пытавшаяся прорваться на склад механического цеха, сильно задержала Женю. Это была, пожалуй, первая толпа, которую ему пришлось увидеть. Глухие, возбужденные какой-то одной целью лица. Лишь несколько лихих, сообразительных, ориентирующихся лиц. Какие-то живчики, питающиеся возбуждением толпы, живущие этим возбуждением. Никто не слушает и не слышит.

Женя сказал Котлярову:

– Открой дверь, пусть войдут – скорее разойдутся.

Котляров уставился на него стеклянным глазом:

– К чертовой матери! Всех взорву! В клочки!

Он выскочил к толпе, в поднятой руке – наган. Выстрел щелкнул сухо, неубедительно.

– Раз-зойдись!

Он вернулся, и Женя ему сказал:

– Не пори истерику!

А Сурен, который пришел сюда, привлеченный шумом, вдруг закричал на Котлярова со страшным армянским агентом:

– Уходи! Застрелю! Своих людей не понимаешь! Люди тебя не понимают!

Котляров посмотрел на Сурена стеклянным глазом, жесткие усики стали торчком:

– Своей рукой! Приказ обсуждать!

Женя успел перехватить и сжать руку. Котляров бился слабо, грозил:

– Под трибунал!

Его отправили с последними тремя платформами, которые повел старый маневровый паровозик «кукушка».

Женя открыл ворота склада. Толпа хлынула, растеклась по углам, и через пятнадцать минут ни на складе, ни во дворе никого не было.

Сурен никак не мог успокоиться:

– Для дурака приказ – дурацкое дело.

Женя все делал неторопливо. Он не боялся. Сурен ему говорил:

– Ты чего не боишься? Это плохо. Убьют. Надо бояться.

Но страх к Жене не приходил. Склад взорвали. Рухнула кирпичная масса. Это был последний взрыв. Надо было уходить. На заводе их осталось четверо. Женя, Сурен и два бойца-сапера. Женя договорился встретиться с Суреном на ближайшей железнодорожной станции, а сам решил забежать домой. Он хотел убедиться, что Валентина, Вовка, Антонина Николаевна и Ефим уехали.

– Будь внимательным, – сказал Сурен. – Немцы уже в городе. Слышишь, где стреляют?

До Братского Женя не дошел. Не доходя до центра города, он заметил движение немецкой колонны и свернул к реке, чтобы перейти ее ближе к окраине, куда немцы, по его расчетам, еще не вышли. Однако на спуске к Нижнебульварной улице лицом к лицу столкнулся с немцем. Немец был молодой, лет двадцати, здоровый, со здоровым зимним загаром на молодой гладкой коже, хорошо одетый. Это был мотоциклист, патрульный, которого прислали сюда перехватывать тех, кто попытался бы бежать из города через реку. Мотоцикл его стоял у самого спуска: спуск был покрыт ледяной коркой, и немец опасался, что машина пойдет вниз юзом. Невысокий худощавый русский с усталым или больным, будто покрытым бронзовым загаром лицом не испугал немца. Не вызвал у него даже опасений. Немец как раз искал двух-трех мужчин, которые подстраховали бы мотоцикл, помогли бы спустить его с ледяной горки. И только когда Женя захотел пройти мимо, немец поднял автомат.

– Иван, – сказал он, – ком!

Этот задорный рослый немец, уверенный в себе, в своем автомате, с холодным взглядом светлых глаз кого-то напомнил Жене. Женя сделал шаг навстречу, а потом не телом, не головой, а только глазами «показал», как это он делал на ринге, что он сейчас рванется налево. Глаза немца удивленно метнулись, и Женя ударил в то место, где ремешок от каски перехватывал подбородок. Немец упал, автомат несколько метров проехал с ледяной горки. Женя подхватил автомат и оглянулся на немца – мотоциклист никак не мог подняться. Женя свернул в ближайший переулок,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
выбежал на набережную. Его обстреляли, когда он уже был на другой стороне реки. Женя думал о том, как это получается: от страха лицо человека не просто меняет выражение – оно становится меньше, съезживается, уходит куда-то внутрь, хотя, конечно, оно не может стать меньше. Никак не может. И все-таки нервные перегрузки деформируют его, глаза ускользают. Этот немец напомнил Жене молодых хищноватых уличных ребят, любителей подраться, которые иногда приходят в боксерскую секцию. Вот такой уверенный, обещающий взгляд у них бывает, когда они выходят на ринг. Но долго в секции они не задерживаются, хотя поначалу как будто бы бурно прогрессируют. У тех, кто остается, взгляд совсем другой. Этот немец, конечно, испугался того, что Женя выстрелит в него из автомата. Но Жене и в голову не могло прийти, что он когда-нибудь захочет убить безоружного или обезоруженного человека, захочет выстрелить в него.

Рассказы

– АСЯ АЛЕКСАНДРОВНА –

1

Пожилая секретарша, которую я принял за руководителя кафедры, сказала мне, что в Москву я поторопился, что мне надо ждать еще дня два, пока моя работа будет окончательно рассмотрена. Она дала мне свой номер телефона:

– Позвоните в конце недели.

Шестизначный номер она произнесла так же быстро, как у нас в городе произносят четырехзначные. Я не запомнил.

– Мне проще прийти к вам, – сказал я. – Я ведь только за этим и приехал.

Секретарша пожала плечами.

От института до станции метро можно доехать автобусом или троллейбусом, но я еще не доверял автобусам и троллейбусам многочисленных московских маршрутов. Я пошел пешком. В метро из автомата позвонил приятелю в подмосковный городок. И хотя года три мы с ним не встречались, он сразу узнал мой голос. Это обрадовало меня, показалось хорошим предзнаменованием.

– Ничего не спрашиваю, – кричал приятель, – приедешь – расскажешь. Не забыл, как ехать? Платформа «Сорок восьмой километр». Ждем тебя сегодня, обязательно сегодня.

В конец концов все складывалось хорошо. Работа моя имела солидные рекомендации, и даже то, что я приехал на два дня раньше, получалось кстати: жена приятеля – именинница.

Часа два я бродил по магазинам – искал подарок – и уж совсем было собрался ехать, но решил сменить рубашку и галстук.

Остановился я у дальнего родственника, заходить к нему в большую коммунальную квартиру мне лишний раз не хотелось, но делать было нечего. Ключ в замочную скважину, чтобы не привлекать внимания соседей, я вставил осторожно, но, словно меня караулили, в коридоре тотчас открылась дверь. Я аккуратно вытер ноги о половичок, независимо прошагал к своей комнате.

– Телеграмма вам, – сказали сзади меня. – В ручке.

И когда я поднес к глазам листок белой бумаги, добавили:

– Плохая.

А я еще и ещё раз, как чужие, не мне адресованные, пробежал глазами слова: «Вчера ночью умер отец. Немедленно выезжайте». И подпись: «Ася Александровна».

Потом я лихорадочно звонил на аэродром, ехал в метро, ловил на площади Революции такси, пробивался на аэровокзале сквозь толпу к окошечку диспетчера, протягивал кассиру через чьи-то спины и головы свою телеграмму и наконец вылетел вечерним самолетом. Место мне досталось у окошка, я смотрел на освещенную часть крыла, на искры, отрывающиеся от моторов, и старался не думать об отце. Я знал: прилечу к двенадцати, к часу ночи подъеду к его дому, поднимусь на третий этаж – и тут-то это и произойдет. То, ради чего Ася Александровна, жена отца, которую я не любил

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru и которую до недавнего времени мало знал, вызвала меня из Москвы.

Около полуночи нам предложили привязаться к креслам. Как всегда во время спуска, пришло ощущение полета, крыло ненадежно повалилось набок, огни города стали в уровень – с окном, к реву моторов прибавился свист. Потом, оглушенный быстрым переходом к земной тишине, со странным недоверием прислушиваясь к многочисленным живым звукам аэродрома, я медленно шел со всеми по бетонным плитам, покорно ожидал автокар с прицепами, которым нас должны были перевезти от самолета к вокзалу, зачем-то долго стоял у витрины запертого киоска «Союзпечати»...

Было около двух ночи, когда я вышел из аэропортовского автобуса у дома отца. На третьем этаже, в окнах его комнаты, горел свет. Это был с детства знакомый мне сонный свет настольной лампы с толстым зеленым абажуром – отец зажигал ее, когда в доме укладывались спать.

Я взбежал наверх, потянул к себе дверь – почему-то думал, что она будет открыта, – и позвонил.

Где-то в глубине комнаты шаркнули, и будничным, вселивший секундную надежду голос Аси Александровны спросил:.

– Кто там?

Я назвал себя, и дверь распахнулась стремительно, излишне стремительно – я боялся, что она так и распахнется специально для меня, – Ася Александровна всплеснула руками, ткнулась мне в плечо, тотчас же отстранилась, всхлипнула и тут же быстро вытерла сухие, внимательные, испуганные глаза. Она увела меня на кухню и там, сбиваясь с необычного, не объединившего, нас «ты» на «вы», глядя на меня все теми же сухими, внимательными, испытывающими глазами, стала рассказывать, как это произошло. Она всегда воевала за отца против меня, против соседей, против врачей, против моей мамы, с которой отец развелся лет двадцать пять назад. Сейчас она воевала против врача «скорой помощи», который поздно приехал и все сделал не так. Я думал о том, что мне вот-вот нужно войти в комнату, освещенную зеленой лампой, и потому неприязненно удивлялся ее сухим глазам, ее памяти на детали, которые казались мне сейчас оскорбительно несущественными, ее мнительной ненависти к врачу «скорой помощи», который ничего не смог или не сумел сделать. «Это он убил отца!» – говорила она и требовала – не прямо, но выходило это само собой, – чтобы я, сын, мужчина, сделал то, что не под силу ей – наказал бы, добился, чтобы наказали этого врача «скорой помощи». И все это перемежала воспоминаниями: в последние дни у отца было много гостей – «чувствовали, приходили прощаться». И я, словно чувствовал, пришел попрощаться перед отъездом в Москву, хотя это и не в моем обычае.

Потом она повела меня в комнату, которая давно стала мне чужой – еще с тех пор, как с появлением Аси Александровны на ее холостяцкую, привычную мне чистоту как бы наслоились настенные коврики, вышивки, салфеточки и где сейчас на раздвинутом обеденном столе лежало что-то неподвижное и страшное, накрытое белой простыней.

Я думал, что теперь Ася Александровна по-настоящему заплачет, разрыдается. Но она не заплакала. Она надела тонкие, прозрачные медицинские перчатки, аккуратно отвернула простыню, и я увидел мертво запрокинутую – под нею не было подушки – маленькую, пепельно-седую голову. Ася Александровна желтыми резиновыми ладонями пригладила тонкие волосы отца, поправила воротник рубашки, строго наглаженный и затянутый галстуком, сильным, привычным движением, как это делают портные на примерке, одернула лацкан пиджака, сняла с него несколько белых ворсинок. «Марлей покрывали», – будто извиняясь, сказала она. И вообще она заботилась о том, чтобы отец показался мне прибранным, красивым, и всячески подчеркивала, что теперь последнее слово за мной, что без меня она не может решить, когда быть похоронам; кого пригласить, в какой костюм одеть отца. В ее голосе появилась трещинка – вот-вот прорвутся рыдания, но рыдания не прорывались.

Ася Александровна говорила о том, что могила уже выкопана и все остальное уже сделано: и медицинские и гражданские справки, и гроб и цветы заказаны, и денег местком с бывшей работы отца немного выделил, и что мне остается только найти оркестр и ковровые дорожки на машину. Я не предполагал, что похороны такое хлопотное дело, и опять неприязненно удивлялся тому, что Ася Александровна все так хорошо помнила, так много успела сделать, а главное – так беспокоилась из-за

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru совершенно показного: как повезут отца, кто придет его «проводить» и какие принесут цветы.

Когда я коснулся губами скрещенных на груди рук – чистых и холодных, как будто отец, всю жизнь боявшийся заразы, только что их вымыл, у меня тоже не было слез – одно удушье. Ася Александровна снова заговорила о враче «скорой помощи», а я смотрел на истаявшие черты, на странно утончившийся, опавший к верхней губе нос, на восковое спокойствие век и щек и думал, что давно уже, много лет назад, после первого приступа тяжелой болезни, которая открылась у отца сразу после войны, я заметил признаки его сегодняшнего смертного выражения. Вот эти грязно-зеленые прожилки на лбу, пепельно-восковые пятна под веками и на щеках, вот эти обозначившиеся косточки над запавшими глазами.

Ася Александровна накрыла отца простыней и увела меня на кухню.

– Идите домой, Игорь, все равно уже ничем не помочь, – устало и как-то примирительно сказала она мне. – Вы намучились за дорогу, вам надо отдохнуть.

– А вы?

– Я с ним тут. – И добавила, чтобы мне было легче решать: – Спать захочу – пойду к соседям. Они мне ключ оставили. Со мной сестра дежурит, она сейчас у соседей прилегла отдохнуть.

2

Они зарегистрировались лет через пять после войны в возрасте, когда, как мне в ту пору казалось, нормальные люди уже не женятся. Я никак не мог примириться с тем, что в комнате отца появилась худая, напудренная, молодящаяся новобрачная, на которую мне было стыдно смотреть именно потому, что она новобрачная. У меня и раньше с отцом были сложные отношения, а тут он отобрал у меня ключи от квартиры – «Я теперь не один», – несколько раз настойчиво выговаривал: «Будь вежлив». Мне казалось страшным унижением как чужому звонить у дверей, за которыми я родился, и я перестал ходить к отцу. Он принял это равнодушно, даже с облегчением, хотя раньше оскорблялся, если я не приходил хотя бы раз в неделю. Но Ася Александровна не согласилась на наш разрыв. Когда месяца через два я зачем-то зашел к отцу (отец спросил безразлично: «Ты?» – и ушел, предоставив мне самому закрывать дверь), она сказала: «А отец вас ждал. Нервничал!»

Она пренебрегла моей неприязнью. Не согласилась она и на нейтралитет. Она добивалась, чтобы я обязательно приходил по воскресеньям и праздникам, и с первых же дней научилась обвиняюще произносить: «Отец ждал, отец нервничал». И вообще в наших отношениях с отцом она постепенно почти полностью заслонила отца, словно взяла на себя заботу о его симпатиях и антипатиях и как-то углубила и обострила их. Она возродила старую заглохшую за давностью лет – среди которых пять лет войны! – ссору отца с моей матерью, довела до ссоры довольно обычную «коммунальную» холодность между отцом и соседями. Ее желчная худоба, ее претензия на молодость поначалу казались мне следствием долгих лет одиночества, послевоенной бедности, но потом я стал думать, что Асю Александровну просто сжигает гордость.

– Ты же знаешь, – сказал мне как-то двоюродный брат, – ее первый муж был важной фигурой. Председатель горисполкома... – и он назвал один из крупнейших городов на Украине, – она у него секретаршей была, а потом стала женой. Он был лет на двадцать старше ее. Умер во время войны.

В пятьдесят третьем году я ушел из института. Именно тогда, как мне казалось, мы окончательно разошлись с отцом. Отец яростно осудил меня, и когда мне пришлось уехать из города, я не пришел к нему проститься и два года ничего ему не писал. Вернувшись в город, я тоже долго к нему не ходил, пока случайно не узнал, что он в больнице, что новый приступ его тяжелой болезни лекарствами погасить не удалось – то, что последние годы висело над ним постоянной угрозой, свершилось: ему отняли ноги.

...Хирургическое отделение напоминало госпиталь военного времени; в коридоре былолюдно и шумно, а я ступал на цыпочках, отсчитывал номера на дверях палат и облегченно вздрагивал – еще не та, еще не эта! Номер на дверях палаты отца я не успел разглядеть – заметил в комнате Асю Александровну. Она кивнула мне: «Здесь», я вошел и сразу же увидел глаза отца. Господи, какие это были глаза!

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Будто их калили, калили и перекалили! Они были черные, хотя от природы отец голубоглаз, и неподвижные. Я шел к нему через палату, а он следил за мной своими налитыми чернотой, неподвижными глазами, словно собирался крикнуть: «Да как ты после всего смеешь!» Но когда я остановился рядом с ним, он терпеливо и вяло – ему это было трудно – разделил сморщенные, подгоревшие губы и сказал, будто прощая мне то, что я с ним сделал:

– Ничего.

И закрыл глаза.

– Идемте, – шепотом сказала Ася Александровна. – Ему нельзя волноваться.

Мы вышли в коридор, и она расправилась, оживилась – должно быть, отсидела себе и ноги, и поясницу, и плечи. Даже халат на ней расправился и стал франтоватым.

– Вы давно в городе?

Я сказал, что скоро две недели.

– А я слышала, что вы уже месяц здесь, – уличила она меня.

Впрочем, больше явить она не стала. Она была рада мне, рада пройти по коридору, размяться. Она рассказывала, как это началось, как она добивалась, чтобы ей разрешили жить в больнице. Разрешения ей такого, конечно, не дали, никому не дают, но вот уже целый месяц закрывают глаза на то, что она здесь днем и ночью.

– Нельзя ли нанять сиделку? – предложил я.

– Сиделку! – возмутилась Ася Александровна – Отец ночью придет в себя, а рядом чужой. И в палате ко мне привыкли. Сестру не дозовешься, а я всегда рядом. Да и вообще ко мне тут привыкли. Даже обед стали приносить на меня. А отдохнуть захочу – вы меня смените. Так? – И она испытующе посмотрела на меня.

Странное у меня было ощущение. Всегда упорно, даже назойливо молодившаяся Ася Александровна, несомненно, помолодела. И двигалась она быстро, и с каким-то победным удовольствием здоровалась со встречными врачами и сестрами, и говорила возбужденно. Со мной она попрощалась дружелюбно и ушла по коридору легким, быстрым шагом, так что даже полы халата у нее развевались на ходу. А ведь она тоже очень больна: у нее необычная, казавшаяся мне раньше придуманной болезнь – лабиринтит – и серьезная, много раз осложнявшаяся на моей памяти болезнь крови.

3

Месяца два прожила Ася Александровна в больнице с отцом, а в начале мая состоялось их торжественное возвращение домой. В больничном садике студенты мщединститута в тот день вскапывали землю. Земля перестояла, пересохла, от нее шла пыль, сквозь голые ветки акаций солнце палило по-летнему, а в тени больничного корпуса еще было холодно и сыро. Холодно, темно и сыро в этот первый яркий весенний день было и в больничном вестибюле, поэтому все встречавшие отца стояли во дворе, смотрели на студентов, шурились на солнце, на черные прыгающие точки, которые появляются в глазах в такой вот яркий, солнечный день. Говорили о загородных садах – кто-то недавно взял землю под загородный сад. – о том, что весну в городе только и увидишь, когда случайно вырвешься с работы на час-другой, а так и не заметишь, как она пролетит. Говорили о том, что после этой войны роковой возраст для мужчин – шестьдесят лет, что отцу еще повезло, такую операцию перенес и жив остался. Говорили об Асе Александровне, о том, как ей придется теперь.

Сама Ася Александровна, больнично-бледная в темном зимнем пальто – пришла в нем сюда еще зимой, – выбегала на минуту во двор посмотреть, не пришла ли санитарная машина, передавала халаты мне и моему двоюродному брату – мы должны были вынести отца на улицу – и опять убегала в больницу. Санитарная машина где-то задерживалась, я предложил Асе Александровне вызвать такси, но она наотрез отказалась: такси не годится. Наконец санитарная пришла, отца, только что научившегося сидеть, побритого, причесанного, в сером костюме, покатали по длинному коридору к приемному покою. Мы с братом на скрещенных руках – носилки показались ненужно громоздкими – вынесли его на майское солнце, усадили на переднее сидение рядом с пожилым, снисходительным, привыкшим ко всему шофером,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru подождали, пока Ася Александровна попрощается с врачами, сестрами и больными, и наконец поехали. Ехать было всего два квартала.

У дома отца машина вывернула на тротуар, к самому парадному, Ася Александровна в расстегнутом пальто, с косынкой в руках – сняла ее на ходу – торопливо пошла впереди нас с братом, распахивая перед нами двери. С каждой новой ступенькой брат слабел, я чувствовал, как потели и разжимались его пальцы, державшие мою кисть, а когда мы поднялись наверх и, придавливая себя и отца, протиснулись сквозь квартирные двери, оказалось, что посадить отца вроде бы и некуда, так все здесь было по-старому. «Ну вот и дома!» – слишком уж бодро сказала Ася Александровна, увидела наши напряженные, потные лица, крикнула: «Сейчас!» – и бросилась разбирать постель.

Родственники и знакомые, вошедшие вместе с нами, стали прощаться – отец должен отдохнуть. Стали прощаться и мы с двоюродным братом – нас ждут на работе.

– Идите, идите, – отпустила нас Ася Александровна.

Мы ушли, а она осталась с отцом одна. Я появлялся по воскресеньям, иногда, по вызову Аси Александровны, приходил в будни, чтобы отвезти отца в больницу на очередное исследование, а все остальное время она оставалась с отцом одна. С отцом, с его врачами, с его больным желудком, с его истрепавшимися нервами, с его страхами и упорным желанием выздороветь, стать на протезы, которые были ему уже не по силам.

А на первый же праздник – кажется, это был ноябрь – к отцу собрались родственники, друзья из его старой компании, которые по довоенной еще традиции собирались на все праздники вместе. Отец, чистый, причесанный, в чистой рубашке, как ухоженный, присмотренный ребенок, сидел во главе стола, и стол, уставленный бутылками, тарелками, селедочницами, выглядел почти таким же нарядным, как в те дни, когда отец был здоров, работал и получал неплохую зарплату. Только сыр и колбаса были уж слишком тонко нарезаны и уж очень хитро, веером, разложены по тарелкам. И вино в бутылках с сохранившимися фабричными этикетками было домашним. И каждая селедка, разрезанная вдоль, лукаво была разделена на две.

На звонки гостей Ася Александровна выходила из кухни в переднике, запястьем подавала руку, жеманно подставляла щеку – губы в жиру – под поцелуи женщин, жеманно говорила:

– Дела? Разве вы не знаете? Лучше всех! У меня всегда лучше всех... Здоровье? Разве у такой молодой женщины, как я, спрашивают о здоровье? Лучше всех, конечно, лучше всех!

Отцу в крохотную рюмку-мензурку налили разбавленного спирта, на терелку ему положили какой-то несоленый диетический салат. Ася Александровна тоже ела что-то невкусное, диетическое и вообще за стол почти не присаживалась – то и дело отлучалась на кухню, выходила к запоздавшим гостям и каждому гостю говорила, что дела у нее лучше все, что женщина она молодая и что здоровье у нее прекрасное.

И на Новый год, и на Первое мая, и на день рождения отца, и на день рождения Аси Александровны отец, как чистый, ухоженный ребенок, сидел во главе стола, за которым собирались родственники и друзья, а худая, жеманная женщина встречала в коридоре гостей и сообщала им, что дела у нее лучше все, что она молодая и потому на здоровье не жалуется. И стол, накрытый ею, был почти таким же, как в те дни, когда отец работал, был здоров и получал неплохую зарплату. А хитро нарезанная селедка, колбаса и сыр выглядели так, будто их не от бедности, а от гастрономической изощренности так тонко порезали, так замысловато разложили по тарелкам.

Я смотрел на эти тарелки и думал, что всей гордости, всей изворотливости Аси Александровны надолго не хватит. Но подходил новый праздник, и все повторялось, и я, так и не полюбив Асю Александровну, стал уважать ее и удивляться ей. Я вспомнил истории, которые мне и ей рассказывали и которые она сама рассказывала. Эти истории и раньше волновали меня, но я как-то не связывал их с самой Асей Александровной, потому что не любил ее.

В тридцать седьмом году ее первого мужа арестовали прямо на работе, а домой к нему нагрянули с обыском. Ася Александровна, тогда еще девчонка, ходила по

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
разгромленной обыском квартире, кокетливо улыбалась обыскивающим и пыталась увести их от шкафа, в котором лежал незарегистрированный пистолет мужа, оставшийся с гражданской войны. «Здесь мое белье, мои вещи, – говорила Ася Александровна тому, из обыскивающих, который был повежливее, – разрешите, я заберу их». И, присев перед шкафом на корточки, чувствуя на своем затылке недоверчивый взгляд одного из обыскивающих, спрятала под нижнюю резинку рейтуз незарегистрированный пистолет мужа.

После обыска она сразу же отправилась к прокурору и ходила к, нему каждый день, добиваясь, чтобы ей сообщили, где ее муж, чтобы дали свидание с ним. Прокурор сказал ей, что муж ее – враг народа, но она ни на минуту, не поверила ему.

Перед войной председателя горисполкома, больного, выпустили на волю. В сорок первом году они вместе с Асей Александровной были в числе последних гражданских, покидавших город. Через Днепр переходили в сильную бомбежку, бомбы рвались так близко от моста, что брызги казались осколками, ранящими лицо, а вода, стекавшая по щекам, – кровью. Как многие тогда, они оказались в тылу у немцев, долго скитались по деревням, пока под Ростовом, откуда Ася Александровна родом, не попали в облаву. Муж Аси Александровны, исхудавшего, заросшего черной бородой, горбоносого, полицаи посчитали евреем, избили и арестовали. Асю Александровну задерживать не стали, но она сама пошла за проволоку. Ночью их в крытой машине повезли в Ростов. Под Батайском машина попала под сильную бомбежку нашей авиации, и тут произошло то, чего Ася Александровна до сих пор по-настоящему не может объяснить: шофер остановил грузовик, открыл дверцы кузова и ушел. Не веря в свое счастье, люди выпрыгивали и бежали в темноту. И только избитый и больной муж Аси Александровны не в состоянии был убежать. Он требовал, чтобы Ася Александровна ушла, но она осталась. Вернулся к машине шофер, не заглядывая в кузов, захлопнул дверцы. Пустая машина двинулась. Муж Аси Александровны прислушивался к тряске: «Едем по грейдерной... по асфальту». Где-то в городе грузовик остановился, шофер выпрыгнул из своей высокой кабины – машина качнулась, – открыл кузов и осветил его фонариком. Увидев Асю Александровну и ее мужа, он выругался и стал показывать рукой: «быстреей, быстреей!» Потом забрался в кузов, подхватил мужа Аси Александровны под руки и поволок его к выходу. Когда вылезли наружу, Ася Александровна увидела, что грузовик стоит рядом с полуразрушенным домом, улица пустынная, никаких признаков охраны. Еще не смея верить своей догадке, она стала благодарить шофера, он отмахнулся и показал на парадное полуразрушенного дома. Вдвоем они отнесли мужа Аси Александровны туда, и немец, еще раз осмотрев кузов, уехал. Кто он был, почему так поступил, Ася Александровна не знает. Ей только показалось, что немец этот не немец: выругался он не то по-чешски, не то по-польски.

Когда на следующий день, договорившись с музыкантами и добыв ковровые дорожки, я пришел к отцу, в комнате уже было полно народу. В коридоре и комнате пахло холодом, улицей – дверь на лестничную клетку давно была распахнута. Осторожно раздвигая чьи-то спины, я протолкался к Асе Александровне, отдал ей ковровые дорожки, сказал, что оркестр скоро будет. Увидев меня, она, точь-в-точь как вчера, всплеснула руками и, словно я мог и не прийти и будто бы ночью мы не договорились с ней обо всем, запричитала:

– Как хорошо, что ты пришел! Такое у нас с тобой горе! Такое большое горе!

К нам обернулись, вокруг меня почтительно потеснились какие-то незнакомые мужчины и женщины, з знакомые и малознакомые стали подходить здороваться. Малознакомым – их она мне когда-то уже представляла – Ася Александровна говорила:

– Это сын Петра Николаевича. Ночью из Москвы прилетел к отцу.

Она как бы хвасталась мною, тем, что у ее умершего мужа такой рослый, здоровый сын. Распахнутая на лестничную клетку дверь, обилие провожающих и это хвастовство были частью ритуала, задуманного ею, и я не возражал.

Часов в одиннадцать во двор въехал грузовик, шофер поднялся наверх, и все засуетились. В комнате что-то натянулось. Начали выносить и устанавливать в кузове стулья, понесли цветы украшать грузовик. Кто-то, став на табуретку, старался открыть давно не открывшуюся вторую половинку двери. Запор, плотно засевший в своем гнезде, не поддавался, потребовался молоток, наконец дверь распахнулась, и тут закричала Ася Александровна. Она закричала так страшно, что

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
другие женщины даже не ответили ей. Ее подхватили под руки, повели к соседям.
Там она упала на пол, билась у меня на руках.

Господи, насколько эта женщина была сильнее меня в любви к отцу! И как повезло ему заручиться ее верностью! С тех пор, как я понял, что мой отец не лучший из людей, я ничего прощал ему: ни детские, ни взрослые обиды. Она простила ему старческую беспомощность, беду, которую он взвалил на ее плечи, его тяжелый характер, угасающий разум, саму смерть. Ведь и женился он на ней когда уже чувствовал, что война – это была третья большая война на его веку – совсем лишила его здоровья, убила его.

И первому мужу Аси Александровны повезло повстречаться с ней. И мне повезло повстречаться с ее верностью, пусть даже обращенной не на меня.

– В ГОСТЯХ У ТЕТОК –

Старухи давно уже ходят в больницы к родственникам и знакомым. Они давно обзавелись больничными белыми халатами, чтобы легче проходить внутрь, познакомились с врачами, узнали все больничные лазейки, например, пожарная лестница, которая ведет к окнам второго этажа, у них называется капитанским мостиком. Они поднимаются на этот мостик, когда в больнице карантин или неприемные дни, и разговаривают со своими больными через окно.

Старух четверо. Три сестры, у которых уже поумирали мужья, и четвертая, их подруга, у которой муж хотя и сильно болеет, но еще жив. Сильно болеет и младшая из сестер. Она простудилась еще в марте, вышла из дому в морозный день, шла в магазин против ветра, от слабости вспотела и глубоко дышала холодным воздухом. Ей приятно было так дышать, потому что изнутри ее всю хорошо холодило.

Она одна тогда выходила из дому. Старшая сестра, Зинаида Павловна, недавно вернулась из больницы после операции, а средняя, Александра Павловна, пришла навестить их, да так и осталась с гриппозной температурой на раскладушке. И Антонина Павловна закупала продукты, забивала ими холодильник – боялась: вот-вот заболит и она и некому будет пойти в магазин.

Потом за ней два раза приезжала «скорая помощь», а она все не хотела ехать в больницу. Хотя и врач был знакомый, и она сама понимала, надо ложиться. Раньше она охотно ложилась в больницу, верила врачам и вообще медицине. Она и сейчас верила, но у нее в первый раз появилось такое чувство, что она может не вернуться оттуда.

Уезжая, она огромными буквами написала старшей сестре напоминание, где надо искать книжки с квитанциями на газ и телефон, где квартирная книжка. Записку оставила на письменном столе, оставшемся от мужа; если придет газовщик или ревизор из домоуправления, Зинаида Павловна прочтет записку и все найдет. У Зинаиды Павловны сильнейший склероз, диабет, и к тому же видит она очень плохо. Операцию ей делали, чтобы снять бельмо в правом глазу. Зинаида Павловна удивляется – все видит своим оперированным глазом, но левый оперировать не хочет: сколько там жить осталось! После операции ей приходится беречься. Нельзя нагибаться, нельзя ничего поднимать, даже в комнате подмести нельзя, чтобы не было напряжения на глаз. И очков пока специальных нету, в ближайших аптеках стекол нет, в дальние ездить некому, вот и приходится писать ей огромными буквами.

Весь март и половину апреля сестры почти не виделись. В больнице был карантин, никого к больным не пускали, а выйти из дому, дойти до больницы и подняться по крутой лестнице на капитанский мостик Зинаиде Павловне не по силам. На капитанский мостик чаще всего поднималась подруга сестер – Анна Алексеевна. Два раза за эти полтора месяца Антонина Павловна умирала, потом кое-как выкарабкивалась и по несколько суток отлеживалась на койке, даже на записки отвечать не могла. Из больницы Анна Алексеевна шла к Зинаиде Павловне и говорила, что у Антонины все хорошо, только температура никак не спадает. Утром еще ничего, а к вечеру поднимается. Анна Алексеевна приносила Зинаиде Павловне продукты из магазина, а Антонине Павловне носила по ее просьбе то тарелочку свекольника со сметаной, то капусту «провансаль», то грибы. Зинаида Павловна как будто бы верила тому, что ей говорила Анна Алексеевна, но всем, кто спрашивал у нее, как здоровы сестры, она отвечала: «Плохо». Если ей звонили по телефону, она подолгу не отпускала трубку, рассказывала, как болеет Антонина Павловна, какое у нее давление, какая кровь, какие хрипы в легких, что дали последние

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru анализы. «Очень плохо, – говорила Зинаида Павловна, – она держится только своим характером». И просила звонить почаще, потому что сама она телефонных номеров не помнит и прочесть в телефонной книжке не может, не видит.

К Первому мая Антонина Павловна была дома, к ней приходили знакомые, племянники, и она в десятый раз рассказывала одну и ту же историю о том, как умирала, как плохо себя чувствовала, как в первый раз испугалась больницы и все время хотела домой. Она и раньше была желтая, все никак не могла отойти после желтухи, которой переболела недавно, а тут совсем пожелтела, под глазами у нее образовались коричневые полукружья, но речь ее по-прежнему была жива и очень подвижна. Она говорила о себе с удивлением и каким-то вызовом:

– Больные уходят из палаты, а я ведь все вижу, уходят – это значит, я кончаюсь. А я своей температуры не слышу: воздух в палате перегретый, форточки закрыты...

И она враждебно говорит о своих соседках по палате, из-за которых форточки были закрыты. И враждебнее всего о тех, кто за это время умер.

Потом она рассказывает, как рвалась домой и ее бы отпустили, если бы не температура. В палате тоска. Девять больных, свет тушат рано. Тем, кому плохо, все равно, чем скорее потушат, тем лучше. Но выздоравливающим хоть в петлю. В восемь потушат свет, форточки закрыты, дышать нечем. Спать еще рано, и думай, думай, думай. А о чем думать, если знаешь, что уже все позади и неуклонно катишься в яму, которую скоро выкопают для тебя?

Приходили новые родственники и знакомые, и она опять повторяла, как пошла в магазин, как глубоко дышала холодным воздухом, как набирала продукты, потому что Зинаида Павловна больна, никуда не годится и только она одна могла что-то сделать, как писала огромными буквами Зинаиде Павловне, где лежит газовая, где телефонная книжка, но Зинаида Павловна, конечно же, все перепутала, все потеряла и, когда потребовалась телефонная книжка, никак не могла ее найти.

Зинаида Павловна сидит тут же и в десятый раз с интересом слушает эту историю и кивает в подтверждение. У нее тоже есть что рассказать, она недавно перенесла операцию на глазе, но о себе она молчит, сейчас это никому не интересно, и рассказывает только о том, что как-то дополняет историю младшей сестры. Зинаида Павловна рассказывает, как она готовилась встретить сестру дома, как задумала сделать в комнате перестановку, чтобы поставить кровать так, как она сейчас стоит. К старости Зинаида Павловна как будто хуже стала говорить по-русски, в речи ее звучит какой-то странный немецкий акцент. Она говорит: «Я имею себе... если я уронила что...» Говорит она длинно и все время невпопад. Это у них такие отношения с младшей сестрой – что бы ни сказала Зинаида Павловна, все будет так, будто она перебила Антонину Павловну и сказала невпопад. И сейчас эти отношения потихоньку восстанавливаются, но все же пока и сама Антонина Павловна с интересом слушает, что уже в десятый раз рассказывает старшая сестра. Скучно только племянникам, они редко появлялись у больной тетки на капитанском мостике и сейчас ждут случая, чтобы уйти поскорее. Но пока они сидят, Зинаида Павловна рассказывает.

События с ней произошли микроскопические, но усилий и переживаний они потребовали от нее многих. Как большие события в мире молодых и здоровых людей. Мир этот она уже забыла, забыла системы его отсчетов и потому подробно-подробно объясняет, как ей пришла в голову мысль переставить кровать, как она поджидала, чтобы кто-то прошел по лестнице мимо квартиры, чтобы выйти и позвать его на помощь. Как услышала голоса мужчин и вышла на лестничную клетку, как ловко сказала этим мужчинам, которые что-то такое говорили: «Я преграждаю вам дорогу», – как мужчины вошли в комнату и все сразу поняли и переставили и стол, и кровати и стул, и все это так легко, мужчины же. И в том, что она так говорит о мужчинах, что она так остановила их, раскрыв руки, как для игры или для объятий, есть что-то такое, что кажется молодым племянникам жалким и смешным. Она, конечно, шутит, но они глядят на ее серьезное лицо, на лысину под тонкими волосами и думают: нельзя же так шутить.

Дверь на балкон открыта, и в комнате пахнет асфальтовой пылью и акацией. Собственные комнатные запахи не сильные, хотя комната уже старая, со старыми паркетными полами, старым высоким буфетом, старым обеденным и письменным столами – старухи чистоплотны, и хотя они здесь едят и спят, пахнет в комнате паркетной мастикой и сдобным тестом. И еще немного удушливым резиновым запахом кислородных

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru подушек, и еще свежей марлевой занавеской, к низу которой привязан старый чугунный утюг, чтобы ветер из открытой балконной двери не так ее трепал. Из-за демонстрации троллейбусы и автомобили по улице не ходят, и потому в комнату очень ясно доносятся детские и женские голоса и шаркающие пешеходные звуки. Иногда все эти звуки покрывает духовой оркестр или даже несколько небольших духовых оркестров. Парад идет на площади, а здесь демонстрация уже растекается по боковым улицам, и те, кто несли плакаты и транспаранты, стараются отделаться от них, сбрасывают их на грузовики, едят мороженое, а оркестры играют только краковяки или русские плясовые, и очень слышно, что играть в таком темпе духовому оркестру не по силам. Трубы рвякуют, запаздывают, сбиваются с ритма.

Племянники часто выходят на балкон, курят, оглядывают тех, кто стоит на соседних балконах. Племянникам скучно, они плохо знают друг друга, видятся только по таким вот праздникам, когда сходятся у теток, чтобы посидеть часа два за праздничным столом. Их еще до войны приводили сюда, на этот балкон, чтобы показать им демонстрацию, чтобы накормить мясными и сладкими пирогами, которые здесь всегда отменно пекли, и они сами вот уже много лет ходят сюда по праздникам, водят жен и детей. Но теперь это уже чисто благотворительные визиты, потому что в комнате всё сильнее пахнет больницей, на письменном столе стоит фотография человека, который много лет был здесь хозяином, медная дощечка с монограммой которого до сих пор привинчена к входной двери, и вообще все в этой комнате напоминает племянникам о тех, кто часто здесь бывал и кого они заменили или, по крайней мере, должны были заменить в жизни.

Покурив, племянники возвращаются в комнату и слушают, как Антонина Павловна хвастается перед ними, молодыми:

– Но вы не думайте! Умирать я не собираюсь. У меня большие успехи. Вчера я уже выходила на балкон, а завтра собираюсь на могилу к Виктору. Потихоньку выйду, сяду на троллейбус и доеду. Четыре месяца я на кладбище не была, надо же посмотреть на могилку.

Племянники мрачнеют, разговоров о смерти они не любят. Достаточно того, что все в этой комнате так или иначе напоминает о больнице или о смерти. Даже праздничный стол, накрытый белой скатертью, на которой, однако, ни одной винной или водочной бутылки, никаких острых закусок, лишь немного сыра, колбасы, жидкий чай да сдобы, которые старухи все-таки напекли.

– А нашу Александру Павловну, – говорит Антонина Павловна, указывая на среднюю сестру, – наградили. Дали ей ко Дню Победы грамоту и медаль. Она у нас воевала.

Александра Павловна – единственная из сестер, которая еще работает. Заметив, что речь идет о ней, она улыбается смущенно и вставляет в ухо маленький слуховой аппарат. Она догадывалась, о чем говорит младшая сестра, а теперь, поняв, что догадывалась правильно, быстро кивает:

– Да-да!

– Шура, – говорит ей Антонина Павловна, – зачем ты снимаешь свой аппарат, люди же у нас.

Александра Павловна смущается еще больше и говорит торопливо, чтобы побыстрее закончить неприятные объяснения на людях:

– Да ведь я же готовлю на стол.

И она уходит на кухню, благожелательно и смущенно улыбаясь племянникам.

– А правда ли, – спрашивает племянник, – что дяде Порфирию дали орден Ленина?

– Не знаю, – говорит Антонина Павловна. – Он приходил сюда три месяца назад. Ну, конечно, выпил все, что можно было выпить, занял у меня пять рублей: «Ну, – говорит, – сестра, дали мне орден Ленина. Не забыли Порфирия. А разве Порфирий мало сделал для победы?» Но с тех пор не приходил. И ордена у него никто не видел. Но сам он про орден уже всем рассказывал. И Анне Алексеевне тоже. Занял у нее пять рублей...

Племянники усмеваются. После войны дядя Порфирий был фигурой легендарной. Был,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru да весь сошел на нет. Когда-то, сразу после войны, он сидел за этим столом в расстегнутом кителе, на котором было столько орденов и медалей, что, прибавь к ним еще орден или снимки два, ничего и не заметишь, и сдержанно рассказывал (сдержанно потому, что никогда хвастуном не был, и потому, что всем мужчинам и женщинам, сидевшим за этим столом, было что рассказать), почему целых два года о нем не было никаких вестей. Он перед войной был профессиональным военным, жил с женой на границе и вместе с ней попал в окружение. Он и остался в белорусских лесах партизаном, был командиром небольшого партизанского отряда, потом начальником штаба большого. Потом опять воевал в регулярных частях и дошел с армией до Берлина, но что-то для него в партизанской войне навсегда осталось особенно памятным и жутким. Там погибла его жена, там он после ее гибели никого не брал в плен – ни немцев, ни полицаяев.

И ничего удивительного не было в том, что через двадцать лет, когда вспоминали многих, вспомнили и его и дали ему еще орден. Но за эти годы дядя Порфирий сильно изменился, поссорился с сестрами, у которых много раз занимал их старушечьи пенсионные деньги, научился говорить такую фразу: «Там, где проходил Порфирий, немцы и полицаи валились на землю», – и вообще стал вызывать опасения, которые всегда вызывают люди, постоянно пьющие, попадающие в какие-то скандалы, так что в орден не очень верилось.

Зазвонил телефон. Трубку подняла Зинаида Павловна.

– Дома, – радостно закричала она, – У нас дела идут хорошо. Приходите.

Она обернулась к Антонине Павловне и сказала:

– Генерал!

Но Антонина Павловна и сама уже догадалась. Она приподнялась на кровати, заторопилась:

– Передай! У меня большие успехи! Вчера и сегодня выходила на балкон.

Зинаида Павловна говорила в трубку:

– Тоня передает привет, – и кивала Антонине Павловне, – и воздушный поцелуй. Что у вас там за сношения, чтобы обмениваетесь воздушными поцелуями? Что-то у вас было. Ну-ну, не говорите, а я буду себе знать.

Генерал – это муж Анны Алексеевны. Генерала он получил еще в тридцатых годах. То есть документы на повышение в звании были на него посланы в Москву еще тогда. Григорий Афанасьевич был военврачом, хирургом, и еще он был признанным остряком, душой общества. В операционной для поднятия духа больных балагурил и рассказывал анекдоты, но какому-то человеку, которому он вырезал аппендикс, его анекдоты не понравились. Много лет о Григории Афанасьевиче ничего не было известно, потом он объявился поблизости от города, в небольшом районном центре, и Анна Алексеевна ездила к нему туда по воскресеньям. Позже он перебрался в город еще без разрешения на прописку, затем пришла реабилитация. Ему дали квартиру как бывшему военному служащему и пенсию как демобилизованному полковнику. Года через три пенсия была еще повышена, потому что в Москве разыскались документы, в которых было сказано, что Григорию Афанасьевичу присвоено звание генерала.

Он сошелся с мужем Антонины Павловны и с мужем Зинаиды Павловны, приходил к ним играть в лото и в «девятку», опять острил и рассказывал анекдоты, читал старомодные стихи:

Писатель, если только он
Волна, а океан – Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Говорил: «Вот честное слово, ей-богу».

Три года назад он похоронил и мужа Антонины Павловны, и мужа Зинаиды Павловны и целыми днями, положив руки на палку, сидел на скамеечке среди пенсионеров в городском саду. Говорил: «Нет, до нового года я не доживу». Дожил.

«До лета я не дотяну».

Болел он тяжело, путал имена знакомых, не узнавал Антонину Павловну и ее сестер. Прогонял их, прогонял врачей, называл их шарлатанами. Но так как он всегда был шутником и часто шутил грубо, то ни Анна Алексеевна, ни Антонина Павловна не знали, как к этому отнестись. Им казались подозрительными такие провалы памяти, им казалось, что генерал шутит.

Полгода он уже не приходил сюда, к старухам, не мог. Жене он сказал: «Все, больше я туда не дойду». Но вот теперь собрался дойти.

Он дошел. Проехал пять остановок на троллейбусе, два квартала прошел пешком и поднялся на третий этаж по лестнице. Когда вошел в комнату, заплакал. От усталости, оттого, что на улице май и духовые оркестры, оттого, что дверь на балкон открыта. Его успокаивали, но он и сам быстро успокоился. Он всегда здесь шутил, пошутил и на этот раз, назвал Зинаиду Павловну своей любовницей. Он уже перестал быть остроумным человеком. Должно быть, нервные клетки в мозгу отказывали ему. Но он помнил, что всегда был остроумен, что никогда не сдавался, и теперь тоже шутил. «Моя невеста», – говорил он, показывая на Зинаиду Павловну. Потом спросил Антонину Павловну:

– Тоня, как ты думаешь, кто из нас раньше умрет: ты или я?

Антонина Павловна побледнела.

– Ну что вы, Григорий Афанасьевич, – сказала она. – Конечно, я.

– Вот и я так думаю, – сказал генерал. Свежую марлевою занавеску надувало ветром, в комнате пахло сдобой, с улицы доносились обрывки песен – грузовики и автобусы уже увозили демонстрантов, где-то неумело трубил горнист; скоро должен был пройти первый троллейбус, но пока еще пешком был пройти первый троллейбус, но пока еще пешеходы шли во всю ширину улицы и шаркали подошвами об асфальт и смеялись, а Антонина Павловна опять рассказывала свою историю о том, как она заболела, как умирала в больнице, рассказывала ее специально для генерала, чтобы он не чувствовал только себя одного больным и приговоренным. Он был последний мужчина в этой компании старух, и они его очень жалели.

– Эй! –

1

Для того, чтобы ночью не испугаться в море перед надвигающимися сигнальными огнями теплохода и самоходной баржи, надо самому обладать массой, схожей с массой этих кораблей.

Днем створы и маяки в Цимлянском водохранилище – просто крашенные деревянные щиты, а ночью на них зажигаются жутковатые, таинственные, холодные огни. Каждой ночью совершаются эти превращения, и ничего с этим нельзя поделать.

В районе порта бакены мигают. А в море, по фарватеру, – неподвижные огни. Минут десять я держал шляпку на один из таких огней. И вдруг он внезапно вырос. Ходовой огонь корабля, который накатывался на нас, потому так долго казался неподвижным, что мы шли друг на друга. Оглушенный собственной машиной штурвальный не услышит крик. Я зажег карманный фонарик. Свет слабой батарейки едва высветил парус. Нас обдало теплом, вялый парус качнуло, красный и белый ходовые огни нависли над шляпкой, и рокот машины стал удаляться.

Пока задерживал дыхание, все началось и кончилось. Но страх не был мгновенным. В нем осталось то, как я сам выводил шляпку на корабль.

Шлюзы были иллюминированы. Огни тлели гнилушками, всплывали из черной глубины, и даже репродуктор на невидимом правом берегу казался опасным потому, что звучал так ясно, будто не было между нами полутора километров.

Этот репродуктор надолго задержал нас. Мы плыли от Калача к Пятиизбянкам, ожидая, когда появятся поселковые огни. Поселковых огней на берегу все не было и потому совсем неожиданно в темноте загредел репродуктор. Пытаясь подойти поближе, мы уперлись в полузатопленные кусты.

– Эй! – крикнули мы наудачу.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Эй! – ответили нам не сразу.

– Что здесь?

– Огороды!

– Кумская или Пятиизбянки?

– Проплыли! – ответил голос.

Я переспросил и голос подтвердил:

– Проплыли!

Мы повернули шлюпку и шли, пока не услышали сильный запах ладана. Так пахло целое поле сосновых бревен. Плот этот мы проходили еще в сумерки, когда вышли из Калача. Пятиизбянок здесь не могло быть. В голосе человека, который кричал нам: «Проплыли!» – в затопленных водой плетнях, в частоколе прошлогодних подсолнухов, которые не давали нам подойти к берегу, в репродукторе, работавшем в темноте, была какая-то ненадежность. Мы чувствовали ее. Но еще большая ненадежность была в нашей усталости. Мы хотели как можно скорее попасть в Пятиизбянки, где, как нам сказали в Калаче, рейд и где можно шлюпку погрузить на самоходную баржу и уплыть домой.

С тех пор, как в Вешках плавучий кран, стреляя тракторным дымом, снял с маленькой самоходки на воду нашу шлюпку, над нами много дней было неподвижное небо. Утром на этом небе появлялись неподвижные облака – их конденсировало утреннее солнце, и оно же к полудню их растворяло. Это небо мы увидели, как только отплыли от курортных, выкрашенных в любимые синие мундирные казачьи тона Вешек.

Песок на берегах был то серый, глухо, как гранит, то матовый, то глиняно-желтый, а то, как на севере под соснами, – красный. Даже дно тут было не такое, как на нижнем Дону – дно мелких рек с неравномерным течением: то ямка, то бугорок. Высокие глины на берегах напоминали гранитные стены – та же розовость и солнечная искра. А меловые горы – стены с контрфорсами. Дождевая вода прорезала на твердых склонах мелкие овражки – выступы между этими овражками и казались контрфорсами.

В безветренные дни в воздухе накапливались атомы солнца, жары. Ночью нам не давали заснуть голодающие комары. Утром будили крики коршунов. Коршуны – соловьи верхнего Дона. Никогда бы не подумал, что они кричат так нежно и переливчато.

Посмотришь в небо: летают, планируют, набирают такую высоту, что атаковать кого-либо с такой высоты было бы бесполезно – пока долетишь до земли!

И цвет неподвижного неба, и цвет меловых гор мне казался древним, непоколебленным. И белая, молочная у известкового берега вода. И трава, растущая на меловой пыли...

Зелени много: зелень рядом и зелень вдаль – густая, хвойная, с десятками переходов от ёлочного до тополиного. И деревья, сваленные половодьем. В воде, а абсолютно сухие. С паутинными, истаявшими ветвями, с черными гладкими стволами – уже не дерево, еще не тлен. А есть еще зеленеющие, однако тоже с сухими ветвями, с желтеющей по-осеннему листвой.

На берегу плетни усадеб и огородов. Специальные частоколы для просушки сетей. С длинных палок явно для гладкости, а не для красоты снята кора.

Парус наш в следах масла и ещё чего-то. На нем спят. Его стирают, чтобы полежать на нем во время дневки, на нем обедают. Он замат и пахнет ночлегом. Но когда дует ветер, он натягивается и все его морщины и складки расправляются. Мы плывем и удивляемся тому, какие геометрически правильные, чертежные берега намыла река, траве, растущей прямо на песке, обилию белого, снежного: известковым выходам, меловой пыли на горах, деревьям на этой пыли.

Шкаторина от паруса время от времени полощет в воде. Можно на ходу опустить в воду руку. Но пахнет водой только у реки. Поднимешься в станицу – пыль, сушь и томление. Каждая станица отмечена церковью. Лучшей строительной формы для своих

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
возвышенных мыслей люди еще не нашли. Плынешь и думаешь, как погиб бы речной пейзаж без этих обветшалых куполов!

Самый младший из нас Игорь Шорников родился в Кустанае, учился в Омске, работал в Саратове и еще где-то. Он рассказывает:

– Надо иметь родину хотя бы плохонькую. Тогда и будет нравиться. А мне вот нигде не нравится.

Однако плыть под парусом удавалось совсем не часто. Ветер на реке всегда верховой или низовой. Как бы ни дул на равнине, русло реки поворачивает его по-своему. Надежда на то, что с новым поворотом реки изменится направление ветра, пуста. Река поворачивает, а ветер остается попутным или встречным.

По каким-то причинам, он чаще всего встречный. В шлюпке мы сразу почувствовали давление трехсот километров, которые нам предстояло пройти до Калача. После первого дня гребли, мы об этих километрах уже не забывали ни на минуту.

Так мы и шли, пока в одном или двух переходах от Калача не уперлись в мощный ветер. Шлюпка так отяжелела, что наша некомплектная команда – с каждого борта у нас было по одному гребцу, вместо двух, – не могла сдвинуть ее с места. Двое суток ждали, пока ветер упадет, а потом пошли волоком. И тут река повернула так, что встречный ветер стал попутным. Дыхание его сделалось шире, дальше раздвинулись берега, и мы ощутили то, что трудно почувствовать на коротком речном колене: парус летит с лодкой, а не толкает её.

Матрос с волжской самоходной баржи, стоявшей на ремонте, крикнул в наш парус:

– Откуда?

И замахал вслед:

– Честное слово, завидую!

Когда подходили к дебаркадеру Калача, я взглянул вверх. Много лет назад в сорокаградусную жару студенческой командой мы подходили к этому самому дебаркадеру. Сверху на нас смотрел человек в полувоенной форме. Мы дружески помахали ему, а он вдруг закричал на нас:

– А ну, оденьтесь!

Дебаркадер с тех пор постарел. Вернее, остался тем же. Но от того, что где-то за это время построили много нового, все здесь казалось постаревшим. И это было удивительно потому, что со строительным потоком, бушевавшим здесь, у меня когда-то прочно связывалось представление о смене времен, о новизне.

Даже «метеор», стоявший на причале, казался залетевшим из других мест. Пока спускали парус, снимали мачту и проводили шлюпку под бревном, которым дебаркадер упирался в берег, у меня появилось дурное предчувствие. Оно оправдалось, как только Игорь Шорников с туристским листом, который мы отмечали раз в три дня, выбрался наверх. Волжские корабли из канала шли прямо к Пятиизбянкам, брали на рейде несамоходную баржу-приставку и вели её через Цимлу на нижний Дон. Если мы хотим сегодня погрузиться на корабль, нам надо пройти по водохранилищу еще восемнадцать километров.

Пока Игорь отмечал свой лист, давал с городского телеграфа телеграмму о том, что наш поход окончен, каждый из этих восемнадцати километров удлинялся невероятно. Когда мы наконец сели в шлюпку и оттолкнулись от дебаркадера, мачту можно было не ставить – ветер кончился. Но все же мы подняли парус, и он уловил движение вечернего холода. Холод из долин стекал по оврагам, и парус чувствовал это. Однако журчание под носом шлюпки временами прекращалось совсем, и тогда я говорил:

– Два часа потратить на идиотскую телеграмму! Кому она нужна! Давно были бы в Пятиизбянках.

Как по-разному переносим солнце, комаров, захватываем или уступаем удобное место, готовясь к ночи, обнаружилось в первые же дни. Мои напарники новички. А

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru я-то знал, как действует непрерывное солнце при десятичасовой гребле! Но вот и солнца нет, и походным нашим отношениям скоро конец, и шлюпка от этого, конечно же, лучше не движется, а остановиться не могу – показываю самые дурные черты характера. Ночной ли страх, напряжение ли это на руле или вспышка раздражения из-за того, что полузнаний моих не хватает, чтобы найти с моря в темноте поселок, который я видел много лет назад, но сам я себе становлюсь невыносим.

Почему-то возмущает меня не Шорников, а два других моих напарника, которые дали Игорю потратить время на телеграмму.

Самый старший из нас и самый покладистый. С него все скатывается. Заснет там, где заснет. Подойдет очередь – будет грести. Почти не обижается, но все-таки обижается.

Он сидит на носу на спальных мешках. Беспокоится только тогда, когда видит встречный корабль – боится, что не разминемся.

– Г'ебята! – кричит он. – «Г'акета»!

Чувствуя в голосе зуд, я наношу удар, прекрасно понимая, что бью ниже пояса:

– Трудно поверить, что во время войны вы были разведчиком. Никак не научитесь отличать «ракету» от «метеора».

От плотов тянет ладаном, а наверху ясно звучит радио, хотя до него, по моим расчетам, не меньше полутора километров. Залитые водой плетни не дают подойти к берегу. Испугавшись столкновения с кораблем, мы ушли с фарватера, мачту сняли, и весла время от времени цепляют кусты. Идем по мелкому, следовательно, не опасно. Но подводные кусты в темноте именно и кажутся опасными, и мы опять отворачиваем туда, где катятся корабли.

Небо – гигантское. Днем оно не бывает такой глубины. Слышно, как по фарватеру катятся корабли. Ночью особенно понимаешь, почему о них так говорят речники.

Капитан самоходки, которая везла нашу шлюпку в Вешки, делал долгие остановки. Дневка была в станице, из которой он родом. Вернулся он в сопровождении родственников и собак. Собаки, не обращая на нас внимания, первыми взбежали по сходам и поднялись в рубку. Словно знали, что капитанские. У капитана был излишек спокойствия. На своей вахте он доверял штурвал сыну, двенадцатилетнему мальчику. Мальчик штурвал перекручивал, и самоходка шла враскачку. Из-за этой раскачки мы и останавливались: самоходка толкала перед собой нефтеналивную приставку, раскачкой растягивало крепёжные тросы, их надо было заново перетягивать.

Со вспышкой света и звуком винтовочного выстрела трос порвался ночью на подходе к Цимле.

– Не надо было колесо крутить! – закричал шкипер нефтеналивной, словно ждал этой минуты. Он крикнул это помощнику капитана, который прибежал на звук лопнувшего троса. И тот, не находя других ругательств, ответил:

– Шкиперись и шкипери!

Ему было тем более обидно, что это не он «колесо крутил».

Выскочила жена шкипера:

– Сожжот нас! – закричала она. И сразу стало видно, как много раздражения накопилось у всех.

Капитан следил за всем этим из рубки, командовал редко, но покрикивал все же:

– Быстрее, быстрее, потом доругиваться будете!

На уцелевшем тросе нефтеналивную разворачивало носом к нашей корме, кормой к нашему носу. Все ждали, пока она ударится о борт.

Капитан включил сирену и прожектор. Сирена завывала устрашающе, по ночному.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Несколько раз провел прожектором от рубки до носа – сам себя осветил, чтобы подходившие к каналу корабли видели, как его тянет на яр, разворачивает, что он ничего не может поделать и просит подождать. Шел дождь, прожектор выхватывал серые струи, а между этими густыми струями – бесконечные вспышки насекомых.

А из канала и к каналу шли две больших волжских самоходки. Ни в носовой, ни в средней части у этих теплоходов нет жилых помещений – только грузовая палуба и грузовые трюмы. В рубках темно – свет штурвальным был бы помехой. И лишь сигнальные огни: верхний – белый, правый – красный, левый – зеленый, – горели на них. Теплоход, подходивший снизу, сбрасывал ход и еще затормозил, увидев наши сигналы, но остановиться совсем отказывался и так катился медленно к нам всей своей огромной темной массой, которая в несколько раз превосходила массу нашей самоходки. С теплохода, шедшего сверху, на секунду включили прожектор, ударили по нашему корпусу, но тут же выключили свет, чтобы не мешал команде работать. Нефтеналивная стукнулась о наш борт, и капитан закричал шкиперу:

– Закрепляй так! Ставь руль на ноль. Прошлюзуешься под бортом, а в порту я тебя сброшу.

– Все горючее в яр спустим! – Закричала жена шкипера. – Всю корму нам разворотил, еще немного и до горючего бы дошел. Мореходы! А кормой как вести! Разобьемся в канале, сгорим!

Но шкипер, осознавший, как плохо все складывается для него, прикрикнул на неё, подал канат и бросился в рубку закреплять рули.

Капитан не слушал. Он сдерживал баржу на течении, стараясь удержать ее между двух огромных кораблей, которые расходились, оставляя его на струе третьим. Мотор нашей самоходки гудел, и нам не были слышны машины теплоходов. Казалось, они катятся бесшумно: один против течения, другой – по течению.

Случай этот не убавил капитану спокойствия. И до Вешек мы шли, так же часто делая остановки, и так же грубо на капитанской вахте виляла самоходка. Капитанское спокойствие утомляло, и распрощался я с самоходкой с облегчением.

В шлюпке-четверке на, четверых, свела одна и та же идея: житейское напряжение «снять» напряжением походным.

Шлюпка-четверка – это рулевой и четверо гребцов. В дальнем походе гребцам нужна смена. Мы гребли по двое. Третий сидел на руле, четвертый отдыхал. Непрерывное солнце сразу же превратило нашу двойную нагрузку в двойную перегрузку. Нам бы чаще останавливаться, отдыхать. Но как только мы почувствовали вес одного километра ан веслах, расстояние над нами взяло власть, и мы шли и шли, пока не начинались споры о том, где остановиться на ночлег и в какую станицу зайти за хлебом, а какую миновать. О том, что споры начнутся, я знал и обрадовался, когда один спорщик сказал другому:

– Это твои эмоции.

Перед походом я обещал себе отбиться от собственных эмоций, но, видно, пришла моя очередь. Ядовитая и совершенно бесполезная пронизательность настигла меня.

– А вы порядочный филон, – сказал я Шорникову. – Вы же почти не гребете. Это из-за вас мы потеряли столько времени.

Хочешь отбиться от собственных эмоций – не раскрывай рта. Несдержанность можно оправдать возмущением. Но возмущение тоже надо чем-то оправдывать. Остановиться было невозможно. Я обличал напарников – это «выходил» страх после того, как я сам чуть не завел шлюпку под корабль. А ведь, казалось, давно обжился в перегрузках! Прекрасно знал, как это бывает, и не мог удержаться.

«Из-за Шорникова, – думал я, – болтаемся ночью на фарватере. Ему приходится притворяться спокойным. А бывший разведчик „ракеты“ от „метеора“ отличить не может. Что с него требовать!»

Почему меня утомляло спокойствие капитана самоходки, я мог бы объяснить. Но зачем мне беспокойство моих напарников?

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
«Вот передам кому-нибудь руль, – мстительно распял я себя, – тогда ищите этот проклятый поселок и разбирайтесь в фарватерных и ходовых огнях».

В Калаче нам сказали, что к полуночи за приставкой к Пятиизбянкам подойдет волжская самоходка «Волгоград». Когда мы выходили из Калача, «Волгоград» был еще в Волго-Донском канале. С самого начала мы ввязались в гонку с мощным кораблем. Он шлюзовался на подходах к Калачу, а мы вышли, ловя вялым парусом ветерок из каждой долинки. Потом, задержанные репродуктором, топтались возле Кумской, а «Волгоград», должно быть, полным ходом подходил к Пятиизбянкам. С того момента, как шлюзы перестанут его задерживать, восемнадцать километров он пробежит за полчаса.

«А все нерассуждающая бюрократическая привычка, – с ненавистью думал я о Шорникове. – Бессмысленный поступок, и, пожалуй, бессмысленный надрыв. Выйди мы вовремя, и дома оказались бы раньше, чем туда пришла бы эта никому не нужная телеграмма».

Вот чего мне не хватало – чтобы бывший разведчик и другой мой напарник осудили Шорникова. Чтобы так же ярко, как я, почувствовали неприятности, которым нам грозит ночное плавание. Но они не осуждали Шорникова. И почувствовать столь же ярко не могли, потому что вообще не разбирались в фарватерных огнях. И это мне, а не им, надо было искать поселок, в котором никто из них не бывал ин разу. И в море они вышли, доверяя моему опыту. И вот чем это едва не кончилось и ещё неизвестно, чем закончится.

В небе была засасывающая глубина и холод. А береговая темнота делалась все более неживой и безлюдной. Эта темнота и заставляла нас поворачивать назад. Над Пятиизбянками, по моим расчетам, должно было быть электрическое зарево. ли хотя бы слабое сияние. А тут темнота, которую огоньком спички никто не тревожил. Мы углубляемся в темноту, а Пятиизбянки остаются в стороне или за кормой, и на встречу с «Волгоградом» нам к полуночи не поспеть.

Когда темнота становилась непроницаемой, мы поворачивали назад, к Кумской. Так кружили несколько раз. И раздражение мое тоже кружило, все время возвращаясь к Шорникову. Это он всегда лучше других знал, где надо останавливаться на ночлег, это он, ввязываясь в спор, никогда не уступал, как бы ни был мелок повод для спора. И это он в последнюю нашу дневку перед Калачом выбрал чужой перемет.

И раньше мы видели чьи-то рыбацьи снасти, но никогда не трогали их. А тут в решимости Шорникова появилось что-то такое: «Плевать! поход закончен».

Хозяин перемета с вечера приезжал к нам на лодке. Это был мужичок с вывернутыми ушами, в подкатанных до колен брюках. Проверить снасти при нас он не рискнул, но уплыть сразу постеснялся. Над водой, над берегом густо летали стрекозы. Он сказал:

– Они этих, оводов, бьют. Как появятся – оводов поменьше, а там и совсем не станет. А их воронки бьют.

– Какие воронки?

Он смутился, показал на ласточек.

– Ну, мы их так называем. Которые в береговых норах живут. Эти этих, а те – других. Так и идет.

А утром я увидел, как Шорников тянет перемет. Из воды выходила и выходила черная, просмоленная веревка, на веревке огромные крючки. Шорников забирал ее кольцами в левую руку. Все смотрели на крючки, смотрели косвенно – прямо смотреть стыдно: ворует Шорников и воровство это тянется и тянется. Но и интересно тоже: есть ли на крючках рыба. Рыбы не было. Когда азарт потух, Шорников сказал:

– Браконьерская снасть. Надо уничтожить.

Эта минута охотничьего азарта, которую мы все пережили, и сказала нам, что поход окончен. Но, может быть, все началось гораздо раньше. Иван Васильевич, бывший разведчик, однажды вернулся из станицы, в которую он вызвался сходить за хлебом,

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
посмеиваясь:

– Прекрасный хлеб. Всегда посылайте меня за хлебом.

Рубашка его прилипла от пота к спине. Была его очередь грести. Весло он, как всегда, потянул старательно, а то, что он пил в станичном магазине, путем хлынуло по его плечам и груди. Ничего подобного я не видел: этот обильный пот нельзя было смахнуть ладонью или вытереть платком, но я никогда и не видел, чтобы, готовясь к гребле на сорокаградусной жаре, пили вино.

Я давно знал, на воде пить так же опасно, как, скажем, в воздухе или за рулем. Но не в одной опасности тут дело. Если очень хочется поговорить, зачем идти в кино или на концерт? Я сидел на руле, а рядом со мной истаивал, исходил потом немолодой человек.

– Вас же хватит тепловой удар, – сказал я.

Он сдул с верхней губы очередную струйку пота и, словно настаивая на своей шутке, повторил:

– Вкусный хлеб! Я теперь всегда буду ходить за хлебом.

Он нажимал на слово «хлеб», и было особенно заметно, как неудачна шутка.

Я снял с румпеля руку. Как стрелка на весах, он сразу отклонился в сторону того, кто лучше греб. Так я хотел показать Ивану Васильевичу, что вино обессилило его. Но и обливаясь потом, Иван Васильевич греб старательнее Шорникова.

Я выправил курс и опять безжалостно снял руку с румпеля. В походе следует избегать любых причин, возбуждающих соревнование. Оно приводит к истощению. Но я как-то не утерпел – хотел, чтобы все видели, как Шорников уклоняется от работы. Однако Шорникова колеблющийся румпель не заставлял сильнее наваливаться на весло. Мы невольно ввязывались в соревнование, а он с веслом обращался так, будто оно могло непоправимо повредить его здоровью. Глаз не отводи, словно хотел сказать: «Да, берегу здоровье. А тут у кого-то другая цель?».

– Вы же не получили привычного удовольствия, – сказал я Ивану Васильевичу. – Вино убивает греблю, гребля – вино.

Увидев, как Иван Васильевич обливается потом, я не то чтобы решился – не выдержал. Пил один – отравил всех. Старательности его надолго не хватит. Вино все равно возьмет верх. А главное, та самая житейская нагрузка, от которой мы уходили в поход, настигнет нас, по его милости, здесь. Вот что я собирался ему сказать, но не сказал.

Когда пришла очередь сменить его и Шорникова, мы с моим напарником Володей навалились на весла. Через час усталые, мокрые сели отдыхать, а Шорников опять с осторожностью взялся за весло. Так начался спор и не замечал его, кажется, один Иван Васильевич. Лишь иногда, сидя на носу, он дурашливо вскрикивал:

– Г'ебята! Паг'аход!

.

– Шорников, – сказал я, – садитесь-ка на руль. Ваша очередь искать поселок.

В шлюпочной тесноте мы молча разминулись. Я взялся за весло и почувствовал, как ночной страх и напряжение отходят от меня. Будто вместе с рулем передал их Шорникову. Странное чувство. Оттого, что на руль сел неопытный человек, опасность не уменьшилась, но мне до неё теперь не было дела. Мы ещё менялись, и тот, кто брал руль – брал на себя всё напряжение.

Часа через два впереди замаячило зарево. У него была настораживающая странность – зеркальное отражение. Когда приблизились, рассмотрели, в чем дело: у каждого огня был подводный двойник. И от каждого – по черной воде мерцала яркая дорожка. Длина дорожек показывала, что огни в воде, а не на берегу.

– Рейд, – сказал Шорников.

Я подумал о том же. Но берега из-за темноты не видно, а рейду должны соответствовать поселковые огни.

Фонари на воде казались неподвижными. Мерцало только отражение в море. Однако один неподвижный огонь уже обманул нас. Теперь в каждом огне на воде мы искали скрытое движение. Сигнал невелик, а движение может быть огромным, тысячетонным.

Мы осторожно приближались, и постепенно фонари поднимались над водой – становились видны сигнальные мачты. И все сильнее струилась или мерцала в электрическом свете вода. То ли куда-то низвергалась, то ли обтекала огромный караван. Сами корабли казались брошенными – ни в одном иллюминаторе не горел свет.

Мы подгребали все осторожней, хотя давно уже поняли, что корабли на якоре, но обманывало струение и мерцание воды.

Запахло лесом: сыростью, сосновой корой. Из темноты выступили черные корпуса. Баржи были нагружены бревнами. Давно уже похолодало, а рядом с железными корпусами стало еще холодней. И темнота сгустилась. Вернее, перепады темноты. Сигнальные огни горели тускло – это издали они казались яркими. Воздух в их свете серел, сгущался, сопротивлялся проникновению света. И блики на воде усиливали, а не рассеивали тусклость.

Это был, конечно, рейд. Но надо было убедиться, что это Пятиизбянки и что именно сюда придет, или уже приходил, «Волгоград» за приставкой.

– Эй! – крикнул я.

Никто не ответил. Покричали хором, подождали и поплыли к другой барже. Плыли вдоль бортов, останавливались и кричали, но никто к нам не выходил, никто нас не слышал.

– Спят, – сказал Шорников. – Или на баржах нет команды.

– А кто свет зажигал? – Спросил Володя.

Низкобортная самоходная «ГТ» тоже была нагружена лесом. Тяжесть этого груза особенно наглядна тяжестью каждого ствола. Удивительно было, что баржа не слишком глубоко сидела в воде. Мы покричали порознь и хором и выбрались наверх – на самоходке должна быть команда. Я вылез и отклонился – наткнулся на что-то такое упругое, что не сразу догадался – паутина. Пауки за вечер поработали – лицо заклеивало, как пластырем. Зажег фонарик и поразился: рисунок паутины был точно как рисунок на срезах бревен.

Близость каютного тепла расслабила нас. С самой возможностью распрямиться, идти по палубе, а не сидеть на шлюпочной банке, отыскивая место для ног между скаткой паруса и рюкзаками, уже не хотелось расставаться. Стучали в каюты и кричали настойчиво. Наконец из-за двери сонно отозвались:

– А?

– Это Пятиизбянки? – спросил я.

– Да! – ответил кто-то так внятно и охотно, будто обрадовался неожиданному ночному разговору. И больше – ни звука. Вынырнул из сна и опять погрузился.

На шлюпке грела гребля. Но она же нас истощила. Теперь кожей лица ощущали морозный воздух, идущий от воды, от железных корпусов. Надежда расслабила, а надо было опять садиться в шлюпку и грести к берегу.

Берег сказался скоплением тумана, потом проступил сгустками темноты. В одном из сгустков угадали катер на якоре, потом лодку, вытасченную на сухое. Между катером и лодкой, несомненно, была связь. Проследили взглядом дальше и видели сабо светящееся окно. Словно горела не электрическая, а керосиновая лампа.

Открыли дверь и поняли, почему свет был серым. Слабая, без абажура лампочка

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru освещала некрашенные скамейки, затоптанный пол, небеленые стены. Комната была пустой, но из неё вела еще дверь, а рядом с дверью – окошечко, за каким обычно сидит кассир.

Дверь отворилась, и мы увидели худого человека в телогрейке. Он молча смотрел на нас, дожидаясь нашего вопроса.

– Это Пятиизбянки? – спросил я.

– Да, – ответил человек. – Я диспетчер.

Он шагнул, и мы увидели, что одна нога у него на протезе.

– А где же поселок? – спросил я. И рассказал, как мы искали поселок по огням.

Он не сразу понял, о каком поселке речь. А потом сказал:

– Да, там никто не живет.

– Как?

– Брошен, – сказал диспетчер равнодушно, как о чем-то давно прошедшем. – Я здесь один.

Если бы не ночные блуждания, не поиски несуществующих огней, слова диспетчера не так поразили бы меня. «Не жить» можно в комнате, но не в целом же поселке! Я вспомнил, как кружили возле Кумской, как опасались порвать связь с работающим репродуктором, как я сам поворачивал назад, к Калачу, хотя простой здравый смысл подсказывал – не пройдено полпути. И хотя слова диспетчера подтверждали: поселок не был ошибкой моей памяти, но в чем-то и обвиняли меня. Я знал, в чем. В полузвании, в нерешительности. В том, что усталость во мне оказалась сильнее, чем это должно быть у человека, берущегося за руль и показывающего дорогу. Что раздражению дал власть над собой, и оно не развело нас только потому, что некуда было разойтись.

Мысли эти не явились внезапно. Просто ещё пять минут назад они были подчинены раздражению.

В молчании Шорникова, в благодушии Ивана Васильевича оказалось больше правоты. Без меня они, пожалуй, быстрее нашли бы этот рейд. Но если это им приходило в голову, никто из них меня не упрекнул.

Много раз я видел, как перегрузка меняет людей. На себе испытывал. Научился отделять мысли, взвинченные раздражением (Раньше эти мысли и казались самыми моими. Чем больше возмущения, тем достоверней, что мои!). А на последний незапланированный переход меня не хватило.

В диспетчерской было холодно, а в спальные мешки влезать не имело смысла. «Волгоград» только что вышел из последнего шлюза и минут через срок будет здесь.

– Но ведь был совсем новый поселок, – сказал я. – Благоустроенные дома.

– Работу планировали, – сказал диспетчер, а её здесь на одного человека. Люди и уехали.

Я вспомнил репродуктор, работающий на полную мощность, плетни, перегораживающие море. Оказалось, что и жители Кумской покинули новые дома и вернулись на старое место. А там, где плетни, в прошлом году было сухо: водохранилище мелело, этой же весной вода пришла.

– Вы здесь живете? – спросил я.

– На дежурство из Калача привозят.

Надо было выходить.

На холоде сразу почувствовал, что давно борюсь со сном. Море за это время стало

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru нестерпимо гладким. Точно льдом подернулось. А под водой – неправдоподобно яркая и тугая луна. Мокрыми от росы стали борта шлюпки, мокрой рукоятка весла. А рейдовые огни в ярком свете луны в ледяном блеска потускнели.

С порога диспетчер показал сигнальные огни.

– Держите вон на ту баржу. «Волгоград» за ней идет.

Рейдовые огни сливались, перекрещивались мерцанием, и мы лишь приблизительно запомнили направление.

– А вон сам катит, – сказал диспетчер.

В неразличимости рейдового мерцания, в локомотивном шуме, доносившемся из глубины моря, в слабости как бы самолетных сигнальных огней «Волгограда», которые никак не связывались с этим шумом, было что-то тревожное. Гул корабельных машин то прямо катился к нам по гладкой дороге, то уходил вдаль, и эхо возвращало его из темноты.

Мы оттолкнулись от берега и ощутили, как отдалилось рейдовое мерцание и приблизился корабельный шум. Он совсем отделился от сигнальных огней и заходил на нас с берега.

– Успеете! – крикнул диспетчер. – Он ещё далеко.

Заметил, как мы заторопились.

Он ещё видел с берега шлюпку, а вокруг нас уже сомкнулась темнота. Ощупью, то находя сигнальные огни «Волгограда», то опять теряя их, пытаюсь сориентироваться по отфыркиванию его машины, мы вышли на мерцавшие рейдовые дорожки.

Баржа, на которую указывал диспетчер, стояла в стороне. Мы причалили к ней и выбрались на ее железную корму. Корма была непривычно голой, без рубки, без помещений для команды, с огромным замком для носа толкающего судна. Два больших кнехта поднимались рядом с этим замком. На такой барже-приставке команда и не предусмотрена.

Красный и зеленый сигнальные огни слепо нацелились на нас. И нельзя было понять, далеко ли «Волгоград» или уже близко. И вдруг ударило по глазам, ослепило. Угасли все звуки. Мы увидели свои отсвечивающие прозеленью руки. Как во внезапно открывшейся сцене, в яростном свете над баржей навис темный нос. И словно от этой вспышки, рядом с нами ватно откинулась крышка люка, и голый по пояс парень выскочил из трюма. Глаза его блеснули, как у актера, попавшего под сильный свет.

Такие же карнавальные отсветы были в глазах парней, рассматривавших нас с палубы «Волгограда». Казалось, они смеялись над нами. Один из них рассматривал чалкой на самом носу. Я ждал, что он бросит ее парню, выскочившему из трюма. Но матрос сам бросился вперед, и прыжок его поразил меня не меньше, чем неожиданное появление полуголого парня.

Грохнуло железо, и, наверно, не только мое сердце сжалось. Прыжок был в темноту. Железнодорожный сцепщик так не рискует. Попасть надо было меж двух огромных кнехтов, а лететь – над сокращающимся расстоянием между носом и кормой.

Парни сразу же потянули канат, и я увидел, что прыжок был излишней лихостью. Нос «Волгограда» с невозможной для такой махины точностью сам входил в замок приставки.

– Ребята, – спросил я, – где старший?

– А вот капитан, – показал полуголый прямо на рефлектор.

Подниматься надо было по трапу, который уже спустили на баржу, а потом на высоту трехэтажного дома по бревнам, которые вез «Волгоград». Казалось, рефлектор прожектора вращается вокруг своей оси, а вместе с ним вращается и его яростный луч. Совсем ослепнув, мы поравнялись с человеком в форменном пальто, с мегафоном в руках и повернулись к прожектору спиной.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Нет, – ответил капитан только после того, как мы повторили просьбу. Лишь карнавальный прожекторный отблеск в его глазах говорил, что он, пожалуй, давно заметил нас, оценил, и тем, как появились, как говорили с его матросами, как лезли к нему вверх, мы почему-то не пришлось ему по душе. И я вдруг увидел, как нелепо то, что мы всю ночь гнались за этим кораблем, ссорились, искали Пятиизбянки, карабкались под яростным светом по бревнам и уйдем сейчас по желтой, громадной лестнице и прожектор будет освещать каждое наше неумелое движение.

Словно удивляясь нашей непонятливости или нашему упрямству, капитан сказал:

– Как я вашу шлюпку подниму? На таях у меня свои шлюпки. Я их не сниму, чтобы вашу поставить.

И мы пошли по бревнам вниз. По какой-то родственной похожести, по тому, что их было слишком много на вахте, мы догадались, что матросы на «Волгограде» – практиканты.

Мегафонным радиоголосом капитан сказал нам вслед:

– За мной «Салехард» идет. Может, он вас возьмет.

Парни оглянулись на капитанский радиоголос. В глазах их был все тот же театральный отблеск.

Пока мы отгребали от баржи, прожектор на «Волгограде» потух, угас желтый отблеск сосновых бревен и сквозь слепоту, которая образуется после такой вспышки, пробились красный и зеленый сигнальные огни.

Ещё часа два мы ждали на рейде. Ветер постепенно согнал темноту, и когда пришёл «Салехард», вода была такого же серого цвета, как и окраска его корпуса.

Капитан «Салехарда» оказался благодушным человеком. Он сразу же согласился взять нас на буксир. И я понял, что даже капитаны не всё знают о стихии, с которой имеют дело.

– У вас скорость километров двадцать? – спросил я.

– Ну, – засмеялся капитан, – примерно.

– На буксире вы нам шлюпку разматаете по большой волне. Нам бы наверх ее поставить.

И капитан «Салехарда» сказал мне то же самое, что и капитан «Волгограда»:

– На таях у меня свои шлюпки. Чем я вашу подниму?

– С вашей бы помощью вручную.

И капитан опять засмеялся:

– Я – сердечник. Кто же ее вам будет вручную поднимать! Она у вас тонну весит. Вам надо в порт. Там подъемные механизмы. Она у вас военно-морская. Мои ялы вполонину легче.

Ещё вчера мы думали, е пройти ли оставшиеся километров пятьсот своим ходом. Студенческой командой мы ходили. Но к утру эта мысль полностью вымерла. Мы повернули к Калачу. От воды тянуло сыростью. В досчатых щитах на берегу не сразу можно было признать таинственно мерцавшие ночью створы. Глины на берегу обрывались в воду краем строительного котлована. Старая речная или морская береговая линия не так выглядят. И пока не поднялось солнце, было очень хорошо видно, что это не морская, а речная, илистая вода. Только широко разлившаяся.

В надежде на ветер поставили мачту. Но с рассветом вздохи ветра становились все реже. А когда выкатилось солнце, ветер прекратился совсем. И переход к жаре был мгновенным.

Другого способа уйти от жары не было, и мы сели на весла. Нас медленно обгонял

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru буксир с баржей. С баржи на толстых ржавых цепях свисали старые автомобильные покрышки – кранцы. Палуба напоминала заводской двор. Тумбы кнехтов, остатки ржавого троса, шестеренки подъемного механизма, угольная пыль и кора сосновых бревен, красноватая, в прожилках, закрученная стружкой. С мостика буксира на нас посматривали загорелые мальчишки-матросы, гордящиеся молодой худобой, мышцами и оттопыренными плавками.

Когда машина буксира затихла, мы услышали дальнейшее жужжание. Так в жаркий день жужжит и всхлипывает большой городской пляж. Но откуда ему здесь быть? Оказалось, подплывали к местному дому отдыха.

Часа четыре мы затратили на то расстояние, на которое вчера ушла вся ночь. В Калаче, на дебаркадере, дежурил тот самый диспетчер, который посоветовал нам вчера идти к Пятиизбянкам.

– Ждите, – развел он руками, выслушав нас. – Бывают иногда корабли. Сколько ждать? День. Три... Неделю.

2

Буксирный теплоход, причаленный к дебаркадере, всю ночь стоял с работающим мотором. Просыпаясь, я слышал, как рычит дизель огромного грузовика, но выхлопная труба почему-то направлена в воду. Когда нам отвели койки в этом помещении, Володя открыл иллюминатор. Окно оказалось затянутым паутиной. Он хотел ее смахнуть, но Шорников остановил:

– Комаров будет удерживать.

И я позавидовал его быстрой практической сметке.

Утром мы смотрели, как от дебаркадера отваливает ростовский «метеор». В воздухе была ранняя дрожь, матрос на «метеоре» горбился, отвязывая канат, и пока между «метеором» и дебаркадером не возникла полоска воды, ногой упирался в дебаркадер.

Мужчина в мятом пиджаке докуривал на корме папиросу. Пассажиров было мало, сквозь стекла мы видели, как они устраивались в креслах.

На дебаркадере не было провожающих, а капитан в своем стеклянном колпаке не торопился, и будто не мотор, а течение и ветер разворачивали корабль носом к морю. Широкий привальный брус, казалось, лежал на воде. Но вот пошел вверх, а к дебаркадере пришла прямая, длинная волна.

– Через двенадцать часов в Ростове, – сказал Шорников.

– Кофейку бы сейчас, – сказал Иван Васильевич.

Когда собирались в поход, Володя сказал мне об Иване Васильевиче: «Для меня письменный стол – рабочее место. Для него – образ жизни». Сложилось это так давно, что было поразительно, как Иван Васильевич решил что-то поменять. Ученые труды его достигли таких размеров, когда удивляет, что это сделал один человек. Крупные специалисты считали его талантом. А мы сверх того могли примерить на себе его образ жизни.

Сквозь этот образ жизни многое в Иване Васильевиче светило нам ярче, чем через его работы.

Дело, конечно, не в папиросах «беломор-канал», не в невероятном количестве кофе, не в «хлебе», который Иван Васильевич позволял себе чаще, чем мы. Ему уже нельзя было сказать «курил бы поменьше». Кое-кто из нас не курил совсем. Но результатов таких не достиг никто.

И было еще одно. У такого беззлобного человека совсем не должно быть врагов. Однако неприятности его были обширны и разнообразны. И если все мы поездкой на шлюпке хотели разорвать цепь напряжения и нездоровья, то Иван Васильевич, считали мы, нуждается в этом особенно.

Дебаркадер был ни нов, ни стар. Ему было лет восемнадцать. Его и подкрашивали, и мыли из шланга, но запах, который завелся под досками настила и обшивки, говорил о старости. особенно силен он был возле касс и камеры хранения и в нашем трюмном

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
жилым помещении. Запах старости на кораблях – трюмный запах.

И место свое дебаркадер уже обстоял. Что-то рядом с собой надолго затенил, сам ни разу другими местами к солнцу не поворачивался.

Много лет назад он мне показался первоклассной пристанью. Теперь было видно – весьма средний дебаркадер. С корабельными лестницами – узкими, крутыми. С буфетом, в котором мы скоро стали узнавать завсегдаев.

Перед дебаркадером – базарчик, живущий по расписанию пассажирских пароходов. Чуть дальше – рабочая столовая. Все как когда-то, только время схлынуло.

Поток ли времени оставил следы, или память светила, но что-то я угадывал в ленивых теперь уже движениях порталых кранов, в песке на железнодорожном переезде, в пожилом вахтере, дежурившем у входа в грузовой порт. Слоняясь в ожидании корабля, мы несколько раз проходили мимо, и он только однажды спросил, кто мы такие.

Мы сами чувствовали свою приметность. Заросшие (только Иван Васильевич сразу отправился в парикмахерскую), с загаром, который бывает лишь при круглосуточном пребывании под открытым небом, в мятых, выцветших спортивных костюмах мы, в довершение всего, были и не молодыми людьми.

Плотная женщина с манерами местной матери-командирши голосом, который она и не думала приглушать, сказала двум своим спутникам – майору и подполковнику:

– Не наши люди.

В диспетчерской мы быстро всем намозолили глаза. Наш загар, должно быть, раздражал представлением о праздности. Даже молодой диспетчер Александров, который советовал нам плыть к Пятиизбянкам, отворачивался теперь, когда мы входили. Желая нам помочь, он как-то сказал старшему диспетчеру:

– Вот тут преподаватели ростовского института...

Но старший диспетчер, никого не выделяя, взглянул поверх набившихся в комнату речников:

– Выйдите, не занимайте дорогу.

Капитану теплохода, разговаривавшему по служебному телефону, он сказал:

– А вы давайте закругляйтесь с разговорами по телефону.

– Я с Ростовом говорю.

– Так что же что с Ростовом.

И мы вместе со всеми пошли из диспетчерской.

На лестнице-трапе Шорников пропустил нас:

– Я долго здесь не буду сидеть. Дома у меня... дела. Четверым тут делать нечего. Грузовым кораблем шлюпку может отправить и один человек.

– Так почему этот один – не ты? – спросил Володя?

Шорников не ответил. Словно уже отделившись от нас, он спустился в трюм.

На площади перед дебаркадером в ожидании катера или парохода на длинных скамейках сидели пассажиры. Мы тоже присели. Старик в стертой до потери цвета казачьей фуражке разговаривал с внуком. Вернее, слушал его. Но внуке была новенькая суконная форма какого-то технического училища. Дед равнодушно смотрел в сторону и не взглянул вслед, когда внук ушел. Из кармана лампасных брюк он достал складной нож, из хозяйственной сумки – пряник; сточенным, словно обсосанным лезвием отрезал от пряника кусок и положил его в рот. Все так же равнодушно глядя в сторону, спросил у соседа, читавшего газету:

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Ну, что там пишут? Хорошо наши своих бью? Как в гражданскую войну?

И сразу странное оцепенение овладело всеми. Сосед, собиравшийся было ответить, закрылся газетой. Кто-то, выждав минуту, поднялся со скамейки, а дед – сухой, узкоплечий, со светлыми, давно слинявшими свою голубизну глазками продолжал спокойно:

– В четырнадцатом взяли австрийский город, вошли в первые улицы, а они стрелять из окон. Есаул вывел нас из города, развернул батарею. Говорит: «ребята, это все евреи». И по городу из пушек.

Он отрезал ещё кусок пряника, а человек, читавший газету, пересел на другую скамейку. Старик даже не проводил его взглядом. В голосе у него не было сомнений, а взгляд остался равнодушным. И я подумал, что с самого начала меня заинтересовал этот равнодушный взгляд. Ведь с внуком дед прощался, а смотрел мимо.

– В газетах про это не пишут? – спросил старик, хотя спрашивать было некого.

И вдруг Иван Васильевич, который не слышал старика или не прислушивался к тому, о чем он говорит, закричал, страшно картавя:

– Г'ебята, посмот'гите, какой па'гоход!

Все посмотрели не на пароход, а на старика. Но не прямо, а косвенно. А я даже вздрогнул. Дался Ивану Васильевичу этот пароход!

В трамвае, троллейбусе Иван Васильевич мог слепо сесть рядом с пьяным, не замечая, что место потому и пусто, что каждый его обходит. Если в компании или просто близком окружении оказывался человек, глупость которого была заметна всем, Иван Васильевич чаще всего именно к нему и обращался. Словно совсем не учитывал его глупости, нелепых реплик, неуместного смеха. С глупым говорил так, будто тот умен, тонок и остроумен. Беззащитность перед глупостью или назойливостью у Ивана Васильевича была так велика, что казалась мне недостатком инстинкта самосохранения. Ответной злобности в нем не вызывал даже направленная против него злоба. О людях, казалось мне, у него было завышенное, или – что почти одно и тоже – заниженное мнение. И к злодею он отнесся бы так, как если бы тот не подозревал, какой он хороший человек. Или не властен над злом, которое от него исходит и потому не виновен.

Я как-то сказал ему об этом. Он ответил:

– Любишь ты бородой тряси...

Его манера говорить утомляла меня своей неполнотой. Пристанут к нему, чтобы рассказал, как воевал в разведке, а он ответит что-нибудь очень уж несущественное:

– Это не для боящихся скуки.

– То есть?

– Ждать приходится долго.

Терпимость его, кажется, ничто не могло утомить или заставить врасплох. Она поднимала его над прошлой работе в разведке, над нынешней его работой, над нашими походными неожиданностями. Как будто он все время помнил что-то более важное. Но что? И почему у меня перед этой терпимостью смесь уязвленности и превосходства?

...От дебаркадера через площадь шел старший диспетчер. Лицо у него было таким, как будто не нам только, а всем сидящим на скамейках он сказал: «Выйдите, не занимайте дорогу».

Старик-казак проследил за ним своим равнодушным взглядом и отрезал пряник. И я поразился тому, как этот взгляд нас распугал. Дед, может, даже выжил из ума. Но что за сила в злобе, неужто какая-то прорава!

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Обедать пошел, – кивнул Володя на диспетчера. – Пора и нам.

В буфете на дебаркадере, продавщица говорила парню с синяком под глазом:

– Я думала, ты уже не придешь.

– Я и побоялся, тетя Тося, что ты мне запишешь прогул, – ответил парень с обалолом. Он был матросом с того самого буксирного теплохода, который всю ночь стоял у дебаркадера с работающим мотором. Чтобы мы не пялились на его синяк, парень, на всякий случай, взглянул на нас с угрозой.

Из буфета спустились к себе в трюм. Шорников лежал, закинув руки под голову. Койка его была аккуратно заправлена. Лежал он на соседней, пустующей. «Чтобы свою не мять», – догадался я. Взглянув на Ивана Васильевича, я по лицу его понял, что он сейчас скажет:

– Г'ебята, – сказал Иван Васильевич, – Пусть Игорь едет! Да? Сп'гавимся! Г'гести уже не нужно. А у него дома дела.

– Во-первых, – сказал Володя, – Грести нужно. К кораблю шлюпку подгонять. От корабля. Не исключено, что корабля вообще не будет. Да и не в этом дело. Завтрашним «метеором» и я могу уехать. У меня тоже дома дела.

– Иван Васильевич, – сказал я, – если бы вы сели играть в карты, вы бы обязательно проиграли партнеру, чтобы его не обидеть. Увидели бы, что партнер – шулер, и шулера не стали бы обижать.

Не Шорников, чувствовал я, а я чем-то не по душе Ивану Васильевичу. Конечно, я виноват. Не надо было показывать это шутку с румпелем. От нее все и пошло. Но я всегда считал, что нет большего греха, чем филонство и неартельность.

– На войне, – сказал я, – вы, небось, были пожестче.

Иван Васильевич выбирал из смятой пачки целую папиросу.

– В моральном приговоре всегда есть покушение на силу. «Я – лучше». Да? А уж если говорить о войне, то там все моральные приговоры пересматривались.

И я подумал, что таким, каким уходил в поход, домой вернется, пожалуй, только один Иван Васильевич. В двадцати-тридцатидневных шлюпочных походах это редко кому удавалось. Вот что меня всегда удивляло.

З

Днем мы уже не решались заходить в диспетчерскую. Там был старший диспетчер. Как-то спросили Александрова: «А что если нам обратиться к старшему диспетчеру?» Александров усмехнулся: «Да, он велел не пускать вас на порог».

Корабль мог сюда придти только в том случае, если в порту накопятся грузы. Грузов не было, и корабли по-прежнему от шлюзов катили прямо к Пятиизбьякам. Не было бы так досадно и время не казалось бы таким пропавшим, если бы мы не чувствовали этого непрерывного движения по фарватеру, если бы не дразнили нас вечерние и утренние ростовские «метеоры».

Я даже подумал, что это судьба наказывает нас. Дней десять назад, вымотанные встречным ветром и греблей, мы едва устроились на ночь в спальных мешках, как на той стороне реки загудел автомобильный мотор, хлопнула дверца и кто-то торопливо позвал:

– Григорьев! Андрей! Андрей Петрович!

Он кричал долго и настойчиво, будто чувствовал наше присутствие в темноте. Забота, конечно, могла быть пустяковой, рыбацкой, а мы были слишком изнурены, чтобы спускать тяжелую шлюпку. Но когда торопливо хлопнула дверца, загудел мотор и все стихло, мы долго лежали без сна, а утром хуже думали друг о друге, чем за день до этого. И утро началось плохо. На берегу я увидел растерянного Ивана Васильевича. Он показывал нам бесформенный комок перьев, к которому не решался подойти.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
– Не думал, что попаду, а попал, – сказал он.

Это был вывалившийся из гнезда крупный, рыжий птенец коршуна.

– Дурацкая вещь, – сказал Иван Васильевич, – была палка в руках, я и кинул. Стоет ведь не б'госал.

– Как же вы так! – не удержался я.

Птенец, выпавший из гнезда, все равно погиб бы. Но мне не хотелось утешать Ивана Васильевича. Ведь какая охотничья сила оказалась в броске! А то, что за минуту перед тем он её в себе не подозревал, может, и было самым неприятным.

. . .

Александрова мы застали на ночном дежурстве на четвёртые сутки.

– Вы ещё здесь! – устало удивился он, и я почувствовал – приходит наш шанс. Александров нашей усталостью утомился и сейчас захочет от нее освободиться. Он не забыл, что посылал нас к Пятиизбянкам.

– А груз вы свой в бухгалтерии оформили? – спросил он.

И началась беготня. Искали дежурного в отделе перевозок. Искали крановщика, который спустился куда-то перекусить или вздремнуть.

Уже поставили в ведомости печать, уже Александров по телефону передал распоряжение, чтобы идущий по каналу теплоход «Иртыш» повернул от тринадцатого шлюза к Калачу, уже сам Александров куда-то отлучился, а стропальщики никак не могли найти своего крановщика.

Он появился и полез по трапу наверх. А мы побежали перегонять шлюпку от дебаркадера к стенке грузового причала. Кран ожил. Вспыхнул прожектор, и в глазах стропальщиков, Ивана Васильевича, Володи, Шорникова появился знакомый театральным отблеск. За пределами прожекторного луча темнота сгустилась. В темноте оказалась будка крановщика, из темноты спускался ярко освещенный массивный крюк. Причальная стенка мешала крановщику увидеть шлюпку, и она вместе с ярко освещенным крюком тоже поднималась из темноты. С ней сливалась вода. Должно быть, в прожекторном свете менялись расстояния. Крюк вместе со шлюпкой качнуло в сторону какого-то землечерпального приспособления, которое лежало тут же острыми лапами вверх. Одна из лап могла обессмыслить всю нашу спешку. Но деревянное днище прошло в сантиметре от нее.

Теперь мы всматривались в темноту, из которой должен был появиться «Иртыш». Мы прислушивались к запаху воды, к холоду, который от нее шел. Вместе с нами ожидали крановщик и стропальщики. Подойдет корабль к причалу, крановщик опустит шлюпку, мы перейдем на палубу и в то же мгновение можно будет продолжать плавание.

Мы помнили, как неожиданно возникают из темноты огромные корабли, и ждали «Иртыш» каждую минуту. Первым утомился крановщик. Он выключил прожектор.

– По времени давно должен быть, – крикнул он нам сверху. – Сходите, узнайте.

В диспетчерской Александров минуту молча нас рассматривал.

– «Иртыш» пошел к Пятиизбянкам, – сказал он.

– Капитан не получил вашего распоряжения? – спросил Шорников.

Александров молчал, и я догадался.

– Не захотел поворачивать к Калачу?

Александров кивнул.

– В Калач крюк небольшой, но скорость теряется. Команде премия нужна.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Он усмехнулся. Это была не только наша, но и его неудача. Она нас чем-то равняла.

– Что же теперь? Всё? – спросил Володя.

Александров опять помолчал.

– Через час должен быть «Соликамск». Я передал, чтобы его обязательно завернули на Калач.

– А если не послушает?

Александров пожал плечами.

Протомившись минут сорок, мы пришли в диспетчерскую. Мне показалось, что в глазах Александрова мелькнул прожекторный отблеск.

– Идет! – сказал он нам.

– Повернул? – спросил я.

Александров кивнул. Это был уже и его азарт.

Опять крановщик зажег прожектор, поднял шлюпку. Она висела наготове на ярко освещенном крюке. Опять мы всматривались в темноту, прислушивались к ночному дыханию воды. Опять бегали в диспетчерскую. Александрова не было. Он явился минут через десять. На нас не смотрел.

– Попробуем ещё, – сказал он. – И «Соликамск» не согласился.

Он позвонил при нас на шлюз, кого-то распекал, кем-то возмущался, выслушивал чьи-то оправдания.

– Не выпускайте из шлюза, пока не согласится!

Нам он сказал:

– Ерунда, конечно. Как е выпустишь!

– Значит, – сказал Володя, – надежда только на сговорчивость капитана?

– Александров внимательно посмотрел на него и опять потянулся к телефону.

– Слушай, – сказал он в трубку, – у тебя «Ангарск» на подходе? Подержи немного в канале. Я сейчас к тебе груз пришлю.

Он повернулся к человеку, которого я до этого замечал только боковым зрением и которого по замасленной кепке считал кем-то вроде судового механика.

– Третьи сутки люди не могут уплыть, – сказал ему Александров.

– Четвёртые, – поправил Шорников, и все мы посмотрели на того, кого я посчитал судовым механиком.

– Четвёртые, – согласился Александров. – Тебе утром надо быть в Волгограде. Возьми их на борт, прошлюзуйся, подожди «Ангарск» у тринадцатого, погрузи их на корабль и иди на Волгу.

Человек поднялся со стула, на котором все это время молча сидел, и я увидел, что это худощавый парень лет двадцати пяти с очень сосредоточенным выражением лица. Сосредоточенность беспокоила меня. В ней не было нам места. Он договаривался с Александровым, когда надо быть на Волге, какую нефтеналивную баржу брать на буксир, а я ждал, когда же он спросит, какая у нас шлюпка и как мы думаем её грузить на «Ангарск». Александров, считал я, устал и хочет от нас избавиться. Он забыл, как посылал нас к Пятиизбянкам и что из этого получилось.

– Это Бобенко с буксирного теплохода, – сказал нам Александров и замахал руками, когда мы стали его благодарить: – Идите, идите!

Мы шли за Бобенко, а я думал, что нам нельзя уплыть из Калача. Все кончится, как в Пятиизбянках. Я сказал об этом Ивану Васильевичу. Он ответил:

– Все-таки попытаемся.

При свете кранового прожектора я увидел, что кормой к нам стоит тот самый «БТ», мотор которого мы слышали по ночам у себя на дебаркадере. На палубе у него была военная теснота. Для шлюпки место нашлось лишь возле железного кожуха трубы. Как только отошли, затрясло, как на танкетке или в грузовике на бульжной дороге. Работала слишком мощная для такого корпуса машина. С палубы нас сдуло. Сунулись было к штурвальному, но в рубке негде повернуться. К тому же за рулем стоял парень с обалолом. Должно быть, крепко на что-то наткнулся – синяк не спадал. Прошлым вечером он бродил по дебаркадере в поисках укромного места и фыркал, встречая нас в этих местах, потому что бродил не один.

Иван Васильевич тогда сказал:

– До войны мы жили рядом с железнодорожной станцией. У нас тех, кто любил посудачить, кто выходил гулять на вокзал, называли «угловые», «бановые». «Угловые» – было понятно. Стоят на углу. А вот немецкое слово «бангоф» – вокзал – я узнал потом. И удивился. Что за причуды языка! Почему «бановые», а не, скажем, «вокзальные»?

– Эти тоже «бановые», – показал я тогда Ивану Васильевичу на парня с обалолом и его девушку.

– Не знаю, как их здесь называют, – сказал Иван Васильевич, – но вижу их здесь постоянно.

– Это понятно, – сказал Володя. – Тут пароходы из Москвы, с Волги. Пароходная музыка, пассажиры, пароходные буфеты. Я понимаю тех, кого у вас называли «бановыми».

В тот вечер мы невольно мешали парню с обалолом. Да и другим «бановым» тоже. Поэтому я не вошел в штурвальную рубку. Чтобы укрыться от ветра, присел за шлюпкой. Здесь уже был Володя. Тусклого света сигнальных огней едва хватало, чтобы как-то обозначилась палуба. За бортом сразу же начиналась темнота. Оттуда срывался ветер. Вибрация показывала, с каким напряжением корабль его преодолевал.

Недаром я опасался сосредоточенности Бобенко. С тех пор, как погрузились он не показывался. Не у кого было спросить, туда ли нас везут.

Я поднялся и попробовал качнуть шлюпку. Она не шевельнулась. Нажал изо всех сил – никакого ответа.

– Пробуешь, как будем грузить вручную? – спросил Володя.

Я кивнул.

В этот момент нас позвали:

– Капитан просит его извинить, – сказал матрос, – он отдыхает. Прошлую ночь не спал, а этой – по каналу идти. Тоже не спать. Я вас провожу в нашу кают-компанию.

Дверь матрос отпирал ключом. Это была маленькая каюта с двумя скамейками от стены до стены. На одной я попытался лечь. Это оказалось невозможным – так коротка и узка была скамья. А звуки, которые на палубе срывало и относило ветром, в каюте-ящике грохотали и перекачивались от стены к стене. От вибрации ныли зубы, а звуки уже через минуту грохотали и перекачивались в голове. Их словно нагнетало чудовищным вентилятором. Вой его был слышен за стеной. Я подумал о капитане, который отдыхал в этом вое. Легче мне не стало, и я опять вышел на палубу.

Корабль вспарывал воду, и в ветре, которым меня ударило, было два слоя. Сырой, теплый, хранящий память о дневной жаре – и ночной, холодный. Теплый рождался тут

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru же, под бортом, мыльной пеной таял на щеке. Холодный приходил из дальних пространств. На шлюпке ощущение собственной малости перед огромностью этих пространств не было таким значительным. Должно быть, оно проявлялось на машинной скорости, на железной палубе, где невозможно укрыться от ветра.

Скорость, однако, была невелика. Корабль вибрировал от напряжения. Но не уходил от сопротивления воды. Толкач, приспособленный для буксировки тяжелых грузов, он словно искал это сопротивление, зарывался носом поглубже, ревел, как буксующий грузовик. Казалось, огромная мощность машины, заключенной в маленьком неуклюжем корпусе, расходуется впустую. И наше нетерпение усиливалось противоречием между машинным грохотом и медленным движением.

Володя тоже вышел на палубу.

– Шума не выдержал? – спросил я.

– Да, – сказал Володя, – на этих кораблях нам не плавать! А капитан отдыхает!

Мы укрылись за шлюпкой и стали следить за приближающимися огнями тринадцатого шлюза. Они горели ярко и ярко отражались в черной воде. Это была будто праздничная иллюминация, а не просто сигнальные огни. И была в ней правда. Необычности в ней не убавилось от того, что строительство закончилось давно.

Огни созревали, наливались светом, отделялись друг от друга. Чернота вокруг них становилась глубже. И вдруг обозначилась поверхность воды. Мы вышли на неё из полной темноты.

Потом среди неоновых сигнальных ламп я разглядел две слабые простые лампочки. Это был вход в тринадцатый шлюз. «БТ» сбавил обороты, мы услышали тишину, которая вот-вот отзовется гулом. Ворота шлюза были открыты. Но «БТ» почему-то не стал в них входить, и мы с Володей направились в рубку, узнать, в чем дело.

– Ушел «Ангарск», – сказал нам Шорников. – Выпустили из шлюза. Вон ворота еще открыты.

В рубке скопилась керосиновая вонь. Облако собственного дыма догнало «БТ».

– По радиации сообщили, – сказал Иван Васильевич.

Видно было, что они с Шорниковым обжились в рубке. Рулевой с обаянием сверкнул на нас опухшим глазом, как на людей, о которых он знает больше, чем они о нем.

– Как назло! – сказал Володя.

Я представил себе пятьсот километров, которые нам все равно придется пройти самим. Начаться они могут прямо отсюда. И я ужаснулся. Ожидание в Калаче нас расслабило.

Связались с Калачом, ждут, что скажет Александров, – сказал Шорников.

В рубку заглянул высокий человек в фуражке с «крабом». Кивнул рулевому:

– Идем в Пятиизбянки, – и объяснил нам: – Велено догнать «Ангарск».

Он усмехнулся и исчез. Через минуту взревела машина, копоть пошла прямо от воды. Потом потянуло сквозняком, озоном, вспененной водой, опять на щеке стали таять мыльные пузыри, ударило холодом. И вновь от воя чудовищного вентилятора под палубой заложило уши, пропало желание разговаривать.

Рулевой иронически взглянул на нас с Володей. Ивана Васильевича и Шорникова он уже считал за своих.

Мне тоже захотелось почувствовать себя своим. Я крикнул:

– Догоним?

У парня было своё представление о самолюбии. Он не ответил. Я знал эту манеру. «Надо? Ещё спросишь!» Парню был непривычен разговор, в котором не было

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru подковырщика и подковыриваемого, и он переводил его в привычный для себя тон. Я еще раз крикнул. Поглядывая на Ивана Васильевича и Шорникова, словно делая их свидетелями своей победы, он ответил:

– Ну, он же в Пятиизбянках задержится...

– Зачем?

Ещё иронический взгляд в сторону Ивана Васильевича и Шорникова:

– Приставку брать.

Парень взял свое и оттаивал:

– На одной машине идем.

Я не понял, и он объяснил:

– Вторую включить – по дороге догнали бы.

О существовании двух машин на корабле я ничего не знал и даже не был уверен, что меня не разыгрывают. Я забеспокоился. Если это был розыгрыш, он достиг цели.

– Почему же вторую не запускают?

Парень опять долго не отвечал.

– Нельзя.

– Почему?

Он ещё дважды повторил «нельзя» прежде, чем объяснил:

– Вторую включаем, когда с грузом идем.

– Сейчас тоже причина есть.

И вновь парень иронически посмотрел на меня своим опухшим глазом:

– Без капитана нельзя. А он отдыхает.

Подбитый глаз его не смущал. Пожалуй, даже придавал вальяжности.

Теперь все пристально вглядывались в темноту, словно надеясь увидеть сигнальные огни «Ангарска». Однако за тускло освещенной палубой сразу же начиналась чернота. Лишь время от времени рядом с бортом вспухали светло-серые полосы. Это были усы – пена от носового буруна.

Я устал перекрикивать машину, но в рулевом только открылась доброжелательность. Посверкивая подбитым глазом, он делился:

– Девчат везде много! В Вешках были, пошли на танцы, потом привели с товарищем в каюту двух. Выпили, товарищ отшлюзовался, а я все никак. Только к ней, а она: «Не трожь меня, я спать хочу...»

Я показал на уши, подвигал челюстью – заложило, ничего не слышу. Но парню хотелось говорить, и он продолжал в том же духе...

Огни Пятиизбянок узнали сразу. на рейде будто ничего не поменялось. Но загадочности поубавилось, и вода не струилась таинственно.

Огни вырастали быстро. Мы искали сигналы «Ангарска». Но их не было. Из диспетчерской сообщили, что «Ангарск» уже ушел.

Пока через диспетчера связывались с Александровым, рулевой поглядывал насмешливо. Он-то останется на корабле, а мы – очень может быть – сгрузимся прямо на воду и отчалим в темноту. После проволочек, ожидания, утомительной нерешимости начнем оттуда, откуда могли начать четыре дня назад.

И нечего других наказывать своей нерешительностью. Вся эта гонка ни к чему. Столкнуть шлюпку на воду мы ещё можем. Поднять её на корабль не в наших силах.

Пока я медлил, взревела машина, «БТ» стал разворачиваться, и в рубку заглянул тот же человек в фуражке с «крабом». Он сказал, сто связаться с Александровым не удалось, но по каналу идет «Бийск». В три часа он должен быть у двенадцатого шлюза. На этот «Бийск» нас и погрузят. Он подмигнул рулевому: «Не спишь?» – и опять исчез.

4

Я очнулся от запаха рыбы и керосиновой вони, от дымного электрического света, от гулко-го радиоголоса и холода, который бывает вблизи бетонных стен. Кто-то рядом косился на меня опухшим глазом. Я встрянул. Сон одолел меня. В рубке был тот же рулевой. Я разодрал глаза, но все равно видел сквозь сон. Ворота уходили под воду, оставляя после себя маленькие бурунчики. Потом ещё черные ворота в натеках масла, слезящиеся водой.

По каналу двигались, как по улице. Берега оснащены фонарями. И рёв машины был уже совсем другим – отражался цементными плитами. Причалили у какой-то арки или навеса с колоннами. Кто-то похожий на Бобенко перелез на причал, крикнул:

– Я через сорок минут!

И исчез в мутном электрическом свете.

Меня била дрожь. Электрический свет мешал проснуться. Казалось, именно он делает темноту непрозрачной. Это был не свет – асфальтовый туман.

– До трех часов можете вздремнуть, – сказал человек в фуражке с «крабом».

Я взглянул на часы. Стрелок не было видно.

– Капитан, – сказал я.

– Я не капитан, – ответил человек в фуражке с «крабом», – я помощник. Шеф, по нашему. Чиф, – он усмехнулся. – Капитан ушел домой. Он в этом поселке живет.

– Включите, пожалуйста, свет, – попросил я, – на часы взглянуть.

Вспыхнула слабая лампочка. Из темноты на мгновение проступили наши болезненно окрашенные электричеством лица, и свет погас.

– Не разглядел, – сказал я, ошеломленный краткостью вспышки.

– Два часа, – сказал помощник. – У меня светящиеся. Электричество капитан не разрешает включать.

– Почему?

– Аккумуляторы разрядятся.

«На таком мощном корабле!» – хотел сказать я, но вспомнил ключ, которым матрос открывал нам дверь в кают-компанию, вторую машину, которую так и не запустили в погоне за «Ангарском», и подумал: строг капитан! И удивился истовости, с которой выполняются даже такие его распоряжения.

Чтобы скоротать время, вышли на берег, бродили под колоннами и так и не смогли определить, арка это, навес, который может быть использован как речной вокзал, или просто неясный ответ на несформировавшиеся эстетические запросы.

На корабль вернулись, увидев возвращающегося капитана. В руках у него была хозяйственная сумка. Это был Бобенко. Вслед за ним вошли в рубку и увидели, как он при свете причальных фонарей листает вахтенный журнал.

– Ничего не записывают, – сказал он сердито. Он пристроился писать, так и не зажигая света. Но потом сдался, включил лампочку, при свете её писал минуты три и тотчас выключил, как только поставил точку.

Нам он сказал:

– «Бийск» должен быть через пятнадцать минут. Будьте наготове.

Сон теперь и не мучил меня. Я отчетливо видел противоположный берег канала, темную глубину дальнего шлюза, в который должен будет войти «Бийск». В ожидании корабля шлюзовые ворота были открыты.

Ровно в три «Бийска» еще не было. Я прислушивался: в узком канале огромный корабль даст о себе знать шумом машин.

Очнулся я от панического крика:

– Уходит!

Это было невозможно, но все мы: и Бобенко, оставшийся в рубке, и рулевой с обаполом провалились в сон.

Сквозь сон я видел высокую круглую корму, бесшумно входящую в шлюз, и начавшееся движение шлюзовых ворот, которые должны были отсечь нас от «Бийска».

– Давай! – закричал Бобенко. – Заходи в шлюз! Прошлюзуемся вместе с ним.

Корма «Бийска» уже вошла в шлюзовую камеру, а замковые огромные ворота продолжали свое запирающее движение. Но то ли шлюзовой оператор нас заметил, то ли сами успели – «БТ» проскочил в шлюз.

– Пришвартовывайся к корме! – кричал Бобенко.

Я видел, как кто-то из команды перебрался с чалкой на «Бийск». С «Бийска» следили за нами с недоумением – мы брали корабль на абордаж.

На кормы вышел капитан «Бийска». Его позвали вахтенные. Он попытался возражать, но скоро сдался под нашим напором.

– Да мы не в Ростов – в Усть-Донецк идем, – уже благодушно поглядывая на нас, сказал он.

От Усть-Донецка до Ростова сто сорок – сто пятьдесят километров. Но это только на мгновение омрачило нашу радость. Мы выгружали из шлюпки рюкзаки, швыряли на палубу «Бийска» весла, багры. Я полез наверх, чтобы принять мачту и бочонок. Но кто-то из матросов «Бийска» уже оттаскивал рюкзаки в сторону, кто-то оказался проворней меня и подхватил мачту.

– Давай, давай! – подгонял Бобенко.

Шлюзовые ворота открылись, и «Бийск», буксируя пришвартованный «БТ», медленно двинулся в канал.

Чтобы сделать шлюпку как можно легче, мы «раздевали» её: вытаскивали пайолы, кормовую решетку.

– Хватит! – скомандовал Бобенко.

Я видел, как рулевой с обаполом схватился за шлюпку у кормы. Там она была тяжелей всего.

– Давай! – хрипел он.

Сверху, с «Бийска», шлюпку тянули за носовой конец. Она не поддавалась, не хватало ещё чьего-то усилия. Кто-то спрыгнул на «БТ». За шлюпочный конец схватился капитан «Бийска». Установилось равновесие между тяжестью и нашими усилиями. Не хватало последней согласованности, отчаянности, которая соединяет всех хотя бы на один момент.

– Давай! – кричал Бобенко.

Семеро в одном доме. Женя и Валентина. Рассказы. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
И шлюпка приподнялась, уперлась носом в борт «Бийска». На борту появилась царापина. Хозяину корабля такая царापина – заноза в сердце, но капитан «Бийска» продолжал тащить. Царапина увеличивалась, шлюпка поднималась все выше по борту. Едва она перевалила на палубу «Бийска», Бобенко закричал:

– Отваливай! Отдай конец! – торопился вернуться в шлюз, пока ворота открыты.

Между «Бийском» и «БТ» уже возникло опасное зияние, а мы все жил руку Бобенко, помощнику, матросам. Я тряс руку парня с обаполлом, а он, кажется, не понимал, зачем это:

– Да, брось ты!

Сверху нас торопили, протягивали руки. И вот, что я чувствовал, когда нас вытягивали на палубу «Бийска». Доброжелательность, как снежный ком. Этой ночью была погоня не за «Ангарском». Но тут важно, что кто-то начал. Без этого никто бы пальцем не шевельнул. А покотившись, доброжелательность открывается в людях, словно только этого и ждала.

И пусть причина была пустяковой, пусть иллюзорной была погоня – доброжелательность была ни пустяковой, ни иллюзорной.

Мы ещё прощально махали руками, а на палубе «БТ» уже никого не было. Окутываясь керосиновой копотью, буксировщик входил в камеру шлюза.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://seminvitaly.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!